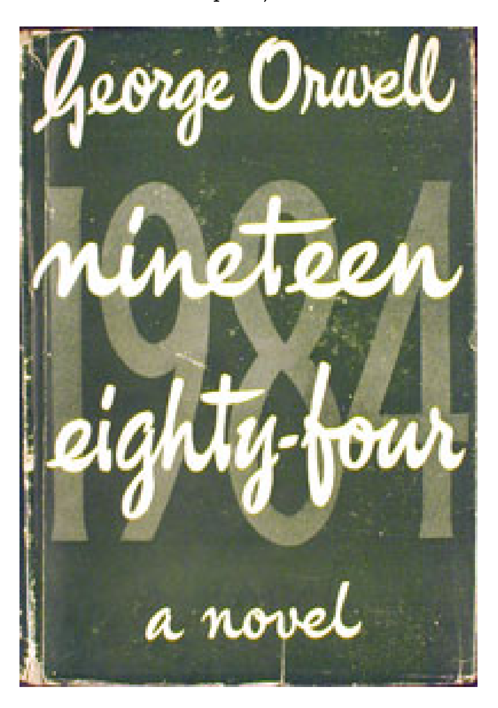
George Orwell / Джордж Оруэлл - NINETEEN EIGHTY-FOUR / 1984 [1949, PDF, ENG/RUS]

Год выпуска: 1949 (англ.) / 1989 (русск.)
Автор: George Orwell / Джордж Оруэлл
Жанр: Классика, антиутопия, сатира, эссе
Издательство: Secker & Warburg, London, 1949 / «Прогресс», 1989
Язык: английский/русский
Формат: PDF
Качество: eBook (изначально компьютерное)



Описание:
Оруэлл, Джордж / Orwell, George – «1984». Роман / Пер. с англ., Голышев В.П.; примеч., Голышев В.П.

В романе-антиутопии «1984» «мировое сообщество» (глобализированный мир, разделенный на несколько мега-государств) изображено как тоталитарный иерархический строй, основанный на физическом и духовном порабощении, пронизанный страхом, ненавистью, ложью, двойными стандартами и пропагандой. В романе «1984» впервые прозвучало известное выражение «Большой брат следит за тобой», а также введены ставшие широко известными термины «двоемыслие», «мыслепреступление» и «новояз».

В настоящей книге текст романа «1984» английского писателя Джорджа Оруэлла представлен в форме билингвы (на английском и русском языках). Оригинальный текст и перевод располагаются в двух вертикальных столбцах. Книга может использоваться при изучении английского или русского языков.

Комментарий:
Глобализированный мир в антиутопии Оруэлла состоит из нескольких крупных государств-материков, постоянно находящихся друг с другом то в состоянии войны, то дружбы. При этом никогда не ясно, по какой именно причине какое-либо из мега-государств стало дружественным или враждебным по отношению к другому. Война во всем мире ведется постоянно, беспрерывно, образ врага неотступен.

Хронологический ход событий и истину, находясь внутри такой системы, восстановить невозможно ввиду постоянной, ежедневной и ежечасной лжи, переписывания истории в угоду правящей «элите». Без «врага» не существовало бы никаких «элит» в таких государствах, которые сами же, в сговоре и совместно с «элитами» других таких же мега-государств, инициируют все войны, финансируют их и пожинают материальные выгоды для себя лично и обслуживающего их кланы «персонала».

Историю можно забыть или переписать. Последнее в романе «1984» осуществляется аллегорически моментально, поистине, в мгновение ока, по мановению руки Большого Брата, как Он (или Они) того пожелает в данный момент, как Ему (Им) выгодно. А кто не согласен или усомнился в истинности событий, существовании официально предписанных «врагов», официальном толковании происходящего и истории – тот «мыслепреступник» и подлежит «распылению».

NINETEEN EIGHTY-FOUR

GEORGE ORWELL

PART I

I

It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen. Winston Smith, his chin nuzzled into his breast in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him.

The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats. At one end of it a coloured poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall. It depicted simply an enormous face, more than a metre wide: the face of a man of about forty-five, with a heavy black moustache and ruggedly handsome features. Winston made for the stairs. It was no use trying the lift. Even at the best of times it was seldom working, and at present the electric current was cut off during daylight hours. It was part of the economy drive in preparation for Hate Week. The flat was seven flights up, and Winston, who was thirty-nine and had a varicose ulcer above his right ankle, went slowly, resting several times on the way. On each landing, opposite the lift-shaft, the poster with the enormous face gazed from the wall. It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption beneath it ran.

Inside the flat a fruity voice was reading out a list of figures which had something to do with the production of pig-iron. The voice came from an oblong metal plaque like a dulled mirror which formed part of the surface of the right-hand wall. Winston turned a switch and the voice sank somewhat, though the words were still distinguishable. The instrument (the telescreen, it was called) could be dimmed, but there was no way of shutting it off completely. He moved over to the window: a smallish, frail figure, the meagreness of his body merely emphasized by the blue overalls which were the uniform of the party. His hair was very fair, his face naturally sanguine, his skin roughened by coarse soap and blunt razor blades and the cold of the winter that had just ended.

1984

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

Первая

I

Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли.

В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину, лицо, -- лицо человека лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал, а теперь, в дневное время, электричество вообще отключали. Действовал режим экономии -- готовились к Неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть семь маршей; ему шел сороковой год, над щиколоткой у него была варикозная язва: он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что, куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, -- гласила подпись.

В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот (он назывался телекран) притушить было можно, полностью же выключить -- нельзя. Уинстон отошел к окну; невысокий тщедушный человек, он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы.

Outside, even through the shut window-pane, the world looked cold. Down in the street little eddies of wind were whirling dust and torn paper into spirals, and though the sun was shining and the sky a harsh blue, there seemed to be no colour in anything, except the posters that were plastered everywhere. The blackmoustachio'd face gazed down from every commanding corner. There was one on the house-front immediately opposite. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption said, while the dark eyes looked deep into Winston's own. Down at street level another poster, torn at one corner, flapped fitfully in the wind, alternately covering and uncovering the single word INGSOC. In the far distance a helicopter skimmed down between the roofs, hovered for an instant like a bluebottle, and darted away again with a curving flight. It was the police patrol, snooping into people's windows. The patrols did not matter, however. Only the Thought Police mattered.

Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги; и, хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным -- кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома напротив тоже. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, -- говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу, над тротуаром трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово: АНГСОЦ. Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули в счет не шли. В счет шла только полиция мыслей.

Behind Winston's back the voice from the telescreen was still babbling away about pig-iron and the overfulfilment of the Ninth Three-Year Plan. The telescreen received and transmitted simultaneously. Any sound that Winston made, above the level of a very low whisper, would be picked up by it, moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal plaque commanded, he could be seen as well as heard. There was of course no way of knowing whether you were being watched at any given moment. How often, or on what system, the Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live -- did live, from habit that became instinct -- in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.

За спиной Уинстона голос из телекрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телекран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом; мало того, покуда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей -- об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым -- и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить -- и ты жил, по привычке, которая превратилась в инстинкт, -- с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают.

Winston kept his back turned to the telescreen. It was safer, though, as he well knew, even a back can be revealing. A kilometre away the Ministry of Truth, his place of work, towered vast and white above the grimy landscape. This, he thought with a sort of vague distaste -- this was London, chief city of Airstrip One, itself the third most populous of the provinces of Oceania.

Уинстон держался к телекрану спиной. Так безопаснее; хотя -- он знал это -- спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание министерства правды -- место его службы. Вот он, со смутным отвращением подумал Уинстон, вот он, Лондон, главный город Взлетной полосы I, третьей по населению провинции

He tried to squeeze out some childhood memory that should tell him whether London had always been quite like this. Were there always these vistas of rotting nineteenth-century houses, their sides shored up with baulks of timber, their windows patched with cardboard and their roofs with corrugated iron, their crazy garden walls sagging in all directions? And the bombed sites where the plaster dust swirled in the air and the willow-herb straggled over the heaps of rubble; and the places where the bombs had cleared a larger patch and there had sprung up sordid colonies of wooden dwellings like chicken-houses? But it was no use, he could not remember: nothing remained of his childhood except a series of bright-lit tableaux occurring against no background and mostly unintelligible.

государства Океания. Он обратился к детству -- попытался вспомнить, всегда ли был таким Лондон. Всегда ли тянулись вдаль эти вереницы обветшалых домов XIX века, подпертых бревнами, с залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников? И эти прогалины от бомбежек, где вилась алебастровая пыль и кипрей карабкался по грудам обломков; и большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники? Но -- без толку, вспомнить он не мог; ничего не осталось от детства, кроме отрывочных ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных.

The Ministry of Truth -- Minitrue, in Newspeak[1] -- was startlingly different from any other object in sight. It was an enormous pyramidal structure of glittering white concrete, soaring up, terrace after terrace, 300 metres into the air. From where Winston stood it was just possible to read, picked out on its white face in elegant lettering, the three slogans of the Party:

Министерство правды -- на новоязе[1] Миниправ -- разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось, уступ за уступом, на трехсотметровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантным шрифтом три партийных лозунга:

WAR IS PEACE

FREEDOM IS SLAVERY

IGNORANCE IS STRENGTH

ВОИНА -- ЭТО МИР

СВОБОДА -- ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ -- СИЛА

The Ministry of Truth contained, it was said, three thousand rooms above ground level, and corresponding ramifications below. Scattered about London there were just three other buildings of similar appearance and size. So completely did they dwarf the surrounding architecture that from the roof of Victory Mansions you could see all four of them simultaneously. They were the homes of the four Ministries between which the entire apparatus of government was divided. The Ministry of Truth, which concerned itself with news, entertainment, education, and the fine arts. The Ministry of Peace, which concerned itself with war. The Ministry of Love, which maintained law and order. And the Ministry of Plenty, which was responsible for economic affairs. Their names, in Newspeak: Minitrue, Minipax, Miniluv, and Miniplenty.

По слухам, министерство правды заключало в себе три тысячи кабинетов над поверхностью земли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишь три еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома «Победа» можно было видеть все четыре разом. В них помещались четыре министерства, весь государственный аппарат: министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами; министерство мира, ведавшее войной; министерство любви, ведавшее охраной порядка, и министерство изобилия, отвечавшее за экономику. На новоязе: миниправ, минимир, минилюб и минизо.

The Ministry of Love was the really

Министерство любви внушало страх. В

frightening one. There were no windows in it at all. Winston had never been inside the Ministry of Love, nor within half a kilometre of it. It was a place impossible to enter except on official business, and then only by penetrating through a maze of barbed-wire entanglements, steel doors, and hidden machine-gun nests. Even the streets leading up to its outer barriers were roamed by gorilla-faced guards in black uniforms, armed with jointed truncheons.

здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу не переступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе чем на полкилометра. Попасть туда можно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих к внешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, с лицами горилл, вооруженные суставчатыми дубинками

Winston turned round abruptly. He had set his features into the expression of quiet optimism which it was advisable to wear when facing the telescreen. He crossed the room into the tiny kitchen. By leaving the Ministry at this time of day he had sacrificed his lunch in the canteen, and he was aware that there was no food in the kitchen except a hunk of dark-coloured bread which had got to be saved for tomorrow's breakfast. He took down from the shelf a bottle of colourless liquid with a plain white label marked VICTORY GIN. It gave off a sickly, oily smell, as of Chinese rice-spirit. Winston poured out nearly a teacupful, nerved himself for a shock, and gulped it down like a dose of medicine.

Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма, наиболее уместное перед телекраном, и прошел в другой конец комнаты, к крохотной кухоньке. Покинув в этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было -- кроме ломтя черного хлеба, который надо было поберечь до завтрашнего утра. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «Джин Победа». Запах у джина был противный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и проглотил, точно лекарство.

Instantly his face turned scarlet and the water ran out of his eyes. The stuff was like nitric acid, and moreover, in swallowing it one had the sensation of being hit on the back of the head with a rubber club. The next moment, however, the burning in his belly died down and the world began to look more cheerful. He took a cigarette from a crumpled packet marked VICTORY CIGARETTES and incautiously held it upright, whereupon the tobacco fell out on to the floor. With the next he was more successful. He went back to the living-room and sat down at a small table that stood to the left of the telescreen. From the table drawer he took out a penholder, a bottle of ink, and a thick, quarto-sized blank book with a red back and a marbled cover.

Лицо у него сразу покраснело, а из глаз дотекли слезы. Напиток был похож на азотную кислоту; мало того: после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа ее вертикально, в результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующей Уинстон обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телекрана. Из ящика стола он вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор.

For some reason the telescreen in the living-room was in an unusual position. Instead of being placed, as was normal, in the end wall, where it could command the whole room, it was in the longer wall, opposite the window. To one side of it there was a shallow alcove in which Winston was now sitting, and which, when the flats were

По неизвестной причине телекран в комнате был установлен не так, как принято. Он помещался не в торцовой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок, -- там и сидел сейчас

built, had probably been intended to hold bookshelves. By sitting in the alcove, and keeping well back, Winston was able to remain outside the range of the telescreen, so far as sight went. He could be heard, of course, but so long as he stayed in his present position he could not be seen. It was partly the unusual geography of the room that had suggested to him the thing that he was now about to do.

Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недосягаемым для телекрана, вернее, невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он сидел там, -- нет. Эта несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысль заняться тем, чем он намерен был сейчас заняться.

But it had also been suggested by the book that he had just taken out of the drawer. It was a peculiarly beautiful book. Its smooth creamy paper, a little yellowed by age, was of a kind that had not been manufactured for at least forty years past. He could guess, however, that the book was much older than that. He had seen it lying in the window of a frowsy little junk-shop in a slummy quarter of the town (just what quarter he did not now remember) and had been stricken immediately by an overwhelming desire to possess it. Party members were supposed not to go into ordinary shops ("dealing on the free market", it was called), but the rule was not strictly kept, because there were various things, such as shoelaces and razor blades, which it was impossible to get hold of in any other way. He had given a quick glance up and down the street and then had slipped inside and bought the book for two dollars fifty. At the time he was not conscious of wanting it for any particular purpose. He had carried it guiltily home in his briefcase. Even with nothing written in it, it was a compromising possession.

Но кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости -- такой бумаги не выпускали уже лет сорок, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он приметил ее на витрине старьевщика в трущобном районе (где именно, он уже забыл) и загорелся желанием купить. Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины (это называлось «приобретать товары на свободном рынке»), но запретом часто пренебрегали: множество вещей, таких, как шнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстро оглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу за два доллара пятьдесят. Зачем -- он сам еще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая, она компрометировала владельца.

The thing that he was about to do was to open a diary. This was not illegal (nothing was illegal, since there were no longer any laws), but if detected it was reasonably certain that it would be punished by death, or at least by twenty-five years in a forced-labour camp. Winston fitted a nib into the penholder and sucked it to get the grease off. The pen was an archaic instrument, seldom used even for signatures, and he had procured one, furtively and with some difficulty, simply because of a feeling that the beautiful creamy paper deserved to be written on with a real nib instead of being scratched with an ink-pencil. Actually he was not used to writing by hand. Apart from very short notes, it was usual to dictate everything into the speak-write which was of course impossible for his

Намеревался же он теперь -- начать дневник. Это не было противозаконным поступком (противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов), но если дневник обнаружат, Уинстона ожидает смерть или, в лучшем случае, двадцать пять лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Уинстон раздобыл свою тайком и не без труда: эта красивая кремовая бумага, казалось ему, заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не корябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в

present purpose. He dipped the pen into the ink and then faltered for just a second. A tremor had gone through his bowels. To mark the paper was the decisive act. In small clumsy letters he wrote:

April 4th, 1984.

He sat back. A sense of complete helplessness had descended upon him. To begin with, he did not know with any certainty that this was 1984. It must be round about that date, since he was fairly sure that his age was thirty-nine, and he believed that he had been born in 1944 or 1945; but it was never possible nowadays to pin down any date within a year or two.

For whom, it suddenly occurred to him to wonder, was he writing this diary? For the future, for the unborn. His mind hovered for a moment round the doubtful date on the page, and then fetched up with a bump against the Newspeak word *doublethink*. For the first time the magnitude of what he had undertaken came home to him. How could you communicate with the future? It was of its nature impossible. Either the future would resemble the present, in which case it would not listen to him: or it would be different from it, and his predicament would be meaningless.

For some time he sat gazing stupidly at the paper. The telescreen had changed over to strident military music. It was curious that he seemed not merely to have lost the power of expressing himself, but even to have forgotten what it was that he had originally intended to say. For weeks past he had been making ready for this moment, and it had never crossed his mind that anything would be needed except courage. The actual writing would be easy. All he had to do was to transfer to paper the interminable restless monologue that had been running inside his head, literally for years. At this moment, however, even the monologue had dried up. Moreover his varicose ulcer had begun itching unbearably. He dared not scratch it, because if he did so it always became inflamed. The seconds were ticking by. He was conscious of nothing except the blankness of the page in front of him, the itching of the skin above his ankle, the blaring of the music, and a slight booziness caused by the gin.

Suddenly he began writing in sheer panic,

речепис, но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги -- бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел:

4 апреля 1984 года

И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего он не знал, правда ли, что год -- 1984-й. Около этого -- несомненно: он был почти уверен, что ему 39 лет, а родился он в 1944-м или 45-м; но теперь невозможно установить никакую дату точнее, чем с ошибкой в год или два.

А для кого, вдруг озадачился он, пишется этот дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово *двоемыслие.* И впервые ему стал виден весь масштаб его затеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже на сегодня и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего ему не скажут.

Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телекрана ударила резкая военная музыка. Любопытно: он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову не пришло, что потребуется тут не одна храбрость. Только записать -- чего проще? Перенести на бумагу нескончаемый тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вот даже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу -- от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только белизна бумаги, да зуд над щиколоткой, да гремучая музыка, да легкий хмель в голове -- вот и все, что воспринимали сейчас его чувства.

И вдруг он начал писать -- просто от

only imperfectly aware of what he was setting down. His small but childish handwriting straggled up and down the page, shedding first its capital letters and finally even its full stops:

April 4th, 1984. Last night to the flicks. All war films. One very good one of a ship full of refugees being bombed somewhere in the Mediterranean. Audience much amused by shots of a great huge fat man trying to swim away with a helicopter after him, first you saw him wallowing along in the water like a porpoise, then you saw him through the helicopters gunsights, then he was full of holes and the sea round him turned pink and he sank as suddenly as though the holes had let in the water, audience shouting with laughter when he sank. then you saw a lifeboat full of children with a helicopter hovering over it. there was a middle-aged woman might have been a jewess sitting up in the bow with a little boy about three years old in her arms. little boy screaming with fright and hiding his head between her breasts as if he was trying to burrow right into her and the woman putting her arms round him and comforting him although she was blue with fright herself, all the time covering him up as much as possible as if she thought her arms could keep the bullets off him. then the helicopter planted a 20 kilo bomb in among them terrific flash and the boat went all to matchwood. then there was a wonderful shot of a child's arm going up up up right up into the air a helicopter with a camera in its nose must have followed it up and there was a lot of applause from the party seats but a woman down in the prole part of the house suddenly started kicking up a fuss and shouting they didnt oughter of showed it not in front of kids they didnt it aint right not in front of kids it aint until the police turned her turned her out i dont suppose anything happened to her nobody cares what the proles say typical prole reaction they never--

Winston stopped writing, partly because he was suffering from cramp. He did not know what had made him pour out this stream of rubbish. But the curious thing was that while he was doing so a totally different memory had clarified itself in his mind, to the point where he almost felt equal to writing it down. It was, he now realized, because of this other incident that he had

паники, очень смутно сознавая, что идет из-под пера. Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва заглавные буквы, а потом и точки.

4 апреля 1984 года. Вчера в кино. Сплошь военные фильмы. Один очень хороший где-то и Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры, где пробует уплыть громадный толстенный мужчина а его преследует вертолет. сперва мы видим как он по-дельфиньи бултыхается в воде, потом видим его с вертолета через прицел потом он весь продырявлен и море вокруг него розовое и сразу тонет словно через дыры набрал воды. когда он пошел на дно зрители загоготали. Потом шлюпка полная детей и над ней вьется вертолет. там на носу сидела женщина средних лет похожая на еврейку а на руках у нее мальчик лет трех. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди как будто хочет в нее ввинтиться а она его успокаивает и прикрывает руками хотя сама посинела от страха. все время старается закрыть его руками получше, как будто может заслонить от пуль. потом вертолет сбросил на них 20 килограммовую бомбу ужасный взрыв и лодка разлетелась в щепки. потом замечательный кадр детская рука летит вверх, вверх прямо в небо наверно ее снимали из стеклянного носа вертолета и в партийных рядах громко аплодировали но там где сидели пролы какая-то женщина подняла скандал и крик, что этого нельзя показывать при детях куда это годится куда это годится при детях и скандалила пока полицейские не вывели не вывели ее вряд ли ей что-нибудь сделают мало ли что говорят пролы типичная проловская реакция на это никто не обращает...

Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал, почему выплеснул на бумагу этот вздор. Но любопытно, что, пока он водил пером, в памяти у него отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему стало понятно, что из-за этого происшествия он и решил вдруг пойти домой и начать

suddenly decided to come home and begin the diary today.

дневник сегодня.

It had happened that morning at the Ministry, if anything so nebulous could be said to happen.

Случилось оно утром в министерстве -- если о такой туманности можно сказать «случилась».

It was nearly eleven hundred, and in the Records Department, where Winston worked, they were dragging the chairs out of the cubicles and grouping them in the centre of the hall opposite the big telescreen, in preparation for the Two Minutes Hate. Winston was just taking his place in one of the middle rows when two people whom he knew by sight, but had never spoken to, came unexpectedly into the room. One of them was a girl whom he often passed in the corridors. He did not know her name, but he knew that she worked in the Fiction Department. Presumably -- since he had sometimes seen her with oily hands and carrying a spanner -- she had some mechanical job on one of the novel-writing machines. She was a bold-looking girl, of about twenty-seven, with thick hair, a freckled face, and swift, athletic movements. A narrow scarlet sash, emblem of the Junior Anti-Sex League, was wound several times round the waist of her overalls, just tightly enough to bring out the shapeliness of her hips. Winston had disliked her from the very first moment of seeing her. He knew the reason. It was because of the atmosphere of hockey-fields and cold baths and community hikes and general clean-mindedness which she managed to carry about with her. He disliked nearly all women, and especially the young and pretty ones. It was always the women, and above all the young ones, who were the most bigoted adherents of the Party, the swallowers of slogans, the amateur spies and nosers-out of unorthodoxy. But this particular girl gave him the impression of being more dangerous than most. Once when they passed in the corridor she gave him a quick sidelong glance which seemed to pierce right into him and for a moment had filled him with black terror. The idea had even crossed his mind that she might be an agent of the Thought Police. That, it was true, was very unlikely. Still, he continued to feel a peculiar uneasiness, which had fear mixed up in it as well as hostility, whenever she was anywhere near him.

Время приближалось к одиннадцати-ноль-ноль, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном -- собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще двое: лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал, зная только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и маслеными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Она была веснушчатая, с густыми темными волосами, лет двадцати семи; держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак -- эмблема Молодежного антиполового союза, -- туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда невзлюбил ее. И знал, за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины, и молодые в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А эта казалась ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса -- будто пронзила взглядом, -- и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее всякий раз, когда она оказывалась рядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность и страх.

The other person was a man named

Одновременно с женщиной вошел

O'Brien, a member of the Inner Party and holder of some post so important and remote that Winston had only a dim idea of its nature. A momentary hush passed over the group of people round the chairs as they saw the black overalls of an Inner Party member approaching. O'Brien was a large, burly man with a thick neck and a coarse, humorous, brutal face. In spite of his formidable appearance he had a certain charm of manner. He had a trick of resettling his spectacles on his nose which was curiously disarming -- in some indefinable way, curiously civilized. It was a gesture which, if anyone had still thought in such terms, might have recalled an eighteenth-century nobleman offering his snuffbox. Winston had seen O'Brien perhaps a dozen times in almost as many years. He felt deeply drawn to him, and not solely because he was intrigued by the contrast between O'Brien's urbane manner and his prize-fighter's physique. Much more it was because of a secretly held belief -- or perhaps not even a belief, merely a hope -- that O'Brien's political orthodoxy was not perfect. Something in his face suggested it irresistibly. And again, perhaps it was not even unorthodoxy that was written in his face, but simply intelligence. But at any rate he had the appearance of being a person that you could talk to if somehow you could cheat the telescreen and get him alone. Winston had never made the smallest effort to verify this guess: indeed, there was no way of doing so. At this moment O'Brien glanced at his wrist-watch, saw that it was nearly eleven hundred, and evidently decided to stay in the Records Department until the Two Minutes Hate was over. He took a chair in the same row as Winston, a couple of places away. A small, sandy-haired woman who worked in the next cubicle to Winston was between them. The girl with dark hair was sitting immediately behind.

O'Брайен, член внутренней партии, занимавший настолько высокий и удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. O'Брайен был рослый плотный мужчина с толстой шеей и грубым насмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин восемнадцатого века, предлагающий свою табакерку, -- вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был бы мыслить такими сравнениями. Лет за десять Уинстон видел O'Брайена, наверно, с десяток, раз. Его тянуло к O'Брайену, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал -- а может быть, не подозревал, а лишь надеялся, -- что O'Брайен политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить -- если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку; да и не в его это было силах. O'Брайен взглянул на свои часы, увидел, что время -- почти 11.00, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел водном ряду с Уинстоном, за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним.

The next moment a hideous, grinding speech, as of some monstrous machine running without oil, burst from the big telescreen at the end of the room. It was a noise that set one's teeth on edge and bristled the hair at the back of one's neck. The Hate had started.

И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет -- словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась.

As usual, the face of Emmanuel Goldstein, the Enemy of the People, had flashed on to the screen. There were hisses here and

Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с

there among the audience. The little sandy-haired woman gave a squeak of mingled fear and disgust. Goldstein was the renegade and backslider who once, long ago (how long ago, nobody quite remembered), had been one of the leading figures of the Party, almost on a level with Big Brother himself, and then had engaged in counter-revolutionary activities, had been condemned to death, and had mysteriously escaped and disappeared. The programmes of the Two Minutes Hate varied from day to day, but there was none in which Goldstein was not the principal figure. He was the primal traitor, the earliest defiler of the Party's purity. All subsequent crimes against the Party, all treacheries, acts of sabotage, heresies, deviations, sprang directly out of his teaching. Somewhere or other he was still alive and hatching his conspiracies: perhaps somewhere beyond the sea, under the protection of his foreign paymasters, perhaps even -- so it was occasionally rumoured -- in some hiding-place in Oceania itself.

рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то, давным-давно (так давно. что никто уже и не помнил, когда), был одним из руководителей партии, почти равным самому Старшему Брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа двухминутки каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо где он все еще жил и ковал крамолу: возможно, за морем, под защитой своих иностранных хозяев, а возможно -- ходили и такие слухи, -- здесь, в Океании, в подполье.

Winston's diaphragm was constricted. He could never see the face of Goldstein without a painful mixture of emotions. It was a lean Jewish face, with a great fuzzy aureole of white hair and a small goatee beard -- a clever face, and yet somehow inherently despicable, with a kind of senile silliness in the long thin nose, near the end of which a pair of spectacles was perched. It resembled the face of a sheep, and the voice, too, had a sheep-like quality. Goldstein was delivering his usual venomous attack upon the doctrines of the Party -- an attack so exaggerated and perverse that a child should have been able to see through it, and yet just plausible enough to fill one with an alarmed feeling that other people, less level-headed than oneself, might be taken in by it. He was abusing Big Brother, he was denouncing the dictatorship of the Party, he was demanding the immediate conclusion of peace with Eurasia, he was advocating freedom of speech, freedom of the Press, freedom of assembly, freedom of thought, he was crying hysterically that the revolution had been betrayed -- and all this in rapid polysyllabic speech which was a sort of parody of the habitual style of the orators of the Party, and even contained Newspeak words: more Newspeak words,

Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное и мучительное чувство. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка -- умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее; и было что-то сенильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось блеяние. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины; нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишенными убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил Старшего Брата, он обличал диктатуру партии. Требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли; он истерически кричал, что революцию предали, -- и все скороговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время, дабы не было сомнений в том, что

indeed, than any Party member would normally use in real life. And all the while, lest one should be in any doubt as to the reality which Goldstein's specious claptrap covered, behind his head on the telescreen there marched the endless columns of the Eurasian army -- row after row of solid-looking men with expressionless Asiatic faces, who swam up to the surface of the screen and vanished, to be replaced by others exactly similar. The dull rhythmic tramp of the soldiers' boots formed the background to Goldstein's bleating voice.

стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны: шеренга за шеренгой кряжистые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог аккомпанировал блеянию Голдстейна.

Before the Hate had proceeded for thirty seconds, uncontrollable exclamations of rage were breaking out from half the people in the room. The self-satisfied sheep-like face on the screen, and the terrifying power of the Eurasian army behind it, were too much to be borne: besides, the sight or even the thought of Goldstein produced fear and anger automatically. He was an object of hatred more constant than either Eurasia or Eastasia, since when Oceania was at war with one of these Powers it was generally at peace with the other. But what was strange was that although Goldstein was hated and despised by everybody, although every day and a thousand times a day, on platforms, on the telescreen, in newspapers, in books, his theories were refuted, smashed, ridiculed, held up to the general gaze for the pitiful rubbish that they were -- in spite of all this, his influence never seemed to grow less. Always there were fresh dupes waiting to be seduced by him. A day never passed when spies and saboteurs acting under his directions were not unmasked by the Thought Police. He was the commander of a vast shadowy army, an underground network of conspirators dedicated to the overthrow of the State. The Brotherhood, its name was supposed to be. There were also whispered stories of a terrible book, a compendium of all the heresies, of which Goldstein was the author and which circulated clandestinely here and there. It was a book without a title. People referred to it, if at all, simply as *the book*. But one knew of such things only through vague rumours. Neither the Brotherhood nor *the book* was a subject that any ordinary Party member would mention if there was a way of avoiding it.

Ненависть началась каких-нибудь тридцать секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечье лицо и за ним -- устрашающую мощь евразийских войск; кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Остазии, ибо когда Океания воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно: хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день, но тысяче раз на дню, его учение опровергали, громили, уничтожали, высмеивали как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились, новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не проходило и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется Братство. Поговаривали шепотом и об ужасной книге, своде всех ересей -- автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах о ней упоминали -- если упоминали вообще -- просто как о *книге*. Но о таких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии по возможности старался не говорить ни о Братстве, ни о *книге*.

In its second minute the Hate rose to a frenzy. People were leaping up and down in

Ко второй минуте ненависть перешла в исступление. Люди вскакивали с мест и

their places and shouting at the tops of their voices in an effort to drown the maddening bleating voice that came from the screen. The little sandy-haired woman had turned bright pink, and her mouth was opening and shutting like that of a landed fish. Even O'Brien's heavy face was flushed. He was sitting very straight in his chair, his powerful chest swelling and quivering as though he were standing up to the assault of a wave. The dark-haired girl behind Winston had begun crying out "Swine! Swine! Swine!" and suddenly she picked up a heavy Newspeak dictionary and flung it at the screen. It struck Goldstein's nose and bounced off; the voice continued inexorably. In a lucid moment Winston found that he was shouting with the others and kicking his heel violently against the rung of his chair. The horrible thing about the Two Minutes Hate was not that one was obliged to act a part, but, on the contrary, that it was impossible to avoid joining in. Within thirty seconds any pretence was always unnecessary. A hideous ecstasy of fear and vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with a sledge-hammer, seemed to flow through the whole group of people like an electric current, turning one even against one's will into a grimacing, screaming lunatic. And yet the rage that one felt was an abstract, undirected emotion which could be switched from one object to another like the flame of a blowlamp. Thus, at one moment Winston's hatred was not turned against Goldstein at all, but, on the contrary, against Big Brother, the Party, and the Thought Police; and at such moments his heart went out to the lonely, derided heretic on the screen, sole guardian of truth and sanity in a world of lies. And yet the very next instant he was at one with the people about him, and all that was said of Goldstein seemed to him to be true. At those moments his secret loathing of Big Brother changed into adoration, and Big Brother seemed to tower up, an invincible, fearless protector, standing like a rock against the hordes of Asia, and Goldstein, in spite of his isolation, his helplessness, and the doubt that hung about his very existence, seemed like some sinister enchanter, capable by the mere power of his voice of wrecking the structure of civilization.

кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо О'Брайена тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала: «Подлец! Подлец! Подлец!» -- а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно лягает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд -- и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда, нападали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом: люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, а наоборот, на Старшего Брата, на партию, на полицию мыслей; в такие мгновения сердцем он был с этим одиноким осмеянным еретиком, единственным хранителем здравомыслия и правды в мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правдой ему казалось все, что говорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к Старшему Брату превращалось в обожание, и Старший Брат возносился над всеми -- неуязвимый, бесстрашный защитник, скалою вставший перед азийскими ордами, а Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотря на сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим колдуном, способным одной только силой голоса разрушить здание цивилизации.

It was even possible, at moments, to switch one's hatred this way or that by a voluntary act. Suddenly, by the sort of violent effort with which one wrenches one's head away from the pillow in a nightmare, Winston succeeded in transferring his hatred from the face on the screen to the dark-haired girl behind him. Vivid, beautiful hallucinations flashed through his mind. He would flog her to death with a rubber truncheon. He would tie her naked to a stake and shoot her full of arrows like Saint Sebastian. He would ravish her and cut her throat at the moment of climax. Better than before, moreover, he realized *why* it was that he hated her. He hated her because she was young and pretty and sexless, because he wanted to go to bed with her and would never do so, because round her sweet supple waist, which seemed to ask you to encircle it with your arm, there was only the odious scarlet sash, aggressive symbol of chastity.

А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или иной предмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девицу позади. В воображении замелькали прекрасные отчетливые картины. Он забьет ее резиновой дубинкой. Голую привяжет к столбу, истычет стрелами, как святого Себастьяна. Изнасилует и в последних судорогах перережет глотку. И яснее, чем прежде, он понял, за что ее ненавидит. За то, что молодая, красивая и бесполая; за то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется; за то, что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали, -- не его рука, а этот алый кушак, воинствующий символ непорочности.

The Hate rose to its climax. The voice of Goldstein had become an actual sheep's bleat, and for an instant the face changed into that of a sheep. Then the sheep-face melted into the figure of a Eurasian soldier who seemed to be advancing, huge and terrible, his sub-machine gun roaring, and seeming to spring out of the surface of the screen, so that some of the people in the front row actually flinched backwards in their seats. But in the same moment, drawing a deep sigh of relief from everybody, the hostile figure melted into the face of Big Brother, black-haired, black-moustachio'd, full of power and mysterious calm, and so vast that it almost filled up the screen. Nobody heard what Big Brother was saying. It was merely a few words of encouragement, the sort of words that are uttered in the din of battle, not distinguishable individually but restoring confidence by the fact of being spoken. Then the face of Big Brother faded away again, and instead the three slogans of the Party stood out in bold capitals:

Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, а его лицо на миг вытеснила овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате: огромный и ужасный, он шел на них, паля из автомата, грозя прорвать поверхность экрана, -- так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули: фигуру врага заслонила наплывом голова Старшего Брата, черноволосая, черноусая, полная силы и таинственные спокойствия, такая огромная, что заняла почти весь экран. Что говорит Старший Брат, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения, вроде тех, которые произносит вождь в громе битвы, -- сами по себе пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо Старшего Брата потускнело, и выступила четкая крупная надпись -- три партийных лозунга:

WAR IS PEACE

FREEDOM IS SLAVERY

IGNORANCE IS STRENGTH

ВОИНА -- ЭТО МИР

СВОБОДА -- ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ -- СИЛА

But the face of Big Brother seemed to persist for several seconds on the screen, as though the impact that it had made on everyone's eyeballs was too vivid to wear off immediately. The little sandy-haired woman

Но еще несколько мгновений лицо Старшего Брата как бы держалось на экране: так ярок был отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стереться сразу. Маленькая женщина с

had flung herself forward over the back of the chair in front of her. With a tremulous murmur that sounded like "My Saviour!" she extended her arms towards the screen. Then she buried her face in her hands. It was apparent that she was uttering a prayer.

рыжеватыми волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде: «Спаситель мой!» -- и простерла руки к телекрану. Потом закрыла лицо ладонями. По-видимому, она молилась.

At this moment the entire group of people broke into a deep, slow, rhythmical chant of "B-B!....B-B!...." -- over and over again, very slowly, with a long pause between the first "B" and the second-a heavy, murmurous sound, somehow curiously savage, in the background of which one seemed to hear the stamp of naked feet and the throbbing of tom-toms. For perhaps as much as thirty seconds they kept it up. It was a refrain that was often heard in moments of overwhelming emotion. Partly it was a sort of hymn to the wisdom and majesty of Big Brother, but still more it was an act of self-hypnosis, a deliberate drowning of consciousness by means of rhythmic noise. Winston's entrails seemed to grow cold. In the Two Minutes Hate he could not help sharing in the general delirium, but this sub-human chanting of "B-B!....B-B!" always filled him with horror. Of course he chanted with the rest: it was impossible to do otherwise. To dissemble your feelings, to control your face, to do what everyone else was doing, was an instinctive reaction. But there was a space of a couple of seconds during which the expression of his eyes might conceivably have betrayed him. And it was exactly at this moment that the significant thing happened -- if, indeed, it did happen.

Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать: «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» -- снова и снова, врастяжку, с долгой паузой между «ЭС» и «БЭ», и было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное -- мерещился за ним топот босых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величию и мудрости Старшего Брата, но в большей степени самогипноз -- люди топили свои разум в ритмическом шуме. Уинстон ощутил холод в животе. На двухминутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя. Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие, -- все это стало инстинктом. Но был такой промежуток секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время и произошло удивительное событие -- если вправду произошло.

Momentarily he caught O'Brien's eye. O'Brien had stood up. He had taken off his spectacles and was in the act of resettling them on his nose with his characteristic gesture. But there was a fraction of a second when their eyes met, and for as long as it took to happen Winston knew -- yes, he *knew*! -- that O'Brien was thinking the same thing as himself. An unmistakable message had passed. It was as though their two minds had opened and the thoughts were flowing from one into the other through their eyes. "I am with you," O'Brien seemed to be saying to him. "I know precisely what you are feeling. I know all about your contempt, your hatred, your disgust. But don't worry, I am on your side!" And then the flash of intelligence was

Он встретился взглядом с О'Брайеном. О'Брайен уже встал. Он снял очки и сейчас, надев их, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взгляды пересеклись, и за это короткое мгновение Уинстон понял -- да, понял! -- что О'Брайен думает о том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе. Как будто их умы раскрылись и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами. -- будто говорил О'Брайен. -- Я отлично знаю, что вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Не тревожьтесь, я на вашей стороне!» Но этот проблеск ума погас, и лицо у О'Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных.

gone, and O'Brien's face was as inscrutable as everybody else's.

That was all, and he was already uncertain whether it had happened. Such incidents never had any sequel. All that they did was to keep alive in him the belief, or hope, that others besides himself were the enemies of the Party. Perhaps the rumours of vast underground conspiracies were true after all -- perhaps the Brotherhood really existed! It was impossible, in spite of the endless arrests and confessions and executions, to be sure that the Brotherhood was not simply a myth. Some days he believed in it, some days not. There was no evidence, only fleeting glimpses that might mean anything or nothing: snatches of overheard conversation, faint scribbles on lavatory walls -- once, even, when two strangers met, a small movement of the hand which had looked as though it might be a signal of recognition. It was all guesswork: very likely he had imagined everything. He had gone back to his cubicle without looking at O'Brien again. The idea of following up their momentary contact hardly crossed his mind. It would have been inconceivably dangerous even if he had known how to set about doing it. For a second, two seconds, they had exchanged an equivocal glance, and that was the end of the story. But even that was a memorable event, in the locked loneliness in which one had to live.

Вот и все -- и Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имели продолжения. Одно только: они поддерживали в нем веру -- или надежду, -- что есть еще, кроме него, враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны -- может быть, Братство впрямь существует! Ведь, несмотря на бесконечные аресты, признания, казни, не было уверенности, что Братство -- не миф. Иной день он верил в это, иной день -- нет. Доказательств не было -- только взгляды мельком, которые могли означать все, что угодно и ничего не означать, обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных, а однажды, когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можно было усмотреть приветствие. Только догадки; весьма возможно, что все это -- плод воображения. Он ушел в свою кабину, не взглянув на О'Брайена. О том, чтобы развить мимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такая попытка была бы невообразимо опасной. За секунду они успели обменяться двусмысленным взглядом -- вот и все. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества.

Winston roused himself and sat up straighter. He let out a belch. The gin was rising from his stomach.

Уинстон встряхнулся, сел прямо. Он рыгнул. Джин бунтовал в желудке.

His eyes re-focused on the page. He discovered that while he sat helplessly musing he had also been writing, as though by automatic action. And it was no longer the same cramped, awkward handwriting as before. His pen had slid voluptuously over the smooth paper, printing in large neat capitals--

Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что, пока он был занят беспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически. Но не судорожные каракули, как вначале. Перо сладострастно скользило по глянцевой бумаге, крупными печатными буквами выводя:

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

DOWN WITH BIG BROTHER

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

over and over again, filling half a page.

раз за разом, и уже исписана была половина страницы.

He could not help feeling a twinge of panic. It was absurd, since the writing of those

На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно: написать эти

particular words was not more dangerous than the initial act of opening the diary, but for a moment he was tempted to tear out the spoiled pages and abandon the enterprise altogether.

слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник; тем не менее у него возникло искушение разорвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем.

He did not do so, however, because he knew that it was useless. Whether he wrote DOWN WITH BIG BROTHER, or whether he refrained from writing it, made no difference. Whether he went on with the diary, or whether he did not go on with it, made no difference. The Thought Police would get him just the same. He had committed -- would still have committed, even if he had never set pen to paper -- the essential crime that contained all others in itself. Thoughtcrime, they called it. Thoughtcrime was not a thing that could be concealed for ever. You might dodge successfully for a while, even for years, but sooner or later they were bound to get you.

Но он не сделал этого, он знал, что это бесполезно. Напишет он ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА или не напишет -- разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет -- разницы никакой. Полиция мыслей и так и так до него доберется. Он совершил -- и если бы не коснулся бумаги пером, все равно совершил бы -- абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мыслепреступление -- вот как оно называлось. Мыслепреступление нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся.

It was always at night -- the arrests invariably happened at night. The sudden jerk out of sleep, the rough hand shaking your shoulder, the lights glaring in your eyes, the ring of hard faces round the bed. In the vast majority of cases there was no trial, no report of the arrest. People simply disappeared, always during the night. Your name was removed from the registers, every record of everything you had ever done was wiped out, your one-time existence was denied and then forgotten. You were abolished, annihilated: *vapourized* was the usual word.

Бывало это всегда по ночам -- арестовывали по ночам. Внезапно будят, грубая рука трясет тебя за плечи, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, об аресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда -- ночью. Твое имя вынуто из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен: как принято говорить, *распылен.*

For a moment he was seized by a kind of hysteria. He began writing in a hurried untidy scrawl:

На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми буквами стал писать:

theyll shoot me i don’t care theyll shoot me in the back of the neck i dont care down with big brother they always shoot you in the back of the neck i dont care down with big brother--

меня расстреляют мне все равно пускай выстрелят в затылок мне все равно долой старшего брата всегда стреляют в затылок мне все равно долой старшего брата.

He sat back in his chair, slightly ashamed of himself, and laid down the pen. The next moment he started violently. There was a knocking at the door.

С легким стыдом он оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом. Постучали в дверь.

Already! He sat as still as a mouse, in the futile hope that whoever it was might go away after a single attempt. But no, the knocking was repeated. The worst thing of all would be to delay. His heart was thumping like a drum, but his face, from long habit, was probably expressionless. He got up and moved heavily towards the door.

Уже! Он затаился, как мышь, в надежде, что, не достучавшись с первого раза, они уйдут. Но нет, стук повторился. Самое скверное тут -- мешкать. Его сердце бухало, как барабан, но лицо от долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом пошел к двери.

II

As he put his hand to the door-knob Winston saw that he had left the diary open on the table. DOWN WITH BIG BROTHER was written all over it, in letters almost big enough to be legible across the room. It was an inconceivably stupid thing to have done. But, he realized, even in his panic he had not wanted to smudge the creamy paper by shutting the book while the ink was wet.

He drew in his breath and opened the door. Instantly a warm wave of relief flowed through him. A colourless, crushed-looking woman, with wispy hair and a lined face, was standing outside.

"Oh, comrade," she began in a dreary, whining sort of voice, "I thought I heard you come in. Do you think you could come across and have a look at our kitchen sink? It's got blocked up and--"

It was Mrs. Parsons, the wife of a neighbour on the same floor. ("Mrs." was a word somewhat discountenanced by the Party -- you were supposed to call everyone "comrade" -- but with some women one used it instinctively.) She was a woman of about thirty, but looking much older. One had the impression that there was dust in the creases of her face. Winston followed her down the passage. These amateur repair jobs were an almost daily irritation. Victory Mansions were old flats, built in 1930 or thereabouts, and were falling to pieces. The plaster flaked constantly from ceilings and walls, the pipes burst in every hard frost, the roof leaked whenever there was snow, the heating system was usually running at half steam when it was not closed down altogether from motives of economy. Repairs, except what you could do for yourself, had to be sanctioned by remote committees which were liable to hold up even the mending of a window-pane for two years.

"Of course it's only because Tom isn't home," said Mrs. Parsons vaguely.

The Parsons' flat was bigger than Winston's, and dingy in a different way. Everything had a battered, trampled-on look, as though the place had just been visited by some large violent animal. Games impedimenta -- hockey-sticks, boxing-gloves, a burst football, a pair of sweaty

II

Уже взявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что дневник остался на столе раскрытым. Весь в надписях ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА, да таких крупных, что можно разглядеть с другого конца комнаты. Непостижимая глупость. Нет, сообразил он, жалко стало пачкать кремовую бумагу, даже в панике не захотел захлопнуть дневник на непросохшей странице.

Он вздохнул и отпер дверь. И сразу по телу прошла теплая волна облегчения. На пороге стояла бесцветная подавленная женщина с жидкими растрепанными волосами и морщинистым лицом.

-- Ой, товарищ, -- скулящим голосом завела она, -- значит, правильно мне послышалось, что вы пришли. Вы не можете зайти посмотреть нашу раковину в кухне? Она засорилась, а...

Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия не вполне одобряла слово «миссис», всех полагалось называть товарищами, но с некоторыми женщинами это почему-то не получалось.) Ей было лет тридцать, но выглядела она гораздо старше. Впечатление было такое, что в морщинах ее лица лежит пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Этой слесарной самодеятельностью он занимался чуть ли не ежедневно. Дом «Победа» был старой постройки, года 1930-го или около того, и пришел в полный упадок. От стен и потолка постоянно отваривалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла, стоило только выпасть снегу, отопительная система работала на половинном давлении -- если ее не выключали совсем из соображений экономии. Для ремонта, которого ты не мог сделать сам, требовалось распоряжение высоких комиссий, а они и с починкой разбитого окна тянули два года.

-- Конечно, если бы Том был дома... -- неуверенно сказала миссис Парсонс.

Квартира у Парсонсов была больше, чем у него, и убожество ее было другого рода. Все вещи выглядели потрепанными и потоптанными, как будто сюда наведалось большое и злое животное. По полу были разбросаны спортивные принадлежности -- хоккейные клюшки,

shorts turned inside out -- lay all over the floor, and on the table there was a litter of dirty dishes and dog-eared exercise-books. On the walls were scarlet banners of the Youth League and the Spies, and a full-sized poster of Big Brother. There was the usual boiled-cabbage smell, common to the whole building, but it was shot through by a sharper reek of sweat, which -- one knew this at the first sniff, though it was hard to say how -- was the sweat of some person not present at the moment. In another room someone with a comb and a piece of toilet paper was trying to keep tune with the military music which was still issuing from the telescreen.

боксерские перчатки, дырявый футбольный мяч, пропотевшие и вывернутые наизнанку трусы, -- а на столе вперемешку с грязной посудой валялись мятые тетради. На стенах алые знамена Молодежного союза и разведчиков и плакат уличных размеров -- со Старшим Братом. Как и во всем доме, здесь витал душок вареной капусты, но его перешибал крепкий запах пота, оставленный -- это можно было угадать с первой понюшки, хотя и непонятно, по какому признаку, -- человеком, в данное время отсутствующим. В другой комнате кто-то на гребенке пытался подыгрывать телекрану, все еще передававшему военную музыку.

“It’s the children,” said Mrs. Parsons, casting a half-apprehensive glance at the door. “They haven’t been out today. And of course--”

-- Это дети, -- пояснила миссис Парсонс, бросив несколько опасливый взгляд на дверь. -- Они сегодня дома. И конечно...

She had a habit of breaking off her sentences in the middle. The kitchen sink was full nearly to the brim with filthy greenish water which smelt worse than ever of cabbage. Winston knelt down and examined the angle-joint of the pipe. He hated using his hands, and he hated bending down, which was always liable to start him coughing. Mrs. Parsons looked on helplessly.

Она часто обрывала фразы на половине. Кухонная раковина была почти до краев полна грязной зеленоватой водой, пахшей еще хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угольник на трубе. Он терпеть не мог ручного труда и не любил нагибаться -- от этого начинался кашель. Миссис Парсонс беспомощно наблюдала.

“Of course if Tom was home he’d put it right in a moment,” she said. “He loves anything like that. He’s ever so good with his hands, Tom is.”

-- Конечно, если бы Том был дома, он бы в два счета прочистил, -- сказала она. -- Том обожает такую работу. У него золотые руки -- у Тома.

Parsons was Winston’s fellow-employee at the Ministry of Truth. He was a fattish but active man of paralysing stupidity, a mass of imbecile enthusiasms -- one of those completely unquestioning, devoted drudges on whom, more even than on the Thought Police, the stability of the Party depended. At thirty-five he had just been unwillingly evicted from the Youth League, and before graduating into the Youth League he had managed to stay on in the Spies for a year beyond the statutory age. At the Ministry he was employed in some subordinate post for which intelligence was not required, but on the other hand he was a leading figure on the Sports Committee and all the other committees engaged in organizing community hikes, spontaneous demonstrations, savings campaigns, and voluntary activities generally. He would

Парсонс работал вместе с Уинстоном в министерстве правды. Это был толстый, но деятельный человек, ошеломляюще глупый -- сгусток слабоумного энтузиазма, один из тех преданных, невопрошающих работяг, которые подпирали собой партию надежнее, чем полиция мыслей. В возрасте тридцати пяти лет он неохотно покинул ряды Молодежного союза; перед тем же как поступить туда, он умудрился пробыть в разведчиках на год дольше положенного. В министерстве он занимал мелкую должность, которая не требовала умственных способностей, зато был одним из главных деятелей спортивного комитета и разных других комитетов, отвечавших за организацию туристских вылазок, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих

inform you with quiet pride, between whiffs of his pipe, that he had put in an appearance at the Community Centre every evening for the past four years. An overpowering smell of sweat, a sort of unconscious testimony to the strenuousness of his life, followed him about wherever he went, and even remained behind him after he had gone.

“Have you got a spanner?” said Winston, fiddling with the nut on the angle-joint.

“A spanner,” said Mrs. Parsons, immediately becoming invertebrate. “I don’t know, I’m sure. Perhaps the children--”

There was a trampling of boots and another blast on the comb as the children charged into the living-room. Mrs. Parsons brought the spanner. Winston let out the water and disgustedly removed the clot of human hair that had blocked up the pipe. He cleaned his fingers as best he could in the cold water from the tap and went back into the other room.

“Up with your hands!” yelled a savage voice.

A handsome, tough-looking boy of nine had popped up from behind the table and was menacing him with a toy automatic pistol, while his small sister, about two years younger, made the same gesture with a fragment of wood. Both of them were dressed in the blue shorts, grey shirts, and red neckerchiefs which were the uniform of the Spies. Winston raised his hands above his head, but with an uneasy feeling, so vicious was the boy’s demeanour, that it was not altogether a game.

“You’re a traitor!” yelled the boy. “You’re a thought-criminal! You’re a Eurasian spy! I’ll shoot you, I’ll vaporize you, I’ll send you to the salt mines!”

Suddenly they were both leaping round him, shouting “Traitor!” and “Thought-criminal!” the little girl imitating her brother in every movement. It was somehow slightly frightening, like the gambolling of tiger cubs which will soon grow up into man-eaters. There was a sort of calculating ferocity in the boy’s eye, a quite evident desire to hit or kick Winston and a consciousness of being very nearly big enough to do so. It was a good job it was not a real pistol he was holding, Winston thought.

Mrs. Parsons’ eyes flitted nervously from

добровольных начинаний. Со скромной гордостью он сообщал о себе, попыхивая трубкой, что за четыре года не пропустил в общественном центре ни единого вечера. Сокрушительный запах пота -- как бы нечаянный спутник многотрудной жизни -- сопровождал его повсюду и даже оставался после него, когда он уходил.

-- У вас есть гаечный ключ? -- спросил Уинстон, пробуя гайку на соединении.

-- Гаечный? -- сказала миссис Парсонс, слабея на глазах. -- Правда, не знаю. Может быть, дети...

Раздался топот, еще раз взревела гребенка, и в комнату ворвались дети. Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Потом как мог отмыл пальцы под холодной струей и перешел в комнату.

-- Руки вверх! -- гаркнули ему.

Красивый девятилетний мальчик с суровым лицом вынырнул из-за стола, нацелив на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, года на два младше, нацелилась деревяшкой. Оба были в форме разведчиков -- синие трусы, серая рубашка и красный галстук. Уинстон поднял руки, но с неприятным чувством: чересчур уж злобно держался мальчик, игра была не совсем понарошку.

-- Ты изменник! -- завопил мальчик. -- Ты мыслепреступник! Ты евразийский шпион! Я тебя расстреляю, я тебя распылю, я тебя отправлю на соляные шахты!

Они принялись скакать вокруг него, выкрикивая: «Изменник!», «Мыслепреступник!» -- и девочка подражала каждому движению мальчика. Это немного пугало, как возня тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах у мальчика была расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть Уинстона, и он знал, что скоро это будет ему по силам, осталось только чуть-чуть подрасти. Спасибо хоть пистолет не настоящий, подумал Уинстон.

Взгляд миссис Парсонс испуганно

Winston to the children, and back again. In the better light of the living-room he noticed with interest that there actually was dust in the creases of her face.

“They do get so noisy,” she said. “They’re disappointed because they couldn’t go to see the hanging, that’s what it is. I’m too busy to take the, and Tom won’t be back from work in time.”

“Why can’t we go and see the hanging?” roared the boy in his huge voice.

“Want to see the hanging! Want to see the hanging!” chanted the little girl, still capering round.

Some Eurasian prisoners, guilty of war crimes, were to be hanged in the Park that evening, Winston remembered. This happened about once a month, and was a popular spectacle. Children always clamoured to be taken to see it. He took his leave of Mrs. Parsons and made for the door. But he had not gone six steps down the passage when something hit the back of his neck an agonizingly painful blow. It was as though a red-hot wire had been jabbed into him. He spun round just in time to see Mrs. Parsons dragging her son back into the doorway while the boy pocketed a catapult.

“Goldstein!” bellowed the boy as the door closed on him. But what most struck Winston was the look of helpless fright on the woman’s greyish face.

Back in the flat he stepped quickly past the telescreen and sat down at the table again, still rubbing his neck. The music from the telescreen had stopped. Instead, a clipped military voice was reading out, with a sort of brutal relish, a description of the armaments of the new Floating Fortress which had just been anchored between lceland and the Faroe lslands.

With those children, he thought, that wretched woman must lead a life of terror. Another year, two years, and they would be watching her night and day for symptoms of unorthodoxy. Nearly all children nowadays were horrible. What was worst of all was that by means of such organizations as the Spies they were systematically turned into ungovernable little savages, and yet this produced in them no tendency whatever to rebel against the discipline of

метался от Уинстона к детям и обратно. В этой комнате было светлее, и Уинстон с любопытством отметил, что у нее действительно пыль в морщинах.

-- Расшумелись. -- сказала она. -- Огорчились, что нельзя посмотреть на висельников, -- вот почему. Мне с ними пойти некогда, а Том еще не вернется с работы.

-- Почему нам нельзя посмотреть, как вешают? -- оглушительно взревел мальчик.

-- Хочу посмотреть, как вешают! Хочу посмотреть, как вешают! -- подхватила девочка, прыгая вокруг.

Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в Парке будут вешать евразийских пленных -- военных преступников. Это популярное зрелище устраивали примерно раз в месяц. Дети всегда скандалили -- требовали, чтобы их повели смотреть. Он отправился к себе. Но не успел пройти по коридору и шести шагов, как затылок его обожгла невыносимая боль. Будто ткнули в шею докрасна раскаленной проволокой. Он повернулся на месте и увидел, как миссис Парсонс утаскивает мальчика в дверь, а он засовывает в карман рогатку.

-- Голдстейн! -- заорал мальчик, перед тем как закрылась дверь. Но больше всего Уинстона поразило выражение беспомощного страха на сером лице матери.

Уинстон вернулся к себе, поскорее прошел мимо телекрана и снова сел за стол, все еще потирая затылок. Музыка в телекране смолкла. Отрывистый военный голос с грубым удовольствием стал описывать вооружение новой плавающей крепости, поставленной на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

Несчастная женщина, подумал он, жизнь с такими детьми -- это жизнь в постоянном страхе. Через год-другой они станут следить за ней днем и ночью, чтобы поймать на идейной невыдержанности. Теперь почти все дети ужасны. И хуже всего, что при помощи таких организаций, как разведчики, их методически превращают в необузданных маленьких дикарей, причем у них вовсе не возникает

the Party. On the contrary, they adored the Party and everything connected with it. The songs, the processions, the banners, the hiking, the drilling with dummy rifles, the yelling of slogans, the worship of Big Brother -- it was all a sort of glorious game to them. All their ferocity was turned outwards, against the enemies of the State, against foreigners, traitors, saboteurs, thought-criminals. It was almost normal for people over thirty to be frightened of their own children. And with good reason, for hardly a week passed in which the *Times* did not carry a paragraph describing how some eavesdropping little sneak -- "child hero" was the phrase generally used -- had overheard some compromising remark and denounced its parents to the Thought Police.

желания бунтовать против партийной дисциплины. Наоборот, они обожают партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение Старшему Брату -- все это для них увлекательная игра. Их натравливают на чужаков, на врагов системы, на иностранцев, изменников, вредителей, мыслепреступников. Стало обычным делом, что тридцатилетние люди боятся своих детей. И не зря: не проходило недели, чтобы в «Таймс» не мелькнула заметка о том, как юный соглядатай -- «маленький герой», по принятому выражению, -- подслушал нехорошую фразу и донес на родителей в полицию мыслей.

The sting of the catapult bullet had worn off. He picked up his pen half-heartedly, wondering whether he could find something more to write in the diary. Suddenly he began thinking of O'Brien again.

Боль от пульки утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, не зная, что еще написать в дневнике. Вдруг он снова начал думать про О'Брайена.

Years ago -- how long was it? Seven years it must be -- he had dreamed that he was walking through a pitch-dark room. And someone sitting to one side of him had said as he passed: 'We shall meet in the place where there is no darkness.' It was said very quietly, almost casually -- a statement, not a command. He had walked on without pausing. What was curious was that at the time, in the dream, the words had not made much impression on him. It was only later and by degrees that they had seemed to take on significance. He could not now remember whether it was before or after having the dream that he had seen O'Brien for the first time, nor could he remember when he had first identified the voice as O'Brien's. But at any rate the identification existed. It was O'Brien who had spoken to him out of the dark.

Несколько лет назад... -- сколько же? Лет семь, наверно, -- ему приснилось, что он идет в кромешной тьме по какой-то комнате. И кто-то сидящий сбоку говорит ему: «Мы встретимся там, где нет темноты». Сказано это было тихо, как бы между прочим, -- не приказ, просто фраза. Любопытно, что тогда, во сне, большого впечатления эти слова не произвели. Лишь впоследствии, постепенно приобрели они значительность. Он не мог припомнить, было это до или после его первой встречи с О'Брайеном; и когда именно узнал в том голосе голос О'Брайена -- тоже не мог припомнить. Так или иначе, голос был опознан. Говорил с ним во тьме О'Брайен.

Winston had never been able to feel sure -- even after this morning's flash of the eyes it was still impossible to be sure whether O'Brien was a friend or an enemy. Nor did it even seem to matter greatly. There was a link of understanding between them, more important than affection or partisanship. "We shall meet in the place where there is no darkness," he had said. Winston did not know what it meant, only that in some way or another it would come true.

Уинстон до сих пор не уяснил себе -- даже после того, как они переглянулись, не смог уяснить, -- друг О'Брайен или враг. Да и не так уж это, казалось, важно. Между ними протянулась ниточка понимания, а это важнее дружеских чувств или соучастия. «Мы встретимся там, где нет темноты», -- сказал О'Брайен. Что это значит, Уинстон не понимал, но чувствовал, что каким-то образом это сбудется.

The voice from the telescreen paused. A

Голос в телекране прервался. Душную

trumpet call, clear and beautiful, floated into the stagnant air. The voice continued raspingly:

комнату наполнил звонкий, красивый звук фанфар. Скрипучий голос продолжал:

“Attention! Your attention, please! A newsflash has this moment arrived from the Malabar front. Our forces in South India have won a glorious victory. I am authorized to say that the action we are now reporting may well bring the war within measurable distance of its end. Here is the newsflash--”

«Внимание! Внимание! Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали решающую победу. Мне поручено заявить, что в результате этой битвы конец войны может стать делом обозримого будущего. Слушайте сводку».

Bad news coming, thought Winston. And sure enough, following on a gory description of the annihilation of a Eurasian army, with stupendous figures of killed and prisoners, came the announcement that, as from next week, the chocolate ration would be reduced from thirty grammes to twenty.

Жди неприятности, подумал Уинстон. И точно: вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати.

Winston belched again. The gin was wearing off, leaving a deflated feeling. The telescreen -- perhaps to celebrate the victory, perhaps to drown the memory of the lost chocolate -- crashed into “Oceania, ’tis for thee”. You were supposed to stand to attention. However, in his present position he was invisible.

Уинстон опять рыгнул. Джин уже выветрился, оставив после себя ощущение упадка. Телекран, то ли празднуя победу, то ли чтобы отвлечь от мыслей об отнятом шоколаде, громыхнул: «Тебе, Океания». Полагалось встать по стойке смирно. Но здесь он был невидим.

“Oceania, ’tis for thee” gave way to lighter music. Winston walked over to the window, keeping his back to the telescreen. The day was still cold and clear. Somewhere far away a rocket bomb exploded with a dull, reverberating roar. About twenty or thirty of them a week were falling on London at present.

«Тебе, Океания» сменялась легкой музыкой. Держась к телекрану спиной, Уинстон подошел к окну. День был все так же холоден и ясен. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом разорвалась ракета. Теперь их падало на Лондон по двадцать-тридцать штук в неделю.

Down in the street the wind flapped the torn poster to and fro, and the word INGSOC fitfully appeared and vanished. Ingsoc. The sacred principles of Ingsoc. Newspeak, doublethink, the mutability of the past. He felt as though he were wandering in the forests of the sea bottom, lost in a monstrous world where he himself was the monster. He was alone. The past was dead, the future was unimaginable. What certainty had he that a single human creature now living was on his side? And what way of knowing that the dominion of the Party would not endure *for ever*? Like an answer, the three slogans on the white face of the Ministry of Truth came back to him:

Внизу на улице ветер трепал рваный плакат, на нем мелькало слово АНГСОЦ. Ангсоц. Священные устои ангсоца. Новояз, двоемыслие, зыбкость прошлого. У него возникло такое чувство, как будто он бредет по лесу на океанском дне, заблудился в мире чудищ и сам он -- чудище. Он был один. Прошлое умерло, будущее нельзя вообразить. Есть ли какая-нибудь уверенность, что хоть один человек из живых -- на его стороне? И как узнать, что владычество партии не будет *вечным*? И ответом встали перед его глазами три лозунга на белом фасаде министерства правды:

WAR IS PEACE

FREEDOM IS SLAVERY

IGNORANCE IS STRENGTH

ВОИНА -- ЭТО МИР

СВОБОДА -- ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ -- СИЛА

He took a twenty-five cent piece out of his pocket. There, too, in tiny clear lettering, the same slogans were inscribed, and on the other face of the coin the head of Big Brother. Even from the coin the eyes pursued you. On coins, on stamps, on the covers of books, on banners, on posters, and on the wrappings of a cigarette packet -- everywhere. Always the eyes watching you and the voice enveloping you. Asleep or awake, working or eating, indoors or out of doors, in the bath or in bed -- no escape. Nothing was your own except the few cubic centimetres inside your skull.

Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими четкими буквами те же лозунги, а на оборотной стороне -- голова Старшего Брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретных пачках -- повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели -- нет спасения. Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе.

The sun had shifted round, and the myriad windows of the Ministry of Truth, with the light no longer shining on them, looked grim as the loopholes of a fortress. His heart quailed before the enormous pyramidal shape. It was too strong, it could not be stormed. A thousand rocket bombs would not batter it down. He wondered again for whom he was writing the diary. For the future, for the past -- for an age that might be imaginary. And in front of him there lay not death but annihilation. The diary would be reduced to ashes and himself to vapour. Only the Thought Police would read what he had written, before they wiped it out of existence and out of memory. How could you make appeal to the future when not a trace of you, not even an anonymous word scribbled on a piece of paper, could physically survive?

Солнце ушло, погасив тысячи окон на фасаде министерства, и теперь они глядели угрюмо, как крепостные бойницы. Сердце у него сжалось при виде исполинской пирамиды. Слишком прочна она, ее нельзя взять штурмом. Ее не разрушит и тысяча ракет. Он снова спросил себя, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого... для века, быть может, просто воображаемого. И ждет его не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, а его -- в пыль. Написанное им прочтет только полиция мыслей -- чтобы стереть с лица земли и из памяти. Как обратишься к будущему, если следа твоего и даже безымянного слова на земле не сохранится?

The telescreen struck fourteen. He must leave in ten minutes. He had to be back at work by fourteen-thirty.

Телекран пробил четырнадцать. Через десять минут ему уходить. В 14.30 он должен быть на службе.

Curiously, the chiming of the hour seemed to have put new heart into him. He was a lonely ghost uttering a truth that nobody would ever hear. But so long as he uttered it, in some obscure way the continuity was not broken. It was not by making yourself heard but by staying sane that you carried on the human heritage. He went back to the table, dipped his pen, and wrote:

Как ни странно, бой часов словно вернул ему мужество. Одинокий призрак, он возвещает правду, которой никто никогда не расслышит. Но пока он говорит ее, что-то в мире не прервется. Не тем, что заставишь себя услышать, а тем, что остался нормальным, хранишь ты наследие человека. Он вернулся за стол, обмакнул перо и написал.

To the future or to the past, to a time when thought is free, when men are different from one another and do not live alone -- to a time when truth exists and what is done cannot be undone:

Будущему или прошлому -- времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда есть правда и былое не превращается в небыль.

From the age of uniformity, from the age of solitude, from the age of Big Brother, from the age of doublethink -- greetings!

От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи Старшего Брата, от эпохи двоемыслия -- привет!

He was already dead, he reflected. It seemed to him that it was only now, when he had begun to be able to formulate his thoughts, that he had taken the decisive step. The consequences of every act are included in the act itself. He wrote:

Thoughtcrime does not entail death: thoughtcrime IS death.

Now he had recognized himself as a dead man it became important to stay alive as long as possible. Two fingers of his right hand were inkstained. It was exactly the kind of detail that might betray you. Some nosing zealot in the Ministry (a woman, probably: someone like the little sandy-haired woman or the dark-haired girl from the Fiction Department) might start wondering why he had been writing during the lunch interval, why he had used an old-fashioned pen, *what* he had been writing -- and then drop a hint in the appropriate quarter. He went to the bathroom and carefully scrubbed the ink away with the gritty dark-brown soap which rasped your skin like sandpaper and was therefore well adapted for this purpose.

He put the diary away in the drawer. It was quite useless to think of hiding it, but he could at least make sure whether or not its existence had been discovered. A hair laid across the page-ends was too obvious. With the tip of his finger he picked up an identifiable grain of whitish dust and deposited it on the corner of the cover, where it was bound to be shaken off if the book was moved.

III

Winston was dreaming of his mother.

He must, he thought, have been ten or eleven years old when his mother had disappeared. She was a tall, statuesque, rather silent woman with slow movements and magnificent fair hair. His father he remembered more vaguely as dark and thin, dressed always in neat dark clothes (Winston remembered especially the very thin soles of his father's shoes) and wearing spectacles. The two of them must evidently have been swallowed up in one of the first great purges of the fifties.

At this moment his mother was sitting in some place deep down beneath him, with his young sister in her arms. He did not remember his sister at all, except as a tiny,

Я уже мертв, подумал он. Ему казалось, что только теперь, вернув себе способность выражать мысли, сделал он бесповоротный шаг. Последствия любого поступка содержатся в самом поступке. Он написал:

Мыслепреступление не влечет за собой смерть: мыслепреступление ЕСТЬ смерть.

Теперь, когда он понял, что он мертвец, важно прожить как можно дольше. Два пальца на правой руке были в чернилах. Вот такая мелочь тебя и выдаст. Какой-нибудь востроносый ретивец в министерстве (скорее, женщина -- хотя бы та маленькая с рыжеватыми волосами, или темноволосая из отдела литературы) задумается, почему это он писал в обеденный перерыв, и почему писал старинной ручкой, и *что* писал, а потом сообщит куда следует. Он отправился в ванную и тщательно отмыл пальцы зернистым коричневым мылом, которое скребло, как наждак, и отлично годилось для этой цели.

Дневник он положил в ящик стола. Прячь, не прячь -- его все равно найдут; но можно хотя бы проверить, узнали о нем или нет. Волос поперек обреза слишком заметен. Кончиком пальца Уинстон подобрал крупинку белесой пыли и положил на угол переплета: если книгу тронут, крупинка свалится.

III

Уинстону снилась мать.

Насколько он помнил, мать исчезла, когда ему было лет десять-одиннадцать. Это была высокая женщина с роскошными светлыми волосами, величавая, неразговорчивая, медлительная в движениях. Отец запомнился ему хуже: темноволосый, худой, всегда в опрятном темном костюме (почему-то запомнились очень тонкие подошвы его туфель) и в очках. Судя по всему, обоих смела одна из первых больших чисток в 50-е годы.

И вот мать сидела где-то под ним, в глубине, с его сестренкой на руках. Сестру он совсем не помнил -- только маленьким хилым грудным ребенком,

feeble baby, always silent, with large, watchful eyes. Both of them were looking up at him. They were down in some subterranean place -- the bottom of a well, for instance, or a very deep grave -- but it was a place which, already far below him, was itself moving downwards. They were in the saloon of a sinking ship, looking up at him through the darkening water. There was still air in the saloon, they could still see him and he them, but all the while they were sinking down, down into the green waters which in another moment must hide them from sight for ever. He was out in the light and air while they were being sucked down to death, and they were down there because he was up here. He knew it and they knew it, and he could see the knowledge in their faces. There was no reproach either in their faces or in their hearts, only the knowledge that they must die in order that he might remain alive, and that this was part of the unavoidable order of things.

всегда тихим, с большими внимательными глазами. Обе они смотрели на него снизу. Они находились где-то под землей -- то ли на дне колодца, то ли в очень глубокой могиле -- и опускались все глубже. Они сидели в салоне тонущего корабля и смотрели на Уинстона сквозь темную воду. В салоне еще был воздух, и они еще видели его, а он -- их, но они все погружались, погружались в зеленую воду -- еще секунда, и она скроет их навсегда. Он на воздухе и на свету, а их заглатывает пучина, и они там, внизу, *потому что он наверху*. Он понимал это, и они это понимали, и он видел по их лицам, что они понимают. Упрека не было ни на лицах, ни в душе их, а только понимание, что они должны заплатить своей смертью за его жизнь, ибо такова природа вещей.

He could not remember what had happened, but he knew in his dream that in some way the lives of his mother and his sister had been sacrificed to his own. It was one of those dreams which, while retaining the characteristic dream scenery, are a continuation of one's intellectual life, and in which one becomes aware of facts and ideas which still seem new and valuable after one is awake. The thing that now suddenly struck Winston was that his mother's death, nearly thirty years ago, had been tragic and sorrowful in a way that was no longer possible. Tragedy, he perceived, belonged to the ancient time, to a time when there was still privacy, love, and friendship, and when the members of a family stood by one another without needing to know the reason. His mother's memory tore at his heart because she had died loving him, when he was too young and selfish to love her in return, and because somehow, he did not remember how, she had sacrificed herself to a conception of loyalty that was private and unalterable. Such things, he saw, could not happen today. Today there were fear, hatred, and pain, but no dignity of emotion, no deep or complex sorrows. All this he seemed to see in the large eyes of his mother and his sister, looking up at him through the green water, hundreds of

Уинстон не мог вспомнить, как это было, но во сне он знал, что жизни матери и сестры принесены в жертву его жизни. Это был один из тех снов, когда в ландшафте, характерном для сновидения, продолжается дневная работа мысли: тебе открываются идеи и факты, которые и по пробуждении остаются новыми и значительными. Уинстона вдруг осенило, что смерть матери почти тридцать лет назад была трагической и горестной в том смысле, какой уже и непонятен ныне. Трагедия, открылось ему, -- достояние старых времен, времен, когда еще существовало личное, существовала любовь и дружба, и люди в семье стояли друг за друга, не нуждаясь для этого в доводах. Воспоминание о матери рвало ему сердце потому, что она умерла, любя его, а он был слишком молод и эгоистичен, чтобы любить ответно, и потому, что она каким-то образом -- он не помнил, каким -- принесла себя в жертву идее верности, которая была личной и несокрушимой. Сегодня, понял он, такое не может случиться. Сегодня есть страх, ненависть и боль, но нет достоинства чувств, нет ни глубокого, ни сложного горя. Все это он словно прочел в больших глазах матери, которые смотрели на него из зеленой воды, с глубины в сотни саженей, и все

fathoms down and still sinking.

Suddenly he was standing on short springy turf, on a summer evening when the slanting rays of the sun gilded the ground. The landscape that he was looking at recurred so often in his dreams that he was never fully certain whether or not he had seen it in the real world. In his waking thoughts he called it the Golden Country. It was an old, rabbit-bitten pasture, with a foot-track wandering across it and a molehill here and there. In the ragged hedge on the opposite side of the field the boughs of the elm trees were swaying very faintly in the breeze, their leaves just stirring in dense masses like women's hair. Somewhere near at hand, though out of sight, there was a clear, slow-moving stream where dace were swimming in the pools under the willow trees.

The girl with dark hair was coming towards them across the field. With what seemed a single movement she tore off her clothes and flung them disdainfully aside. Her body was white and smooth, but it aroused no desire in him, indeed he barely looked at it. What overwhelmed him in that instant was admiration for the gesture with which she had thrown her clothes aside. With its grace and carelessness it seemed to annihilate a whole culture, a whole system of thought, as though Big Brother and the Party and the Thought Police could all be swept into nothingness by a single splendid movement of the arm. That too was a gesture belonging to the ancient time. Winston woke up with the word "Shakespeare" on his lips.

The telescreen was giving forth an ear-splitting whistle which continued on the same note for thirty seconds. It was nought seven fifteen, getting-up time for office workers. Winston wrenched his body out of bed -- naked, for a member of the Outer Party received only 3,000 clothing coupons annually, and a suit of pyjamas was 600 -- and seized a dingy singlet and a pair of shorts that were lying across a chair. The Physical Jerks would begin in three minutes. The next moment he was doubled up by a violent coughing fit which nearly always attacked him soon after waking up. It emptied his lungs so completely that he could only begin breathing again by lying on his back and taking a series of deep gasps. His veins had swelled with the effort

еще погружавшихся.

Вдруг он очутился на короткой, упругой травке, и был летний вечер, и косые лучи солнца золотили землю. Местность эта так часто появлялась в снах, что он не мог определенно решить, видел ее когда-нибудь наяву или нет. Про себя Уинстон называл ее Золотой страной. Это был старый, выщипанный кроликами луг, по нему бежала тропинка, там и сям виднелись кротовые кочки. На дальнем краю ветер чуть шевелил ветки вязов, вставших неровной изгородью, и плотная масса листвы волновалась, как волосы женщины. А где-то рядом, невидимый, лениво тек ручей, и под ветлами в заводях ходила плотва.

Через луг к нему шла та женщина с темными волосами. Одним движением она сорвала с себя одежду и презрительно отбросила прочь. Тело было белое и гладкое, но не вызвало в нем желания; на тело он едва ли даже взглянул. Его восхитил жест, которым она отшвырнула одежду. Изяществом своим и небрежностью он будто уничтожал целую культуру, целую систему: и Старший Брат, и партия, и полиция мыслей были сметены в небытие одним прекрасным взмахом руки. Этот жест тоже принадлежал старому времени. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.

Телекран испускал оглушительный свист, длившийся на одной ноте тридцать секунд. 07.15, сигнал подъема для служащих. Уинстон выдрался из постели -- нагишом, потому что члену внешней партии выдавали в год всего три тысячи одежных талонов, а пижама стоила шестьсот, -- и схватил со стула выношенную фуфайку и трусы. Через три минуты физзарядка. А Уинстон согнулся пополам от кашля -- кашель почти всегда нападал после сна. Он вытряхивал легкие настолько, что восстановить дыхание Уинстону удавалось лишь лежа на спине, после нескольких глубоких вдохов. Жилы у него вздулись от натуги, и варикозная язва начала зудеть.

of the cough, and the varicose ulcer had started itching.

-- Группа от тридцати до сорока! -- залаял пронзительный женский голос. -- Группа от тридцати до сорока! Займите исходное положение. От тридцати до сорока!

“Thirty to forty group!” yapped a piercing female voice. “Thirty to forty group! Take your places, please. Thirties to forties!”

Winston sprang to attention in front of the telescreen, upon which the image of a youngish woman, scrawny but muscular, dressed in tunic and gym-shoes, had already appeared.

Уинстон встал по стойке смирно перед телекраном: там уже появилась жилистая сравнительно молодая женщина в короткой юбке и гимнастических туфлях.

“Arms bending and stretching!” she rapped out. “Take your time by me. *One*, two, three, four! *One*, two, three, four! Come on, comrades, put a bit of life into it! *One*, two, three four! *One* two, three, four!...”

-- Сгибание рук и потягивание! -- выкрикнула она. -- Делаем по счету. И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре! Веселей, товарищи, больше жизни! И раз, два, три, четыре! И раз, два, три, четыре!

The pain of the coughing fit had not quite driven out of Winston’s mind the impression made by his dream, and the rhythmic movements of the exercise restored it somewhat. As he mechanically shot his arms back and forth, wearing on his face the look of grim enjoyment which was considered proper during the Physical Jerks, he was struggling to think his way backward into the dim period of his early childhood. It was extraordinarily difficult. Beyond the late fifties everything faded. When there were no external records that you could refer to, even the outline of your own life lost its sharpness. You remembered huge events which had quite probably not happened, you remembered the detail of incidents without being able to recapture their atmosphere, and there were long blank periods to which you could assign nothing. Everything had been different then. Even the names of countries, and their shapes on the map, had been different. Airstrip One, for instance, had not been so called in those days: it had been called England or Britain, though London, he felt fairly certain, had always been called London.

Боль от кашля не успела вытеснить впечатления сна, а ритм зарядки их как будто оживил. Машинально выбрасывая и сгибая руки с выражением угрюмого удовольствия, как подобало на гимнастике, Уинстон пробивался к смутным воспоминаниям о раннем детстве. Это было крайне трудно. Все, что происходило в пятидесятые годы, выветрилось из головы. Когда не можешь обратиться к посторонним свидетельствам, теряют четкость даже очертания собственной жизни. Ты помнишь великие события, но возможно, что их и не было; помнишь подробности происшествия, но не можешь ощутить его атмосферу; а есть и пустые промежутки, долгие и не отмеченные вообще ничем. Тогда все было другим. Другими были даже названия стран и контуры их на карте. Взлетная полоса I, например, называлась тогда иначе: она называлась Англией или Британией, а вот Лондон -- Уинстон помнил это более или менее твердо -- всегда назывался Лондоном.

Winston could not definitely remember a time when his country had not been at war, but it was evident that there had been a fairly long interval of peace during his childhood, because one of his early memories was of an air raid which appeared to take everyone by surprise. Perhaps it was the time when the atomic bomb had fallen on Colchester. He did not remember the raid itself, but he did

Уинстон не мог отчетливо припомнить такое время, когда бы страна не воевала; но, по всей видимости, на его детство пришелся довольно продолжительный мирный период, потому что одним из самых ранних воспоминаний был воздушный налет, всех заставший врасплох. Может быть, как раз тогда и сбросили атомную бомбу на Колчестер. Самого налета он не помнил, а помнил

remember his father's hand clutching his own as they hurried down, down, down into some place deep in the earth, round and round a spiral staircase which rang under his feet and which finally so wearied his legs that he began whimpering and they had to stop and rest. His mother, in her slow, dreamy way, was following a long way behind them. She was carrying his baby sister -- or perhaps it was only a bundle of blankets that she was carrying: he was not certain whether his sister had been born then. Finally they had emerged into a noisy, crowded place which he had realized to be a Tube station.

только, как отец крепко держал его за руку и они быстро спускались, спускались, спускались куда-то под землю, круг за кругом, по винтовой лестнице, гудевшей под ногами, и он устал от этого, захныкал, и они остановились отдохнуть. Мать шла, как всегда, мечтательно и медленно, далеко отстав от них. Она несла грудную сестренку -- а может быть, просто одеяло: Уинстон не был уверен, что к тому времени сестра уже появилась на свет. Наконец они пришли на людное, шумное место -- он понял, что это станция метро.

There were people sitting all over the stone-flagged floor, and other people, packed tightly together, were sitting on metal bunks, one above the other. Winston and his mother and father found themselves a place on the floor, and near them an old man and an old woman were sitting side by side on a bunk. The old man had on a decent dark suit and a black cloth cap pushed back from very white hair: his face was scarlet and his eyes were blue and full of tears. He reeked of gin. It seemed to breathe out of his skin in place of sweat, and one could have fancied that the tears welling from his eyes were pure gin. But though slightly drunk he was also suffering under some grief that was genuine and unbearable. In his childish way Winston grasped that some terrible thing, something that was beyond forgiveness and could never be remedied, had just happened. It also seemed to him that he knew what it was. Someone whom the old man loved -- a little granddaughter, perhaps -- had been killed. Every few minutes the old man kept repeating:

На каменном полу сидели люди, другие теснились на железных нарах. Уинстон с отцом и матерью нашли себе место на полу, а возле них на нарах сидели рядышком старик и старуха. Старик в приличном темном костюме и сдвинутой на затылок черной кепке, совершенно седой; лицо у него было багровое, в голубых глазах стояли слезы. От него разило джином. Пахло как будто от всего тела, как будто он потел джином, и можно было вообразить, что слезы его -- тоже чистый джин. Пьяненький был старик, но весь его вид выражал неподдельное и нестерпимое горе. Уинстон детским своим умом догадался, что с ним произошла ужасная беда -- и ее нельзя простить и нельзя исправить. Он даже понял, какая. У старика убили любимого человека -- может быть, маленькую внучку. Каждые две минуты старик повторял:

"We didn't ought to 'ave trusted 'em. I said so, Ma, didn't I? That's what comes of trusting 'em. I said so all along. We didn't ought to 'ave trusted the buggers."

-- Не надо было им верить. Ведь говорил я, мать, говорил? Вот что значит им верить. Я всегда говорил. Нельзя было верить этим стервецам.

But which buggers they didn't ought to have trusted Winston could not now remember.

Но что это за стервецы, которым нельзя было верить, Уинстон уже не помнил.

Since about that time, war had been literally continuous, though strictly speaking it had not always been the same war. For several months during his childhood there had been confused street fighting in London itself, some of which he remembered vividly. But to trace out the history of the whole period, to say who was

С тех пор война продолжалась беспрерывно, хотя, строго говоря, не одна и та же война. Несколько месяцев, опять же в его детские годы, шли беспорядочные уличные бои в самом Лондоне, и кое-что помнилось очень живо. Но проследить историю тех лет, определить, кто с кем и когда сражался,

fighting whom at any given moment, would have been utterly impossible, since no written record, and no spoken word, ever made mention of any other alignment than the existing one. At this moment, for example, in 1984 (if it was 1984), Oceania was at war with Eurasia and in alliance with Eastasia. In no public or private utterance was it ever admitted that the three powers had at any time been grouped along different lines. Actually, as Winston well knew, it was only four years since Oceania had been at war with Eastasia and in alliance with Eurasia. But that was merely a piece of furtive knowledge which he happened to possess because his memory was not satisfactorily under control. Officially the change of partners had never happened. Oceania was at war with Eurasia: therefore Oceania had always been at war with Eurasia. The enemy of the moment always represented absolute evil, and it followed that any past or future agreement with him was impossible.

было совершенно невозможно: ни единого письменного документа, ни единого устного слова об иной расстановке сил, чем нынешняя. Нынче, к примеру, в 1984 году (если год -- 1984-й), Океания воевала с Евразией и состояла в союзе с Остазией. Ни публично, ни с глазу на глаз никто не упоминал о том, что в прошлом отношения трех держав могли быть другими. Уинстон прекрасно знал, что на самом деле Океания воюет с Евразией и дружит с Остазией всего четыре года. Но знал украдкой -- и только потому, что его памятью не вполне управляли. Официально союзник и враг никогда не менялись. Океания воюет с Евразией, следовательно, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг всегда воплощал в себе абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в будущем соглашение с ним немыслимо.

The frightening thing, he reflected for the ten thousandth time as he forced his shoulders painfully backward (with hands on hips, they were gyrating their bodies from the waist, an exercise that was supposed to be good for the back muscles) -- the frightening thing was that it might all be true. If the Party could thrust its hand into the past and say of this or that event, *it never happened* -- that, surely, was more terrifying than mere torture and death?

Самое ужасное, в сотый, тысячный раздумал он, переламываясь в поясе (сейчас они вращали корпусом, держа руки на бедрах -- считалось полезным дли спины), -- самое ужасное, что все это может оказаться правдой. Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, *что его никогда не было*, -- это пострашнее, чем пытка или смерть.

The Party said that Oceania had never been in alliance with Eurasia. He, Winston Smith, knew that Oceania had been in alliance with Eurasia as short a time as four years ago. But where did that knowledge exist? Only in his own consciousness, which in any case must soon be annihilated. And if all others accepted the lie which the Party imposed -- if all records told the same tale -- then the lie passed into history and became truth. “Who controls the past,” ran the Party slogan, “controls the future: who controls the present controls the past.” And yet the past, though of its nature alterable, never had been altered. Whatever was true now was true from everlasting to everlasting. It was quite simple. All that was needed was an unending series of victories over your own memory. “Reality control”, they called it: in Newspeak, ‘doublethink’

Партия говорит, что Океания никогда не заключала союза с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме, а он, так или иначе, скоро будет уничтожен. И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой. «Кто управляет прошлым, -- гласит партийный лозунг, -- тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». И, однако, прошлое, по природе своей изменяемое, изменению никогда не подвергалось. То, что истинно сейчас, истинно от века и на веки вечные. Все очень просто. Нужна всего-навсего непрерывная цепь побед над собственной памятью. Это называется «покорение

действительности»; на новоязе -- «двоемыслие».

"Stand easy!" barked the instructress, a little more genially.

-- Вольно! -- рявкнула преподавательница чуть добродушнее.

Winston sank his arms to his sides and slowly refilled his lungs with air. His mind slid away into the labyrinthine world of doublethink. To know and not to know, to be conscious of complete truthfulness while telling carefully constructed lies, to hold simultaneously two opinions which cancelled out, knowing them to be contradictory and believing in both of them, to use logic against logic, to repudiate morality while laying claim to it, to believe that democracy was impossible and that the Party was the guardian of democracy, to forget whatever it was necessary to forget, then to draw it back into memory again at the moment when it was needed, and then promptly to forget it again: and above all, to apply the same process to the process itself. That was the ultimate subtlety: consciously to induce unconsciousness, and then, once again, to become unconscious of the act of hypnosis you had just performed. Even to understand the word "doublethink" involved the use of doublethink.

Уинстон опустил руки и сделал медленный, глубокий вдох. Ум его забрел в лабиринты двоемыслия. Зная, не знать; верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь; придерживаться одновременно двухпротивоположных мнений, понимая, что одно исключает другое, и быть убежденным в обоих; логикой убивать логику; отвергать мораль, провозглашая ее; полагать, что демократия невозможна и что партия -- блюститель демократии; забыть то, что требуется забыть, и снова вызвать в памяти, когда это понадобится, и снова немедленно забыть, и, главное, применять этот процесс к самому процессу -- вот в чем самая тонкость: сознательно преодолевать сознание и при этом не сознавать, что занимаешься самогипнозом. И даже слова «двоемыслие» не поймешь, не прибегнув к двоемыслию.

The instructress had called them to attention again.

Преподавательница велела им снова встать смирно.

"And now let's see which of us can touch our toes!" she said enthusiastically. "Right over from the hips, please, comrades. *One*-two! *One*-two!..."

-- А теперь посмотрим, кто у нас сумеет достать до носков! -- с энтузиазмом сказала она. -- Прямо с бедер, товарищи. Р-раз-два! Р-раз-два!

Winston loathed this exercise, which sent shooting pains all the way from his heels to his buttocks and often ended by bringing on another coughing fit. The half-pleasant quality went out of his meditations. The past, he reflected, had not merely been altered, it had been actually destroyed. For how could you establish even the most obvious fact when there existed no record outside your own memory? He tried to remember in what year he had first heard mention of Big Brother. He thought it must have been at some time in the sixties, but it was impossible to be certain. In the Party histories, of course, Big Brother figured as the leader and guardian of the Revolution since its very earliest days. His exploits had been gradually pushed backwards in time until already they extended into the fabulous world of the forties and the thirties, when the capitalists in their

Уинстон ненавидел это упражнение: ноги от ягодиц до пяток пронзало болью, и от него нередко начинался припадок кашля. Приятная грусть из его размышлений исчезла. Прошлое, подумал он, не просто было изменено, оно уничтожено. Ибо как ты можешь установить даже самый очевидный факт, если он не запечатлен нигде, кроме как в твоей памяти? Он попробовал вспомнить, когда услышал впервые о Старшем Брате. Кажется, в 60-х... Но разве теперь вспомнишь? В истории партии Старший Брат, конечно, фигурировал как вождь революции с самых первых ее дней. Подвиги его постепенно отодвигались все дальше в глубь времен и простерлись уже в легендарный мир 40-х и 30-х, когда капиталисты в диковинных шляпах-цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в больших лакированных

strange cylindrical hats still rode through the streets of London in great gleaming motor-cars or horse carriages with glass sides. There was no knowing how much of this legend was true and how much invented. Winston could not even remember at what date the Party itself had come into existence. He did not believe he had ever heard the word Ingsoc before 1960, but it was possible that in its Oldspeak form -- "English Socialism", that is to say -- it had been current earlier. Everything melted into mist. Sometimes, indeed, you could put your finger on a definite lie. It was not true, for example, as was claimed in the Party history books, that the Party had invented aeroplanes. He remembered aeroplanes since his earliest childhood. But you could prove nothing. There was never any evidence. Just once in his whole life he had held in his hands unmistakable documentary proof of the falsification of an historical fact. And on that occasion--

автомобилях и конных экипажах со стеклянными боками. Неизвестно, сколько правды в этих сказаниях и сколько вымысла. Уинстон не мог вспомнить даже, когда появилась сама партия. Кажется, слова «ангсоц» он тоже не слышал до 1960 года, хотя возможно, что в староязычной форме -- «английский социализм» -- оно имело хождение и раньше. Все растворяется в тумане. Впрочем, иногда можно поймать и явную ложь. Неправда, например, что партия изобрела самолет, как утверждают книги по партийной истории. Самолеты он помнил с самого раннего детства. Но доказать ничего нельзя. Никаких свидетельств не бывает. Лишь один раз в жизни держал он в руках неопровержимое документальное доказательство подделки исторического факта. Да и то...

"Smith!" screamed the shrewish voice from the telescreen. "6079 Smith W.! Yes, *you*! Bend lower, please! You can do better than that. You're not trying. Lower, please! *That's* better, comrade. Now stand at ease, the whole squad, and watch me."

-- Смит! -- раздался сварливый окрик. -- Шестьдесят -- семьдесят девять, Смит У.! Да, вы! Глубже наклон! Вы ведь можете. Вы не стараетесь. Ниже! Так уже лучше, товарищ. А теперь, вся группа вольно -- и следите за мной.

A sudden hot sweat had broken out all over Winston's body. His face remained completely inscrutable. Never show dismay! Never show resentment! A single flicker of the eyes could give you away. He stood watching while the instructress raised her arms above her head and -- one could not say gracefully, but with remarkable neatness and efficiency -- bent over and tucked the first joint of her fingers under her toes.

Уинстона прошиб горячий пот. Лицо его оставалось совершенно невозмутимым. Не показать тревоги! Не показать возмущения! Только моргни глазом -- и ты себя выдал. Он наблюдал, как преподавательница вскинула руки над головой и -- не сказать, что грациозно, но с завидной четкостью и сноровкой, нагнувшись, зацепилась пальцами за носки туфель.

"*There*, comrades! *That's* how I want to see you doing it. Watch me again. I'm thirty-nine and I've had four children. Now look." She bent over again. "You see *my* knees aren't bent. You can all do it if you want to," she added as she straightened herself up. "Anyone under forty-five is perfectly capable of touching his toes. We don't all have the privilege of fighting in the front line, but at least we can all keep fit. Remember our boys on the Malabar front! And the sailors in the Floating Fortresses! Just think what *they* have to put up with. Now try again. That's better, comrade, that's *much* better," she added

-- Вот так, товарищи! Покажите мне, что вы можете так же. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять лет, и у меня четверо детей. Прошу смотреть. -- Она снова нагнулась. -- Видите, у меня колени прямые. Вы все сможете так сделать, если захотите, -- добавила она, выпрямившись. -- Все, кому нет сорока пяти, способны дотянуться до носков. Нам не выпало чести сражаться на передовой, но по крайней мере мы можем держать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! И моряков на плавающих крепостях! Подумайте, каково приходится им. А

encouragingly as Winston, with a violent lunge, succeeded in touching his toes with knees unbent, for the first time in several years.

теперь попробуем еще раз. Вот, уже лучше, товарищ, гораздо лучше, -- похвалила она Уинстона, когда он с размаху, согнувшись на прямых ногах, сумел достать до носков -- первый раз за несколько лет.

IV

IV

With the deep, unconscious sigh which not even the nearness of the telescreen could prevent him from uttering when his day's work started, Winston pulled the speakwrite towards him, blew the dust from its mouthpiece, and put on his spectacles. Then he unrolled and clipped together four small cylinders of paper which had already flopped out of the pneumatic tube on the right-hand side of his desk.

С глубоким безотчетным вздохом, которого он по обыкновению не сумел сдержать, несмотря на близость телекрана, Уинстон начал свой рабочий день: притянул к себе речепис, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и соединил скрепкой четыре бумажных рулончика, выскочивших из пневматической трубы справа от стола.

In the walls of the cubicle there were three orifices. To the right of the speakwrite, a small pneumatic tube for written messages, to the left, a larger one for newspapers; and in the side wall, within easy reach of Winston's arm, a large oblong slit protected by a wire grating. This last was for the disposal of waste paper. Similar slits existed in thousands or tens of thousands throughout the building, not only in every room but at short intervals in every corridor. For some reason they were nicknamed memory holes. When one knew that any document was due for destruction, or even when one saw a scrap of waste paper lying about, it was an automatic action to lift the flap of the nearest memory hole and drop it in, whereupon it would be whirled away on a current of warm air to the enormous furnaces which were hidden somewhere in the recesses of the building.

В стенах его кабины было три отверстия. Справа от речеписа -- маленькая пневматическая труба для печатных заданий; слева -- побольше, для газет; и в боковой стене, только руку протянуть, -- широкая щель с проволочным забралом. Эта -- для ненужных бумаг. Таких щелей в министерстве были тысячи, десятки тысяч -- не только в каждой комнате, но и в коридорах на каждом шагу. Почему-то их прозвали гнездами памяти. Если человек хотел избавиться от ненужного документа или просто замечал на полу обрывок бумаги, он механически поднимал забрало ближайшего гнезда и бросал туда бумагу; ее подхватывал поток теплого воздуха и уносил к огромным топкам, спрятанным в утробе здания.

Winston examined the four slips of paper which he had unrolled. Each contained a message of only one or two lines, in the abbreviated jargon -- not actually Newspeak, but consisting largely of Newspeak words -- which was used in the Ministry for internal purposes. They ran:

Уинстон просмотрел четыре развернутых листка. На каждом -- задание в одну-две строки, на телеграфном жаргоне, который не был, по существу, новоязом, но состоял из новоязовских слов и служил в министерстве только для внутреннего употребления. Задания выглядели так:

times 17.3.84 bb speech malreported africa rectify

таймс 17.03.84 речь с. б. превратно африка уточнить

times 19.12.83 forecasts 3 yp 4th quarter 83 misprints verify current issue

таймс 19.12.83 план 4 квартала 83 опечатки согласовать сегодняшним номером

times 14.2.84 miniplenty malquoted chocolate rectify

таймс 14.02.84 заяв минизо превратно шоколад уточнить

times 3.12.83 reporting bb dayorder doubleplusungood refs unpersons rewrite

таймс 03.12.83 минусминус изложен наказ с. б. упомянуты нелица переписать

With a faint feeling of satisfaction Winston laid the fourth message aside. It was an intricate and responsible job and had better be dealt with last. The other three were routine matters, though the second one would probably mean some tedious wading through lists of figures.

С тихим удовлетворением Уинстон отодвинул четвертый листок в сторону. Работа тонкая и ответственная, лучше оставить ее напоследок. Остальные три -- шаблонные задачи, хотя для второй, наверное, надо будет основательно покопаться в цифрах.

Winston dialled "back numbers" on the telescreen and called for the appropriate issues of the *Times*, which slid out of the pneumatic tube after only a few minutes' delay. The messages he had received referred to articles or news items which for one reason or another it was thought necessary to alter, or, as the official phrase had it, to rectify. For example, it appeared from the *Times* of the seventeenth of March that Big Brother, in his speech of the previous day, had predicted that the South Indian front would remain quiet but that a Eurasian offensive would shortly be launched in North Africa. As it happened, the Eurasian Higher Command had launched its offensive in South India and left North Africa alone. It was therefore necessary to rewrite a paragraph of Big Brother's speech, in such a way as to make him predict the thing that had actually happened. Or again, the *Times* of the nineteenth of December had published the official forecasts of the output of various classes of consumption goods in the fourth quarter of 1983, which was also the sixth quarter of the Ninth Three-Year Plan. Today's issue contained a statement of the actual output, from which it appeared that the forecasts were in every instance grossly wrong. Winston's job was to rectify the original figures by making them agree with the later ones. As for the third message, it referred to a very simple error which could be set right in a couple of minutes. As short a time ago as February, the Ministry of Plenty had issued a promise (a "categorical pledge" were the official words) that there would be no reduction of the chocolate ration during 1984. Actually, as Winston was aware, the chocolate ration was to be reduced from thirty grammes to twenty at the end of the present week. All that was needed was to substitute for the original promise a warning that it would probably be necessary to reduce the ration at some time in April.

Уинстон набрал на телекране «задние числа» -- затребовал старые выпуски «Таймс»; через несколько минут их уже вытолкнула пневматическая труба. На листках были указаны газетные статьи и сообщения, которые по той или иной причине требовалось изменить или, выражаясь официальным языком, уточнить. Например, из сообщения «Таймс» от 17 марта явствовало, что накануне в своей речи Старший Браг предсказал затишье на южноиндийском фронте и скорое наступление войск Евразии в Северной Африке. На самом же деле евразийцы начали наступление в Южной Индии, а в Северной Африке никаких действий не предпринимали. Надо было переписать этот абзаца речи Старшего Брата так, чтобы он предсказал действительный ход событий. Или, опять же, 19 декабря «Таймс» опубликовала официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на четвертый квартал 1983 года, то есть шестой квартал девятой трехлетки. В сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве, и оказалось, что прогноз был совершенно неверен. Уинстону предстояло уточнить первоначальные цифры, дабы они совпали с сегодняшними. На третьем листке речь шла об очень простой ошибке, которую можно исправить в одну минуту. Не далее как в феврале министерство изобилия обещало (категорически утверждало, по официальному выражению), что в 1984 году норму выдачи шоколада не уменьшат. На самом деле, как было известно и самому Уинстону, в конце нынешней недели норму собирались уменьшить с 30 до 20 граммов. Ему надо было просто заменить старое обещание предуведомлением, что в апреле норму, возможно, придется сократить.

As soon as Winston had dealt with each of the messages, he clipped his speakwritten corrections to the appropriate copy of the *Times* and pushed them into the pneumatic tube. Then, with a movement which was as nearly as possible unconscious, he crumpled up the original message and any notes that he himself had made, and dropped them into the memory hole to be devoured by the flames.

Выполнив первые три задачи, Уинстон скрепил исправленные варианты, вынутые из речеписа, с соответствующими выпусками газеты и отправил в пневматическую трубу. Затем почти бессознательным движением скомкал полученные листки и собственные заметки, сделанные во время работы, и сунул в гнездо памяти для предания их огни.

What happened in the unseen labyrinth to which the pneumatic tubes led, he did not know in detail, but he did know in general terms. As soon as all the corrections which happened to be necessary in any particular number of the *Times* had been assembled and collated, that number would be reprinted, the original copy destroyed, and the corrected copy placed on the files in its stead. This process of continuous alteration was applied not only to newspapers, but to books, periodicals, pamphlets, posters, leaflets, films, sound-tracks, cartoons, photographs -- to every kind of literature or documentation which might conceivably hold any political or ideological significance. Day by day and almost minute by minute the past was brought up to date. In this way every prediction made by the Party could be shown by documentary evidence to have been correct, nor was any item of news, or any expression of opinion, which conflicted with the needs of the moment, ever allowed to remain on record. All history was a palimpsest, scraped clean and reinscribed exactly as often as was necessary. In no case would it have been possible, once the deed was done, to prove that any falsification had taken place.

Что происходило в невидимом лабиринте, к которому вели пневматические трубы, он в точности не знал, имел лишь общее представление. Когда все поправки к данному номеру газеты будут собраны и сверены, номер напечатают заново, старый экземпляр уничтожат и вместо него подошьют исправленный. В этот процесс непрерывного изменения вовлечены не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, листовки, фильмы, фонограммы, карикатуры, фотографии -- все виды литературы и документов, которые могли бы иметь политическое или идеологическое значение. Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое подгонялось под настоящее. Поэтому документами можно было подтвердить верность любого предсказания партии; ни единого известия, ни единого мнения, противоречащего нуждам дня, не существовало в записях. Историю, как старый пергамент, выскабливали начисто и писали заново -- столько раз, сколько нужно. И не было никакого способа доказать потом подделку.

The largest section of the Records Department, far larger than the one on which Winston worked, consisted simply of persons whose duty it was to track down and collect all copies of books, newspapers, and other documents which had been superseded and were due for destruction. A number of the *Times* which might, because of changes in political alignment, or mistaken prophecies uttered by Big Brother, have been rewritten a dozen times still stood on the files bearing its original date, and no other copy existed to contradict it. Books, also, were recalled and rewritten again and again, and were invariably reissued without any admission that any alteration had been made. Even

В самой большой секции документального отдела -- она была гораздо больше той, где трудился Уинстон, -- работали люди, чьей единственной задачей было выискивать и собирать все экземпляры газет, книг и других изданий, подлежащих уничтожению и замене. Номер «Таймс», который из-за политических переналадок и ошибочных пророчеств Старшего Брата перепечатывался, быть может, десяток раз, все равно датирован в подшивке прежним числом, и нет в природе ни единого опровергающего экземпляра. Книги тоже переписывались снова и снова и выходили без упоминания о том, что они переиначены.

the written instructions which Winston received, and which he invariably got rid of as soon as he had dealt with them, never stated or implied that an act of forgery was to be committed: always the reference was to slips, errors, misprints, or misquotations which it was necessary to put right in the interests of accuracy.

But actually, he thought as he re-adjusted the Ministry of Plenty's figures, it was not even forgery. It was merely the substitution of one piece of nonsense for another. Most of the material that you were dealing with had no connexion with anything in the real world, not even the kind of connexion that is contained in a direct lie. Statistics were just as much a fantasy in their original version as in their rectified version. A great deal of the time you were expected to make them up out of your head. For example, the Ministry of Plenty's forecast had estimated the output of boots for the quarter at 145 million pairs. The actual output was given as sixty-two millions. Winston, however, in rewriting the forecast, marked the figure down to fifty-seven millions, so as to allow for the usual claim that the quota had been overfulfilled. In any case, sixty-two millions was no nearer the truth than fifty-seven millions, or than 145 millions. Very likely no boots had been produced at all. Likelier still, nobody knew how many had been produced, much less cared. All one knew was that every quarter astronomical numbers of boots were produced on paper, while perhaps half the population of Oceania went barefoot. And so it was with every class of recorded fact, great or small. Everything faded away into a shadow-world in which, finally, even the date of the year had become uncertain.

Winston glanced across the hall. In the corresponding cubicle on the other side a small, precise-looking, dark-chinned man named Tillotson was working steadily away, with a folded newspaper on his knee and his mouth very close to the mouthpiece of the speakwrite. He had the air of trying to keep what he was saying a secret between himself and the telescreen. He looked up, and his spectacles darted a hostile flash in Winston's direction.

Winston hardly knew Tillotson, and had no idea what work he was employed on. People in the Records Department did not readily

Даже в заказах, получаемых Уинстоном и уничтожаемых сразу после выполнения, не было и намека на то, что требуется подделка: речь шла только об ошибках, искаженных цитатах, оговорках, опечатках, которые надо устранить в интересах точности.

А в общем, думал он, перекраивая арифметику министерства изобилия, это даже не подлог. Просто замена одного вздора другим. Материал твой по большей части вообще не имеет отношения к действительному миру -- даже такого, какое содержит в себе откровенная ложь. Статистика в первоначальном виде -- такая же фантазия, как и в исправленном. Чаще всего требуется, чтобы ты высасывал ее из пальца. Например, министерство изобилия предполагало выпустить в 4-м квартале 145 миллионов пар обуви. Сообщают, что реально произведено 62 миллиона. Уинстон же, переписывая прогноз, уменьшил плановую цифру до 57 миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполненным. Во всяком случае, 62 миллиона ничуть не ближе к истине, чем 57 миллионов или 145. Весьма вероятно, что обуви вообще не произвели. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и, главное, не желает знать. Известно только одно: каждый квартал на бумаге производят астрономическое количество обуви, между тем как половина населения Океании ходит босиком. То же самое -- с любым документированным фактом, крупным и мелким. Все расплывается в призрачном мире. И даже сегодняшнее число едва ли определишь.

Уинстон взглянул на стеклянную кабину по ту сторону коридора. Маленький, аккуратный, с синим подбородком человек по фамилии Тиллотсон усердно трудился там, держа на коленях сложенную газету и приникнув к микрофону речеписа. Вид у него был такой, будто он хочет, чтобы все сказанное осталось между ними двоими -- между ним и речеписом. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули Уинстону.

Уинстон почти не знал Тиллотсона и не имел представления о том, чем он занимается. Сотрудники отдела

talk about their jobs. In the long, windowless hall, with its double row of cubicles and its endless rustle of papers and hum of voices murmuring into speakwrites, there were quite a dozen people whom Winston did not even know by name, though he daily saw them hurrying to and fro in the corridors or gesticulating in the Two Minutes Hate. He knew that in the cubicle next to him the little woman with sandy hair toiled day in day out, simply at tracking down and deleting from the Press the names of people who had been vaporized and were therefore considered never to have existed. There was a certain fitness in this, since her own husband had been vaporized a couple of years earlier. And a few cubicles away a mild, ineffectual, dreamy creature named Ampleforth, with very hairy ears and a surprising talent for juggling with rhymes and metres, was engaged in producing garbled versions -- definitive texts, they were called -- of poems which had become ideologically offensive, but which for one reason or another were to be retained in the anthologies. And this hall, with its fifty workers or thereabouts, was only one sub-section, a single cell, as it were, in the huge complexity of the Records Department. Beyond, above, below, were other swarms of workers engaged in an unimaginable multitude of jobs. There were the huge printing-shops with their sub-editors, their typography experts, and their elaborately equipped studios for the faking of photographs. There was the tele-programmes section with its engineers, its producers, and its teams of actors specially chosen for their skill in imitating voices. There were the armies of reference clerks whose job was simply to draw up lists of books and periodicals which were due for recall. There were the vast repositories where the corrected documents were stored, and the hidden furnaces where the original copies were destroyed. And somewhere or other, quite anonymous, there were the directing brains who co-ordinated the whole effort and laid down the lines of policy which made it necessary that this fragment of the past should be preserved, that one falsified, and the other rubbed out of existence.

документации неохотно говорили о своей работе. В длинном, без окон коридоре с двумя рядами стеклянных кабин, с нескончаемым шелестом бумаги и гудением голосов, бубнящих в речеписы, было не меньше десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя они круглый год мелькали перед ним на этаже и махали руками на двухминутках ненависти. Он знал, что низенькая женщина с рыжеватыми волосами, сидящая в соседней кабине, весь день занимается только тем, что выискивает в прессе и убирает фамилии распыленных, а следовательно, никогда не существовавших людей. В определенном смысле занятие как раз для нее: года два назад ее мужа тоже распылили. А за несколько кабин от Уинстона помещалось кроткое, нескладное, рассеянное создание с очень волосатыми ушами; этот человек по фамилии Амплфорт, удивлявший всех своей сноровкой по части рифм и размеров, изготовлял препарированные варианты -- канонические тексты, как их называли, -- стихотворений, которые стали идеологически невыдержанными, но по той или иной причине не могли быть исключены из антологий. И весь этот коридор с полусотней сотрудников был лишь подсекцией -- так сказать, клеткой -- в сложном организме отдела документации. Дальше, выше, ниже сонмы служащих трудились над невообразимым множеством задач. Тут были огромные типографии со своими редакторами, полиграфистами и отлично оборудованными студиями для фальсификации фотоснимков. Была секция телепрограмм со своими инженерами, режиссерами и целыми труппами артистов, искусно подражающих чужим голосам. Были полки референтов, чья работа сводилась исключительно к тому, чтобы составлять списки книг и периодических изданий, нуждающихся в ревизии. Были необъятные хранилища для подправленных документов и скрытые топки для уничтожения исходных. И где-то, непонятно где, анонимно, существовал руководящий мозг, чертивший политическую линию, в соответствии с которой одну часть прошлого надо было сохранить, другую фальсифицировать, а третью уничтожить

без остатка.

And the Records Department, after all, was itself only a single branch of the Ministry of Truth, whose primary job was not to reconstruct the past but to supply the citizens of Oceania with newspapers, films, textbooks, telescreen programmes, plays, novels -- with every conceivable kind of information, instruction, or entertainment, from a statue to a slogan, from a lyric poem to a biological treatise, and from a child's spelling-book to a Newspeak dictionary. And the Ministry had not only to supply the multifarious needs of the party, but also to repeat the whole operation at a lower level for the benefit of the proletariat. There was a whole chain of separate departments dealing with proletarian literature, music, drama, and entertainment generally. Here were produced rubbishy newspapers containing almost nothing except sport, crime and astrology, sensational five-cent novelettes, films oozing with sex, and sentimental songs which were composed entirely by mechanical means on a special kind of kaleidoscope known as a versificator. There was even a whole sub-section -- *Pornosec*, it was called in Newspeak -- engaged in producing the lowest kind of pornography, which was sent out in sealed packets and which no Party member, other than those who worked on it, was permitted to look at.

Весь отдел документации был лишь ячейкой министерства правды, главной задачей которого была не переделка прошлого, а снабжение жителей Океании газетами, фильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами -- всеми мыслимыми разновидностями информации, развлечений и наставлений, от памятника до лозунга, от лирического стихотворения до биологического трактата, от школьных прописей до словаря новояза. Министерство обеспечивало не только разнообразные нужды партии, но и производило аналогичную продукцию -- сортом ниже -- на потребу пролетариям. Существовала целая система отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и развлечениями вообще. Здесь делались низкопробные газеты, не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии, забористые пятицентовые повестушки. скабрезные фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механическим способом -- на особого рода калейдоскопе, так называемом версификаторе. Был даже особый подотдел -- на новоязе именуемый порносеком, -- выпускавший порнографию самого последнего разбора -- ее рассылали в запечатанных пакетах, и членам партии, за исключением непосредственных изготовителей, смотреть ее запрещалось.

Three messages had slid out of the pneumatic tube while Winston was working, but they were simple matters, and he had disposed of them before the Two Minutes Hate interrupted him. When the Hate was over he returned to his cubicle, took the Newspeak dictionary from the shelf, pushed the speakwrite to one side, cleaned his spectacles, and settled down to his main job of the morning.

Пока Уинстон работал, пневматическая труба вытолкнула еще три заказа, но они оказались простыми, и он разделался с ними до того, как пришлось уйти на двухминутку ненависти. После ненависти он вернулся к себе в кабину, снял с полки словарь новояза, отодвинул речепис, протер очки и взялся за главное задание дня.

Winston's greatest pleasure in life was in his work. Most of it was a tedious routine, but included in it there were also jobs so difficult and intricate that you could lose yourself in them as in the depths of a mathematical problem -- delicate pieces of forgery in which you had nothing to guide you except your knowledge of the principles of Ingsoc and your estimate of what the Party wanted you to say. Winston was good

Самым большим удовольствием в жизни Уинстона была работа. В основном она состояла из скучных и рутинных дел, но иногда попадались такие, что в них можно было уйти с головой, как в математическую задачу, -- такие фальсификации, где руководствоваться ты мог только своим знанием принципов ангсоца и своим представлением о том, что желает услышать от тебя партия. С

at this kind of thing. On occasion he had even been entrusted with the rectification of the *Times* leading articles, which were written entirely in Newspeak. He unrolled the message that he had set aside earlier. It ran:

times 3.12.83 reporting bb dayorder doubleplusungood refs unpersons rewrite fullwise upsub antefiling

In Oldspeak (or standard English) this might be rendered:

The reporting of Big Brother's Order for the Day in the *Times* of December 3rd 1983 is extremely unsatisfactory and makes references to non-existent persons. Rewrite it in full and submit your draft to higher authority before filing.

Winston read through the offending article. Big Brother's Order for the Day, it seemed, had been chiefly devoted to praising the work of an organization known as FFCC, which supplied cigarettes and other comforts to the sailors in the Floating Fortresses. A certain Comrade Withers, a prominent member of the Inner Party, had been singled out for special mention and awarded a decoration, the Order of Conspicuous Merit, Second Class.

Three months later FFCC had suddenly been dissolved with no reasons given. One could assume that Withers and his associates were now in disgrace, but there had been no report of the matter in the Press or on the telescreen. That was to be expected, since it was unusual for political offenders to be put on trial or even publicly denounced. The great purges involving thousands of people, with public trials of traitors and thought-criminals who made abject confession of their crimes and were afterwards executed, were special show-pieces not occurring oftener than once in a couple of years. More commonly, people who had incurred the displeasure of the Party simply disappeared and were never heard of again. One never had the smallest clue as to what had happened to them. In some cases they might not even be dead. Perhaps thirty people personally known to Winston, not counting his parents, had disappeared at one time or another.

Winston stroked his nose gently with a paper-clip. In the cubicle across the way

такими задачами Уинстон справлялся хорошо. Ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», писавшиеся исключительно на новоязе. Он взял отложенный утром четвертый листок:

таймс 03.12.83 минусминус изложен наказ с. б. упомянуты нелица переписать сквозь наверх до подшивки

На староязе (обычном английском) это означало примерно следующее:

В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года крайне неудовлетворительно изложен приказ Старшего Брата по стране: упомянуты несуществующие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству до того, как отправить в архив.

Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКПП -- организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии, -- его наградили орденом «За выдающиеся заслуги» 2-й степени.

Тремя месяцами позже ПКПП внезапно была распущена без объявления причин. Судя по всему, Уидерс и его сотрудники теперь не в чести, хотя ни в газетах, ни по телекрану сообщений об этом не было. Тоже ничего удивительного: судить и даже публично разоблачать политически провинившегося не принято. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей, с открытыми процессами предателей и мыслепреступников, которые жалко каялись в своих преступлениях. а затем подвергались казни, были особыми спектаклями и происходили раз в несколько лет, не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовольствие партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. И бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались в живых. Так в разное время исчезли человек тридцать знакомых Уинстона, не говоря о его родителях.

Уинстон легонько поглаживал себя по носу скрепкой. В кабине напротив

Comrade Tillotson was still crouching secretively over his speakwrite. He raised his head for a moment: again the hostile spectacle-flash. Winston wondered whether Comrade Tillotson was engaged on the same job as himself. It was perfectly possible. So tricky a piece of work would never be entrusted to a single person: on the other hand, to turn it over to a committee would be to admit openly that an act of fabrication was taking place. Very likely as many as a dozen people were now working away on rival versions of what Big Brother had actually said. And presently some master brain in the Inner Party would select this version or that, would re-edit it and set in motion the complex processes of cross-referencing that would be required, and then the chosen lie would pass into the permanent records and become truth.

товарищ Тиллотсон по-прежнему таинственно бормотал, прильнув к микрофону. Он поднял голову, опять враждебно сверкнули очки. Не той же ли задачей занят Тиллотсон? -- подумал Уинстон. Очень может быть. Такую тонкую работу ни за что не доверили бы одному исполнителю: с другой стороны, поручить ее комиссии значит открыто признать, что происходит фальсификация. Возможно, не меньше десятка работников трудились сейчас над собственными версиями того, что сказал на самом деле Старший Брат. Потом какой-то начальственный ум во внутренней партии выберет одну версию, отредактирует ее, приведет в действие сложный механизм перекрестных ссылок, после чего избранная ложь будет сдана на постоянное хранение и сделается правдой.

Winston did not know why Withers had been disgraced. Perhaps it was for corruption or incompetence. Perhaps Big Brother was merely getting rid of a too-popular subordinate. Perhaps Withers or someone close to him had been suspected of heretical tendencies. Or perhaps -- what was likeliest of all -- the thing had simply happened because purges and vaporizations were a necessary part of the mechanics of government. The only real clue lay in the words “refs unpersons”, which indicated that Withers was already dead. You could not invariably assume this to be the case when people were arrested. Sometimes they were released and allowed to remain at liberty for as much as a year or two years before being executed. Very occasionally some person whom you had believed dead long since would make a ghostly reappearance at some public trial where he would implicate hundreds of others by his testimony before vanishing, this time for ever. Withers, however, was already an *unperson*. He did not exist: he had never existed. Winston decided that it would not be enough simply to reverse the tendency of Big Brother’s speech. It was better to make it deal with something totally unconnected with its original subject.

Уинстон не знал, за что попал в немилость Уидерс. Может быть, за разложение или за плохую работу. Может быть, Старший Брат решил избавиться от подчиненного, который стал слишком популярен. Может быть, Уидерс или кто-нибудь из его окружения заподозрен в уклоне. А может быть -- и вероятнее всего, -- случилось это просто потому, что чистки и распыления были необходимой частью государственной механики. Единственный определенный намек содержался в словах «упомянуты нелица» -- это означало, что Уидерса уже нет в живых. Даже арест человека не всегда означал смерть. Иногда его выпускали, и до казни он год или два гулял на свободе. А случалось и так, что человек, которого давно считали мертвым, появлялся, словно призрак, на открытом процессе и давал показания против сотен людей, прежде чем исчезнуть -- на этот раз окончательно. Но Уидерс уже был *нелицом.* Он не существовал; он никогда не существовал. Уинстон решил, что просто изменить направление речи Старшего Брата мало. Пусть он скажет о чем-то, совершенно несвязанном с первоначальной темой.

He might turn the speech into the usual denunciation of traitors and thought-criminals, but that was a little too obvious, while to invent a victory at the front, or

Уинстон мог превратить речь в типовое разоблачение предателей и мыслепреступников -- но это слишком прозрачно, а если изобрести победу на

some triumph of over-production in the Ninth Three-Year Plan, might complicate the records too much. What was needed was a piece of pure fantasy. Suddenly there sprang into his mind, ready made as it were, the image of a certain Comrade Ogilvy, who had recently died in battle, in heroic circumstances. There were occasions when Big Brother devoted his Order for the Day to commemorating some humble, rank-and-file Party member whose life and death he held up as an example worthy to be followed. Today he should commemorate Comrade Ogilvy. It was true that there was no such person as Comrade Ogilvy, but a few lines of print and a couple of faked photographs would soon bring him into existence.

фронте или триумфальное перевыполнение трехлетнего плана, то чересчур усложнится документация. Чистая фантазия -- вот что подойдет лучше всего. И вдруг в голове у него возник -- можно сказать, готовеньким -- образ товарища Огилви, недавно павшего в бою смертью храбрых. Бывали случаи, когда Старший Брат посвящал «наказ» памяти какого-нибудь скромного рядового партийца, чью жизнь и смерть он приводил как пример для подражания. Сегодня он посвятит речь памяти товарища Огилви. Правда, такого товарища на свете не было, но несколько печатных строк и одна-две поддельные фотографии вызовут его к жизни.

Winston thought for a moment, then pulled the speakwrite towards him and began dictating in Big Brother's familiar style: a style at once military and pedantic, and, because of a trick of asking questions and then promptly answering them ("What lessons do we learn from this fact, comrades? The lesson -- which is also one of the fundamental principles of Ingsoc -- that," etc., etc.), easy to imitate.

Уинстон на минуту задумался, потом подтянул к себе речепис и начал диктовать в привычном стиле Старшего Брата: стиль этот, военный и одновременно педантический, благодаря постоянному приему -- задавать вопросы и тут же на них отвечать («Какие уроки мы извлекаем отсюда, товарищи? Уроки -- а они являются также основополагающими принципами ангсоца -- состоят в том...» -- и т.д. и т.п.) -- легко поддавался имитации.

At the age of three Comrade Ogilvy had refused all toys except a drum, a sub-machine gun, and a model helicopter. At six -- a year early, by a special relaxation of the rules -- he had joined the Spies, at nine he had been a troop leader. At eleven he had denounced his uncle to the Thought Police after overhearing a conversation which appeared to him to have criminal tendencies. At seventeen he had been a district organizer of the Junior Anti-Sex League. At nine teen he had designed a hand-grenade which had been adopted by the Ministry of Peace and which, at its first trial, had killed thirty-one Eurasian prisoners in one burst. At twenty-three he had perished in action. Pursued by enemy jet planes while flying over the Indian Ocean with important despatches, he had weighted his body with his machine gun and leapt out of the helicopter into deep water, despatches and all -- an end, said Big Brother, which it was impossible to contemplate without feelings of envy. Big Brother added a few remarks on the purity and single-mindedness of Comrade Ogilvy's

В трехлетнем возрасте товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. Шести лет -- в виде особого исключения -- был принят в разведчики; в девять стал командиром отряда. Одиннадцати лет от роду, услышав дядин разговор, уловил в нем преступные идеи и сообщил об этом в полицию мыслей. В семнадцать стал районным руководителем Молодежного антиполового союза. В девятнадцать изобрел гранату, которая была принята на вооружение министерством мира и на первом испытании уничтожила взрывом тридцать одного евразийского военнопленного. Двадцатитрехлетним погиб на войне. Летя над Индийским океаном с важными донесениями, был атакован вражескими истребителями, привязал к телу пулемет, как грузило, выпрыгнул из вертолета и вместе с донесениями и прочим ушел на дно; такой кончине, сказал Старший Брат, можно только завидовать. Старший Брат подчеркнул, что вся жизнь товарища Огилви была отмечена чистотой и

life. He was a total abstainer and a nonsmoker, had no recreations except a daily hour in the gymnasium, and had taken a vow of celibacy, believing marriage and the care of a family to be incompatible with a twenty-four-hour-a-day devotion to duty. He had no subjects of conversation except the principles of Ingsoc, and no aim in life except the defeat of the Eurasian enemy and the hunting-down of spies, saboteurs, thoughtcriminals, and traitors generally.

целеустремленностью. Товарищ Огилви не пил и не курил, не знал иных развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в гимнастическом зале; считая, что женитьба и семейные заботы несовместимы с круглосуточным служением долгу, он дал обет безбрачия. Он не знал иной темы для разговора, кроме принципов ангсоца, иной цели в жизни, кроме разгрома евразийских полчищ и выявления шпионов, вредителей, мыслепреступников и прочих изменников.

Winston debated with himself whether to award Comrade Ogilvy the Order of Conspicuous Merit: in the end he decided against it because of the unnecessary cross-referencing that it would entail.

Уинстон подумал, не наградить ли товарища Огилви орденом «За выдающиеся заслуги»; решил все-таки не награждать -- это потребовало бы лишних перекрестных ссылок.

Once again he glanced at his rival in the opposite cubicle. Something seemed to tell him with certainty that Tillotson was busy on the same job as himself. There was no way of knowing whose job would finally be adopted, but he felt a profound conviction that it would be his own. Comrade Ogilvy, unimagined an hour ago, was now a fact. It struck him as curious that you could create dead men but not living ones. Comrade Ogilvy, who had never existed in the present, now existed in the past, and when once the act of forgery was forgotten, he would exist just as authentically, and upon the same evidence, as Charlemagne or Julius Caesar.

Он еще раз взглянул на соперника напротив. Непонятно, почему он догадался, что Тиллотсон занят той же работой. Чью версию примут, узнать было невозможно, но он ощутил твердую уверенность, что версия будет его. Товарищ Огилви, которого и в помине не было час назад, обрел реальность. Уинстону показалось занятным, что создавать можно мертвых, но не живых. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом -- и, едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь.

V

V

In the low-ceilinged canteen, deep underground, the lunch queue jerked slowly forward. The room was already very full and deafeningly noisy. From the grille at the counter the steam of stew came pouring forth, with a sour metallic smell which did not quite overcome the fumes of Victory Gin. On the far side of the room there was a small bar, a mere hole in the wall, where gin could be bought at ten cents the large nip.

В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом продвигалась толчками. В зале было полно народу и стоял оглушительный шум. От жаркого за прилавком валил пар с кислым металлическим запахом, но и он не мог заглушить вездесущий душок джина «Победа». В конце зала располагался маленький бар, попросту дыра в стене, где продавали джин по десять центов за шкалик.

“Just the man I was looking for,” said a voice at Winston’s back.

-- Вот кого я искал, -- раздался голос за спиной Уинстона.

He turned round. It was his friend Syme, who worked in the Research Department. Perhaps “friend” was not exactly the right word. You did not have friends nowadays, you had comrades: but there were some comrades whose society was pleasanter than that of others. Syme was a philologist,

Он обернулся. Это был его приятель Сайм из исследовательского отдела, «Приятель», пожалуй, не совсем то слово. Приятелей теперь не было, были товарищи; но общество одних товарищей приятнее, чем общество других. Сайм был филолог, специалист по новоязу. Он состоял в

a specialist in Newspeak. Indeed, he was one of the enormous team of experts now engaged in compiling the Eleventh Edition of the Newspeak Dictionary. He was a tiny creature, smaller than Winston, with dark hair and large, protuberant eyes, at once mournful and derisive, which seemed to search your face closely while he was speaking to you.

громадном научном коллективе, трудившемся над одиннадцатым изданием словаря новояза. Маленький, мельче Уинстона, с темными волосами и большими выпуклыми глазами, скорбными и насмешливыми одновременно которые будто ощупывали лицо собеседника.

"I wanted to ask you whether you'd got any razor blades," he said.

-- Хотел спросить, нет ли у вас лезвий, -- сказал он.

"Not one!" said Winston with a sort of guilty haste. "I've tried all over the place. They don't exist any longer."

-- Ни одного. -- с виноватой поспешностью ответил Уинстон. -- По всему городу искал. Нигде нет.

Everyone kept asking you for razor blades. Actually he had two unused ones which he was hoarding up. There had been a famine of them for months past. At any given moment there was some necessary article which the Party shops were unable to supply. Sometimes it was buttons, sometimes it was darning wool, sometimes it was shoelaces; at present it was razor blades. You could only get hold of them, if at all, by scrounging more or less furtively on the "free" market.

Все спрашивали бритвенные лезвия. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколько месяцев назад. В партийных магазинах вечно исчезал то один обиходный товар, то другой. То пуговицы сгинут, то штопка, то шнурки; а теперь вот -- лезвия. Достать их можно было тайком -- и то если повезет -- на «свободном» рынке.

"I've been using the same blade for six weeks," he added untruthfully.

-- Сам полтора месяца одним бреюсь, -- солгал он.

The queue gave another jerk forward. As they halted he turned and faced Syme again. Each of them took a greasy metal tray from a pile at the end of the counter.

Очередь продвинулась вперед. Остановившись, он снова обернулся к Сайму. Оба взяли по сальному металлическому подносу из стопки.

"Did you go and see the prisoners hanged yesterday?" said Syme.

-- Ходили вчера смотреть, как вешают пленных? -- спросил Сайм.

"I was working," said Winston indifferently. "I shall see it on the flicks, I suppose."

-- Работал, -- безразлично ответил Уинстон. -- В кино, наверно, увижу.

"A very inadequate substitute," said Syme.

-- Весьма неравноценная замена, -- сказал Сайм.

His mocking eyes roved over Winston's face. "I know you," the eyes seemed to say, "I see through you. I know very well why you didn't go to see those prisoners hanged."

Его насмешливый взгляд рыскал по лицу Уинстона. «Знаем вас, -- говорил этот взгляд. -- Насквозь тебя вижу, отлично знаю, почему не пошел смотреть на казнь пленных».

In an intellectual way, Syme was venomously orthodox. He would talk with a disagreeable gloating satisfaction of helicopter raids on enemy villages, and trials and confessions of thought-criminals, the executions in the cellars of the Ministry of Love. Talking to him was largely a matter of getting him away from such subjects and entangling him, if possible, in the technicalities of Newspeak, on which he was authoritative and interesting. Winston

Интеллектуал Сайм был остервенело правоверен. С неприятным сладострастием он говорил об атаках вертолетов на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслепреступников, о казнях в подвалах министерства любви. В разговорах приходилось отвлекать его от этих тем и наводить -- когда удавалось -- на проблемы новояза, о которых он рассуждал интересно и со знанием дела.

turned his head a little aside to avoid the scrutiny of the large dark eyes.

Уинстон чуть отвернул лицо от испытующего взгляда больших черных глаз.

"It was a good hanging," said Syme reminiscently. "I think it spoils it when they tie their feet together. I like to see them kicking. And above all, at the end, the tongue sticking right out, and blue -- a quite bright blue. That's the detail that appeals to me."

-- Красивая получилась казнь, -- мечтательно промолвил Сайм. -- Когда им связывают ноги, по-моему, это только портит картину. Люблю, когда они брыкаются. Но лучше всего конец, когда вываливается синий язык... я бы сказал, ярко-синий. Эта деталь мне особенно мила.

"Nex', please!" yelled the white-aproned prole with the ladle.

-- След'щий! -- крикнула прола в белом фартуке, с половником в руке.

Winston and Syme pushed their trays beneath the grille. On to each was dumped swiftly the regulation lunch -- a metal pannikin of pinkish-grey stew, a hunk of bread, a cube of cheese, a mug of milkless Victory Coffee, and one saccharine tablet.

Уинстон и Сайм сунули свои подносы. Обоим выкинули стандартный обед: жестяную миску с розовато-серым жарким, кусок хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина.

"There's a table over there, under that telescreen," said Syme. "Let's pick up a gin on the way."

-- Есть столик, вон под тем телекраном, -- сказал Сайм. -- По дороге возьмем джину.

The gin was served out to them in handleless china mugs. They threaded their way across the crowded room and unpacked their trays on to the metal-topped table, on one corner of which someone had left a pool of stew, a filthy liquid mess that had the appearance of vomit. Winston took up his mug of gin, paused for an instant to collect his nerve, and gulped the oily-tasting stuff down. When he had winked the tears out of his eyes he suddenly discovered that he was hungry. He began swallowing spoonfuls of the stew, which, in among its general sloppiness, had cubes of spongy pinkish stuff which was probably a preparation of meat. Neither of them spoke again till they had emptied their pannikins. From the table at Winston's left, a little behind his back, someone was talking rapidly and continuously, a harsh gabble almost like the quacking of a duck, which pierced the general uproar of the room.

Джин им дали в фаянсовых кружках без ручек. Они пробрались через людный зал и разгрузили подносы на металлический столик; на углу кто-то разлил соус: грязная жижа напоминала рвоту. Уинстон взял свой джин, секунду помешкал, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Потом сморгнул слезы -- и вдруг почувствовал, что голоден. Он стал заглатывать жаркое полными ложками; в похлебке попадались розовые рыхлые кубики -- возможно, мясной продукт. Оба молчали, пока не опорожнили миски. За столиком сзади и слева от Уинстона кто-то без умолку тараторил -- резкая торопливая речь, похожая на утиное кряканье, пробивалась сквозь общий гомон.

"How is the Dictionary getting on?" said Winston, raising his voice to overcome the noise.

-- Как подвигается словарь? -- Из-за шума Уинстон тоже повысил голос.

"Slowly," said Syme. "I'm on the adjectives. It's fascinating."

-- Медленно, -- ответил Сайм. -- Сижу над прилагательными. Очарование.

He had brightened up immediately at the mention of Newspeak. He pushed his pannikin aside, took up his hunk of bread in one delicate hand and his cheese in the other, and leaned across the table so as to

Заговорив о новоязе, Сайм сразу взбодрился. Отодвинул миску, хрупкой рукой взял хлеб, в другую -- кубик сыра и, чтобы не кричать, подался к Уинстону.

be able to speak without shouting.

"The Eleventh Edition is the definitive edition," he said. "We're getting the language into its final shape -- the shape it's going to have when nobody speaks anything else. When we've finished with it, people like you will have to learn it all over again. You think, I dare say, that our chief job is inventing new words. But not a bit of it! We're destroying words -- scores of them, hundreds of them, every day. We're cutting the language down to the bone. The Eleventh Edition won't contain a single word that will become obsolete before the year 2050."

-- Одиннадцатое издание -- окончательное издание. Мы придаем языку завершенный вид -- в этом виде он сохранится, когда ни на чем другом не будут говорить. Когда мы закончим, людям вроде вас придется изучать его сызнова. Вы, вероятно, полагаете, что главная наша работа -- придумывать новые слова. Ничуть не бывало. Мы уничтожаем слова -- десятками, сотнями ежедневно. Если угодно, оставляем от языка скелет. В две тысячи пятидесятом году ни одно слово, включенное в одиннадцатое издание, не будет устаревшим.

He bit hungrily into his bread and swallowed a couple of mouthfuls, then continued speaking, with a sort of pedant's passion. His thin dark face had become animated, his eyes had lost their mocking expression and grown almost dreamy.

Он жадно откусил хлеб, прожевал и с педантским жаром продолжал речь. Его худое темное лицо оживилось, насмешка в глазах исчезла, и они стали чуть ли не мечтательными.

"It's a beautiful thing, the destruction of words. Of course the great wastage is in the verbs and adjectives, but there are hundreds of nouns that can be got rid of as well. It isn't only the synonyms; there are also the antonyms. After all, what justification is there for a word which is simply the opposite of some other word? A word contains its opposite in itself. Take 'good', for instance. If you have a word like 'good', what need is there for a word like 'bad'? 'Ungood' will do just as well -- better, because it's an exact opposite, which the other is not. Or again, if you want a stronger version of 'good', what sense is there in having a whole string of vague useless words like 'excellent' and 'splendid' and all the rest of them? 'Plusgood' covers the meaning, or 'doubleplusgood' if you want something stronger still. Of course we use those forms already. but in the final version of Newspeak there'll be nothing else. In the end the whole notion of goodness and badness will be covered by only six words -- in reality, only one word. Don't you see the beauty of that, Winston? It was B.B.'s idea originally, of course," he added as an afterthought.

-- Это прекрасно -- уничтожать слова. Главный мусор скопился, конечно в глаголах и прилагательных, но и среди существительных -- сотни и сотни лишних. Не только синонимов; есть ведь и антонимы. Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другому? Слово само содержит свою противоположность. Возьмем, например, «голод». Если есть слово «голод», зачем вам «сытость»? «Неголод» ничем не хуже, даже лучше, потому что оно -- прямая противоположность, а «сытость» -- нет. Или оттенки и степени прилагательных. «Хороший» -- для кого хороший? А «плюсовой» исключает субъективность. Опять же, если вам нужно что-то сильнее «плюсового», какой смысл иметь целый набор расплывчатых бесполезных слов -- «великолепный», «отличный» и так далее? «Плюс плюсовой» охватывает те же значения, а если нужно еще сильнее -- «плюсплюс плюсовой». Конечно, мы и сейчас уже пользуемся этими формами, но в окончательном варианте новояза других просто не останется. В итоге все понятия плохого и хорошего будут описываться только шестью словами, а по сути, двумя. Вы чувствуете, какая стройность, Уинстон? Идея, разумеется, принадлежит Старшему Брату, -- спохватившись, добавил он.

A sort of vapid eagerness flitted across

При имени Старшего Брата лицо

Winston's face at the mention of Big Brother. Nevertheless Syme immediately detected a certain lack of enthusiasm.

Уинстона вяло изобразило пыл. Сайму его энтузиазм показался неубедительным.

"You haven't a real appreciation of Newspeak, Winston," he said almost sadly. "Even when you write it you're still thinking in Oldspeak. I've read some of those pieces that you write in the *Times* occasionally. They're good enough, but they're translations. In your heart you'd prefer to stick to Oldspeak, with all its vagueness and its useless shades of meaning. You don't grasp the beauty of the destruction of words. Do you know that Newspeak is the only language in the world whose vocabulary gets smaller every year?"

-- Вы не цените новояз по достоинству, -- заметил он как бы с печалью. -- Пишете на нем, а думаете все равно на староязе. Мне попадались ваши материалы в «Таймс». В душе вы верны старoязу со всей его расплывчатостью и ненужными оттенками значений. Вам не открылась красота уничтожения слов. Знаете ли вы, что новояз -- единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается?

Winston did know that, of course. He smiled, sympathetically he hoped, not trusting himself to speak. Syme bit off another fragment of the dark-coloured bread, chewed it briefly, and went on:

Этого Уинстон, конечно, не знал. Он улыбнулся, насколько мог сочувственно, не решаясь раскрыть рот. Сайм откусил еще от черного ломтя, наскоро прожевал и заговорил снова,

"Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in which to express it. Every concept that can ever be needed, will be expressed by exactly one word, with its meaning rigidly defined and all its subsidiary meanings rubbed out and forgotten. Already, in the Eleventh Edition, we're not far from that point. But the process will still be continuing long after you and I are dead. Every year fewer and fewer words, and the range of consciousness always a little smaller. Even now, of course, there's no reason or excuse for committing thoughtcrime. It's merely a question of self-discipline, reality-control. But in the end there won't be any need even for that. The Revolution will be complete when the language is perfect. Newspeak is Ingsoc and Ingsoc is Newspeak," he added with a sort of mystical satisfaction. "Has it ever occurred to you, Winston, that by the year 2050, at the very latest, not a single human being will be alive who could understand such a conversation as we are having now?"

-- Неужели вам непонятно, что задача новояза -- сузить горизонты мысли? В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным -- для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом, значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты. В одиннадцатом издании, мы уже на подходе к этой цели. Но процесс будет продолжаться и тогда, когда нас с вами не будет на свете. С каждым годом все меньше и меньше слов, все уже и уже границы мысли. Разумеется, и теперь для мыслепреступления нет ни оправданий, ни причин. Это только вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце концов и в них нужда отпадет. Революция завершится тогда, когда язык станет совершенным. Новояз -- это ангсоц, ангсоц -- это новояз, -- проговорил он с какой-то религиозной умиротворенностью. -- Приходило ли вам в голову, Уинстон, что к две тысячи пятидесятому году, а то и раньше, на земле не останется человека, который смог бы понять наш с вами разговор?

"Except--" began Winston doubtfully, and he stopped.

-- Кроме... -- с сомнением начал Уинстон и осекся.

It had been on the tip of his tongue to say "Except the proles," but he checked himself, not feeling fully certain that this

У него чуть не сорвалось с языка: «кроме пролов», но он сдержался, не будучи уверен в дозволительности этого

remark was not in some way unorthodox. Syme, however, had divined what he was about to say.

"The proles are not human beings," he said carelessly. "By 2050 -- earlier, probably -- all real knowledge of Oldspeak will have disappeared. The whole literature of the past will have been destroyed. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron -- they'll exist only in Newspeak versions, not merely changed into something different, but actually changed into something contradictory of what they used to be. Even the literature of the Party will change. Even the slogans will change. How could you have a slogan like 'freedom is slavery' when the concept of freedom has been abolished? The whole climate of thought will be different. In fact there will be no thought, as we understand it now. Orthodoxy means not thinking -- not needing to think. Orthodoxy is unconsciousness."

One of these days, thought Winston with sudden deep conviction, Syme will be vaporized. He is too intelligent. He sees too clearly and speaks too plainly. The Party does not like such people. One day he will disappear. It is written in his face.

Winston had finished his bread and cheese. He turned a little sideways in his chair to drink his mug of coffee. At the table on his left the man with the strident voice was still talking remorselessly away. A young woman who was perhaps his secretary, and who was sitting with her back to Winston, was listening to him and seemed to be eagerly agreeing with everything that he said. From time to time Winston caught some such remark as "I think you're *so* right, I do *so* agree with you", uttered in a youthful and rather silly feminine voice. But the other voice never stopped for an instant, even when the girl was speaking. Winston knew the man by sight, though he knew no more about him than that he held some important post in the Fiction Department. He was a man of about thirty, with a muscular throat and a large, mobile mouth. His head was thrown back a little, and because of the angle at which he was sitting, his spectacles caught the light and presented to Winston two blank discs instead of eyes. What was slightly horrible, was that from the stream of sound that poured out of his mouth it was almost impossible to distinguish a single word.

замечания. Сайм, однако, угадал его мысль.

-- Пролы -- не люди, -- небрежно парировал он. -- К две тысячи пятидесятому году, если не раньше, по-настоящему владеть староязом не будет никто. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся только в новоязовском варианте, превращенные не просто в нечто иное, а в собственную противоположность. Даже партийная литература станет иной. Даже лозунги изменятся. Откуда взяться лозунгу «Свобода -- это рабство», если упразднено само понятие свободы? *Атмосфера* мышления станет иной. Мышления в нашем современном значении вообще не будет. Правоверный не мыслит -- не нуждается в мышлении. Правоверность -- состояние бессознательное.

В один прекрасный день, внезапно решил Уинстон, Сайма распылят. Слишком умен. Слишком глубоко смотрит и слишком ясно выражается. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него это на лице написано.

Уинстон доел свой хлеб и сыр. Чуть повернулся на стуле, чтобы взять кружку с кофе. За столиком слева немилосердно продолжал свои разглагольствования мужчина со скрипучим голосом. Молодая женщина -- возможно, секретарша -- внимала ему и радостно соглашалась с каждым словом. Время от времени до Уинстона долетал ее молодой и довольно глупый голос, фразы вроде «Как это верно!» Мужчина не умолкал ни на мгновение -- даже когда говорила она. Уинстон встречал его в министерстве и знал, что он занимает какую-то важную должность в отделе литературы. Это был человек лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он слегка откинул голову, и в таком ракурсе Уинстон видел вместо его глаз пустые блики света, отраженного очками. Жутковато делалось оттого, что в хлеставшем изо рта потоке звуков невозможно было поймать ни одного слова. Только раз Уинстон расслышал обрывок фразы: «полная и окончательная ликвидация голдстейновщины» -- обрывок выскочил целиком, как отлитая строка в линотипе. В остальном это был

Just once Winston caught a phrase -- “complete and final elimination of Goldsteinism” -- jerked out very rapidly and, as it seemed, all in one piece, like a line of type cast solid. For the rest it was just a noise, a quack-quack-quacking. And yet, though you could not actually hear what the man was saying, you could not be in any doubt about its general nature. He might be denouncing Goldstein and demanding sterner measures against thought-criminals and saboteurs, he might be fulminating against the atrocities of the Eurasian army, he might be praising Big Brother or the heroes on the Malabar front -- it made no difference. Whatever it was, you could be certain that every word of it was pure orthodoxy, pure Ingsoc. As he watched the eyeless face with the jaw moving rapidly up and down, Winston had a curious feeling that this was not a real human being but some kind of dummy. It was not the man’s brain that was speaking, it was his larynx. The stuff that was coming out of him consisted of words, but it was not speech in the true sense: it was a noise uttered in unconsciousness, like the quacking of a duck.

сплошной шум -- кря-кря-кря. Речь нельзя было разобрать, но общий характер ее не вызывал ни каких сомнений. Метал ли он громы против Голдстейна и требовал более суровых мер против мыслепреступников и вредителей, возмущался ли зверствами евразийской военщины, восхвалял ли Старшего Брата и героев Малабарского фронта -- значения не имело. В любом случае каждое его слово было -- чистая правоверность, чистый ангсоц. Глядя на хлопавшее ртом безглазое лицо, Уинстон испытывал странное чувство, что перед ним неживой человек, а манекен. Не в человеческом мозгу рождалась эта речь -- в гортани. Извержение состояло из слов, но не было речью в подлинном смысле, это был шум, производимый в бессознательном состоянии, утиное кряканье.

Syme had fallen silent for a moment, and with the handle of his spoon was tracing patterns in the puddle of stew. The voice from the other table quacked rapidly on, easily audible in spite of the surrounding din.

Сайм умолк и черенком ложки рисовал в лужице соуса. Кряканье за соседним столом продолжалось с прежней быстротой, легко различимое в общем гуле.

“There is a word in Newspeak,” said Syme, “I don’t know whether you know it: *duckspeak*, to quack like a duck. It is one of those interesting words that have two contradictory meanings. Applied to an opponent, it is abuse, applied to someone you agree with, it is praise.”

-- В новоязе есть слово, -- сказал Сайм, -- Не знаю, известно ли оно вам: «речекряк» -- крякающий по-утиному. Одно из тех интересных слов, у которых два противоположных значения. В применении к противнику это ругательство; в применении к тому, с кем вы согласны, -- похвала.

Unquestionably Syme will be vaporized, Winston thought again. He thought it with a kind of sadness, although well knowing that Syme despised him and slightly disliked him, and was fully capable of denouncing him as a thought-criminal if he saw any reason for doing so. There was something subtly wrong with Syme. There was something that he lacked: discretion, aloofness, a sort of saving stupidity. You could not say that he was unorthodox. He believed in the principles of Ingsoc, he venerated Big Brother, he rejoiced over victories, he hated heretics, not merely with

Сайма несомненно распылят, снова подумал Уинстон. Подумал с грустью, хотя отлично знал, что Сайм презирает его и не слишком любит и вполне может объявить его мыслепреступником, если найдет для этого основания. Чуть-чуть что-то не так с Саймом. Чего-то ему не хватает: осмотрительности, отстраненности, некоей спасительной глупости. Нельзя сказать, что неправоверен. Он верит в принципы ангсоца, чтит Старшего Врата, он радуется победам, ненавидит мыслепреступников не только искренне,

sincerity but with a sort of restless zeal, an up-to-dateness of information, which the ordinary Party member did not approach. Yet a faint air of disreputability always clung to him. He said things that would have been better unsaid, he had read too many books, he frequented the Chestnut Tree Café, haunt of painters and musicians. There was no law, not even an unwritten law, against frequenting the Chestnut Tree Café, yet the place was somehow ill-omened. The old, discredited leaders of the Party had been used to gather there before they were finally purged. Goldstein himself, it was said, had sometimes been seen there, years and decades ago. Syme's fate was not difficult to foresee. And yet it was a fact that if Syme grasped, even for three seconds, the nature of his, Winston's, secret opinions, he would betray him instantly to the Thought police. So would anybody else, for that matter: but Syme more than most. Zeal was not enough. Orthodoxy was unconsciousness.

но рьяно и неутомимо, причем располагая самыми последними сведениями, не нужными рядовому партийцу. Но всегда от него шел какой-то малопочтенный душок. Он говорил то, о чем говорить не стоило, он прочел слишком много книжек, он наведывался в кафе «Под каштаном», которое облюбовали художники и музыканты. Запрета, даже неписаного запрета, на посещение этого кафе не было, но над ним тяготело что-то зловещее. Когда-то там собирались отставные, потерявшие доверие партийные вожди (потом их убрали окончательно). По слухам, бывал там сколько-то лет или десятилетий назад сам Голдстейи. Судьбу Сайма нетрудно было угадать. Но несомненно было и то, что если бы Сайму открылось, хоть на три секунды, каких взглядов держится Уинстон, Сайм немедленно донес бы на Уинстона в полицию мыслей. Впрочем, как и любой на его месте, но все же Сайм скорее. Правоверность -- состояние бессознательное.

Syme looked up. "Here comes Parsons," he said.

Сайм поднял голову.

Something in the tone of his voice seemed to add, "that bloody fool". Parsons, Winston's fellow-tenant at Victory Mansions, was in fact threading his way across the room -- a tubby, middle-sized man with fair hair and a froglike face. At thirty-five he was already putting on rolls of fat at neck and waistline, but his movements were brisk and boyish. His whole appearance was that of a little boy grown large, so much so that although he was wearing the regulation overalls, it was almost impossible not to think of him as being dressed in the blue shorts, grey shirt, and red neckerchief of the Spies. In visualizing him one saw always a picture of dimpled knees and sleeves rolled back from pudgy forearms. Parsons did, indeed, invariably revert to shorts when a community hike or any other physical activity gave him an excuse for doing so. He greeted them both with a cheery "Hullo, hullo!" and sat down at the table, giving off an intense smell of sweat. Beads of moisture stood out all over his pink face. His powers of sweating were extraordinary. At the Community Centre you could always tell when he had been playing table-tennis by the dampness of the bat handle. Syme

-- Вон идет Парсонс, -- сказал он. В голосе его прозвучало: «несносный дурак». И в самом деле между столиками пробирался сосед Уинстона по дому «Победа» -- невысокий, бочкообразных очертаний человек с русыми волосами и лягушачьим лицом. В тридцать пять лет он уже отрастил брюшко и складки жира на загривке, но двигался по-мальчишески легко. Да и выглядел он мальчиком, только большим: хотя он был одет в форменный комбинезон, все время хотелось представить его себе в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке разведчика. Воображению рисовались ямки на коленях и закатанные рукава на пухлых руках. В шорты Парсонс действительно облачался при всяком удобном случае -- и в туристских вылазках и на других мероприятиях, требовавших физической активности. Он приветствовал обоих веселым «Здрасьте, здрасьте!» и сел за стол, обдав их крепким запахом пота. Все лицо его было покрыто росой. Потоотделительные способности у Парсонса были выдающиеся. В клубе всегда можно было угадать, что он поиграл в настольный теннис, по мокрой

had produced a strip of paper on which there was a long column of words, and was studying it with an ink-pencil between his fingers.

“Look at him working away in the lunch hour,” said Parsons, nudging Winston. “Keenness, eh? What’s that you’ve got there, old boy? Something a bit too brainy for me, I expect. Smith, old boy, I’ll tell you why I’m chasing you. It’s that sub you forgot to give me.”

“Which sub is that?” said Winston, automatically feeling for money. About a quarter of one’s salary had to be earmarked for voluntary subscriptions, which were so numerous that it was difficult to keep track of them.

“For Hate Week. You know -- the house-by-house fund. I’m treasurer for our block. We’re making an all-out effort -- going to put on a tremendous show. I tell you, it won’t be my fault if old Victory Mansions doesn’t have the biggest outfit of flags in the whole street. Two dollars you promised me.”

Winston found and handed over two creased and filthy notes, which Parsons entered in a small notebook, in the neat handwriting of the illiterate.

“By the way, old boy,” he said. “I hear that little beggar of mine let fly at you with his catapult yesterday. I gave him a good dressing-down for it. In fact I told him I’d take the catapult away if he does it again.”

“I think he was a little upset at not going to the execution,” said Winston.

“Ah, well -- what I mean to say, shows the right spirit, doesn’t it? Mischievous little beggars they are, both of them, but talk about keenness! All they think about is the Spies, and the war, of course. D’you know what that little girl of mine did last Saturday, when her troop was on a hike out Berkhamsted way? She got two other girls to go with her, slipped off from the hike, and spent the whole afternoon following a strange man. They kept on his tail for two hours, right through the woods, and then, when they got into Amersham, handed him over to the patrols.”

“What did they do that for?” said Winston, somewhat taken aback. Parsons went on triumphantly:

“My kid made sure he was some kind of enemy agent -- might have been dropped by

ручке ракетки. Сайм вытащил полоску бумаги с длинным столбиком слов и принялся читать, держа наготове чернильный карандаш.

-- Смотри, даже в обед работает, -- сказал Парсонс, толкнув Уинстона в бок. -- Увлекается, а? Что у вас там? Не по моим, наверно, мозгам. Смит, знаете, почему я за вами гоняюсь? Вы у меня подписаться забыли.

-- На что подписка? -- спросил Уинстон, машинально потянувшись к карману. Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные подписки, настолько многочисленные, что их и упомнить было трудно.

-- На Неделю ненависти -- подписка по месту жительства. Я домовый казначей. Не щадим усилий -- в грязь лицом не ударим. Скажу прямо, если наш дом «Победа» не выставит больше всех флагов на улице, так не по моей вине. Вы два доллара обещали.

Уинстон нашел и отдал две мятых, замусоленных бумажки, и Парсонс аккуратным почерком малограмотного записал его в блокнотик.

-- Между прочим, -- сказал он, -- я слышал, мой паршивец запулил в вас вчера из рогатки. Я ему задал по первое число. Даже пригрозил: еще раз повторится -- отберу рогатку.

-- Наверное, расстроился, что его не пустили на казнь, -- сказал Уинстон.

-- Да, знаете... я что хочу сказать: сразу видно, что воспитан в правильном духе. Озорные паршивцы -- что один, что другая, -- но увлеченные! Одно на уме -- разведчики, ну и война, конечно. Знаете, что дочурка выкинула в прошлое воскресенье? У них поход был в Беркампстед -- так она сманила еще двух девчонок, откололись от отряда и до вечера следили за одним человеком. Два часа шли за ним, и все лесом, а в Амершеме сдали его патрулю.

-- Зачем это? -- слегка опешив, спросил Уинстон.

Парсонс победоносно продолжал:

parachute, for instance. But here's the point, old boy. What do you think put her on to him in the first place? She spotted he was wearing a funny kind of shoes -- said she'd never seen anyone wearing shoes like that before. So the chances were he was a foreigner. Pretty smart for a nipper of seven, eh?"

-- Дочурка догадалась, что он вражеский агент, на парашюте сброшенный или еще как. Но вот в чем самая штука-то. С чего, вы думаете, она его заподозрила? Туфли на нем чудные -- никогда, говорит, не видала на человеке таких туфель. Что, если иностранец? Семь лет пигалице, а смышленая какая, а?

"What happened to the man?" said Winston.

-- И что с ним сделали? -- спросил Уинстон.

"Ah, that I couldn't say, of course. But I wouldn't be altogether surprised if--" Parsons made the motion of aiming a rifle, and clicked his tongue for the explosion.

-- Ну уж этого я не знаю. Но не особенно удивлюсь, если... -- Парсонс изобразил, будто целится из ружья, и щелкнул языком.

"Good," said Syme abstractedly, without looking up from his strip of paper.

-- Отлично, -- в рассеянности произнес Сайм, не отрываясь от своего листка.

"Of course we can't afford to take chances," agreed Winston dutifully.

-- Конечно, нам без бдительности нельзя, -- поддакнул Уинстон.

"What I mean to say, there is a war on," said Parsons.

-- Война, сами понимаете, -- сказал Парсонс.

As though in confirmation of this, a trumpet call floated from the telescreen just above their heads. However, it was not the proclamation of a military victory this time, but merely an announcement from the Ministry of Plenty.

Как будто в подтверждение его слов телекран у них над головами сыграл фанфару. Но на этот раз была не победа на фронте, а сообщение министерства изобилия.

"Comrades!" cried an eager youthful voice. "Attention, comrades! We have glorious news for you. We have won the battle for production! Returns now completed of the output of all classes of consumption goods show that the standard of living has risen by no less than 20 per cent over the past year. All over Oceania this morning there were irrepressible spontaneous demonstrations when workers marched out of factories and offices and paraded through the streets with banners voicing their gratitude to Big Brother for the new, happy life which his wise leadership has bestowed upon us. Here are some of the completed figures. Foodstuffs--"

-- Товарищи! -- крикнул энергичный молодой голос. -- Внимание, товарищи! Замечательные известия! Победа на производственном фронте. Итоговые сводки о производстве всех видов потребительских товаров показывают, что по сравнению с прошлым годом уровень жизни поднялся не менее чем на двадцать процентов. Сегодня утром по всей Океании прокатилась неудержимая волна стихийных демонстраций. Трудящиеся покинули заводы и учреждения и со знаменами прошли по улицам, выражая благодарность Старшему Брату за новую счастливую жизнь под его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые показатели. Продовольственные товары...

The phrase "our new, happy life" recurred several times. It had been a favourite of late with the Ministry of Plenty. Parsons, his attention caught by the trumpet call, sat listening with a sort of gaping solemnity, a sort of edified boredom. He could not follow the figures, but he was aware that they were in some way a cause for satisfaction. He had lugged out a huge and filthy pipe which was already half full of charred tobacco. With the tobacco ration at 100

Слова «наша новая счастливая жизнь» повторились несколько раз. В последнее время их полюбило министерство изобилия. Парсонс, встрепенувшись от фанфары, слушал приоткрыв рот, торжественно, с выражением впитывающей скуки. За цифрами он уследить не мог, но понимал, что они должны радовать. Он выпростал из кармана громадную вонючую трубку, до половины набитую обуглившимся

grammes a week it was seldom possible to fill a pipe to the top. Winston was smoking a Victory Cigarette which he held carefully horizontal. The new ration did not start till tomorrow and he had only four cigarettes left. For the moment he had shut his ears to the remoter noises and was listening to the stuff that streamed out of the telescreen. It appeared that there had even been demonstrations to thank Big Brother for raising the chocolate ration to twenty grammes a week. And only yesterday, he reflected, it had been announced that the ration was to be *reduced* to twenty grammes a week. Was it possible that they could swallow that, after only twenty-four hours? Yes, they swallowed it. Parsons swallowed it easily, with the stupidity of an animal. The eyeless creature at the other table swallowed it fanatically, passionately, with a furious desire to track down, denounce, and vaporize anyone who should suggest that last week the ration had been thirty grammes. Syme, too -- in some more complex way, involving doublethink, Syme swallowed it. Was he, then, *alone* in the possession of a memory?

табаком. При норме табака сто граммов в неделю человек редко позволял себе набить трубку доверху. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально. Новый талон действовал только с завтрашнего дня, а у него осталось всего четыре сигареты. Сейчас он пробовал отключиться от постороннего шума и расслышать то, что изливалось из телекрана. Кажется, были даже демонстрации благодарности Старшему Брату за то, что он увеличил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера объявили, что норма *уменьшена* до двадцати граммов, подумал Уинстон. Неужели в это поверят -- через какие-нибудь сутки? Верят. Парсонс поверил легко, глупое животное. Безглазый за соседним столом -- фанатично, со страстью, с исступленным желанием выявить, разоблачить, распылить всякого, кто скажет, что на прошлой неделе норма была тридцать граммов. Сайм тоже поверил, только затейливее, при помощи двоемыслия. Так что же, у него одного не отшибло память?

The fabulous statistics continued to pour out of the telescreen. As compared with last year there was more food, more clothes, more houses, more furniture, more cooking-pots, more fuel, more ships, more helicopters, more books, more babies -- more of everything except disease, crime, and insanity. Year by year and minute by minute, everybody and everything was whizzing rapidly upwards. As Syme had done earlier Winston had taken up his spoon and was dabbling in the pale-coloured gravy that dribbled across the table, drawing a long streak of it out into a pattern. He meditated resentfully on the physical texture of life. Had it always been like this? Had food always tasted like this? He looked round the canteen. A low-ceilinged, crowded room, its walls grimy from the contact of innumerable bodies; battered metal tables and chairs, placed so close together that you sat with elbows touching; bent spoons, dented trays, coarse white mugs; all surfaces greasy, grime in every crack; and a sourish, composite smell of bad gin and bad coffee and metallic stew and dirty clothes. Always in your stomach and in your skin there was a sort of protest, a feeling that you had been cheated of

Телекран все извергал сказочную статистику. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше новорожденных -- всего больше, кроме болезней, преступлений и сумасшествия. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно поднималось к новым и новым высотам. Так же как Сайм перед этим, Уинстон взял ложку и стал возить ею в пролитом соусе, придавая длинной лужице правильные очертания. Он с возмущением думал о своем быте, об условиях жизни. Всегда ли она была такой? Всегда ли был такой вкус у еды? Он окинул взглядом столовую. Низкий потолок, набитый зал, грязные от трения бесчисленных тел стены; обшарпанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что сталкиваешься локтями с соседом; гнутые ложки, щербатые подносы, грубые белые кружки; все поверхности сальные, в каждой трещине грязь; и кисловатый смешанный запах скверного джина, скверного кофе, подливки с медью и заношенной одежды.

something that you had a right to. It was true that he had no memories of anything greatly different. In any time that he could accurately remember, there had never been quite enough to eat, one had never had socks or underclothes that were not full of holes, furniture had always been battered and rickety, rooms underheated, tube trains crowded, houses falling to pieces, bread dark-coloured, tea a rarity, coffee filthy-tasting, cigarettes insufficient -- nothing cheap and plentiful except synthetic gin. And though, of course, it grew worse as one's body aged, was it not a sign that this was *not* the natural order of things, if one's heart sickened at the discomfort and dirt and scarcity, the interminable winters, the stickiness of one's socks, the lifts that never worked, the cold water, the gritty soap, the cigarettes that came to pieces, the food with its strange evil tastes? Why should one feel it to be intolerable unless one had some kind of ancestral memory that things had once been different?

Всегда ли так неприятно было твоему желудку и коже, всегда ли было это ощущение, что ты обкраден, обделен? Правда, за всю свою жизнь он не мог припомнить ничего существенно иного. Сколько он себя помнил, еды никогда не было вдоволь, никогда не было целых носков и белья, мебель всегда была обшарпанной и шаткой, комнаты -- нетопленными, поезда в метро -- переполненными, дома -- обветшалыми, хлеб -- темным, кофе -- гнусным, чай -- редкостью, сигареты -- считанными: ничего дешевого и в достатке, кроме синтетического джина. Конечно, тело старится, и все для него становится не так, но если тошно тебе от неудобного, грязного, скудного житья, от нескончаемых зим, заскорузлых носков, вечно неисправных лифтов, от ледяной воды, шершавого мыла, от сигареты, распадающейся в пальцах, от странного и мерзкого вкуса пищи, не означает ли это, что такой уклад жизни *ненормален*? Если он кажется непереносимым -- неужели это родовая память нашептывает тебе, что когда-то жили иначе?

He looked round the canteen again. Nearly everyone was ugly, and would still have been ugly even if dressed otherwise than in the uniform blue overalls. On the far side of the room, sitting at a table alone, a small, curiously beetle-like man was drinking a cup of coffee, his little eyes darting suspicious glances from side to side. How easy it was, thought Winston, if you did not look about you, to believe that the physical type set up by the Party as an ideal-tall muscular youths and deep-bosomed maidens, blond-haired, vital, sunburnt, carefree -- existed and even predominated. Actually, so far as he could judge, the majority of people in Airstrip One were small, dark, and ill-favoured. It was curious how that beetle-like type proliferated in the Ministries: little dumpy men, growing stout very early in life, with short legs, swift scuttling movements, and fat inscrutable faces with very small eyes. It was the type that seemed to flourish best under the dominion of the Party.

Он снова окинул взглядом зал. Почти все люди были уродливыми -- и будут уродливыми, даже если переоденутся из форменных синих комбинезонов во что-нибудь другое. Вдалеке пил кофе коротенький человек, удивительно похожий на жука, и стрелял по сторонам подозрительными глазками. Если не оглядываешься вокруг, подумал Уинстон, до чего же легко поверить, будто существует и даже преобладает предписанный партией идеальный тип: высокие мускулистые юноши и пышногрудые девы, светловолосые, беззаботные, загорелые, жизнерадостные. На самом же деле, сколько он мог судить, жители Взлетной полосы I в большинстве были мелкие, темные и некрасивые. Любопытно, как размножился в министерствах жукоподобный тип: приземистые, коротконогие, очень рано полнеющие мужчины с суетливыми движениями, толстыми непроницаемыми лицами и маленькими глазами. Этот тип как-то особенно процветал под партийной властью.

The announcement from the Ministry of Plenty ended on another trumpet call and

Завершив фанфарой сводку из министерства изобилия, телекран заиграл

gave way to tinny music. Parsons, stirred to vague enthusiasm by the bombardment of figures, took his pipe out of his mouth.

бравурную музыку. Парсонс от бомбардировки цифрами исполнился рассеянного энтузиазма и вынул изо рта трубку.

“The Ministry of Plenty’s certainly done a good job this year,” he said with a knowing shake of his head. “By the way, Smith old boy, I suppose you haven’t got any razor blades you can let me have?”

-- Да, хорошо потрудилось в нынешнем году министерство изобилия, -- промолвил он и с видом знатока кивнул. -- Кстати, Смит, у вас, случайно, не найдется свободного лезвия?

“Not one,” said Winston. “I’ve been using the same blade for six weeks myself.”

-- Ни одного, -- ответил Уинстон. -- Полтора месяца последним бреюсь.

“Ah, well -- just thought I’d ask you, old boy.”

-- Ну да... просто решил спросить на всякий случай.

“Sorry,” said Winston.

-- Не взыщите, -- сказал Уинстон.

The quacking voice from the next table, temporarily silenced during the Ministry’s announcement, had started up again, as loud as ever. For some reason Winston suddenly found himself thinking of Mrs. Parsons, with her wispy hair and the dust in the creases of her face. Within two years those children would be denouncing her to the Thought Police. Mrs. Parsons would be vaporized. Syme would be vaporized. Winston would be vaporized. O’Brien would be vaporized. Parsons, on the other hand, would never be vaporized. The eyeless creature with the quacking voice would never be vaporized. The little beetle-like men who scuttle so nimbly through the labyrinthine corridors of Ministries they, too, would never be vaporized. And the girl with dark hair, the girl from the Fiction Department -- she would never be vaporized either. It seemed to him that he knew instinctively who would survive and who would perish: though just what it was that made for survival, it was not easy to say.

Кряканье за соседним столом, смолкшее было во время министерского отчета, возобновилось с прежней силой. Уинстон почему-то вспомнил миссис Парсонс, ее жидкие растрепанные волосы, пыль в морщинах. Года через два, если не раньше, детки донесут на нее в полицию мыслей. Ее распылят. Сайма распылят. Его, Уинстона, распылят. О'Брайена распылят. Парсонса же, напротив, никогда не распылят. Безглазого крякающего никогда не распылят. Мелких жукоподобных, шустро снующих по лабиринтам министерств, -- их тоже никогда не распылят. И ту девицу из отдела литературы не распылят. Ему казалось, что он инстинктивно чувствует, кто погибнет, а кто сохранится, хотя чем именно обеспечивается сохранность, даже не объяснишь.

At this moment he was dragged out of his reverie with a violent jerk. The girl at the next table had turned partly round and was looking at him. It was the girl with dark hair. She was looking at him in a sidelong way, but with curious intensity. The instant she caught his eye she looked away again.

Тут его вывело из задумчивости грубое вторжение. Женщина за соседним столиком, слегка поворотившись, смотрела на него. Та самая, с темными волосами. Она смотрела на него искоса, с непонятной пристальностью. И как только они встретились глазами, отвернулась.

The sweat started out on Winston’s backbone. A horrible pang of terror went through him. It was gone almost at once, but it left a sort of nagging uneasiness behind. Why was she watching him? Why did she keep following him about? Unfortunately he could not remember whether she had already been at the table

Уинстон почувствовал, что по хребту потек пот. Его охватил отвратительный ужас. Ужас почти сразу прошел, но назойливое ощущение неуютности осталось. Почему она за ним наблюдает? Он, к сожалению, не мог вспомнить, сидела она за столом, когда он пришел, или появилась после. Но вчера на

when he arrived, or had come there afterwards. But yesterday, at any rate, during the Two Minutes Hate, she had sat immediately behind him when there was no apparent need to do so. Quite likely her real object had been to listen to him and make sure whether he was shouting loudly enough.

двухминутке ненависти она села прямо за ним, хотя никакой надобности в этом не было. Очень вероятно, что она хотела послушать его -- проверить, достаточно ли громко он кричит.

His earlier thought returned to him: probably she was not actually a member of the Thought Police, but then it was precisely the amateur spy who was the greatest danger of all. He did not know how long she had been looking at him, but perhaps for as much as five minutes, and it was possible that his features had not been perfectly under control. It was terribly dangerous to let your thoughts wander when you were in any public place or within range of a telescreen. The smallest thing could give you away. A nervous tic, an unconscious look of anxiety, a habit of muttering to yourself -- anything that carried with it the suggestion of abnormality, of having something to hide. In any case, to wear an improper expression on your face (to look incredulous when a victory was announced, for example) was itself a punishable offence. There was even a word for it in Newspeak: *facecrime*, it was called.

Как и в прошлый раз, он подумал: вряд ли она штатный сотрудник полиции мыслей, но ведь добровольный-то шпион и есть самый опасный. Он не знал, давно ли она на него смотрит -- может быть, уже пять минут, -- а следил ли он сам за своим лицом все это время, неизвестно. Если ты в общественном месте или в поле зрения телекрана и позволил себе задуматься -- это опасно, это страшно. Тебя может выдать ничтожная мелочь. Нервный тик, тревога на липе, привычка бормотать себе под нос -- все, в чем можно усмотреть признак аномалии, попытку что-то скрыть. В любом случае неположенное выражение лица (например, недоверчивое, когда объявляют о победе) -- уже наказуемое преступление. На новоязе даже есть слово для него: -- *лицепреступление*.

The girl had turned her back on him again. Perhaps after all she was not really following him about, perhaps it was coincidence that she had sat so close to him two days running. His cigarette had gone out, and he laid it carefully on the edge of the table. He would finish smoking it after work, if he could keep the tobacco in it. Quite likely the person at the next table was a spy of the Thought Police, and quite likely he would be in the cellars of the Ministry of Love within three days, but a cigarette end must not be wasted. Syme had folded up his strip of paper and stowed it away in his pocket. Parsons had begun talking again.

Девица опять сидела к Уинстону спиной. В конце концов, может, она и не следит за ним; может, это просто совпадение, что она два дня подряд оказывается с ним рядом. Сигарета у него потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Докурит после работы, если удастся не просыпать табак. Вполне возможно, что женщина за соседним столом -- осведомительница, вполне возможно, что в ближайшие три дня он очутится в подвалах министерства любви, но окурок пропасть не должен. Сайм сложил свою бумажку и спрятал в карман. Парсонс опять заговорил.

“Did I ever tell you, old boy,” he said, chuckling round the stem of his pipe, “about the time when those two nippers of mine set fire to the old market-woman’s skirt because they saw her wrapping up sausages in a poster of B.B.? Sneaked up behind her and set fire to it with a box of matches. Burned her quite badly, I believe. Little beggars, eh? But keen as mustard!

-- Я вам не рассказывал, как мои сорванцы юбку подожгли на базарной торговке? -- начал он, похохатывая и не выпуская изо рта чубук. -- За то, что заворачивала колбасу в плакат со Старшим Братом. Подкрались сзади и целым коробком спичек подожгли. Думаю, сильно обгорела. Вот паршивцы, а? Но увлеченные, но борзые! Это их в

That's a first-rate training they give them in the Spies nowadays -- better than in my day, even. What d'you think's the latest thing they've served them out with? Ear trumpets for listening through keyholes! My little girl brought one home the other night -- tried it out on our sitting-room door, and reckoned she could hear twice as much as with her ear to the hole. Of course it's only a toy, mind you. Still, gives 'em the right idea, eh?"

разведчиках так натаскивают -- первоклассно, лучше даже, чем в мое время. Как вы думаете, чем их вооружили в последний раз? Слуховыми трубками, чтобы подслушивать через замочную скважину! Дочка принесла вчера домой и проверила на двери в общую комнату -- говорит, слышно в два раза лучше, чем просто ухом! Конечно, я вам скажу, это только игрушка. Но мыслям дает правильное направление, а?

At this moment the telescreen let out a piercing whistle. It was the signal to return to work. All three men sprang to their feet to join in the struggle round the lifts, and the remaining tobacco fell out of Winston's cigarette.

Тут телекран издал пронзительный свист. Это был сигнал приступить к работе. Все трое вскочили, чтобы принять участие в давке перед лифтами, и остатки табака высыпались из сигареты Уинстона.

VI

VI

Winston was writing in his diary:

Уинстон писал в дневнике:

It was three years ago. It was on a dark evening, in a narrow side-street near one of the big railway stations. She was standing near a doorway in the wall, under a street lamp that hardly gave any light. She had a young face, painted very thick. It was really the paint that appealed to me, the whiteness of it, like a mask, and the bright red lips. Party women never paint their faces. There was nobody else in the street, and no telescreens. She said two dollars. I--

Это было три года назад. Темным вечером, в переулке около большого вокзала. Она стояла у подъезда под уличным фонарем, почти не дававшим света. Молодое лицо было сильно накрашено. Это и привлекло меня -- белизна лица, похожего на маску, ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. На улице не было больше никого, не было телекранов. Она сказала: «Два доллара». Я...

For the moment it was too difficult to go on. He shut his eyes and pressed his fingers against them, trying to squeeze out the vision that kept recurring. He had an almost overwhelming temptation to shout a string of filthy words at the top of his voice. Or to bang his head against the wall, to kick over the table, and hurl the inkpot through the window -- to do any violent or noisy or painful thing that might black out the memory that was tormenting him.

Ему стало трудно продолжать. Он закрыл глаза и нажал на веки пальцами, чтобы прогнать неотвязное видение. Ему нестерпимо хотелось выругаться -- длинно и во весь голос. Или удариться головой о стену, пинком опрокинуть стол, запустить в окно чернильницей -- буйством, шумом, болью, чем угодно, заглушить рвущее душу воспоминание.

Your worst enemy, he reflected, was your own nervous system. At any moment the tension inside you was liable to translate itself into some visible symptom. He thought of a man whom he had passed in the street a few weeks back; a quite ordinary-looking man, a Party member, aged thirty-five to forty, tallish and thin, carrying a brief-case. They were a few metres apart when the left side of the man's face was suddenly contorted by a sort of spasm. It happened again just as they were passing one another: it was only a twitch, a quiver, rapid as the clicking of a camera

Твой злейший враг, подумал он, -- это твоя нервная система. В любую минуту внутреннее напряжение может отразиться на твоей наружности. Он вспомнил прохожего, которого встретил на улице несколько недель назад: ничем не примечательный человек, член партии, лет тридцати пяти или сорока, худой и довольно высокий, с портфелем. Они были в нескольких шагах друг от друга, и вдруг левая сторона лица у прохожего дернулась. Когда они поравнялись, это повторилось еще раз: мимолетная судорога, гик, краткий, как щелчок

shutter, but obviously habitual. He remembered thinking at the time: That poor devil is done for. And what was frightening was that the action was quite possibly unconscious. The most deadly danger of all was talking in your sleep. There was no way of guarding against that, so far as he could see.

фотографического затвора, но, видимо, привычный. Уинстон тогда подумал: бедняге крышка. Страшно, что человек этого, наверное, не замечал. Но самая ужасная опасность из всех -- разговаривать во сне. От этого, казалось Уинстону, ты вообще не можешь предохраниться.

He drew his breath and went on writing:

Он перевел дух и стал писать дальше:

I went with her through the doorway and across a backyard into a basement kitchen. There was a bed against the wall, and a lamp on the table, turned down very low. She--

Я вошел за ней в подъезд, а оттуда через двор в полуподвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе лампа с привернутым фитилем. Женщина...

His teeth were set on edge. He would have liked to spit. Simultaneously with the woman in the basement kitchen he thought of Katharine, his wife. Winston was married -- had been married, at any rate: probably he still was married, so far as he knew his wife was not dead. He seemed to breathe again the warm stuffy odour of the basement kitchen, an odour compounded of bugs and dirty clothes and villainous cheap scent, but nevertheless alluring, because no woman of the Party ever used scent, or could be imagined as doing so. Only the proles used scent. In his mind the smell of it was inextricably mixed up with fornication.

Раздражение не проходило. Ему хотелось плюнуть. Вспомнив женщину в полуподвальной кухне, он вспомнил Кэтрин, жену. Уинстон был женат -- когда-то был, а может, и до сих пор; насколько он знал, жена не умерла. Он будто снова вдохнул тяжелый, спертый воздух кухни, смешанный запах грязного белья, клопов и дешевых духов -- гнусных и вместе с тем соблазнительных, потому что пахло не партийной женщиной, партийная не могла надушиться. Душились только пролы. Для Уинстона запах духов был неразрывно связан с блудом.

When he had gone with that woman it had been his first lapse in two years or thereabouts. Consorting with prostitutes was forbidden, of course, but it was one of those rules that you could occasionally nerve yourself to break. It was dangerous, but it was not a life-and-death matter. To be caught with a prostitute might mean five years in a forced-labour camp: not more, if you had committed no other offence. And it was easy enough, provided that you could avoid being caught in the act. The poorer quarters swarmed with women who were ready to sell themselves. Some could even be purchased for a bottle of gin, which the proles were not supposed to drink. Tacitly the Party was even inclined to encourage prostitution, as an outlet for instincts which could not be altogether suppressed. Mere debauchery did not matter very much, so long as it was furtive and joyless and only involved the women of a submerged and despised class. The unforgivable crime was promiscuity between Party members. But -- though this was one of the crimes that the accused in the great purges

Это было его первое прегрешение за два года. Иметь дело с проститутками, конечно, запрещалось, но запрет был из тех, которые ты время от времени осмеливаешься нарушить. Опасно -- но не смертельно. Попался с проституткой -- пять лет лагеря, не больше, если нет отягчающих обстоятельств. И дело не такое уж сложное; лишь бы не застигли за преступным актом. Бедные кварталы кишели женщинами, готовыми продать себя. А купить иную можно было за бутылку джина: пролам джин не полагался. Негласно партия даже поощряла проституцию -- как выпускной клапан для инстинктов, которые все равно нельзя подавить. Сам по себе разврат мало значил, лишь бы был он вороватым и безрадостным, а женщина -- из беднейшего и презираемого класса. Непростительное преступление -- связь между членами партии. Но, хотя во время больших чисток обвиняемые неизменно признавались и в этом преступлении, вообразить, что такое случается в жизни, было трудно.

invariably confessed to -- it was difficult to imagine any such thing actually happening.

The aim of the Party was not merely to prevent men and women from forming loyalties which it might not be able to control. Its real, undeclared purpose was to remove all pleasure from the sexual act. Not love so much as eroticism was the enemy, inside marriage as well as outside it. All marriages between Party members had to be approved by a committee appointed for the purpose, and -- though the principle was never clearly stated -- permission was always refused if the couple concerned gave the impression of being physically attracted to one another. The only recognized purpose of marriage was to beget children for the service of the Party. Sexual intercourse was to be looked on as a slightly disgusting minor operation, like having an enema. This again was never put into plain words, but in an indirect way it was rubbed into every Party member from childhood onwards. There were even organizations such as the Junior Anti-Sex League, which advocated complete celibacy for both sexes. All children were to be begotten by artificial insemination (*artsem*, it was called in Newspeak) and brought up in public institutions. This, Winston was aware, was not meant altogether seriously, but somehow it fitted in with the general ideology of the Party. The Party was trying to kill the sex instinct, or, if it could not be killed, then to distort it and dirty it. He did not know why this was so, but it seemed natural that it should be so. And as far as the women were concerned, the Party's efforts were largely successful.

Партия стремилась не просто помешать тому, чтобы между мужчинами и женщинами возникали узы, которые не всегда поддаются ее воздействию. Ее подлинной необъявленной целью было лишить половой акт удовольствия. Главным врагом была не столько любовь, сколько эротика -- и в браке и вне его. Все браки между членами партии утверждал особый комитет, и -- хотя этот принцип не провозглашали открыто, -- если создавалось впечатление, что будущие супруги физически привлекательны друг для друга, им отказывали в разрешении. У брака признавали только одну цель: производить детей для службы государству. Половое сношение следовало рассматривать как маленькую противную процедуру, вроде клизмы. Это тоже никогда не объявляли прямо, но исподволь вколачивали в каждого партийца с детства. Существовали даже организации наподобие Молодежного антиполового союза, проповедовавшие полное целомудрие для обоих полов. Зачатие должно происходить путем искусственного осеменения (*искос* на новоязе), в общественных пунктах. Уинстон знал, что это требование выдвигали не совсем всерьез, но, в общем, оно вписывалось в идеологию партии. Партия стремилась убить половой инстинкт, а раз убить нельзя, то хотя бы извратить и запачкать. Зачем это надо, он не понимал: но и удивляться тут было нечему. Что касается женщин, партия в этом изрядно преуспела.

He thought again of Katharine. It must be nine, ten -- nearly eleven years since they had parted. It was curious how seldom he thought of her. For days at a time he was capable of forgetting that he had ever been married. They had only been together for about fifteen months. The Party did not permit divorce, but it rather encouraged separation in cases where there were no children.

Он вновь подумал о Кэтрин. Девять... десять... почти одиннадцать лет, как они разошлись. Но до чего редко он о ней думает. Иногда за неделю ни разу не вспомнит, что был женат. Они прожили всего пятнадцать месяцев. Развод партия запретила, но расходиться бездетным не препятствовала, наоборот.

Katharine was a tall, fair-haired girl, very straight, with splendid movements. She had a bold, aquiline face, a face that one might have called noble until one discovered that there was as nearly as possible nothing behind it. Very early in her

Кэтрин была высокая, очень прямая блондинка, даже грациозная. Четкое, с орлиным профилем лицо ее можно было назвать благородным -- пока ты не понял, что за ним настолько ничего нет, насколько это вообще возможно. Уже в

married life he had decided -- though perhaps it was only that he knew her more intimately than he knew most people -- that she had without exception the most stupid, vulgar, empty mind that he had ever encountered. She had not a thought in her head that was not a slogan, and there was no imbecility, absolutely none that she was not capable of swallowing if the Party handed it out to her. "The human sound-track" he nicknamed her in his own mind. Yet he could have endured living with her if it had not been for just one thing -- sex.

As soon as he touched her she seemed to wince and stiffen. To embrace her was like embracing a jointed wooden image. And what was strange was that even when she was clasping him against her he had the feeling that she was simultaneously pushing him away with all her strength. The rigidlty of her muscles managed to convey that impression. She would lie there with shut eyes, neither resisting nor co-operating but *submitting*. It was extraordinarily embarrassing, and, after a while, horrible. But even then he could have borne living with her if it had been agreed that they should remain celibate. But curiously enough it was Katharine who refused this. They must, she said, produce a child if they could. So the performance continued to happen, once a week quite regulariy, whenever it was not impossible. She even used to remind him of it in the morning, as something which had to be done that evening and which must not be forgotten. She had two names for it. One was "making a baby", and the other was "our duty to the Party" (yes, she had actually used that phrase). Quite soon he grew to have a feeling of positive dread when the appointed day came round. But luckily no child appeared, and in the end she agreed to give up trying, and soon afterwards they parted.

Winston sighed inaudibly. He picked up his pen again and wrote:

She threw herself down on the bed, and at once, without any kind of preliminary in the most coarse, horrible way you can imagine, pulled up her skirt. I--

He saw himself standing there in the dim lamplight, with the smell of bugs and cheap scent in his nostrils, and in his heart a feeling of defeat and resentment which even at that moment was mixed up with the

самом начале совместной жизни Уинстон решил -- впрочем, только потому, быть может, что узнал ее ближе, чем других людей, -- что никогда не встречал более глупого, пошлого, пустого создания. Мысли в ее голове все до единой состояли из лозунгов, и не было на свете такой ахинеи, которой бы она не склевала с руки у партии. «Ходячий граммофон» -- прозвал он ее про себя. Но он бы выдержал совместную жизнь, если бы не одна вещь -- постель.

Стоило только прикоснуться к ней, как она вздрагивала и цепенела. Обнять ее было -- все равно что обнять деревянный манекен. И странно: когда она прижимала его к себе, у него было чувство, что она в то же время отталкивает его изо всех сил. Такое впечатление создавали ее окоченелые мышцы. Она лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не помогая, а *подчиняясь*. Сперва это приводило его в крайнее замешательство; потом ему стало жутко. Но он все равно бы вытерпел, если бы они условились больше не спать. Как ни удивительно, на это не согласилась Кэтрин. Мы должны, сказала она, если удастся, родить ребенка. Так что занятия продолжались, и вполне регулярно, раз в неделю, если к тому не было препятствий. Она даже напоминала ему по утрам, что им предстоит сегодня вечером, -- дабы он не забыл. Для этого у нее было два названия. Одно -- «подумать о ребенке», другое -- «наш партийный долг» (да, она именно так выражалась). Довольно скоро приближение назначенного дня стало вызывать у него форменный ужас. Но, к счастью, ребенка не получилось, Кэтрин решила прекратить попытки, и вскоре они разошлись.

Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:

Женщина бросилась на кровать и сразу, без всяких предисловий, с неописуемой грубостью и вульгарностью задрала юбку. Я...

Он увидел себя там, при тусклом свете лампы, и снова ударил в нос запах дешевых духов с клопами, снова стеснилось сердце от возмущения и бессилия, и так же, как в ту минуту,

thought of Katharine's white body, frozen for ever by the hypnotic power of the Party. Why did it always have to be like this? Why could he not have a woman of his own instead of these filthy scuffles at intervals of years? But a real love affair was an almost unthinkable event. The women of the Party were all alike. Chastity was as deep ingrained in them as Party loyalty. By careful early conditioning, by games and cold water, by the rubbish that was dinned into them at school and in the Spies and the Youth League, by lectures, parades, songs, slogans, and martial music, the natural feeling had been driven out of them. His reason told him that there must be exceptions, but his heart did not believe it. They were all impregnable, as the Party intended that they should be. And what he wanted, more even than to be loved, was to break down that wall of virtue, even if it were only once in his whole life. The sexual act, successfully performed, was rebellion. Desire was thoughtcrime. Even to have awakened Katharine, if he could have achieved it, would have been like a seduction, although she was his wife.

вспомнил он белое тело Кэтрин, навеки окоченевшее под гипнозом партии. Почему всегда должно быть так? Почему у него не может быть своей женщины и удел его -- грязные, торопливые случки, разделенные годами? Нормальный роман -- это что-то почти немыслимое. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие вколочено в них так же крепко, как преданность партии. Продуманной обработкой сызмала, играми и холодными купаниями, вздором, которым их пичкали в школе, в разведчиках, в Молодежном союзе, докладами, парадами, песнями, лозунгами, военной музыкой в них убили естественное чувство. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце отказывалось верить. Они все неприступны -- партия добилась своего. И еще больше, чем быть любимым, ему хотелось -- пусть только раз в жизни -- пробить эту стену добродетели. Удачный половой акт -- уже восстание. Страсть -- мыслепреступление. Растопить Кэтрин -- если бы удалось -- и то было бы чем-то вроде совращения, хотя она ему жена.

But the rest of the story had got to be written down. He wrote:

Но надо было дописать до конца. Он написал:

I turned up the lamp. When I saw her in the light--

Я прибавил огня в лампе. Когда я увидел ее при свете...

After the darkness the feeble light of the paraffin lamp had seemed very bright. For the first time he could see the woman properly. He had taken a step towards her and then halted, full of lust and terror. He was painfully conscious of the risk he had taken in coming here. It was perfectly possible that the patrols would catch him on the way out: for that matter they might be waiting outside the door at this moment. If he went away without even doing what he had come here to do--!

После темноты чахлый огонек керосиновой лампы показался очень ярким. Только теперь он разглядел женщину как следует. Он шагнул к ней и остановился, разрываясь между похотью и ужасом. Он сознавал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что при выходе его схватит патруль; может быть, уже сейчас его ждут за дверью. Даже если он уйдет, не сделав того, ради чего пришел!..

It had got to be written down, it had got to be confessed. What he had suddenly seen in the lamplight was that the woman was *old*. The paint was plastered so thick on her face that it looked as though it might crack like a cardboard mask. There were streaks of white in her hair; but the truly dreadful detail was that her mouth had fallen a little open, revealing nothing except a cavernous blackness. She had no teeth at all.

Это надо было записать, надо было исповедаться. А увидел он при свете лампы -- что женщина *старая*. Румяна лежали на лице таким толстым слоем, что, казалось, треснут сейчас, как картонная маска. В волосах седые пряди; и самая жуткая деталь: рот приоткрылся, а в нем -- ничего, черный, как пещера. Ни одного зуба.

He wrote hurriedly, in scrabbling handwriting:

Торопливо, валкими буквами он написал:

When I saw her in the light she was quite an old woman, fifty years old at least. But I went ahead and did it just the same.

He pressed his fingers against his eyelids again. He had written it down at last, but it made no difference. The therapy had not worked. The urge to shout filthy words at the top of his voice was as strong as ever.

VII

If there is hope, wrote Winston, *it lies in the proles.*

If there was hope, it *must* lie in the proles, because only there in those swarming disregarded masses, 85 per cent of the population of Oceania, could the force to destroy the Party ever be generated. The Party could not be overthrown from within. Its enemies, if it had any enemies, had no way of coming together or even of identifying one another. Even if the legendary Brotherhood existed, as just possibly it might, it was inconceivable that its members could ever assemble in larger numbers than twos and threes. Rebellion meant a look in the eyes, an inflexion of the voice, at the most, an occasional whispered word. But the proles, if only they could somehow become conscious of their own strength. would have no need to conspire. They needed only to rise up and shake themselves like a horse shaking off flies. If they chose they could blow the Party to pieces tomorrow morning. Surely sooner or later it must occur to them to do it? And yet--!

He remembered how once he had been walking down a crowded street when a tremendous shout of hundreds of voices women's voices -- had burst from a side-street a little way ahead. It was a great formidable cry of anger and despair, a deep, loud "Oh-o-o-o-oh!" that went humming on like the reverberation of a bell. His heart had leapt. It's started! he had thought. A riot! The proles are breaking loose at last! When he had reached the spot it was to see a mob of two or three hundred women crowding round the stalls of a street market, with faces as tragic as though they had been the doomed passengers on a sinking ship. But at this moment the general despair broke down into a multitude of individual quarrels. It appeared that one of the stalls had been selling tin saucepans. They were wretched,

Когда я увидел ее при свете, она оказалась совсем старой, ей было не меньше пятидесяти. Но я не остановился и довел дело до конца.

Уинстон опять нажал пальцами на веки. Ну вот, он все записал, а ничего не изменилось. Лечение не помогло. Выругаться во весь голос хотелось ничуть не меньше.

VII

Если есть надежда (писал Уинстон), *то она в пролах.*

Если есть надежда, то больше ей негде быть: только в пролах, в этой клубящейся на государственных задворках массе, которая составляет восемьдесят пять процентов населения Океании, может родиться сила, способная уничтожить партию. Партию нельзя свергнуть изнутри. Ее враги -- если у нее есть враги -- не могут соединиться, не могут даже узнать друг друга. Даже если существует легендарное Братство -- а это не исключено, -- нельзя себе представить, чтобы члены его собирались группами больше двух или трех человек. Их бунт -- выражение глаз, интонация в голосе; самое большее -- словечко, произнесенное шепотом. А пролам, если бы только они могли осознать свою силу, заговоры ни к чему. Им достаточно встать и встряхнуться -- как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть, и завтра утром они разнесут партию в щепки. Рано или поздно они до этого додумаются. Но!..

Он вспомнил, как однажды шел по людной улице, и вдруг из переулка впереди вырвался оглушительный, в тысячу глоток, крик, женский крик. Мощный, грозный вопль гнева и отчаяния, густое «А-а-а-а!», гудящее, как колокол. Сердце у него застучало. Началось! -- подумал он. Мятеж! Наконец-то они восстали! Он подошел ближе и увидел толпу: двести или триста женщин сгрудились перед рыночными ларьками, и лица у них были трагические, как у пассажиров на тонущем пароходе. У него на глазах объединенная отчаянием толпа будто распалась: раздробилась на островки отдельных ссор. По-видимому, один из ларьков торговал кастрюлями. Убогие, утлые жестянки -- но кухонную посуду всегда было трудно достать. А сейчас

flimsy things, but cooking-pots of any kind were always difficult to get. Now the supply had unexpectedly given out. The successful women, bumped and jostled by the rest, were trying to make off with their saucepans while dozens of others clamoured round the stall, accusing the stall-keeper of favouritism and of having more saucepans somewhere in reserve. There was a fresh outburst of yells. Two bloated women, one of them with her hair coming down, had got hold of the same saucepan and were trying to tear it out of one another's hands. For a moment they were both tugging, and then the handle came off. Winston watched them disgustedly. And yet, just for a moment, what almost frightening power had sounded in that cry from only a few hundred throats! Why was it that they could never shout like that about anything that mattered?

товар неожиданно кончился. Счастливицы, провожаемые толчками и тычками, протискивались прочь со своими кастрюлями, а неудачливые галдели вокруг ларька и обвиняли ларечника в том, что дает по блату, что прячет под прилавком. Раздался новый крик. Две толстухи -- одна с распущенными волосами -- вцепились в кастрюльку и тянули в разные стороны. Обе дернули, ручка оторвалась. Уинстон наблюдал с отвращением. Однако какая же устрашающая сила прозвучала в крике всего двухсот или трехсот голосов! Ну почему они никогда не крикнут так из-за чего-нибудь стоящего!

He wrote:

Он написал:

Until they become conscious they will never rebel, and until after they have rebelled they cannot become conscious.

Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными, а сознательными не станут, пока не взбунтуются.

That, he reflected, might almost have been a transcription from one of the Party textbooks. The Party claimed, of course, to have liberated the proles from bondage. Before the Revolution they had been hideously oppressed by the capitalists, they had been starved and flogged, women had been forced to work in the coal mines (women still did work in the coal mines, as a matter of fact), children had been sold into the factories at the age of six. But simultaneously, true to the Principles of doublethink, the Party taught that the proles were natural inferiors who must be kept in subjection, like animals, by the application of a few simple rules. In reality very little was known about the proles. It was not necessary to know much. So long as they continued to work and breed, their other activities were without importance. Left to themselves, like cattle turned loose upon the plains of Argentina, they had reverted to a style of life that appeared to be natural to them, a sort of ancestral pattern. They were born, they grew up in the gutters, they went to work at twelve, they passed through a brief blossoming-period of beauty and sexual desire, they married at twenty, they were middle-aged at thirty,

Прямо как из партийного учебника фраза, подумал он. Партия, конечно, утверждала, что освободила пролов от цепей. До революции их страшно угнетали капиталисты, морили голодом и пороли, женщин заставляли работать в шахтах (между прочим, они там работают до сих пор), детей в шесть лет продавали на фабрики. Но одновременно, в соответствии с принципом двоемыслия, партия учила, что пролы по своей природе низшие существа, их, как животных, надо держать в повиновении, руководствуясь несколькими простыми правилами. В сущности, о пролах знали очень мало. Много и незачем знать. Лишь бы трудились и размножались -- а там пусть делают что хотят. Предоставленные сами себе, как скот на равнинах Аргентины, они всегда возвращались к тому образу жизни, который для них естествен, -- шли по стопам предков. Они рождаются, растут в грязи, в двенадцать лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в двадцать лет женятся, в тридцать уже немолоды, к шестидесяти обычно умирают. Тяжелый физический

they died, for the most part, at sixty. Heavy physical work, the care of home and children, petty quarrels with neighbours, films, football, beer, and above all, gambling, filled up the horizon of their minds. To keep them in control was not difficult. A few agents of the Thought Police moved always among them, spreading false rumours and marking down and eliminating the few individuals who were judged capable of becoming dangerous; but no attempt was made to indoctrinate them with the ideology of the Party. It was not desirable that the proles should have strong political feelings. All that was required of them was a primitive patriotism which could be appealed to whenever it was necessary to make them accept longer working-hours or shorter rations. And even when they became discontented, as they sometimes did, their discontent led nowhere, because being without general ideas, they could only focus it on petty specific grievances. The larger evils invariably escaped their notice. The great majority of proles did not even have telescreens in their homes. Even the civil police interfered with them very little. There was a vast amount of criminality in London, a whole world-within-a-world of thieves, bandits, prostitutes, drug-peddlers, and racketeers of every description; but since it all happened among the proles themselves, it was of no importance. In all questions of morals they were allowed to follow their ancestral code. The sexual puritanism of the Party was not imposed upon them. Promiscuity went unpunished, divorce was permitted. For that matter, even religious worship would have been permitted if the proles had shown any sign of needing or wanting it. They were beneath suspicion. As the Party slogan put it: “Proles and animals are free.”

труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры -- вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей -- выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасным; но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм -- чтобы взывать к нему. когда идет речь об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство -- такое тоже бывало, -- это недовольство ни к чему не ведет, ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких конкретных неприятностей. Большие беды неизменно ускользали от их внимания. У огромного большинства пролов нет даже телекранов в квартирах. Обычная полиция занимается ими очень мало. В Лондоне существует громадная преступность, целое государство в государстве: воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками, вымогатели всех мастей; но, поскольку она замыкается в среде пролов, внимания на нее не обращают. Во всех моральных вопросах им позволено следовать обычаям предков. Партийное сексуальное пуританство на пролов не распространялось. За разврат их не преследуют, разводы разрешены. Собственно говоря, и религия была бы разрешена, если бы пролы проявили к ней склонность. Пролы ниже подозрений. Как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».

Winston reached down and cautiously scratched his varicose ulcer. It had begun itching again. The thing you invariably came back to was the impossibility of knowing what life before the Revolution had really been like. He took out of the drawer a copy of a children’s history textbook which he had borrowed from Mrs. Parsons, and began copying a passage into the diary:

Уинстон тихонько почесал варикозную язву. Опять начался зуд. Волей-неволей всегда возвращаешься к одному вопросу: какова все-таки была жизнь до революции? Он вынул из стола школьный учебник истории, одолженный у миссис Парсонс, и стал переписывать в дневник.

In the old days (it ran), *before the glorious Revolution, London was not the beautiful city that we know today. It was a dark,*

В прежнее время, до славной Революции, Лондон не был тем прекрасным городом, каким мы его знаем сегодня. Это был

dirty, miserable place where hardly anybody had enough to eat and where hundreds and thousands of poor people had no boots on their feet and not even a roof to sleep under. Children no older than you had to work twelve hours a day for cruel masters who flogged them with whips if they worked too slowly and fed them on nothing but stale breadcrusts and water. But in among all this terrible poverty there were just a few great big beautiful houses that were lived in by rich men who had as many as thirty servants to look after them. These rich men were called capitalists. They were fat, ugly men with wicked faces, like the one in the picture on the opposite page. You can see that he is dressed in a long black coat which was called a frock coat, and a queer, shiny hat shaped like a stovepipe, which was called a top hat. This was the uniform of the capitalists, and no one else was allowed to wear it. The capitalists owned everything in the world, and everyone else was their slave. They owned all the land, all the houses, all the factories, and all the money. If anyone disobeyed them they could throw them into prison, or they could take his job away and starve him to death. When any ordinary person spoke to a capitalist he had to cringe and bow to him, and take off his cap and address him as "Sir". The chief of all the capitalists was called the King, and--

темный, грязный, мрачный город, и там почти все жили впроголодь, а сотни и тысячи бедняков ходили разутыми и не имели крыши над головой. Детям, твоим сверстникам, приходилось работать двенадцать часов в день на жестоких хозяев; если они работали медленно, их пороли кнутом, а питались они черствыми корками и водой. Но среди этой ужасной нищеты стояли большие красивые дома богачей, которым прислуживали иногда до тридцати слуг. Богачи назывались капиталистами. Это были толстые уродливые люди со злыми лицами -- наподобие того, что изображен на следующей странице. Как видишь, на нем длинный черный пиджак, который назывался фраком, и странная шелковая шляпа в форме печной трубы -- так называемый цилиндр. Это была форменная одежда капиталистов, и больше никто не смел ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а остальные люди были их рабами. Им принадлежали вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Того, кто их ослушался, бросали в тюрьму или же выгоняли с работы, чтобы уморить голодом. Когда простой человек разговаривал с капиталистом, он должен был пресмыкаться, кланяться, снимать шапку и называть его «сэр». Самый главный капиталист именовался королем и…

But he knew the rest of the catalogue. There would be mention of the bishops in their lawn sleeves, the judges in their ermine robes, the pillory, the stocks, the treadmill, the cat-o'-nine tails, the Lord Mayor's Banquet, and the practice of kissing the Pope's toe. There was also something called the *jus primae noctis*, which would probably not be mentioned in a textbook for children. It was the law by which every capitalist had the right to sleep with any woman working in one of his factories.

Он знал этот список назубок. Будут епископы с батистовыми рукавами, судьи в мантиях, отороченных горностаев, позорный столб, колодки, топчак, девятихвостая плеть, банкет у лорд-мэра, обычай целовать туфлю у папы. Было еще так называемое право первой ночи, но в детском учебнике оно, наверно, не упомянуто. По этому закону капиталист имел право спать с любой работницей своей фабрики.

How could you tell how much of it was lies? It *might* be true that the average human being was better off now than he had been before the Revolution. The only evidence to the contrary was the mute protest in your own bones, the instinctive feeling that the conditions you lived in were intolerable and that at some other time they must have been different. It struck him that the truly

Как узнать, сколько тут лжи? Может быть, и вправду средний человек живет сейчас лучше, чем до революции. Единственное свидетельство против -- безмолвный протест у тебя в потрохах, инстинктивное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы, что некогда они *наверное* были другими. Ему пришло в голову, что самое характерное в

characteristic thing about modern life was not its cruelty and insecurity, but simply its bareness, its dinginess, its listlessness. Life, if you looked about you, bore no resemblance not only to the lies that streamed out of the telescreens, but even to the ideals that the Party was trying to achieve. Great areas of it, even for a Party member, were neutral and non-political, a matter of slogging through dreary jobs, fighting for a place on the Tube, darning a worn-out sock, cadging a saccharine tablet, saving a cigarette end. The ideal set up by the Party was something huge, terrible, and glittering -- a world of steel and concrete, of monstrous machines and terrifying weapons -- a nation of warriors and fanatics, marching forward in perfect unity, all thinking the same thoughts and shouting the same slogans, perpetually working, fighting, triumphing, persecuting -- three hundred million people all with the same face. The reality was decaying, dingy cities where underfed people shuffled to and fro in leaky shoes, in patched-up nineteenth-century houses that smelt always of cabbage and bad lavatories. He seemed to see a vision of London, vast and ruinous, city of a million dustbins, and mixed up with it was a picture of Mrs. Parsons, a woman with lined face and wispy hair, fiddling helplessly with a blocked waste-pipe.

нынешней жизни -- не жестокость ее и не шаткость, а просто убожество, тусклость, апатия. Оглянешься вокруг -- и не увидишь ничего похожего ни на ложь, льющуюся из телекранов, ни на те идеалы, к которым стремятся партия. Даже у партийца большая часть жизни проходит вне политики: корпишь на нудной службе, бьешься за место в вагоне метро, штопаешь дырявый носок, клянчишь сахариновую таблетку, заканчиваешь окурок. Партийный идеал -- это нечто исполинское, грозное, сверкающее: мир стали и бетона, чудовищных машин и жуткого оружия, страна воинов и фанатиков, которые шагают в едином строю, думают одну мысль, кричат один лозунг, неустанно трудятся сражаются, торжествуют, карают -- триста миллионов человек -- и все на одно лицо. В жизни же -- города-трущобы, где снуют несытые люди в худых башмаках, ветхие дома девятнадцатого века, где всегда пахнет капустой и нужником. Перед ним возникло видение Лондона -- громадный город развалин, город миллиона мусорных ящиков, -- и на него наложился образ миссис Парсонс, женщины с морщинистым лицом и жидкими волосами, безнадежно ковыряющей засоренную канализационную трубу.

He reached down and scratched his ankle again. Day and night the telescreens bruised your ears with statistics proving that people today had more food, more clothes, better houses, better recreations -- that they lived longer, worked shorter hours, were bigger, healthier, stronger, happier, more intelligent, better educated, than the people of fifty years ago. Not a word of it could ever be proved or disproved. The Party claimed, for example, that today 40 per cent of adult proles were literate: before the Revolution, it was said, the number had only been 15 per cent. The Party claimed that the infant mortality rate was now only 160 per thousand, whereas before the Revolution it had been 300 -- and so it went on. It was like a single equation with two unknowns. It might very well be that literally every word in the history books, even the things that one accepted without question, was pure fantasy. For all he knew there might never

Он опять почесал лодыжку. День и ночь телекраны хлещут тебя по ушам статистикой, доказывают, что у людей сегодня больше еды, больше одежды, лучше дома, веселее развлечения, что они живут дольше, работают меньше и сами стали крупнее, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, просвещеннее, чем пятьдесят лет назад. Ни слова тут нельзя доказать и нельзя опровергнуть. Партия, например, утверждает, что грамотны сегодня сорок процентов взрослых пролов, а до революции грамотных было только пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность сегодня -- всего сто шестьдесят на тысячу, а до революции была -- триста... и так далее. Это что-то вроде одного уравнения с двумя неизвестными. Очень может быть, что буквально каждое слово в исторических книжках -- даже те, которые принимаешь как самоочевидные, -- чистый вымысел. Кто

have been any such law as the *jus primae noctis*, or any such creature as a capitalist, or any such garment as a top hat.

его знает, может, и не было никогда такого закона, как право первой ночи, или такой твари, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.

Everything faded into mist. The past was erased, the erasure was forgotten, the lie became truth. Just once in his life he had possessed -- *after* the event: that was what counted -- concrete, unmistakable evidence of an act of falsification. He had held it between his fingers for as long as thirty seconds. In 1973, it must have been -- at any rate, it was at about the time when he and Katharine had parted. But the really relevant date was seven or eight years earlier.

Все расплывается в тумане. Прошлое подчищено, подчистка забыта, ложь стала правдой. Лишь однажды в жизни он располагал -- после событий, вот что важно -- ясным и недвусмысленным доказательством того, что совершена подделка. Он держал его в руках целых полминуты. Было это, кажется, в 1973 году... словом, в то время, когда он расстался с Кэтрин. Но речь шла о событиях семи- или восьмилетней давности.

The story really began in the middle sixties, the period of the great purges in which the original leaders of the Revolution were wiped out once and for all. By 1970 none of them was left, except Big Brother himself. All the rest had by that time been exposed as traitors and counter-revolutionaries. Goldstein had fled and was hiding no one knew where, and of the others, a few had simply disappeared, while the majority had been executed after spectacular public trials at which they made confession of their crimes. Among the last survivors were three men named Jones, Aaronson, and Rutherford. It must have been in 1965 that these three had been arrested. As often happened, they had vanished for a year or more, so that one did not know whether they were alive or dead, and then had suddenly been brought forth to incriminate themselves in the usual way. They had confessed to intelligence with the enemy (at that date, too, the enemy was Eurasia), embezzlement of public funds, the murder of various trusted Party members, intrigues against the leadership of Big Brother which had started long before the Revolution happened, and acts of sabotage causing the death of hundreds of thousands of people. After confessing to these things they had been pardoned, reinstated in the Party, and given posts which were in fact sinecures but which sounded important. All three had written long, abject articles in the *Times*, analysing the reasons for their defection and promising to make amends.

Началась эта история в середине шестидесятых годов, в период больших чисток, когда были поголовно истреблены подлинные вожди революции. К 1970 году в живых не осталось ни одного, кроме Старшего Брата. Всех разоблачили как предателей и контрреволюционеров. Голдстейн сбежал и скрывался неведомо где, кто-то просто исчез, большинство же после шумных процессов, где все признались в своих преступлениях, было казнено. Среди последних, кого постигла эта участь, были трое: Джонс, Аронсон и Резерфорд. Их взяли году в шестьдесят пятом. По обыкновению, они исчезли на год или год с лишним, и никто не знал, живы они или нет; но потом их вдруг извлекли дабы они, как принято, изобличили себя сами. Они признались в сношениях с врагом (тогда врагом тоже была Евразия), в растрате общественных фондов, в убийстве преданных партийцев, в подкопах под руководство Старшего Брата, которыми они занялись еще задолго до революции, во вредительских актах, стоивших жизни сотням тысяч людей. Признались, были помилованы, восстановлены в партии и получили посты, по названию важные, а по сути -- синекуры. Все трое выступили с длинными покаянными статьями в «Таймс», где рассматривали корни своей измены и обещали искупить вину.

Some time after their release Winston had actually seen all three of them in the Chestnut Tree Café. He remembered the sort of terrified fascination with which he

После их освобождения Уинстон действительно видел всю троицу в кафе «Под каштаном». Он наблюдал за ними исподтишка, с ужасом и не мог оторвать

had watched them out of the corner of his eye. They were men far older than himself, relics of the ancient world, almost the last great figures left over from the heroic days of the Party. The glamour of the underground struggle and the civil war still faintly clung to them. He had the feeling, though already at that time facts and dates were growing blurry, that he had known their names years earlier than he had known that of Big Brother. But also they were outlaws, enemies, untouchables, doomed with absolute certainty to extinction within a year or two. No one who had once fallen into the hands of the Thought Police ever escaped in the end. They were corpses waiting to be sent back to the grave.

глаз. Они были гораздо старше его -- реликты древнего мира, наверное, последние крупные фигуры, оставшиеся от ранних героических дней партии. Славный дух подпольной борьбы и гражданской войны все еще витал над ними. У него было ощущение -- хотя факты и даты уже порядком расплылись, -- что их имена он услышал на несколько лет раньше, чем имя Старшего Брата. Но они были вне закона -- враги, парии, обреченные исчезнуть в течение ближайшего года или двух. Тем, кто раз побывал в руках у полиции мыслей, уже не было спасения. Они трупы -- и только ждут, когда их отправят на кладбище.

There was no one at any of the tables nearest to them. It was not wise even to be seen in the neighbourhood of such people. They were sitting in silence before glasses of the gin flavoured with cloves which was the speciality of the café. Of the three, it was Rutherford whose appearance had most impressed Winston. Rutherford had once been a famous caricaturist, whose brutal cartoons had helped to inflame popular opinion before and during the Revolution. Even now, at long intervals, his cartoons were appearing in the *Times*. They were simply an imitation of his earlier manner, and curiously lifeless and unconvincing. Always they were a rehashing of the ancient themes -- slum tenements, starving children, street battles, capitalists in top hats -- even on the barricades the capitalists still seemed to cling to their top hats an endless, hopeless effort to get back into the past. He was a monstrous man, with a mane of greasy grey hair, his face pouched and seamed, with thick negroid lips. At one time he must have been immensely strong; now his great body was sagging, sloping, bulging, falling away in every direction. He seemed to be breaking up before one's eyes, like a mountain crumbling.

За столиками вокруг них не было ни души. Неразумно даже показываться поблизости от таких людей. Они молча сидели за стаканами джина, сдобренного гвоздикой, -- фирменным напитком этого кафе. Наибольшее впечатление на Уинстона произвел Резерфорд. Некогда знаменитый карикатурист, он своими злыми рисунками немало способствовал разжиганию общественных страстей в период революций. Его карикатуры и теперь изредка появлялись в «Таймс». Это было всего лишь подражание его прежней манере, на редкость безжизненное и неубедительное. Перепевы старинных тем: трущобы, хижины, голодные дети, уличные бои, капиталисты в цилиндрах -- кажется, даже на баррикадах они не желали расстаться с цилиндрами, -- бесконечные и безнадежные попытки вернуться в прошлое. Он был громаден и уродлив -- грива сальных седых волос, лицо в морщинах и припухлостях, выпяченные губы. Когда-то он, должно быть, отличался неимоверной силой, теперь же его большое тело местами разбухло, обвисло, осело, местами усохло. Он будто распадался на глазах -- осыпающаяся гора.

It was the lonely hour of fifteen. Winston could not now remember how he had come to be in the café at such a time. The place was almost empty. A tinny music was trickling from the telescreens. The three men sat in their corner almost motionless, never speaking. Uncommanded, the waiter brought fresh glasses of gin. There was a

Было 15 часов, время затишья. Уинстон уже не помнил, как его туда занесло в такой час. Кафе почти опустело. Из телекранов точилась бодрая музыка. Трое сидели в своем углу молча и почти неподвижно. Официант, не дожидаясь их просьбы, принес еще по стакану джина. На их столе лежала шахматная доска с

chessboard on the table beside them, with the pieces set out but no game started. And then, for perhaps half a minute in all, something happened to the telescreens. The tune that they were playing changed, and the tone of the music changed too. There came into it -- but it was something hard to describe. It was a peculiar, cracked, braying, jeering note: in his mind Winston called it a yellow note. And then a voice from the telescreen was singing:

расставленными фигурами, но никто не играл. Вдруг с телекранами что-то произошло -- и продолжалось это с полминуты. Сменилась мелодия, и сменилось настроение музыки. Вторглось что-то другое... трудно объяснить что. Странный, надтреснутый, визгливый, глумливый тон -- Уинстон назвал его про себя желтым тоном. Потом голос запел:

Under the spreading chestnut tree
I sold you and you sold me:
There lie they, and here lie we
Under the spreading chestnut tree.

Под развесистым каштаном
Продали средь бела дня –
Я тебя, а ты меня.
Под развесистым каштаном
Мы лежим средь бела дня --
Справа ты, а слева я. [2]

The three men never stirred. But when Winston glanced again at Rutherford's ruinous face, he saw that his eyes were full of tears. And for the first time he noticed, with a kind of inward shudder, and yet not knowing *at what* he shuddered, that both Aaronson and Rutherford had broken noses.

Трое не пошевелились. Но когда Уинстон снова взглянул на разрушенное лицо Резерфорда, оказалось, что в глазах у него стоят слезы. И только теперь Уинстон заметил, с внутренним содроганием -- не понимая еще, почему содрогнулся, -- что и у Аронсона и у Резерфорда перебитые носы.

A little later all three were re-arrested. It appeared that they had engaged in fresh conspiracies from the very moment of their release. At their second trial they confessed to all their old crimes over again, with a whole string of new ones. They were executed, and their fate was recorded in the Party histories, a warning to posterity. About five years after this, in 1973, Winston was unrolling a wad of documents which had just flopped out of the pneumatic tube on to his desk when he came on a fragment of paper which had evidently been slipped in among the others and then forgotten. The instant he had flattened it out he saw its significance. It was a half-page torn out of the *Times* of about ten years earlier -- the top half of the page, so that it included the date -- and it contained a photograph of the delegates at some Party function in New York. Prominent in the middle of the group were Jones, Aaronson, and Rutherford. There was no mistaking them, in any case their names were in the caption at the bottom.

Чуть позже всех троих опять арестовали. Выяснилось, что сразу же после освобождения они вступили в новые заговоры. На втором процессе они вновь сознались во всех прежних преступлениях и во множестве новых. Их казнили, а дело их в назидание потомкам увековечили в истории партии. Лет через пять после этого, в 1973-м, разворачивая материалы, только что выпавшие на стол из пневматической трубы, Уинстон обнаружил случайный обрывок бумаги. Значение обрывка он понял сразу, как только расправил его на столе. Это была половина страницы, вырванная из «Таймс» примерно десятилетней давности, -- верхняя половина, так что число там стояло, -- и на ней фотография участников какого-то партийного торжества в Нью-Йорке. В центре группы выделялись Джонс, Аронсон и Резерфорд. Не узнать их было нельзя, да и фамилии их значились в подписи под фотографией.

The point was that at both trials all three men had confessed that on that date they had been on Eurasian soil. They had flown from a secret airfield in Canada to a rendezvous somewhere in Siberia, and had

А на обоих процессах все трое показали, что в тот день они находились на территории Евразии. С тайного аэродрома в Канаде их доставили куда-то в Сибирь на встречу с работниками

conferred with members of the Eurasian General Staff, to whom they had betrayed important military secrets. The date had stuck in Winston's memory because it chanced to be midsummer day; but the whole story must be on record in countless other places as well. There was only one possible conclusion: the confessions were lies.

Евразийского генштаба, которому они выдавали важные военные тайны. Дата засела в памяти Уинстона, потому что это был Иванов день: впрочем, это дело наверняка описано повсюду. Вывод возможен только один: их признания были ложью.

Of course, this was not in itself a discovery. Even at that time Winston had not imagined that the people who were wiped out in the purges had actually committed the crimes that they were accused of. But this was concrete evidence; it was a fragment of the abolished past, like a fossil bone which turns up in the wrong stratum and destroys a geological theory. It was enough to blow the Party to atoms, if in some way it could have been published to the world and its significance made known.

Конечно, не бог весть какое открытие. Уже тогда Уинстон не допускал мысли, что люди, уничтоженные во время чисток, в самом деле преступники. Но тут было точное доказательство, обломок отмененного прошлого: так одна ископаемая кость, найденная не в том слое отложений, разрушает целую геологическую теорию. Если бы этот факт можно было обнародовать, разъяснить его значение, он один разбил бы партию вдребезги.

He had gone straight on working. As soon as he saw what the photograph was, and what it meant, he had covered it up with another sheet of paper. Luckily, when he unrolled it, it had been upside-down from the point of view of the telescreen.

Уинстон сразу взялся за работу. Увидев фотографию и поняв, что она означает, он прикрыл ее другим листом. К счастью, телекрану она была видна вверх ногами.

He took his scribbling pad on his knee and pushed back his chair so as to get as far away from the telescreen as possible. To keep your face expressionless was not difficult, and even your breathing could be controlled, with an effort: but you could not control the beating of your heart, and the telescreen was quite delicate enough to pick it up. He let what he judged to be ten minutes go by, tormented all the while by the fear that some accident -- a sudden draught blowing across his desk, for instance -- would betray him. Then, without uncovering it again, he dropped the photograph into the memory hole, along with some other waste papers. Within another minute, perhaps, it would have crumbled into ashes.

Он положил блокнот на колено и отодвинулся со стулом подальше от телекрана. Сделать непроницаемое лицо легко, даже дышать можно ровно, если постараться, но вот с сердцебиением не сладишь, а телекран -- штука чувствительная, подметит. Он выждал, по своим расчетам, десять минут, все время мучаясь страхом, что его выдаст какая-нибудь случайность -- например, внезапный сквозняк смахнет бумагу. Затем, уже не открывая фотографию, он сунул ее вместе с ненужными листками в гнездо памяти. И через минуту она, наверное, превратилась в пепел.

That was ten -- eleven years ago. Today, probably, he would have kept that photograph. It was curious that the fact of having held it in his fingers seemed to him to make a difference even now, when the photograph itself, as well as the event it recorded, was only memory. Was the Party's hold upon the past less strong, he wondered, because a piece of evidence which existed no longer *had once* existed?

Это было десять-одиннадцать лет назад. Сегодня он эту фотографию скорее бы всего сохранил. Любопытно: хотя и фотография и отраженный на ней факт были всего лишь воспоминанием, само то, что он когда-то держал ее в руках, влияло на него до сих пор. Неужели, спросил он себя, власть партии над прошлым ослабла оттого, что уже не существующее мелкое свидетельство *когда-то* существовало?

But today, supposing that it could be somehow resurrected from its ashes, the photograph might not even be evidence. Already, at the time when he made his discovery, Oceania was no longer at war with Eurasia, and it must have been to the agents of Eastasia that the three dead men had betrayed their country. Since then there had been other changes -- two, three, he could not remember how many. Very likely the confessions had been rewritten and rewritten until the original facts and dates no longer had the smallest significance. The past not only changed, but changed continuously. What most afflicted him with the sense of nightmare was that he had never clearly understood *why* the huge imposture was undertaken. The immediate advantages of falsifying the past were obvious, but the ultimate motive was mysterious. He took up his pen again and wrote:

А сегодня, если бы удалось воскресить фотографию, она, вероятно, и уликой не была бы. Ведь когда он увидел ее, Океания уже не воевала с Евразией и трое покойных должны были бы продавать родину агентам Остазии. А с той поры произошли еще повороты -- два, три, он не помнил сколько. Наверное, признания покойных переписывались и переписывались, так что первоначальные факты и даты совсем уже ничего не значат. Прошлое не просто меняется, оно меняется непрерывно. Самым же кошмарным для него было то, что он никогда не понимал отчетливо, *какую цель* преследует это грандиозное надувательство. Сиюминутные выгоды от подделки прошлого очевидны, но конечная ее цель -- загадка. Он снова взял ручку и написал:

I understand HOW: I do not understand WHY.

Я понимаю КАК; не понимаю ЗАЧЕМ.

He wondered, as he had many times wondered before, whether he himself was a lunatic. Perhaps a lunatic was simply a minority of one. At one time it had been a sign of madness to believe that the earth goes round the sun; today, to believe that the past is inalterable. He might be *alone* in holding that belief, and if alone, then a lunatic. But the thought of being a lunatic did not greatly trouble him: the horror was that he might also be wrong.

Он задумался, как задумывался уже не раз, а не сумасшедший ли он сам. Может быть, сумасшедший тот, кто в меньшинстве, в единственном числе. Когда-то безумием было думать, что Земля вращается вокруг Солнца; сегодня -- что прошлое неизменяемо. Возможно, он один придерживается этого убеждения, а раз один, значит -- сумасшедший. Но мысль, что он сумасшедший, не очень его тревожила: ужасно, если он вдобавок ошибается.

He picked up the children's history book and looked at the portrait of Big Brother which formed its frontispiece. The hypnotic eyes gazed into his own. It was as though some huge force were pressing down upon you -- something that penetrated inside your skull, battering against your brain, frightening you out of your beliefs, persuading you, almost, to deny the evidence of your senses. In the end the Party would announce that two and two made five, and you would have to believe it. It was inevitable that they should make that claim sooner or later: the logic of their position demanded it. Not merely the validity of experience, but the very existence of external reality, was tacitly denied by their philosophy. The heresy of heresies was common sense. And what was terrifying was not that they would kill you

Он взял детскую книжку по истории и посмотрел на фронтиспис с портретом Старшего Брата. Его встретил гипнотический взгляд. Словно какая-то исполинская сила давила на тебя -- проникала в череп, трамбовала мозг, страхом вышибала из тебя твои убеждения, принуждала не верить собственным органам чувств. В конце концов партия объявит, что дважды два -- пять, и придется в это верить. Рано или поздно она издаст такой указ, к этому неизбежно ведет логика ее власти. Ее философия молчаливо отрицает не только верность твоих восприятии, но и само существование внешнего мира. Ересь из ересей -- здравый смысл. И ужасно не то, что тебя убьют за противоположное мнение, а то, что они, может быть, правы. В самом деле, откуда мы знаем,

for thinking otherwise, but that they might be right. For, after all, how do we know that two and two make four? Or that the force of gravity works? Or that the past is unchangeable? If both the past and the external world exist only in the mind, and if the mind itself is controllable what then?

что дважды два -- четыре? Или что существует сила тяжести? Или что прошлое нельзя изменить? Если и прошлое и внешний мир существуют только в сознании, а сознанием можно управлять -- тогда что?

But no! His courage seemed suddenly to stiffen of its own accord. The face of O'Brien, not called up by any obvious association, had floated into his mind. He knew, with more certainty than before, that O'Brien was on his side. He was writing the diary for O'Brien -- *to* O'Brien: it was like an interminable letter which no one would ever read, but which was addressed to a particular person and took its colour from that fact.

Нет! Он ощутил неожиданный прилив мужества. Непонятно, по какой ассоциации в уме возникло лицо О'Брайена. Теперь он еще тверже знал, что О'Брайен на его стороне. Он пишет дневник для О'Брайена -- О'Брайену; никто не прочтет его бесконечного письма, но предназначено оно определенному человеку и этим окрашено.

The Party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command. His heart sank as he thought of the enormous power arrayed against him, the ease with which any Party intellectual would overthrow him in debate, the subtle arguments which he would not be able to understand, much less answer. And yet he was in the right! They were wrong and he was right. The obvious, the silly, and the true had got to be defended. Truisms are true, hold on to that! The solid world exists, its laws do not change. Stones are hard, water is wet, objects unsupported fall towards the earth's centre. With the feeling that he was speaking to O'Brien, and also that he was setting forth an important axiom, he wrote:

Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это ее окончательный, самый важный приказ. Сердце у него упало при мысли о том, какая огромная сила выстроилась против него, с какой легкостью собьет его в споре любой партийный идеолог -- хитрыми доводами, которых он не то что опровергнуть -- понять не сможет. И однако *он* прав! Они не правы, а прав он. Очевидное, азбучное, верное надо защищать. Прописная истина истинна -- и стой на этом! Прочно существует мир, его законы не меняются. Камни -- твердые, вода -- мокрая, предмет, лишенный опоры, устремляется к центру Земли. С ощущением, что он говорит это О'Брайену и выдвигает важную аксиому, Уинстон написал:

Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows.

Свобода -- это возможность сказать, что дважды два -- четыре. Если дозволено это, все остальное отсюда следует.

VIII

VIII

From somewhere at the bottom of a passage the smell of roasting coffee -- real coffee, not Victory Coffee -- came floating out into the street. Winston paused involuntarily. For perhaps two seconds he was back in the half-forgotten world of his childhood. Then a door banged, seeming to cut off the smell as abruptly as though it had been a sound.

Откуда-то из глубины прохода пахнуло жареным кофе -- настоящим кофе, не «Победой». Уинстон невольно остановился. Секунды на две он вернулся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь и отрубила запах, как звук.

He had walked several kilometres over pavements, and his varicose ulcer was throbbing. This was the second time in three weeks that he had missed an evening at the Community Centre: a rash act, since

Он прошел по улицам несколько километров, язва над щиколоткой саднила. Вот уже второй раз за три недели он пропустил вечер в общественном центре -- опрометчивый

you could be certain that the number of your attendances at the Centre was carefully checked. In principle a Party member had no spare time, and was never alone except in bed. It was assumed that when he was not working, eating, or sleeping he would be taking part in some kind of communal recreation: to do anything that suggested a taste for solitude, even to go for a walk by yourself, was always slightly dangerous. There was a word for it in Newspeak: *ownlife*, it was called, meaning individualism and eccentricity. But this evening as he came out of the Ministry the balminess of the April air had tempted him. The sky was a warmer blue than he had seen it that year, and suddenly the long, noisy evening at the Centre, the boring, exhausting games, the lectures, the creaking camaraderie oiled by gin, had seemed intolerable. On impulse he had turned away from the bus-stop and wandered off into the labyrinth of London, first south, then east, then north again, losing himself among unknown streets and hardly bothering in which direction he was going.

"If there is hope," he had written in the diary, "it lies in the proles." The words kept coming back to him, statement of a mystical truth and a palpable absurdity. He was somewhere in the vague, brown-coloured slums to the north and east of what had once been Saint Pancras Station. He was walking up a cobbled street of little two-storey houses with battered doorways which gave straight on the pavement and which were somehow curiously suggestive of ratholes. There were puddles of filthy water here and there among the cobbles. In and out of the dark doorways, and down narrow alley-ways that branched off on either side, people swarmed in astonishing numbers -- girls in full bloom, with crudely lipsticked mouths, and youths who chased the girls, and swollen waddling women who showed you what the girls would be like in ten years' time, and old bent creatures shuffling along on splayed feet, and ragged barefooted children who played in the puddles and then scattered at angry yells from their mothers. Perhaps a quarter of the windows in the street were broken and boarded up. Most of the people paid no attention to Winston; a few eyed him with a

поступок, за посещениями наверняка следят. В принципе у члена партии нет свободного времени, и наедине с собой он бывает только в постели. Предполагается, что, когда он не занят работой, едой и сном, он участвует в общественных развлечениях; все, в чем можно усмотреть любовь к одиночеству, -- даже прогулка без спутников -- подозрительно. Для этого в новоязе есть слово: *саможит* -- означает индивидуализм и чудачество. Но нынче вечером выйдя из министерства, он соблазнился нежностью апрельского воздуха. Такого мягкого голубого тона в небе он за последний год ни разу не видел, и долгий шумный вечер в общественном центре, скучные, изнурительные игры, лекции, поскрипывающее, хоть и смазанное джином, товарищество -- все это показалось ему непереносимым. Поддавшись внезапному порыву, он повернул прочь от автобусной остановки и побрел по лабиринту Лондона, сперва на юг, потом на восток и обратно на север, заплутался на незнакомых улицах и шел уже куда глаза глядят.

«Если есть надежда, -- написал он в дневнике, -- то она -- в пролах». И в голове все время крутилась эта фраза -- мистическая истина и очевидная нелепость. Он находился в бурых трущобах, где-то к северо-востоку от того, что было некогда вокзалом Сент-Панкрас. Он шел по булыжной улочке мимо двухэтажных домов с обшарпанными дверями, которые открывались прямо на тротуар и почему-то наводили на мысль о крысиных норах. На булыжнике там и сям стояли грязные лужи. И в темных подъездах и в узких проулках по обе стороны было удивительно много народу -- зрелые девушки с грубо намалеванными ртами, парни, гонявшиеся за девушками, толстомясые тетки, при виде которых становилось понятно, во что превратятся эти девушки через десяток лет, согнутые старухи, шаркавшие растоптанными ногами, и оборванные босые дети, которые играли в лужах и бросались врассыпную от материнских окриков. Наверно, каждое четвертое окно было выбито и забрано досками. На Уинстона почти не обращали внимания, но кое-кто

sort of guarded curiosity. Two monstrous women with brick-red forearms folded across thelr aprons were talking outside a doorway. Winston caught scraps of conversation as he approached.

провожал его опасливым и любопытным взглядом. Перед дверью, сложив кирпично-красные руки на фартуках, беседовали две необъятные женщины. Уинстон, подходя к ним, услышал обрывки разговора.

"'Yes,' I says to 'er, 'that's all very well,' I says. 'But if you'd of been in my place you'd of done the same as what I done. It's easy to criticize,' I says, 'but you ain't got the same problems as what I got.'"

-- Да, говорю, это все очень хорошо, говорю. Но на моем месте ты бы сделала то же самое. Легко, говорю, судить -- а вот хлебнула бы ты с мое...

"Ah," said the other, "that's jest it. That's jest where it is."

-- Да-а, -- отозвалась другая, -- В том-то все и дело.

The strident voices stopped abruptly. The women studied him in hostile silence as he went past. But it was not hostility, exactly; merely a kind of wariness, a momentary stiffening, as at the passing of some unfamiliar animal. The blue overalls of the Party could not be a common sight in a street like this. Indeed, it was unwise to be seen in such places, unless you had definite business there. The patrols might stop you if you happened to run into them. 'May I see your papers, comrade? What are you doing here? What time did you leave work? Is this your usual way home?' -- and so on and so forth. Not that there was any rule against walking home by an unusual route: but it was enough to draw attention to you if the Thought Police heard about it.

Резкие голоса вдруг смолкли. В молчании женщины окинули его враждебным взглядом. Впрочем, не враждебным даже, скорее настороженным, замерев на миг, как будто мимо проходило неведомое животное, Синий комбинезон партийца не часто мелькал на этих улицах. Показываться в таких местах без дела не стоило. Налетишь на патруль -- могут остановить. «Товарищ, ваши документы. Что вы здесь делаете? В котором часу ушли с работы? Вы всегда ходите домой этой дорогой?» -- и так далее, и так далее. Разными дорогами ходить домой не запрещалось, но если узнает полиция мыслей, этого достаточно, чтобы тебя взяли на заметку.

Suddenly the whole street was in commotion. There were yells of warning from all sides. People were shooting into the doorways like rabbits. A young woman leapt out of a doorway a little ahead of Winston, grabbed up a tiny child playing in a puddle, whipped her apron round it, and leapt back again, all in one movement. At the same instant a man in a concertina-like black suit, who had emerged from a side alley, ran towards Winston, pointing excitedly to the sky.

Вдруг вся улица пришла в движение. Со всех сторон послышались предостерегающие крики. Люди разбежались по домам, как кролики. Из двери недалеко от Уинстона выскочила молодая женщина, подхватила маленького ребенка, игравшего в луже, накинула на него фартук и метнулась обратно. В тот же миг из переулка появился мужчина в черном костюме, напоминавшем гармонь, подбежал к Уинстону. взволнованно показывая на небо.

"Steamer!" he yelled. "Look out, guv'nor! Bang over'ead! Lay down quick!"

-- Паровоз! -- закричал он. -- Смотри, директор! Сейчас по башке! Ложись быстро!

"Steamer" was a nickname which, for some reason, the proles applied to rocket bombs. Winston promptly flung himself on his face. The proles were nearly always right when they gave you a warning of this kind. They seemed to possess some kind of instinct which told them several seconds in advance when a rocket was coming, although the

Паровозом пролы почему-то прозвали ракету. Уинстон бросился ничком на землю. В таких случаях пролы почти никогда не ошибались. Им будто инстинкт подсказывал за несколько секунд, что подлетает ракета, -- считалось ведь, что ракеты летят быстрее звука. Уинстон прикрыл голову руками.

rockets supposedly travelled faster than sound. Winston clasped his forearms above his head. There was a roar that seemed to make the pavement heave; a shower of light objects pattered on to his back. When he stood up he found that he was covered with fragments of glass from the nearest window.

Раздался грохот, встряхнувший мостовую; на спину ему дождем посыпался какой-то мусор. Поднявшись, он обнаружил, что весь усыпан осколками оконного стекла.

He walked on. The bomb had demolished a group of houses 200 metres up the street. A black plume of smoke hung in the sky, and below it a cloud of plaster dust in which a crowd was already forming around the ruins. There was a little pile of plaster lying on the pavement ahead of him, and in the middle of it he could see a bright red streak. When he got up to it he saw that it was a human hand severed at the wrist. Apart from the bloody stump, the hand was so completely whitened as to resemble a plaster cast.

Он пошел дальше. Метрах в двухстах ракета снесла несколько домов. В воздухе стоял черный столб дыма. а под ним в туче алебастровой пыли уже собирались вокруг развалин люди. Впереди возвышалась кучка штукатурки, и на ней Уинстон разглядел ярко-красное пятно. Подойдя поближе, он увидел, что это оторванная кисть руки. За исключением кровавого пенька, кисть была совершенно белая, как гипсовый слепок.

He kicked the thing into the gutter, and then, to avoid the crowd, turned down a side-street to the right. Within three or four minutes he was out of the area which the bomb had affected, and the sordid swarming life of the streets was going on as though nothing had happened. It was nearly twenty hours, and the drinking-shops which the proles frequented ("pubs", they called them) were choked with customers. From their grimy swing doors, endlessly opening and shutting, there came forth a smell of urine, sawdust, and sour beer. In an angle formed by a projecting house-front three men were standing very close together, the middle one of them holding a folded-up newspaper which the other two were studying over his shoulder. Even before he was near enough to make out the expression on their faces, Winston could see absorption in every line of their bodies. It was obviously some serious piece of news that they were reading. He was a few paces away from them when suddenly the group broke up and two of the men were in violent altercation. For a moment they seemed almost on the point of blows.

Он сбросил ее ногой в водосток, а потом, чтобы обойти толпу, свернул направо в переулок. Минуты через три-четыре он вышел из зоны взрыва, и здесь улица жила своей убогой муравьиной жизнью как ни в чем не бывало. Время шло к двадцати часам, питейные лавки пролов ломились от посетителей. Их грязные двери беспрерывно раскрывались, обдавая улицу запахами мочи, опилок и кислого пива. В углу возле выступающего дома вплотную друг к другу стояли трое мужчин: средний держал сложенную газету, а двое заглядывали через его плечо. Издали Уинстон не мог различить выражения их лиц, но их позы выдавали увлеченность. Видимо, они читали какое-то важное сообщение. Когда до них оставалось несколько шагов, группа вдруг разделилась, и двое вступили в яростную перебранку. Казалось, она вот-вот перейдет в драку.

"Can't you bleeding well listen to what I say? I tell you no number ending in seven ain't won for over fourteen months!"

-- Да ты слушай, балда, что тебе говорят! С семеркой на конце ни один номер не выиграл за четырнадцать месяцев.

"Yes, it 'as, then!"

-- А я говорю, выиграл!

"No, it 'as not! Back 'ome I got the 'ole lot of 'em for over two years wrote down on a piece of paper. I takes 'em down reg'lar as the clock. An' I tell you, no number ending

-- А я говорю, нет. У меня дома все выписаны за два года. Записываю, как часы. Я тебе говорю, ни один с

in seven--"

"Yes, a seven *'as* won! I could pretty near tell you the bleeding number. Four oh seven, it ended in. It were in February -- second week in February."

"February your grandmother! I got it all down in black and white. An' I tell you, no number--"

"Oh, pack it in!" said the third man.

They were talking about the Lottery. Winston looked back when he had gone thirty metres. They were still arguing, with vivid, passionate faces. The Lottery, with its weekly pay-out of enormous prizes, was the one public event to which the proles paid serious attention. It was probable that there were some millions of proles for whom the Lottery was the principal if not the only reason for remaining alive. It was their delight, their folly, their anodyne, their intellectual stimulant. Where the Lottery was concerned, even people who could barely read and write seemed capable of intricate calculations and staggering feats of memory. There was a whole tribe of men who made a living simply by selling systems, forecasts, and lucky amulets. Winston had nothing to do with the running of the Lottery, which was managed by the Ministry of Plenty, but he was aware (indeed everyone in the party was aware) that the prizes were largely imaginary. Only small sums were actually paid out, the winners of the big prizes being non-existent persons. In the absence of any real intercommunication between one part of Oceania and another, this was not difficult to arrange.

But if there was hope, it lay in the proles. You had to cling on to that. When you put it in words it sounded reasonable: it was when you looked at the human beings passing you on the pavement that it became an act of faith. The street into which he had turned ran downhill. He had a feeling that he had been in this neighbourhood before, and that there was a main thoroughfare not far away. From somewhere ahead there came a din of shouting voices. The street took a sharp turn and then ended in a flight of steps which led down into a sunken alley where a few stall-keepers were selling tired-looking vegetables. At this moment Winston remembered where he was. The alley led out into the main street, and down the next

семеркой...

-- Нет, выигрывала семерка! Да я почти весь номер назову. Кончался на четыреста семь. В феврале, вторая неделя февраля.

-- Бабушку твою в феврале! У меня черным по белому. Ни разу, говорю, с семеркой...

-- Да закройтесь вы! -- вмешался третий.

Они говорили о лотерее. Отойдя метров на тридцать, Уинстон оглянулся. Они продолжали спорить оживленно, страстно. Лотерея с ее еженедельными сказочными выигрышами была единственным общественным событием, которое волновало пролов. Вероятно, миллионы людей видели в ней главное, если не единственное дело, ради которого стоит жить. Это была их услада, их безумство, их отдохновение, их интеллектуальный возбудитель. Тут даже те, кто едва умел читать и писать, проявляли искусство сложнейших расчетов и сверхъестественную память. Существовал целый клан, кормившийся продажей систем, прогнозов и талисманов. К работе лотереи Уинстон никакого касательства не имел -- ею занималось министерство изобилия, -- но он знал (в партии все знали), что выигрыши по большей части мнимые. На самом деле выплачивались только мелкие суммы, а обладатели крупных выигрышей были лицами вымышленными. При отсутствии настоящей связи между отдельными частями Океании устроить это не составляло труда.

Но если есть надежда, то она -- в пролах. За эту идею надо держаться. Когда выражаешь ее словами, она кажется здравой; когда смотришь на тех, кто мимо тебя проходит, верить в нее -- подвижничество. Он свернул на улицу, шедшую под уклон. Место показалось ему смутно знакомым -- невдалеке лежал главный проспект. Где-то впереди слышался гам. Улица круто повернула и закончилась лестницей, спускавшейся в переулок, где лоточники торговали вялыми овощами. Уинстон вспомнил это место. Переулок вел на главную улицу, а за следующим поворотом, в пяти минутах ходу, -- лавка старьевщика, где он купил книгу, штампую дневником. Чуть дальше, в канцелярском магазинчике, он

turning, not five minutes away, was the junk-shop where he had bought the blank book which was now his diary. And in a small stationer's shop not far away he had bought his penholder and his bottle of ink.

приобрел чернила и ручку.

He paused for a moment at the top of the steps. On the opposite side of the alley there was a dingy little pub whose windows appeared to be frosted over but in reality were merely coated with dust. A very old man, bent but active, with white moustaches that bristled forward like those of a prawn, pushed open the swing door and went in. As Winston stood watching, it occurred to him that the old man, who must be eighty at the least, had already been middle-aged when the Revolution happened. He and a few others like him were the last links that now existed with the vanished world of capitalism. In the Party itself there were not many people left whose ideas had been formed before the Revolution. The older generation had mostly been wiped out in the great purges of the fifties and sixties, and the few who survived had long ago been terrified into complete intellectual surrender. If there was any one still alive who could give you a truthful account of conditions in the early part of the century, it could only be a prole. Suddenly the passage from the history book that he had copied into his diary came back into Winston's mind, and a lunatic impulse took hold of him. He would go into the pub, he would scrape acquaintance with that old man and question him. He would say to him: "Tell me about your life when you were a boy. What was it like in those days? Were things better than they are now, or were they worse?"

Перед лестницей он остановился. На другой стороне переулка была захудалая пивная с как будто матовыми, а на самом деле просто пыльными окнами. Древний старик, согнутый, но энергичный, с седыми, торчащими, как у рака, усами, распахнул дверь и скрылся в пивной. Уинстону пришло в голову, что этот старик, которому сейчас не меньше восьмидесяти, застал революцию уже взрослым мужчиной. Он да еще немногие вроде него -- последняя связь с исчезнувшим миром капитализма. И в партии осталось мало таких, чьи взгляды сложились до революции. Старшее поколение почти все перебито в больших чистках пятидесятых и шестидесятых годов, а уцелевшие запуганы до полной умственной капитуляции. И если есть живой человек, который способен рассказать правду о первой половине века, то он может быть только пролом. Уинстон вдруг вспомнил переписанное в дневник место из детской книжки по истории и загорелся безумной идеей. Он войдет в пивную, завяжет со стариком знакомство и расспросит его: «Расскажите, как вы жили в детстве. Какая была жизнь? Лучше, чем в наши дни, или хуже?»

Hurriedly, lest he should have time to become frightened, he descended the steps and crossed the narrow street. It was madness of course. As usual, there was no definite rule against talking to proles and frequenting their pubs, but it was far too unusual an action to pass unnoticed. If the patrols appeared he might plead an attack of faintness, but it was not likely that they would believe him. He pushed open the door, and a hideous cheesy smell of sour beer hit him in the face. As he entered the din of voices dropped to about half its volume. Behind his back he could feel everyone eyeing his blue overalls. A game of darts which was going on at the other end

Поскорее, чтобы не успеть испугаться, он спустился до лестнице и перешел на другую сторону переулка. Сумасшествие, конечно. Разговаривать с пролами и посещать их пивные тоже, конечно, не запрещалось, но такая странная выходка не останется незамеченной. Если зайдет патруль, можно прикинуться, что стало дурно, но они вряд ли поверят. Он толкнул дверь, в нос ему шибануло пивной кислятиной. Когда он вошел, гвалт в пивной сделался вдвое тише. Он спиной чувствовал, что все глаза уставились на его синий комбинезон. Люди, метавшие дротики в мишень, прервали свою игру на целых полминуты.

of the room interrupted itself for perhaps as much as thirty seconds. The old man whom he had followed was standing at the bar, having some kind of altercation with the barman, a large, stout, hook-nosed young man with enormous forearms. A knot of others, standing round with glasses in their hands, were watching the scene.

Старик, из-за которого он пришел, препирался у стойки с барменом -- крупным, грузным молодым человеком, горбоносым и толсторуким. Вокруг кучкой стояли слушатели со своими стаканами.

“I arst you civil enough, didn’t I?” said the old man, straightening his shoulders pugnaciously. “You telling me you ain’t got a pint mug in the ’ole bleeding boozer?”

-- Тебя как человека просят, -- петушился старик и надувал грудь. -- А ты мне говоришь, что в твоем кабаке не найдется пинтовой кружки?

“And what in hell’s name *is* a pint?” said the barman, leaning forward with the tips of his fingers on the counter.

-- Да что это за чертовщина такая -- пинта? -- возражал бармен, упершись пальцами в стойку.

“Ark at ’im! Calls ’isself a barman and don’t know what a pint is! Why, a pint’s the ’alf of a quart, and there’s four quarts to the gallon. ’Ave to teach you the A, B, C next.”

-- Нет, вы слыхали? Бармен называется -- что такое пинта, не знает! Пинта -- это полкварты, а четыре кварты -- галлон. Может, тебя азбуке поучить?

“Never heard of ’em,” said the barman shortly. “Litre and half litre -- that’s all we serve. There’s the glasses on the shelf in front of you.”

-- Сроду не слышал, -- отрезал бармен. -- Подаем литр, подаем пол-литра -- и все. Вон на полке посуда.

“I likes a pint,” persisted the old man. “You could ’a drawed me off a pint easy enough. We didn’t ’ave these bleeding litres when I was a young man.”

-- Пинту хочу, -- не унимался старик. -- Трудно, что ли, нацедить пинту? В мое время никаких ваших литров не было.

“When you were a young man we were all living in the treetops,” said the barman, with a glance at the other customers.

-- В твое время мы все на ветках жили, -- ответил бармен, оглянувшись на слушателей.

There was a shout of laughter, and the uneasiness caused by Winston’s entry seemed to disappear. The old man’s whitestubbled face had flushed pink. He turned away, muttering to himself, and bumped into Winston. Winston caught him gently by the arm.

Раздался громкий смех, и неловкость, вызванная появлением Уинстона, прошла. Лицо у старика сделалось красным. Он повернулся, ворча, и налетел на Уинстона. Уинстон вежливо взял его под руку.

“May I offer you a drink?” he said.

-- Разрешите вас угостить? -- сказал он.

“You’re a gent,” said the other, straightening his shoulders again. He appeared not to have noticed Winston’s blue overalls. “Pint!” he added aggressively to the barman. “Pint of wallop.”

-- Благородный человек, -- ответил тот, снова выпятив грудь. Он будто не замечал на Уинстоне синего комбинезона. -- Пинту! -- воинственно приказал он бармену, -- Пинту тычка.

The barman swished two half-litres of dark-brown beer into thick glasses which he had rinsed in a bucket under the counter. Beer was the only drink you could get in prole pubs. The proles were supposed not to drink gin, though in practice they could get hold of it easily enough. The game of darts was in full swing again, and the knot of men at the bar had begun talking about lottery tickets. Winston’s presence was forgotten for a moment. There was a deal

Бармен ополоснул два толстых пол-литровых стакана в бочонке под стойкой и налил темного пива. Кроме пива, в этих заведениях ничего не подавали. Пролам джин не полагался, но добывали они его без особого труда. Метание дротиков возобновилось, а люди у стойки заговорили о лотерейных билетах. Об Уинстоне на время забыли. У окна стоял сосновый стол -- там можно было поговорить со стариком с глазу на глаз.

table under the window where he and the old man could talk without fear of being overheard. It was horribly dangerous, but at any rate there was no telescreen in the room, a point he had made sure of as soon as he came in.

"'E could 'a drawed me off a pint," grumbled the old man as he settled down behind a glass. "A 'alf litre ain't enough. It don't satisfy. And a 'ole litre's too much. It starts my bladder running. Let alone the price."

"You must have seen great changes since you were a young man," said Winston tentatively.

The old man's pale blue eyes moved from the darts board to the bar, and from the bar to the door of the Gents, as though it were in the bar-room that he expected the changes to have occurred.

"The beer was better," he said finally. "And cheaper! When I was a young man, mild beer -- wallop we used to call it -- was fourpence a pint. That was before the war, of course."

"Which war was that?" said Winston.

"It's all wars," said the old man vaguely. He took up his glass, and his shoulders straightened again. "'Ere's wishing you the very best of 'ealth!"

In his lean throat the sharp-pointed Adam's apple made a surprisingly rapid up-and-down movement, and the beer vanished. Winston went to the bar and came back with two more half-litres. The old man appeared to have forgotten his prejudice against drinking a full litre.

"You are very much older than I am," said Winston. "You must have been a grown man before I was born. You can remember what it was like in the old days, before the Revolution. People of my age don't really know anything about those times. We can only read about them in books, and what it says in the books may not be true. I should like your opinion on that. The history books say that life before the Revolution was completely different from what it is now. There was the most terrible oppression, injustice, poverty worse than anything we can imagine. Here in London, the great mass of the people never had enough to eat from birth to death. Half of them hadn't even boots on their feet. They worked twelve hours a day, they left school at nine, they slept ten in a room. And at the same

Риск ужасный; но по крайней мере телекрана нет -- в этом Уинстон удостоверился, как только вошел.

-- Мог бы нацедить мне пинту, -- ворчал старик, усаживаясь со стаканом. Поллитра мало -- не напьешься. А литр -- много. Бегаешь часто. Не говоря, что дорого.

-- Со времен вашей молодости вы, наверно, видели много перемен, -- осторожно начал Уинстон.

Выцветшими голубыми глазами старик посмотрел на мишень для дротиков, потом на стойку, потом на дверь мужской уборной, словно перемены эти хотел отыскать здесь, в пивной.

-- Пиво было лучше, -- сказал он наконец. -- И дешевле! Когда я был молодым, слабое пиво -- называлось у нас «тычок» -- стоило четыре пенса пинта. Но это до войны, конечно.

-- До какой? -- спросил Уинстон.

-- Ну, война, она всегда, -- неопределенно пояснил старик. Он взял стакан и снова выпятил грудь. -- Будь здоров!

Кадык на тощей шее удивительно быстро запрыгал -- и пива как не бывало. Уинстон сходил к стойке и принес еще два стакана. Старик как будто забыл о своем предубеждении против целого литра.

-- Вы намного старше меня, -- сказал Уинстон. -- Я еще на свет не родился, а вы уже, наверно, были взрослым. И можете вспомнить прежнюю жизнь, до революции. Люди моих лет, по сути, ничего не знают о том времени. Только в книгах прочтешь, а кто его знает -- правду ли пишут в книгах? Хотелось бы от вас услышать. В книгах по истории говорится, что жизнь до революции была совсем не похожа на нынешнюю. Ужасное угнетение, несправедливость, нищета -- такие, что мы и вообразить не можем. Здесь, в Лондоне, огромное множество людей с рождения до смерти никогда не ели досыта. Половина ходила босиком. Работали двенадцать часов, школу бросали в девять лет, спали по десять человек в комнате. А в то же

time there were a very few people, only a few thousands -- the capitalists, they were called -- who were rich and powerful. They owned everything that there was to own. They lived in great gorgeous houses with thirty servants, they rode about in motor-cars and four-horse carriages, they drank champagne, they wore top hats--"

The old man brightened suddenly.

“Top ’ats!” he said. “Funny you should mention ’em. The same thing come into my ’ead only yesterday, I dono why. I was jest thinking, I ain’t seen a top ’at in years. Gorn right out, they ’ave. The last time I wore one was at my sister-in-law’s funeral. And that was -- well, I couldn’t give you the date, but it must’a been fifty years ago. Of course it was only ’ired for the occasion, you understand.”

“It isn’t very important about the top hats,” said Winston patiently. “The point is, these capitalists -- they and a few lawyers and priests and so forth who lived on them -- were the lords of the earth. Everything existed for their benefit. You -- the ordinary people, the workers -- were their slaves. They could do what they liked with you. They could ship you off to Canada like cattle. They could sleep with your daughters if they chose. They could order you to be flogged with something called a cat-o’-nine tails. You had to take your cap off when you passed them. Every capitalist went about with a gang of lackeys who--”

The old man brightened again.

“Lackeys!” he said. “Now there’s a word I ain’t ’eard since ever so long. Lackeys! That reg’lar takes me back, that does. I recollect oh, donkey’s years ago -- I used to sometimes go to ’Yde Park of a Sunday afternoon to ’ear the blokes making speeches. Salvation Army, Roman Catholics, Jews, Indians -- all sorts there was. And there was one bloke -- well, I couldn’t give you ’is name, but a real powerful speaker ’e was. ’E didn’t ’alf give it ’em! ‘Lackeys!’ ’e says, ‘lackeys of the bourgeoisie! Flunkies of the ruling class!’ Parasites -- that was another of them. And ’yenas -- ’e definitely called ’em ’yenas. Of course ’e was referring to the Labour Party, you understand.”

Winston had the feeling that they were talking at cross-purposes.

“What I really wanted to know was this,” he

время меньшинство -- какие-нибудь несколько тысяч, так называемые капиталисты, -- располагали богатством и властью. Владели всем, чем можно владеть. Жили в роскошных домах, держали по тридцать слуг, разъезжали на автомобилях и четверках, пили шампанское, носили цилиндры...

Старик внезапно оживился.

-- Цилиндры! -- сказал он. -- Как это ты вспомнил? Только вчера про них думал. Сам не знаю, с чего вдруг. Сколько лет уж, думаю, не видел цилиндра. Совсем отошли. А я последний раз надевал на невесткины похороны. Вот еще когда... год вам не скажу, но уж лет пятьдесят тому. Напрокат, понятно, брали по такому случаю.

-- Цилиндры -- не так важно, -- терпеливо заметил Уинстон. -- Главное то, что капиталисты... они и священники, адвокаты и прочие, кто при них кормился, были хозяевами Земли. Все на свете было для них. Вы, простые рабочие люди, были у них рабами. Они могли делать с вами что угодно. Могли отправить вас на пароходе в Канаду, как скот. Спать с вашими дочерьми, если захочется. Приказать, чтобы вас выпороли какой-то девятихвостой плеткой. При встрече с ними вы снимали шапку. Каждый капиталист ходил со сворой лакеев...

Старик вновь оживился.

-- Лакеи! Сколько же лет не слыхал этого слова, а? Лакеи. Прямо молодость вспоминаешь, честное слово. Помню... вои еще когда... ходил я по воскресеньям в Гайд-парк, речи слушать. Кого там только не было -- и Армия Спасения, и католики, и евреи, и индусы... И был там один... имени сейчас не вспомню -- но сильно выступал! Ох, он их чихвостил. Лакеи, говорит. Лакеи буржуазии! Приспешники правящего класса! Паразиты -- вот как загнул еще. И гиены... гиенами точно называл. Все это, конечно, про лейбористов, сам понимаешь.

Уинстон почувствовал, что разговор не получается.

-- Я вот что хотел узнать, -- сказал он. --

said. “Do you feel that you have more freedom now than you had in those days? Are you treated more like a human being? In the old days, the rich people, the people at the top--”

Как вам кажется, у вас сейчас больше свободы, чем тогда? Отношение к вам более человеческое? В прежнее время богатые люди, люди у власти...

“The ’Ouse of Lords,” put in the old man reminiscently.

-- Палата лордов, -- задумчиво вставил старик.

“The House of Lords, if you like. What I am asking is, were these people able to treat you as an inferior, simply because they were rich and you were poor? Is it a fact, for instance, that you had to call them ‘Sir’ and take off your cap when you passed them?”

-- Палата лордов, если угодно. Я спрашиваю, могли эти люди обращаться с вами как с низшим только потому, что они богатые, а вы бедный? Правда ли, например, что вы должны были говорить им «сэр» и снимать шапку при встрече?

The old man appeared to think deeply. He drank off about a quarter of his beer before answering.

Старик тяжело задумался. И ответил не раньше, чем выпил четверть стакана.

“Yes,” he said. “They liked you to touch your cap to ’em. It showed respect, like. I didn’t agree with it, myself, but I done it often enough. Had to, as you might say.”

-- Да, -- сказал он. -- Любили, чтобы ты дотронулся до кепки. Вроде оказал уважение. Мне это, правда сказать, не нравилось -- но делал, не без того. Куда денешься, можно сказать.

“And was it usual -- I’m only quoting what I’ve read in history books -- was it usual for these people and their servants to push you off the pavement into the gutter?”

-- А было принято -- я пересказываю то, что читал в книгах по истории, -- у этих людей и их слуг было принято сталкивать вас с тротуара в сточную канаву?

“One of ’em pushed me once,” said the old man. “I recollect it as if it was yesterday. It was Boat Race night -- terribly rowdy they used to get on Boat Race night -- and I bumps into a young bloke on Shaftesbury Avenue. Quite a gent, ’e was -- dress shirt, top ’at, black overcoat. ’E was kind of zig-zagging across the pavement, and I bumps into ’im accidental-like. ’E says, ‘Why can’t you look where you’re going?’ ’e says. I say, ‘Ju think you’ve bought the bleeding pavement?’ ’E says, ‘I’ll twist your bloody ’ead off if you get fresh with me.’ I says, ‘You’re drunk. I’ll give you in charge in ’alf a minute,’ I says. An’ if you’ll believe me, ’e puts ’is ’and on my chest and gives me a shove as pretty near sent me under the wheels of a bus. Well, I was young in them days, and I was going to ’ave fetched ’im one, only--”

-- Один такой меня раз толкнул, -- ответил старик. -- Как вчера помню. В вечер после гребных гонок... ужасно они буянили после этих гонок... на Шафтсбери-авеню налетаю я на парня. Вид благородный -- парадный костюм, цилиндр, черное пальто. Идет по тротуару, виляет -- и я на него случайно налетел. Говорит: «Не видишь, куда идешь?» -- говорит. Я говорю: «А ты что. купил тротуар-то?» А он: «Грубить мне будешь? Голову, к чертям, отверну». Я говорю: «Пьяный ты, -- говорю. -- Сдам тебя полиции, оглянуться не успеешь». И, веришь ли, берет меня за грудь и так пихает, что я чуть под автобус не попал. Ну а я молодой тогда был и навесил бы ему, да тут...

A sense of helplessness took hold of Winston. The old man’s memory was nothing but a rubbish-heap of details. One could question him all day without getting any real information. The party histories might still be true, after a fashion: they might even be completely true. He made a last attempt.

Уинстон почувствовал отчаяние. Память старика была просто свалкой мелких подробностей. Можешь расспрашивать его целый день и никаких стоящих сведений не получишь. Так что история партии, может быть, правдива в каком-то смысле; а может быть, совсем правдива. Он сделал последнюю попытку.

"Perhaps I have not made myself clear," he said. "What I'm trying to say is this. You have been alive a very long time; you lived half your life before the Revolution. In 1925, for instance, you were already grown up. Would you say from what you can remember, that life in 1925 was better than it is now, or worse? If you could choose, would you prefer to live then or now?"

-- Я, наверное, неясно выражаюсь, -- сказал он. -- Я вот что хочу сказать. Вы очень давно живете на свете, половину жизни вы прожили до революции. Например, в тысяча девятьсот двадцать пятом году вы уже были взрослым. Из того, что вы помните, как по-вашему, в двадцать пятом году жить было лучше, чем сейчас, или хуже? Если бы вы могли выбрать, когда бы вы предпочли жить -- тогда или теперь?

The old man looked meditatively at the darts board. He finished up his beer, more slowly than before. When he spoke it was with a tolerant philosophical air, as though the beer had mellowed him.

Старик задумчиво посмотрел на мишень. Допил пиво -- совсем уже медленно. И наконец ответил с философской примиренностью, как будто пиво смягчило его.

"I know what you expect me to say," he said. "You expect me to say as I'd sooner be young again. Most people'd say they'd sooner be young, if you arst' 'em. You got your 'ealth and strength when you're young. When you get to my time of life you ain't never well. I suffer something wicked from my feet, and my bladder's jest terrible. Six and seven times a night it 'as me out of bed. On the other 'and, there's great advantages in being a old man. You ain't got the same worries. No truck with women, and that's a great thing. I ain't 'ad a woman for near on thirty year, if you'd credit it. Nor wanted to, what's more."

-- Знаю, каких ты слов от меня ждешь. Думаешь, скажу, что хочется снова стать молодым. Спроси людей: большинство тебе скажут, что хотели бы стать молодыми. В молодости здоровье, сила, все при тебе. Кто дожил до моих лет, тому всегда нездоровится. И у меня ноги другой раз болят, хоть плачь, и мочевой пузырь -- хуже некуда. По шесть-семь раз ночью бегаешь. Но и у старости есть радости. Забот уже тех нет. С женщинами канителиться не надо -- это большое дело. Веришь ли, у меня тридцать лет не было женщины. И неохота, вот что главное-то.

Winston sat back against the window-sill. It was no use going on. He was about to buy some more beer when the old man suddenly got up and shuffled rapidly into the stinking urinal at the side of the room. The extra half-litre was already working on him. Winston sat for a minute or two gazing at his empty glass, and hardly noticed when his feet carried him out into the street again. Within twenty years at the most, he reflected, the huge and simple question, "Was life better before the Revolution than it is now?" would have ceased once and for all to be answerable. But in effect it was unanswerable even now, since the few scattered survivors from the ancient world were incapable of comparing one age with another. They remembered a million useless things, a quarrel with a workmate, a hunt for a lost bicycle pump, the expression on a long-dead sister's face, the swirls of dust on a windy morning seventy years ago: but all the relevant facts were outside the range of their vision. They were like the ant, which can see small

Уинстон отвалился к подоконнику. Продолжать не имело смысла. Он собрался взять еще пива, но старик вдруг встал и быстро зашаркал к вонючей кабинке у боковой стены. Лишние поллитра произвели свое действие. Минуту-другую Уинстон глядел в пустой стакан, а потом даже сам не заметил, как ноги вынесли его на улицу. Через двадцать лет, размышлял он, великий и простой вопрос «Лучше ли жилось до революции?» -- окончательно станет неразрешимым. Да и сейчас он, в сущности, неразрешим: случайные свидетели старого мира не способны сравнить одну эпоху с другой. Они помнят множество бесполезных фактов: ссору с сотрудником, потерю и поиски велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, вихрь пыли ветреным утром семьдесят лет назад; но то, что важно, -- вне их кругозора. Они подобны муравью, который видит мелкое и не видит большого. А когда память отказала и письменные свидетельства подделаны, тогда с утверждениями

objects but not large ones. And when memory failed and written records were falsified -- when that happened, the claim of the Party to have improved the conditions of human life had got to be accepted, because there did not exist, and never again could exist, any standard against which it could be tested.

партии, что она улучшила людям жизнь, надо согласиться -- ведь нет и никогда уже не будет исходных данных для проверки.

At this moment his train of thought stopped abruptly. He halted and looked up. He was in a narrow street, with a few dark little shops, interspersed among dwelling-houses. Immediately above his head there hung three discoloured metal balls which looked as if they had once been gilded. He seemed to know the place. Of course! He was standing outside the junk-shop where he had bought the diary.

Тут размышления его прервались. Он остановился и поднял глаза. Он стоял на узкой улице, где между жилых домов втиснулись несколько темных лавчонок. У него над головой висели три облезлых металлических шара, когда-то, должно быть, позолоченных. Он как будто узнал эту улицу. Ну конечно! Перед ним была лавка старьевщика, где он купил дневник.

A twinge of fear went through him. It had been a sufficiently rash act to buy the book in the beginning, and he had sworn never to come near the place again. And yet the instant that he allowed his thoughts to wander, his feet had brought him back here of their own accord. It was precisely against suicidal impulses of this kind that he had hoped to guard himself by opening the diary. At the same time he noticed that although it was nearly twenty-one hours the shop was still open. With the feeling that he would be less conspicuous inside than hanging about on the pavement, he stepped through the doorway. If questioned, he could plausibly say that he was trying to buy razor blades.

Накатил страх. Покупка книги была опрометчивым поступком, и Уинстон зарекся подходить к этому месту. Но вот, стоило ему задуматься, ноги сами принесли его сюда. А ведь для того он и завел дневник, чтобы предохранить себя от таких самоубийственных порывов. Лавка еще была открыта, хотя время близилось к двадцати одному. Он подумал, что, слоняясь по тротуару, скорее привлечет внимание, чем в лавке, и вошел. Станут спрашивать -- хотел купить лезвия.

The proprietor had just lighted a hanging oil lamp which gave off an unclean but friendly smell. He was a man of perhaps sixty, frail and bowed, with a long, benevolent nose, and mild eyes distorted by thick spectacles. His hair was almost white, but his eyebrows were bushy and still black. His spectacles, his gentle, fussy movements, and the fact that he was wearing an aged jacket of black velvet, gave him a vague air of intellectuality, as though he had been some kind of literary man, or perhaps a musician. His voice was soft, as though faded, and his accent less debased than that of the majority of proles.

Хозяин только что зажег висячую керосиновую лампу, издававшую нечистый, но какой-то уютный запах. Это был человек лет шестидесяти, щуплый, сутулый, с длинным дружелюбным носом, и глаза его за толстыми линзами очков казались большими и кроткими. Волосы у него были почти совсем седые, а брови густые и еще черные. Очки, добрая суетливость, старый пиджак из черного бархата -- все это придавало ему интеллигентный вид -- не то литератора, не то музыканта. Говорил он тихим, будто выцветшим голосом и не так коверкал слова, как большинство пролов.

“I recognized you on the pavement,” he said immediately. “You’re the gentleman that bought the young lady’s keepsake album. That was a beautiful bit of paper, that was. Cream-laid, it used to be called. There’s

-- Я узнал вас еще на улице, -- сразу сказал он. -- Это вы покупали подарочный альбом для девушек. Превосходная бумага, превосходная. Ее называли «кремовая верже». Такой

been no paper like that made for -- oh, I dare say fifty years." He peered at Winston over the top of his spectacles. "Is there anything special I can do for you? Or did you just want to look round?"

бумаги не делают, я думаю... уж лет пятьдесят. -- Он посмотрел на Уинстона поверх очков. -- Вам требуется что-то определенное? Или хотели просто посмотреть вещи?

"I was passing," said Winston vaguely. "I just looked in. I don't want anything in particular."

-- Шел мимо, -- уклончиво ответил Уинстон. -- Решил заглянуть. Ничего конкретного мне не надо.

"It's just as well," said the other, "because I don't suppose I could have satisfied you." He made an apologetic gesture with his softpalmed hand. "You see how it is; an empty shop, you might say. Between you and me, the antique trade's just about finished. No demand any longer, and no stock either. Furniture, china, glass it's all been broken up by degrees. And of course the metal stuff's mostly been melted down. I haven't seen a brass candlestick in years."

-- Тем лучше, едва ли бы я смог вас удовлетворить. -- Как бы извиняясь, он повернул кверху мягкую ладонь. -- Сами видите: можно сказать, пустая лавка. Между нами говоря, торговля антиквариатом почти иссякла. Спросу нет, да и предложить нечего. Мебель, фарфор, хрусталь -- все это мало-помалу перебилось, переломалось. А металлическое по большей части ушло в переплавку. Сколько уже лет я не видел латунного подсвечника.

The tiny interior of the shop was in fact uncomfortably full, but there was almost nothing in it of the slightest value. The floorspace was very restricted, because all round the walls were stacked innumerable dusty picture-frames. In the window there were trays of nuts and bolts, worn-out chisels, penknives with broken blades, tarnished watches that did not even pretend to be in going order, and other miscellaneous rubbish. Only on a small table in the corner was there a litter of odds and ends -- lacquered snuffboxes, agate brooches, and the like -- which looked as though they might include something interesting. As Winston wandered towards the table his eye was caught by a round, smooth thing that gleamed softly in the lamplight, and he picked it up.

На самом деле тесная лавочка была забита вещами, но ни малейшей ценности они не представляли. Свободного места почти не осталось -- возле всех стен штабелями лежали пыльные рамы для картин. В витрине -- подносы с болтами и гайками, сточенные стамески, сломанные перочинные ножи, облупленные часы, даже не притворявшиеся исправными, и прочий разнообразный хлам. Какой-то интерес могла возбудить только мелочь, валявшаяся на столике в углу, лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобное. Уинстон подошел к столику, и взгляд его привлекла какая-то гладкая округлая вещь, тускло блестевшая при свете лампы; он взял ее.

It was a heavy lump of glass, curved on one side, flat on the other, making almost a hemisphere. There was a peculiar softness, as of rainwater, in both the colour and the texture of the glass. At the heart of it, magnified by the curved surface, there was a strange, pink, convoluted object that recalled a rose or a sea anemone.

Это была тяжелая стекляшка, плоская с одной стороны и выпуклая с другой -- почти полушарие. И в цвете и в строении стекла была непонятная мягкость -- оно напоминало дождевую воду. А в сердцевине, увеличенный выпуклостью, находился странный розовый предмет узорчатого строения, напоминавший розу или морской анемон.

"What is it?" said Winston, fascinated.

-- Что это? -- спросил очарованный Уинстон.

"That's coral, that is," said the old man. "It must have come from the Indian Ocean. They used to kind of embed it in the glass. That wasn't made less than a hundred years ago. More, by the look of it."

-- Это? Это коралл, -- ответил старик. -- Надо полагать, из Индийского океана. Прежде их иногда заливали в стекло. Сделано не меньше ста лет назад. По виду даже раньше.

"It's a beautiful thing," said Winston.

-- Красивая вещь, -- сказал Уинстон.

"It is a beautiful thing," said the other appreciatively. "But there's not many that'd say so nowadays." He coughed. "Now, if it so happened that you wanted to buy it, that'd cost you four dollars. I can remember when a thing like that would have fetched eight pounds, and eight pounds was -- well, I can't work it out, but it was a lot of money. But who cares about genuine antiques nowadays even the few that's left?"

-- Красивая вещь, -- признательно подхватил старьевщик. -- Но в наши дни мало кто ее оценит. -- Он кашлянул. -- Если вам вдруг захочется купить, она стоит четыре доллара. Было время, когда за такую вещь давали восемь фунтов, а восемь фунтов... ну, сейчас не сумею сказать точно -- это были большие деньги. Но кому нынче нужны подлинные древности -- хотя их так мало сохранилось

Winston immediately paid over the four dollars and slid the coveted thing into his pocket. What appealed to him about it was not so much its beauty as the air it seemed to possess of belonging to an age quite different from the present one. The soft, rainwatery glass was not like any glass that he had ever seen. The thing was doubly attractive because of its apparent uselessness, though he could guess that it must once have been intended as a paperweight. It was very heavy in his pocket, but fortunately it did not make much of a bulge. It was a queer thing, even a compromising thing, for a Party member to have in his possession. Anything old, and for that matter anything beautiful, was always vaguely suspect. The old man had grown noticeably more cheerful after receiving the four dollars. Winston realized that he would have accepted three or even two.

Уинстон немедленно заплатил четыре доллара и опустил вожделенную игрушку в карман. Соблазнила его не столько красота вещи, сколько аромат века, совсем не похожего на нынешний. Стекло такой дождевой мягкости ему никогда не встречалось. Самым симпатичным в этой штуке была ее бесполезность, хотя Уинстон догадался, что когда-то она служила пресс-папье. Стекло оттягивало карман, но, к счастью, не слишком выпирало. Это странный предмет, даже компрометирующий предмет для члена партии. Все старое и, если на то пошло, все красивое вызывало некоторое подозрение. Хозяин же, получив четыре доллара, заметно повеселел. Уинстон понял, что можно было сторговаться на трех или даже на двух.

"There's another room upstairs that you might care to take a look at," he said. "There's not much in it. Just a few pieces. We'll do with a light if we're going upstairs."

-- Если есть желание посмотреть, у меня наверху еще одна комната, -- сказал старик. -- Там ничего особенного. Всего несколько предметов. Если пойдем, нам понадобится свет.

He lit another lamp, and, with bowed back, led the way slowly up the steep and worn stairs and along a tiny passage, into a room which did not give on the street but looked out on a cobbled yard and a forest of chimney-pots. Winston noticed that the furniture was still arranged as though the room were meant to be lived in. There was a strip of carpet on the floor, a picture or two on the walls, and a deep, slatternly arm-chair drawn up to the fireplace. An old-fashioned glass clock with a twelve-hour face was ticking away on the mantelpiece. Under the window, and occupying nearly a quarter of the room, was an enormous bed with the mattress still on it.

Он зажег еще одну лампу, потом, согнувшись, медленно поднялся по стертым ступенькам и через крохотный коридорчик привел Уинстона в комнату; окно ее смотрело не на улицу, а на мощеный двор и на чащу печных труб с колпаками. Уинстон заметил, что мебель здесь расставлена, как в жилой комнате. На полу дорожка, на стенах две-три картины, глубокое неопрятное кресло у камина. На каминной полке тикали старинные стеклянные часы с двенадцатичасовым циферблатом. Под окном, заняв чуть ли не четверть комнаты, стояла громадная кровать, причем с матрасом.

"We lived here till my wife died," said the old man half apologetically. "I'm selling the furniture off by little and little. Now that's a beautiful mahogany bed, or at least it would be if you could get the bugs out of it. But I dare say you'd find it a little bit cumbersome."

-- Мы здесь жили, пока не умерла жена, -- объяснил старик, как бы извиняясь. -- Понемногу распродаю мебель. Вот превосходная кровать красного дерева... То есть была бы превосходной, если выселить из нее клопов. Впрочем, вам, наверно, она кажется громоздкой.

He was holdlng the lamp high up, so as to illuminate the whole room, and in the warm dim light the place looked curiously inviting. The thought flitted through Winston's mind that it would probably be quite easy to rent the room for a few dollars a week, if he dared to take the risk. It was a wild, impossible notion, to be abandoned as soon as thought of; but the room had awakened in him a sort of nostalgia, a sort of ancestral memory. It seemed to him that he knew exactly what it felt like to sit in a room like this, in an arm-chair beside an open fire with your feet in the fender and a kettle on the hob; utterly alone, utterly secure, with nobody watching you, no voice pursuing you, no sound except the singing of the kettle and the friendly ticking of the clock.

Он поднял лампу над головой, чтобы осветить всю комнату, и в теплом тусклом свете она выглядела даже уютной. А ведь можно было бы снять ее за несколько долларов в неделю, подумал Уинстон, если хватит смелости. Это была дикая, вздорная мысль, и умерла она так же быстро, как родилась; но комната пробудила в нем какую-то ностальгию, какую-то память, дремавшую в крови. Ему казалось, что он хорошо знает это ощущение, когда сидишь в такой комнате, в кресле перед горящим камином, поставив ноги на решетку, на огне -- чайник, и ты совсем один, в полной безопасности, никто не следит за тобой, ничей голос тебя не донимает, только чайник поет в камине да дружелюбно тикают часы.

"There's no telescreen!" he could not help murmuring.

-- Тут нет телекрана, -- вырвалось у него.

"Ah," said the old man, "I never had one of those things. Too expensive. And I never seemed to feel the need of it, somehow. Now that's a nice gateleg table in the corner there. Though of course you'd have to put new hinges on it if you wanted to use the flaps."

-- Ах, этого, -- ответил старик. -- У меня никогда не было. Они дорогие. Да и потребности, знаете, никогда не испытывал. А вот в углу хороший раскладной стол. Правда, чтобы пользоваться боковинами, надо заменить петли.

There was a small bookcase in the other corner, and Winston had already gravitated towards it. It contained nothing but rubbish. The hunting-down and destruction of books had been done with the same thoroughness in the prole quarters as everywhere else. It was very unlikely that there existed anywhere in Oceania a copy of a book printed earlier than 1960. The old man, still carrying the lamp, was standing in front of a picture in a rosewood frame which hung on the other side of the fireplace, opposite the bed.

В другом углу стояла книжная полка, и Уинстона уже притянуло к ней. На полке была только дрянь. Охота за книгами и уничтожение велись в кварталах пролов так же основательно, как везде. Едва ли в целой Океании существовал хоть один экземпляр книги, изданной до 1960 года. Старик с лампой в руке стоял перед картинкой в палисандровой раме: она висела по другую сторону от камина, напротив кровати.

"Now, if you happen to be interested in old prints at all--" he began delicately.

-- Кстати, если вас интересуют старинные гравюры... -- деликатно начал он.

Winston came across to examine the picture. It was a steel engraving of an oval building with rectangular windows, and a small tower in front. There was a railing

Уинстон подошел ближе. Это была гравюра на стали: здание с овальным фронтоном, прямоугольными окнами и башней впереди. Вокруг здания шла

running round the building, and at the rear end there was what appeared to be a statue. Winston gazed at it for some moments. It seemed vaguely familiar, though he did not remember the statue.

ограда, а в глубине стояла, по-видимому, статуя. Уинстон присмотрелся. Здание казалось смутно знакомым, но статуи он не помнил.

“The frame’s fixed to the wall,” said the old man, “but I could unscrew it for you, I dare say.”

-- Рамка привинчена к стене, -- сказал старик, -- но если хотите, я сниму.

“I know that building,” said Winston finally. “It’s a ruin now. It’s in the middle of the street outside the Palace of Justice.”

-- Я знаю это здание, -- промолвил наконец Уинстон, -- оно разрушено. В середине улицы, за Дворцом юстиции.

“That’s right. Outside the Law Courts. It was bombed in -- oh, many years ago. It was a church at one time, St. Clement’s Danes, its name was.” He smiled apologetically, as though conscious of saying something slightly ridiculous, and added: “Oranges and lemons, say the bells of St. Clement’s!”

-- Верно. За Домом правосудия. Его разбомбили... Ну, много лет назад. Это была церковь. Сент-Клемент -- святой Климент у датчан. -- Он виновато улыбнулся, словно понимая, что говорит нелепость, и добавил: -- «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет».

“What’s that?” said Winston.

-- Что это? -- спросил Уинстон.

“Oh -- ‘Oranges and lemons, say the bells of St. Clement’s.’ That was a rhyme we had when I was a little boy. How it goes on I don’t remember, but I do know it ended up, ‘Here comes a candle to light you to bed, Here comes a chopper to chop off your head.’ It was a kind of a dance. They held out their arms for you to pass under, and when they came to ‘Here comes a chopper to chop off your head’ they brought their arms down and caught you. It was just names of churches. All the London churches were in it -- all the principal ones, that is.”

-- А-а. «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет». В детстве был такой стишок. Как там дальше, я не помню, а кончается так: «Вот зажгу я пару свеч -- ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч -- и головка твоя с плеч». Игра была наподобие танца. Они стояли, взявшись за руки, а ты шел под руками, и когда доходили до «Вот возьму я острый меч -- н головка твоя с плеч», руки опускались и ловили тебя. Там были только названия церквей. Все лондонские церкви... То есть самые знаменитые.

Winston wondered vaguely to what century the church belonged. It was always difficult to determine the age of a London building. Anything large and impressive, if it was reasonably new in appearance, was automatically claimed as having been built since the Revolution, while anything that was obviously of earlier date was ascribed to some dim period called the Middle Ages. The centuries of capitalism were held to have produced nothing of any value. One could not learn history from architecture any more than one could learn it from books. Statues, inscriptions, memorial stones, the names of streets -- anything that might throw light upon the past had been systematically altered.

Уинстон рассеянно спросил себя, какого века могла быть эта церковь. Возраст лондонских домов определить всегда трудно Все большие и внушительные и более или менее новые на вид считались, конечно, построенными после революции, а все то, что было очевидно старше, относили к какому-то далекому, неясному времени, называвшемуся средними веками. Таким образом, века капитализма ничего стоящего не произвели. По архитектуре изучить историю было так же невозможно, как по книгам. Статуи, памятники, мемориальные доски, названия улиц -- все, что могло пролить свет на прошлое, систематически переделывалось.

“I never knew it had been a church,” he said.

-- Я не знал, что это церковь, -- сказал он.

“There’s a lot of them left, really,” said the old man, “though they’ve been put to other

-- Вообще-то их много осталось, -- сказал старик, -- только их используют для

uses. Now, how did that rhyme go? Ah! I've got it!

'*Oranges and lemons, say the bells of St. Clement's,*

You owe me three farthings, say the bells of St. Martin's--'

there, now, that's as far as I can get. A farthing, that was a small copper coin, looked something like a cent."

"Where was St. Martin's?" said Winston.

"St. Martin's? That's still standing. It's in Victory Square, alongside the picture gallery. A building with a kind of a triangular porch and pillars in front, and a big flight of steps."

Winston knew the place well. It was a museum used for propaganda displays of various kinds -- scale models of rocket bombs and Floating Fortresses, waxwork tableaux illustrating enemy atrocities, and the like.

"St. Martin's-in-the-Fields it used to be called," supplemented the old man, "though I don't recollect any fields anywhere in those parts."

Winston did not buy the picture. It would have been an even more incongruous possession than the glass paperweight, and impossible to carry home, unless it were taken out of its frame. But he lingered for some minutes more, talking to the old man, whose name, he discovered, was not Weeks -- as one might have gathered from the inscription over the shop-front -- but Charrington. Mr. Charrington, it seemed, was a widower aged sixty-three and had inhabited this shop for thirty years. Throughout that time he had been intending to alter the name over the window, but had never quite got to the point of doing it. All the while that they were talking the half-remembered rhyme kept running through Winston's head. Oranges and lemons say the bells of St. Clement's, You owe me three farthings, say the bells of St. Martin's! It was curious, but when you said it to yourself you had the illusion of actually hearing bells, the bells of a lost London that still existed somewhere or other, disguised and forgotten. From one ghostly steeple after another he seemed to hear them pealing forth. Yet so far as he could remember he had never in real life heard church bells

других нужд. Как же там этот стишок? А! Вспомнил.

Апельсинчики как мед, В колокол Сент-Клемент бьет.

И звонит Сент-Мартин: Отдавай мне фартинг!

Вот дальше опять не помню. А фартинг -- это была маленькая медная монета, наподобие цента.

-- А где Сент-Мартин? -- спросил Уинстон.

-- Сент-Мартин? Эта еще стоит. На площади Победы, рядом с картинной галереей. Здание с портиком и колоннами, с широкой лестницей.

Уинстон хорошо знал здание. Это был музей, предназначенный для разных пропагандистских выставок: моделей ракет и плавающих крепостей, восковых панорам, изображающих вражеские зверства, и тому подобного.

-- Называлась «Святой Мартии на полях», -- добавил старик, -- хотя никаких полей в этом районе не припомню.

Гравюру Уинстон не купил. Предмет был еще более неподходящий, чем стеклянное пресс-папье, да и домой ее не унесешь -- разве только без рамки. Но он задержался еще на несколько минут, беседуя со стариком, и выяснил, что фамилия его не Уикс, как можно было заключить по надписи на лавке, а Чаррингтон. Оказалось, что мистеру Чаррингтону шестьдесят три года, он вдовец и обитает в лавке тридцать лет. Все эти годы он собирался сменить вывеску, но так и не собрался. Пока они беседовали, Уинстон все твердил про себя начало стишка: «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет. И звонит Сент-Мартин: отдавай мне фартинг!» Любопытно: когда он произносил про себя стишок, ему чудилось, будто звучат сами колокола, -- колокола исчезнувшего Лондона, который еще существует где-то, невидимый и забытый. И слышалось ему, как поднимают они трезвон, одна за другой, призрачные колокольни. Между тем, сколько он себя помнил, он ни разу не слышал церковного звона.

ringing.

He got away from Mr. Charrington and went down the stairs alone, so as not to let the old man see him reconnoitring the street before stepping out of the door. He had already made up his mind that after a suitable interval -- a month, say -- he would take the risk of visiting the shop again. It was perhaps not more dangerous than shirking an evening at the Centre. The serious piece of folly had been to come back here in the first place, after buying the diary and without knowing whether the proprietor of the shop could be trusted. However--!

Он попрощался с мистером Чаррингтоном и спустился по лестнице один, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти за дверь. Он уже решил, что, выждав время -- хотя бы месяц, -- рискнет еще раз посетить лавку. Едва ли это опасней, чем пропустить вечер в общественном центре. Большой опрометчивостью было уже то, что после покупки книги он пришел сюда снова, не зная, можно ли доверять хозяину. И все же!..

Yes, he thought again, he would come back. He would buy further scraps of beautiful rubbish. He would buy the engraving of St. Clement's Danes, take it out of its frame, and carry it home concealed under the jacket of his overalls. He would drag the rest of that poem out of Mr. Charrington's memory. Even the lunatic project of renting the room upstairs flashed momentarily through his mind again. For perhaps five seconds exaltation made him careless, and he stepped out on to the pavement without so much as a preliminary glance through the window. He had even started humming to an improvised tune--

Да, сказал он себе, надо будет прийти еще. Он купит гравюру с церковью св. Климента у датчан, вынет из рамы и унесет под комбинезоном домой. Заставит мистера Чаррингтона вспомнить стишок до конца. И снова мелькнула безумная мысль снять верхнюю комнату. От восторга он секунд на пять забыл об осторожности -- вышел на улицу, ограничившись беглым взглядом в окно. И даже начал напевать на самодельный мотив:

Oranges and lemons, say the bells of St. Clement's,

Апельсинчики как мед, В колокол Сент-Клемент бьет.

You owe me three farthings, say the bells of St. Martin's--'

И звонит Сент-Мартин: Отдавай мне фартинг!

Suddenly his heart seemed to turn to ice and his bowels to water. A figure in blue overalls was coming down the pavement, not ten metres away. It was the girl from the Fiction Department, the girl with dark hair. The light was failing, but there was no difficulty in recognizing her. She looked him straight in the face, then walked quickly on as though she had not seen him.

Вдруг сердце у него екнуло от страха, живот схватило. В каких-нибудь десяти метрах -- фигура в синем комбинезоне, идет к нему. Это была девица из отдела литературы, темноволосая. Уже смеркалось, но Уинстон узнал ее без труда. Она посмотрела ему прямо в глаза и быстро прошла дальше, как будто не заметила.

For a few seconds Winston was too paralysed to move. Then he turned to the right and walked heavily away, not noticing for the moment that he was going in the wrong direction. At any rate, one question was settled. There was no doubting any longer that the girl was spying on him. She must have followed him here, because it was not credible that by pure chance she should have happened to be walking on the same evening up the same obscure

Несколько секунд он не мог двинуться с места, словно отнялись ноги. Потом повернулся направо и с трудом пошел, не замечая, что идет не в ту сторону. Одно по крайней мере стало ясно. Сомнений быть не могло: девица за ним шпионит. Она выследила его -- нельзя же поверить, что она по чистой случайности забрела в тот же вечер на ту же захудалую улочку в нескольких километрах от района, где живут партийцы. Слишком много

backstreet, kilometres distant from any quarter where Party members lived. It was too great a coincidence. Whether she was really an agent of the Thought Police, or simply an amateur spy actuated by officiousness, hardly mattered. It was enough that she was watching him. Probably she had seen him go into the pub as well.

совпадений. А служит она в полиции мыслей или же это самодеятельность -- значения не имеет. Она за ним следит, этого довольно. Может быть, даже видела, как он заходил в пивную.

It was an effort to walk. The lump of glass in his pocket banged against his thigh at each step, and he was half minded to take it out and throw it away. The worst thing was the pain in his belly. For a couple of minutes he had the feeling that he would die if he did not reach a lavatory soon. But there would be no public lavatories in a quarter like this. Then the spasm passed, leaving a dull ache behind.

Идти было тяжело. Стеклянный груз в кармане при каждом шаге стукая по бедру, и Уинстона подмывало выбросить его. Но хуже всего была спазма в животе. Несколько минут ему казалось, что если он сейчас же не найдет уборную, то умрет. Но в таком районе не могло быть общественной уборной. Потом спазма прошла, осталась только глухая боль.

The street was a blind alley. Winston halted, stood for several seconds wondering vaguely what to do, then turned round and began to retrace his steps. As he turned it occurred to him that the girl had only passed him three minutes ago and that by running he could probably catch up with her. He could keep on her track till they were in some quiet place, and then smash her skull in with a cobblestone. The piece of glass in his pocket would be heavy enough for the job. But he abandoned the idea immediately, because even the thought of making any physical effort was unbearable. He could not run, he could not strike a blow. Besides, she was young and lusty and would defend herself. He thought also of hurrying to the Community Centre and staying there till the place closed, so as to establish a partial alibi for the evening. But that too was impossible. A deadly lassitude had taken hold of him. All he wanted was to get home quickly and then sit down and be quiet.

Улица оказалась тупиком. Уинстон остановился, постоял несколько секунд, рассеянно соображая, что делать, потом повернул назад. Когда он повернул, ему пришло в голову, что он разминулся с девицей какие-нибудь три минуты назад, и если бегом, то можно ее догнать. Можно дойти за ней до какого-нибудь тихого места, а там проломить ей череп булыжником. Стеклянное пресс-папье тоже сгодится, оно тяжелое. Но он сразу отбросил этот план: невыносима была даже мысль о том, чтобы совершить физическое усилие. Нет сил бежать, нет сил ударять. Вдобавок девица молодая и крепкая, будет защищаться. Потом он подумал, что надо сейчас же пойти в общественный центр и пробыть там до закрытия -- обеспечить себе хотя бы частичное алиби. Но и это невозможно. Им овладела смертельная вялость. Хотелось одного: вернуться к себе в квартиру и ничего не делать.

It was after twenty-two hours when he got back to the flat. The lights would be switched off at the main at twenty-three thirty. He went into the kitchen and swallowed nearly a teacupful of Victory Gin. Then he went to the table in the alcove, sat down, and took the diary out of the drawer. But he did not open it at once. From the telescreen a brassy female voice was squalling a patriotic song. He sat staring at the marbled cover of the book, trying without success to shut the voice out of his consciousness.

Домой он пришел только в двадцать третьем часу. Ток в сети должны были отключить в 23.30. Он отправился на кухню и выпил почти целую чашку джина «Победа». Потом подошел к столу в нише, сел и вынул из ящика дневник. Но раскрыл его не сразу. Женщина в телекране томным голосом пела патриотическую песню. Уинстон смотрел на мраморный переплет, безуспешно стараясь отвлечься от этого голоса.

It was at night that they came for you, always at night. The proper thing was to kill yourself before they got you. Undoubtedly some people did so. Many of the disappearances were actually suicides. But it needed desperate courage to kill yourself in a world where firearms, or any quick and certain poison, were completely unprocurable. He thought with a kind of astonishment of the biological uselessness of pain and fear, the treachery of the human body which always freezes into inertia at exactly the moment when a special effort is needed. He might have silenced the dark-haired girl if only he had acted quickly enough: but precisely because of the extremity of his danger he had lost the power to act. It struck him that in moments of crisis one is never fighting against an external enemy, but always against one's own body. Even now, in spite of the gin, the dull ache in his belly made consecutive thought impossible. And it is the same, he perceived, in all seemingly heroic or tragic situations. On the battlefield, in the torture chamber, on a sinking ship, the issues that you are fighting for are always forgotten, because the body swells up until it fills the universe, and even when you are not paralysed by fright or screaming with pain, life is a moment-to-moment struggle against hunger or cold or sleeplessness, against a sour stomach or an aching tooth.

Приходят за тобой ночью, всегда ночью. Самое правильное -- покончить с собой, пока тебя не взяли. Наверняка так поступали многие. Многие исчезновения на самом деле были самоубийствами. Но в стране, где ни огнестрельного оружия, ни надежного яда не достанешь, нужна отчаянная отвага, чтобы покончить с собой. Он с удивлением подумал о том, что боль и страх биологически бесполезны, подумал о вероломстве человеческого тела, цепенеющего в тот самый миг, когда требуется особое усилие. Он мог бы избавиться от темноволосой, если бы сразу приступил к делу, но именно из-за того, что опасность была чрезвычайной, он лишился сил. Ему пришло в голову, что в критические минуты человек борется не с внешним врагом, а всегда с собственным телом. Даже сейчас, несмотря на джин, тупая боль в животе не позволяла ему связно думать. И то же самое, понял он, во всех трагических или по видимости героических ситуациях. На поле боя, в камере пыток, на тонущем корабле то, за что ты бился, всегда забывается -- тело твое разрастается и заполняет вселенную, и даже когда ты не парализован страхом и не кричишь от боли, жизнь -- это ежеминутная борьба с голодом или холодом, с бессонницей, изжогой и зубной болью.

He opened the diary. It was important to write something down. The woman on the telescreen had started a new song. Her voice seemed to stick into his brain like jagged splinters of glass. He tried to think of O'Brien, for whom, or to whom, the diary was written, but instead he began thinking of the things that would happen to him after the Thought Police took him away. It would not matter if they killed you at once. To be killed was what you expected. But before death (nobody spoke of such things, yet everybody knew of them) there was the routine of confession that had to be gone through: the grovelling on the floor and screaming for mercy, the crack of broken bones, the smashed teeth, and bloody clots of hair.

Он раскрыл дневник. Важно хоть что-нибудь записать. Женщина в телекране разразилась новой песней. Голос вонзался ему в мозг, как острые осколки стекла. Он пытался думать об О'Брайене, для которого -- которому -- пишется дневник, но вместо этого стал думать, что с ним будет, когда его арестует полиция мыслей. Если бы сразу убили -- полбеды. Смерть -- дело предрешенное. Но перед смертью (никто об этом не распространялся, но знали все) будет признание по заведенному порядку: с ползаньем по полу, мольбами о пощаде, с хрустом ломаемых костей, с выбитыми зубами и кровавыми колтунами в волосах.

Why did you have to endure it, since the end was always the same? Why was it not possible to cut a few days or weeks out of your life? Nobody ever escaped detection,

Почему ты должен пройти через это, если итог все равно известен? Почему нельзя сократить тебе жизнь на несколько дней или недель? От разоблачения не ушел ни

and nobody ever failed to confess. When once you had succumbed to thoughtcrime it was certain that by a given date you would be dead. Why then did that horror, which altered nothing, have to lie embedded in future time?

один, и признавались все до единого. В тот миг, когда ты преступил в мыслях, ты уже подписал себе. смертный приговор. Так зачем ждут тебя эти муки в будущем, если они ничего не изменят?

He tried with a little more success than before to summon up the image of O'Brien. "We shall meet in the place where there is no darkness," O'Brien had said to him. He knew what it meant, or thought he knew. The place where there is no darkness was the imagined future, which one would never see, but which, by foreknowledge, one could mystically share in. But with the voice from the telescreen nagging at his ears he could not follow the train of thought further. He put a cigarette in his mouth. Half the tobacco promptly fell out on to his tongue, a bitter dust which was difficult to spit out again. The face of Big Brother swam into his mind, displacing that of O'Brien. Just as he had done a few days earlier, he slid a coin out of his pocket and looked at it. The face gazed up at him, heavy, calm, protecting: but what kind of smile was hidden beneath the dark moustache? Like a leaden knell the words came back at him:

Он опять попробовал вызвать образ О'Брайена, и теперь это удалось. «Мы встретимся там, где нет темноты», -- сказал ему О'Брайен. Уинстон понял его слова -- ему казалось, что понял. Где нет темноты -- это воображаемое будущее; ты его не увидишь при жизни, но, предвидя, можешь мистически причаститься к нему. Голос из телекрана бил по ушам и не давал додумать эту мысль до конца. Уинстон взял в рот сигарету. Половина табака тут же высыпалась на язык -- не скоро и отплюешься от этой горечи. Перед ним, вытеснив О'Брайена, возникло лицо Старшего Брата. Так же, как несколько дней назад, Уинстон вынул из кармана монету и вгляделся. Лицо смотрело на него тяжело, спокойно, отечески -- но что за улыбка прячется в черных усах? Свинцовым погребальным звоном приплыли слова:

WAR IS PEACE

FREEDOM IS SLAVERY

IGNORANCE IS STRENGTH

ВОИНА -- ЭТО МИР

СВОБОДА -- ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ -- СИЛА

PART II

Вторая

I

I

It was the middle of the morning, and Winston had left the cubicle to go to the lavatory.

Было еще утро; Уинстон пошел из своей кабины в уборную.

A solitary figure was coming towards him from the other end of the long, brightly-lit corridor. It was the girl with dark hair. Four days had gone past since the evening when he had run into her outside the junk-shop. As she came nearer he saw that her right arm was in a sling, not noticeable at a distance because it was of the same colour as her overalls. Probably she had crushed her hand while swinging round one of the big kaleidoscopes on which the plots of novels were "roughed in". It was a common accident in the Fiction Department.

Навстречу ему по пустому ярко освещенному коридору двигался человек. Оказалось, что это темноволосая девица. С той встречи у лавки старьевщика минуло четыре дня. Подойдя поближе, Уинстон увидел, что правая рука у нее на перевязи; издали он этого не разглядел, потому что повязка была синяя, как комбинезон. Наверно, девица сломала руку, поворачивая большой калейдоскоп, где «набрасывались» сюжеты романов. Обычная травма в литературном отделе.

They were perhaps four metres apart when the girl stumbled and fell almost flat on her face. A sharp cry of pain was wrung out of her. She must have fallen right on the injured arm. Winston stopped short. The

Когда их разделяло уже каких-нибудь пять шагов, она споткнулась и упала чуть ли не плашмя. У нее вырвался крик боли. Видимо, она упала на сломанную руку. Уинстон замер. Девица встала на колени.

girl had risen to her knees. Her face had turned a milky yellow colour against which her mouth stood out redder than ever. Her eyes were fixed on his, with an appealing expression that looked more like fear than pain.

Лицо у нее стало молочно-желтым, и на нем еще ярче выступил красный рот. Она смотрела на Уинстона умоляюще, и в глазах у нее было больше страха, чем боли.

A curious emotion stirred in Winston's heart. In front of him was an enemy who was trying to kill him: in front of him, also, was a human creature, in pain and perhaps with a broken bone. Already he had instinctively started forward to help her. In the moment when he had seen her fall on the bandaged arm, it had been as though he felt the pain in his own body.

Уинстоном владели противоречивые чувства. Перед ним был враг, который пытался его убить; в то же время перед ним был человек -- человеку больно, у него, быть может, сломана кость. Не раздумывая, он пошел к ней на помощь. В тот миг, когда она упала на перевязанную руку, он сам как будто почувствовал боль.

"You're hurt?" he said.

-- Вы ушиблись?

"It's nothing. My arm. It'll be all right in a second." She spoke as though her heart were fluttering. She had certainly turned very pale.

-- Ничего страшного. Рука. Сейчас пройдет. -- Она говорила так, словно у нее сильно колотилось сердце. И лицо у нее было совсем бледное.

"You haven't broken anything?"

-- Вы ничего не сломали?

"No, I'm all right. It hurt for a moment, that's all."

-- Нет. Все цело. Было больно и прошло.

She held out her free hand to him, and he helped her up. She had regained some of her colour, and appeared very much better.

Она протянула Уинстону здоровую руку, и он помог ей встать. Лицо у нее немного порозовело; судя по всему, ей стало легче.

"It's nothing," she repeated shortly. "I only gave my wrist a bit of a bang. Thanks, comrade!"

-- Ничего страшного, -- повторила она. -- Немного ушибла запястье, и все. Спасибо, товарищ!

And with that she walked on in the direction in which she had been going, as briskly as though it had really been nothing. The whole incident could not have taken as much as half a minute. Not to let one's feelings appear in one's face was a habit that had acquired the status of an instinct, and in any case they had been standing straight in front of a telescreen when the thing happened. Nevertheless it had been very difficult not to betray a momentary surprise, for in the two or three seconds while he was helping her up the girl had slipped something into his hand. There was no question that she had done it intentionally. It was something small and flat. As he passed through the lavatory door he transferred it to his pocket and felt it with the tips of his fingers. It was a scrap of paper folded into a square.

С этими словами она пошла дальше -- так бодро, как будто и впрямь ничего не случилось. А длилась вся эта сцена, наверно, меньше чем полминуты. Привычка не показывать своих чувств въелась настолько, что стала инстинктом, да и происходило все это прямо перед телекраном. И все-таки Уинстон лишь с большим трудом сдержал удивление: за те две-три секунды, пока он помогал девице встать, она что-то сунула ему в руку. О случайности тут не могло быть и речи. Что-то маленькое и плоское. Входя в уборную, Уинстон сунул эту вещь в карман и там ощупал. Листок бумаги, сложенный квадратиком.

While he stood at the urinal he managed, with a little more fingering, to get it unfolded. Obviously there must be a message of some kind written on it. For a moment he was tempted to take it into one of the water-closets and read it at once. But

Перед писсуаром он сумел после некоторой возни в кармане расправить листок. По всей вероятности, там что-то написано. У него возникло искушение сейчас же зайти в кабинку и прочесть. Но это, понятно, было бы чистым

that would be shocking folly, as he well knew. There was no place where you could be more certain that the telescreens were watched continuously.

безумием. Где, как не здесь, за телекранами наблюдают беспрерывно?

He went back to his cubicle, sat down, threw the fragment of paper casually among the other papers on the desk, put on his spectacles and hitched the speakwrite towards him. “five minutes,” he told himself, “five minutes at the very least!” His heart bumped in his breast with frightening loudness. Fortunately the piece of work he was engaged on was mere routine, the rectification of a long list of figures, not needing close attention.

Он вернулся к себе, сел, небрежно бросил листок на стол к другим бумагам, надел очки и придвинул речение. Пять минут, сказал он себе, пять минут самое меньшее! Стук сердца в груди был пугающе громок. К счастью, работа его ждала рутинная -- уточнить длинную колонку цифр -- и сосредоточенности не требовала.

Whatever was written on the paper, it must have some kind of political meaning. So far as he could see there were two possibilities. One, much the more likely, was that the girl was an agent of the Thought Police, just as he had feared. He did not know why the Thought Police should choose to deliver their messages in such a fashion, but perhaps they had their reasons. The thing that was written on the paper might be a threat, a summons, an order to commit suicide, a trap of some description. But there was another, wilder possibility that kept raising its head, though he tried vainly to suppress it. This was, that the message did not come from the Thought Police at all, but from some kind of underground organization. Perhaps the Brotherhood existed after all! Perhaps the girl was part of it! No doubt the idea was absurd, but it had sprung into his mind in the very instant of feeling the scrap of paper in his hand. It was not till a couple of minutes later that the other, more probable explanation had occurred to him. And even now, though his intellect told him that the message probably meant death -- still, that was not what he believed, and the unreasonable hope persisted, and his heart banged, and it was with difficulty that he kept his voice from trembling as he murmured his figures into the speakwrite.

Что бы ни было в записке, она наверняка политическая. Уинстон мог представить себе два варианта. Один, более правдоподобный: женщина -- агент полиции мыслей, чего он и боялся. Непонятно, зачем полиции мыслей прибегать к такой почте, но, видимо, для этого есть резоны. В записке может быть угроза, вызов, приказ покончить с собой, западня какого-то рода. Существовало другое, дикое предположение, Уинстон гнал его от себя, но оно упорно лезло в голову. Записка вовсе не от полиции мыслей, а от какой-то подпольной организации. Может быть. Братство все-таки существует! И девица может быть оттуда! Идея, конечно, была нелепая, но она возникла сразу, как только он ощупал бумажку. А более правдоподобный вариант пришел ему в голову лишь через несколько минут. И даже теперь, когда разум говорил ему, что записка, возможно, означает смерть, он все равно не хотел в это верить, бессмысленная надежда не гасла, сердце гремело, и, диктуя цифры в речепис, он с трудом сдерживал дрожь в голосе.

He rolled up the completed bundle of work and slid it into the pneumatic tube. Eight minutes had gone by. He re-adjusted his spectacles on his nose, sighed, and drew the next batch of work towards him, with the scrap of paper on top of it. He flattened it out. On it was written, in a large unformed handwriting:

Он свернул листы с законченной работой и засунул в пневматическую трубу. Прошло восемь минут. Он поправил очки, вздохнул и притянул к себе новую стопку заданий, на которой лежал тот листок. Расправил листок. Крупным неустоявшимся почерком там было написано:

I love you.

Я вас люблю.

For several seconds he was too stunned even to throw the incriminating thing into the memory hole. When he did so, although he knew very well the danger of showing too much interest, he could not resist reading it once again, just to make sure that the words were really there.

Он так опешил, что даже не сразу бросил улику в гнездо памяти. Понимая, насколько опасно выказывать к бумажке чрезмерный интерес, он все-таки не удержался и прочел ее еще раз -- убедиться, что ему не померещилось.

For the rest of the morning it was very difficult to work. What was even worse than having to focus his mind on a series of niggling jobs was the need to conceal his agitation from the telescreen. He felt as though a fire were burning in his belly. Lunch in the hot, crowded, noise-filled canteen was torment. He had hoped to be alone for a little while during the lunch hour, but as bad luck would have it the imbecile Parsons flopped down beside him, the tang of his sweat almost defeating the tinny smell of stew, and kept up a stream of talk about the preparations for Hate Week. He was particularly enthusiastic about a papier-mache model of Big Brother's head, two metres wide, which was being made for the occasion by his daughter's troop of Spies. The irritating thing was that in the racket of voices Winston could hardly hear what Parsons was saying, and was constantly having to ask for some fatuous remark to be repeated. Just once he caught a glimpse of the girl, at a table with two other girls at the far end of the room. She appeared not to have seen him, and he did not look in that direction again.

До перерыва работать было очень тяжело. Он никак не мог сосредоточиться на нудных задачах, но, что еще хуже, надо было скрывать свое смятение от телекрана. В животе у него словно пылал костер. Обед в душной, людной, шумной столовой оказался мучением. Он рассчитывал побыть в одиночестве, но, как назло, рядом плюхнулся на стул идиот Парсонс, острым запахом пота почти заглушив жестяной запах тушенки, и завел речь о приготовлениях к Неделе ненависти. Особенно он восторгался громадной двухметровой головой Старшего Брата из папье-маше, которую изготавливал к праздникам дочкин отряд. Досаднее всего. что из-за гама Уинстон плохо слышал Парсонса, приходилось переспрашивать и по два раза выслушивать одну и ту же глупость. В дальнем конце зала он увидел темноволосую -- за столиком еще с двумя девушками. Она как будто не заметила его, и больше он туда не смотрел.

The afternoon was more bearable. Immediately after lunch there arrived a delicate, difficult piece of work which would take several hours and necessitated putting everything else aside. It consisted in falsifying a series of production reports of two years ago, in such a way as to cast discredit on a prominent member of the Inner Party, who was now under a cloud. This was the kind of thing that Winston was good at, and for more than two hours he succeeded in shutting the girl out of his mind altogether. Then the memory of her face came back, and with it a raging, intolerable desire to be alone. Until he could be alone it was impossible to think this new development out. Tonight was one of his nights at the Community Centre. He wolfed another tasteless meal in the canteen, hurried off to the Centre, took part in the solemn foolery of a "discussion group", played two games of table tennis,

Вторая половина дня прошла легче. Сразу после перерыва прислали тонкое и трудное задание -- на несколько часов, и все посторонние мысли пришлось отставить. Надо было подделать производственные отчеты двухлетней давности таким образом, чтобы бросить тень на крупного деятеля внутренней партии, попавшего в немилость. С подобными работами Уинстон справлялся хорошо, и на два часа с лишним ему удалось забыть о темноволосой женщине. Но потом ее лицо снова возникло перед глазами, и безумно, до невыносимости захотелось побыть одному. Пока он не останется один, невозможно обдумать это событие. Сегодня ему надлежало присутствовать в общественном центре. Он проглотил безвкусный ужин в столовой, прибежал в центр, поучаствовал в дурацкой торжественной «групповой дискуссии», сыграл две

swallowed several glasses of gin, and sat for half an hour through a lecture entitled “Ingsoc in relation to chess”. His soul writhed with boredom, but for once he had had no impulse to shirk his evening at the Centre. At the sight of the words *I love you* the desire to stay alive had welled up in him, and the taking of minor risks suddenly seemed stupid. It was not till twenty-three hours, when he was home and in bed -- in the darkness, where you were safe even from the telescreen so long as you kept silent -- that he was able to think continuously.

партии в настольный теннис, несколько раз выпил джину и высидел получасовую лекцию «Шахматы и их отношение к ангсоцу». Душа корчилась от скуки, но вопреки обыкновению ему не хотелось улизнуть из центра. От слов «Я вас люблю» нахлынуло желание продлить себе жизнь, и теперь даже маленький риск казался глупостью. Только в двадцать три часа, когда он вернулся и улегся в постель -- в темноте даже телекран не страшен, если молчишь, -- к нему вернулась способность думать.

It was a physical problem that had to be solved: how to get in touch with the girl and arrange a meeting. He did not consider any longer the possibility that she might be laying some kind of trap for him. He knew that it was not so, because of her unmistakable agitation when she handed him the note. Obviously she had been frightened out of her wits, as well she might be. Nor did the idea of refusing her advances even cross his mind. Only five nights ago he had contemplated smashing her skull in with a cobblestone, but that was of no importance. He thought of her naked, youthful body, as he had seen it in his dream. He had imagined her a fool like all the rest of them, her head stuffed with lies and hatred, her belly full of ice. A kind of fever seized him at the thought that he might lose her, the white youthful body might slip away from him! What he feared more than anything else was that she would simply change her mind if he did not get in touch with her quickly. But the physical difficulty of meeting was enormous. It was like trying to make a move at chess when you were already mated. Whichever way you turned, the telescreen faced you. Actually, all the possible ways of communicating with her had occurred to him within five minutes of reading the note; but now, with time to think, he went over them one by one, as though laying out a row of instruments on a table.

Предстояло решить техническую проблему: как связаться с ней и условиться о встрече. Предположение, что женщина расставляет ему западню, он уже отбросил. Он понял, что нет: она определенно волновалась, когда давала ему записку. Она не помнила себя от страха -- и это вполне объяснимо. Уклониться от ее авансов у него и в мыслях не было. Всего пять дней назад он размышлял о том, чтобы проломить ей голову булыжником, но это уже дело прошлое. Он мысленно видел ее голой, видел ее молодое тело -- как тогда во сне. А ведь сперва он считал ее дурой вроде остальных -- напичканной ложью и ненавистью, с замороженным низом. При мысли о том, что можно ее потерять, что ему не достанется молодое белое тело, Уинстона лихорадило. Но встретиться с ней было немыслимо сложно. Все равно что сделать ход в шахматах, когда тебе поставили мат. Куда ни сунься -- отовсюду смотрит телекран. Все возможные способы устроить свидание пришли ему в голову в течение пяти минут после того, как он прочел записку; теперь же, когда было время подумать, он стал перебирать их по очереди -- словно раскладывал инструменты на столе.

Obviously the kind of encounter that had happened this morning could not be repeated. If she had worked in the Records Department it might have been comparatively simple, but he had only a very dim idea whereabouts in the building the Fiction Departrnent lay, and he had no

Очевидно, что встречу, подобную сегодняшней, повторить нельзя. Если бы женщина работала в отделе документации, это было бы более или менее просто, а в какой части здания находится отдел литературы, он плохо себе представлял. да и повода пойти туда

pretext for going there. If he had known where she lived, and at what time she left work, he could have contrived to meet her somewhere on her way home; but to try to follow her home was not safe, because it would mean loitering about outside the Ministry, which was bound to be noticed. As for sending a letter through the mails, it was out of the question. By a routine that was not even secret, all letters were opened in transit. Actually, few people ever wrote letters. For the messages that it was occasionally necessary to send, there were printed postcards with long lists of phrases, and you struck out the ones that were inapplicable. In any case he did not know the girl's name, let alone her address. Finally he decided that the safest place was the canteen. If he could get her at a table by herself, somewhere in the middle of the room, not too near the telescreens, and with a sufficient buzz of conversation all round -- if these conditions endured for, say, thirty seconds, it might be possible to exchange a few words.

не было. Если бы он знал, где она живет и в котором часу кончает работу, то смог бы перехватить ее по дороге домой; следовать же за ней небезопасно -- надо околачиваться вблизи министерства, и это наверняка заметят. Послать письмо по почте невозможно. Не секрет, что всю почту вскрывают. Теперь почти никто не пишет писем. А если надо с кем-то снестись -- есть открытки с напечатанными готовыми фразами, и ты просто зачеркиваешь ненужные. Да он и фамилии ее не знает, не говоря уж об адресе. В конце концов он решил, что самым верным местом будет столовая. Если удастся подсесть к ней, когда она будет одна, и столик будет в середине зала, не слишком близко к телекранам, и в зале будет достаточно шумно… если им дадут побыть наедине хотя бы тридцать секунд, тогда, наверно, он сможет перекинуться с ней несколькими словами.

For a week after this, life was like a restless dream. On the next day she did not appear in the canteen until he was leaving it, the whistle having already blown. Presumably she had been changed on to a later shift. They passed each other without a glance. On the day after that she was in the canteen at the usual time, but with three other girls and immediately under a telescreen. Then for three dreadful days she did not appear at all. His whole mind and body seemed to be afflicted with an unbearable sensitivity, a sort of transparency, which made every movement, every sound, every contact, every word that he had to speak or listen to, an agony. Even in sleep he could not altogether escape from her image. He did not touch the diary during those days. If there was any relief, it was in his work, in which he could sometimes forget himself for ten minutes at a stretch. He had absolutely no clue as to what had happened to her. There was no enquiry he could make. She might have been vaporized, she might have committed suicide, she might have been transferred to the other end of Oceania: worst and likeliest of all, she might simply have changed her mind and decided to avoid him.

Всю неделю после этого жизнь его была похожа на беспокойный сон. На другой день женщина появилась в столовой, когда он уже уходил после свистка. Вероятно, ее перевели в более позднюю смену. Они разошлись, не взглянув друг на друга. На следующий день она обедала в обычное время, но еще с тремя женщинами и прямо под телекраном. Потом было три ужасных дня -- она не появлялась вовсе. Ум его и тело словно приобрели невыносимую чувствительность, проницаемость, и каждое движение, каждый звук, каждое прикосновение, каждое услышанное и произнесенное слово превращались в пытку. Даже во сне он не мог отделаться от ее образа. В эти дни он не прикасался к дневнику. Облегчение приносила только работа -- за ней он мог забыться иной раз на целых десять минут. Он не понимал, что с ней случилось. Спросить было негде. Может быть, ее распылили, может быть, она покончила с собой, ее могли перевести на другой край Океании: но самое вероятное и самое плохое -- она просто передумала и решила избегать его.

The next day she reappeared. Her arm was

На четвертый день она появилась. Рука

out of the sling and she had a band of sticking-plaster round her wrist. The relief of seeing her was so great that he could not resist staring directly at her for several seconds. On the following day he very nearly succeeded in speaking to her. When he came into the canteen she was sitting at a table well out from the wall, and was quite alone. It was early, and the place was not very full. The queue edged forward till Winston was almost at the counter, then was held up for two minutes because someone in front was complaining that he had not received his tablet of saccharine. But the girl was still alone when Winston secured his tray and began to make for her table. He walked casually towards her, his eyes searching for a place at some table beyond her. She was perhaps three metres away from him. Another two seconds would do it. Then a voice behind him called, "Smith!" He pretended not to hear. "Smith!" repeated the voice, more loudly. It was no use. He turned round. A blond-headed, silly-faced young man named Wilsher, whom he barely knew, was inviting him with a smile to a vacant place at his table. It was not safe to refuse. After having been recognized, he could not go and sit at a table with an unattended girl. It was too noticeable. He sat down with a friendly smile. The silly blond face beamed into his. Winston had a hallucination of himself smashing a pick-axe right into the middle of it. The girl's table filled up a few minutes later.

была не на перевязи, только пластырь вокруг запястья. Он почувствовал такое облегчение, что не удержался и смотрел на нее несколько секунд. На другой день ему чуть не удалось поговорить с ней. Когда он вошел в столовую, она сидела одна и довольно далеко от стены. Час был ранний, столовая еще не заполнилась. Очередь продвигалась, Уинстон был почти у раздачи, но тут застрял на две минуты: впереди кто-то жаловался, что ему не дали таблетку сахарина. Тем не менее когда Уинстон получил свой поднос и направился в ее сторону, она попрежнему была одна. Он шел, глядя поверху, как бы отыскивая свободное место позади ее стола. Она уже в каких-нибудь трех метрах. Еще две секунды -- и он у цели. За спиной у него кто-то позвал: «Смит!» Он притворился, что не слышал. «Смит!» -- повторили сзади еще громче. Нет, не отделаться. Он обернулся. Молодой, с глупым лицом блондин по фамилии Уилшер, с которым он был едва знаком, улыбаясь, приглашал на свободное место за своим столиком. Отказаться было небезопасно. После того как его узнали, он не мог усесться с обедавшей в одиночестве женщиной. Это привлекло бы внимание. Он сел с дружелюбной улыбкой. Глупое лицо сияло в ответ. Ему представилось, как он бьет по нему киркой -- точно в середину. Через несколько минут у женщины тоже появились соседи.

But she must have seen him coming towards her, and perhaps she would take the hint. Next day he took care to arrive early. Surely enough, she was at a table in about the same place, and again alone. The person immediately ahead of him in the queue was a small, swiftly-moving, beetle-like man with a flat face and tiny, suspicious eyes. As Winston turned away from the counter with his tray, he saw that the little man was making straight for the girl's table. His hopes sank again. There was a vacant place at a table further away, but something in the little man's appearance suggested that he would be sufficiently attentive to his own comfort to choose the emptiest table. With ice at his heart Winston followed. It was no use unless he could get the girl alone. At this moment there was a tremendous crash.

Но она наверняка видела, что он шел к ней, и, может быть, поняла. На следующий день он постарался прийти пораньше. И на зря: она сидела примерно на том же месте и опять одна. В очереди перед ним стоял маленький, юркий, жукоподобный мужчина с плоским лицом и подозрительными глазками. Когда Уинстон с подносом отвернулся от прилавка, он увидел, что маленький направляется к ее столу. Надежда в нем опять увяла. Свободное место было и за столом подальше, но вся повадка маленького говорила о том, что он позаботится о своих удобствах и выберет стол, где меньше всего народу. С тяжелым сердцем Уинстон двинулся за ним. Пока он не останется с ней один на один, ничего не выйдет. Тут раздался страшный грохот. Маленький стоял на

The little man was sprawling on all fours, his tray had gone flying, two streams of soup and coffee were flowing across the floor. He started to his feet with a malignant glance at Winston, whom he evidently suspected of having tripped him up. But it was all right. Five seconds later, with a thundering heart, Winston was sitting at the girl's table.

He did not look at her. He unpacked his tray and promptly began eating. It was all-important to speak at once, before anyone else came, but now a terrible fear had taken possession of him. A week had gone by since she had first approached him. She would have changed her mind, she must have changed her mind! It was impossible that this affair should end successfully; such things did not happen in real life. He might have flinched altogether from speaking if at this moment he had not seen Ampleforth, the hairy-eared poet, wandering limply round the room with a tray, looking for a place to sit down. In his vague way Ampleforth was attached to Winston, and would certainly sit down at his table if he caught sight of him. There was perhaps a minute in which to act. Both Winston and the girl were eating steadily. The stuff they were eating was a thin stew, actually a soup, of haricot beans. In a low murmur Winston began speaking. Neither of them looked up; steadily they spooned the watery stuff into their mouths, and between spoonfuls exchanged the few necessary words in low expressionless voices.

"What time do you leave work?"

"Eighteen-thirty."

"Where can we meet?"

"Victory Square, near the monument."

"It's full of telescreens."

"It doesn't matter if there's a crowd."

"Any signal?"

"No. Don't come up to me until you see me among a lot of people. And don't look at me. Just keep somewhere near me."

"What time?"

"Nineteen hours."

"All right."

Ampleforth failed to see Winston and sat down at another table. They did not speak again, and, so far as it was possible for two people sitting on opposite sides of the same

четвереньках, поднос его еще летел, а по полу текли два ручья -- суп и кофе. Он вскочил и злобно оглянулся, подозревая, видимо, что Уинстон дал ему подножку. Но это было не важно. Пятью секундами позже, с громыхающим сердцем, Уинстон уже сидел за ее столом.

Он не взглянул на нее. Освободил поднос и немедленно начал есть. Важно было заговорить сразу, пока никто не подошел, но на Уинстона напал дикий страх. С первой встречи прошла неделя. Она могла передумать, наверняка передумала! Ничего из этой истории не выйдет -- так не бывает в жизни. Пожалуй, он и не решился бы заговорить, если бы не увидел Ампфорта, поэта с шерстяными ушами, который плелся с подносом, ища глазами свободное место. Рассеянный Амплфорт был по-своему привязан к Уинстону и, если бы заметил его, наверняка подсел бы. На все оставалось не больше минуты. И Уинстон и женщина усердно ели. Ели они жидкое рагу -- скорее суп с фасолью. Уинстон заговорил вполголоса. Оба не поднимали глаз; размеренно черпая похлебку и отправляя в рот, они тихо и без всякого выражения обменялись несколькими необходимыми словами.

-- Когда вы кончаете работу?

-- В восемнадцать тридцать.

-- Где мы можем встретиться?

-- На площади Победы, у памятника.

-- Там кругом телекраны.

-- Если в толпе, это не важно.

-- Знак?

-- Нет. Не подходите, пока не увидите меня в гуще людей. И не смотрите на меня. Просто будьте поблизости.

-- Во сколько?

-- В девятнадцать.

-- Хорошо.

Амплфорт не заметил Уинстона и сел за другой стол. Женщина быстро доела обед и ушла, а Уинстон остался курить. Больше они не разговаривали и,

table, they did not look at one another. The girl finished her lunch quickly and made off, while Winston stayed to smoke a cigarette.

насколько это возможно для двух сидящих лицом к лицу через стол, не смотрели друг на друга.

Winston was in Victory Square before the appointed time. He wandered round the base of the enormous fluted column, at the top of which Big Brother's statue gazed southward towards the skies where he had vanquished the Eurasian aeroplanes (the Eastasian aeroplanes, it had been, a few years ago) in the Battle of Airstrip One. In the street in front of it there was a statue of a man on horseback which was supposed to represent Oliver Cromwell. At five minutes past the hour the girl had still not appeared. Again the terrible fear seized upon Winston. She was not coming, she had changed her mind! He walked slowly up to the north side of the square and got a sort of pale-coloured pleasure from identifying St. Martin's Church, whose bells, when it had bells, had chimed "You owe me three farthings." Then he saw the girl standing at the base of the monument, reading or pretending to read a poster which ran spirally up the column. It was not safe to go near her until some more people had accumulated. There were telescreens all round the pediment. But at this moment there was a din of shouting and a zoom of heavy vehicles from somewhere to the left. Suddenly everyone seemed to be running across the square. The girl nipped nimbly round the lions at the base of the monument and joined in the rush. Winston followed. As he ran, he gathered from some shouted remarks that a convoy of Eurasian prisoners was passing.

Уинстон пришел на площадь Победы раньше времени. Он побродил вокруг основания громадной желобчатой колонны, с вершины которой статуя Старшего Брата смотрела на юг небосклона, туда, где в битве за Взлетную полосу I он разгромил евразийскую авиацию (несколько лет назад она была остазийской). Напротив на улице стояла конная статуя, изображавшая, как считалось, Оливера Кромвеля. Прошло пять минут после назначенного часа, а женщины все не было. На Уинстона снова напал дикий страх. Не идет, передумала! Он добрел до северного края площади и вяло обрадовался, узнав церковь святого Мартина -- ту, чьи колокола -- когда на ней были колокола -- вызванивали: «Отдавай мне фартинг». Потом увидел женщину: она стояла под памятником и читала или делала вид, что читает, плакат, спиралью обвивавший колонну. Пока там не собрался народ, подходить было рискованно. Вокруг постамента стояли телекраны. Но внезапно где-то слева загалдели люди и послышался гул тяжелых машин. Все на площади бросились в ту сторону. Женщина быстро обогнула львов у подножья колонны и тоже побежала. Уинстон устремился следом. На бегу он понял по выкрикам, что везут пленных евразийцев.

Already a dense mass of people was blocking the south side of the square. Winston, at normal times the kind of person who gravitates to the outer edge of any kind of scrimmage, shoved, butted, squirmed his way forward into the heart of the crowd. Soon he was within arm's length of the girl, but the way was blocked by an enormous prole and an almost equally enormous woman, presumably his wife, who seemed to form an impenetrable wall of flesh. Winston wriggled himself sideways, and with a violent lunge managed to drive his shoulder between them. For a moment it felt as though his entrails were being ground to pulp between the two muscular

Южная часть площади уже была запружена толпой. Уинстон, принадлежавший к той породе людей, которые в любой свалке норовят оказаться с краю, ввинчивался, протискивался, пробивался в самую гущу народа. Женщина была уже близко, рукой можно достать, но тут глухой стеной мяса дорогу ему преградил необъятный прол и такая же необъятная женщина -- видимо, его жена. Уинстон извернулся и со всей силы вогнал между ними плечо. Ему показалось, что два мускулистых бока раздавят его внутренности в кашу, и тем не менее он прорвался, слегка вспотев. Очутился

hips, then he had broken through, sweating a little. He was next to the girl. They were shoulder to shoulder, both staring fixedly in front of them.

рядом с ней. Они стояли плечом к плечу и смотрели вперед неподвижным взглядом,

A long line of trucks, with wooden-faced guards armed with sub-machine guns standing upright in each corner, was passing slowly down the street. In the trucks little yellow men in shabby greenish uniforms were squatting, jammed close together. Their sad, Mongolian faces gazed out over the sides of the trucks utterly incurious. Occasionally when a truck jolted there was a clank-clank of metal: all the prisoners were wearing leg-irons. Truck-load after truck-load of the sad faces passed. Winston knew they were there but he saw them only intermittently. The girl's shoulder, and her arm right down to the elbow, were pressed against his. Her cheek was almost near enough for him to feel its warmth. She had immediately taken charge of the situation, just as she had done in the canteen. She began speaking in the same expressionless voice as before, with lips barely moving, a mere murmur easily drowned by the din of voices and the rumbling of the trucks.

По улице длинной вереницей ползли грузовики, и в кузовах, по всем четырем углам, с застывшими лицами стояли автоматчики. Между ними вплотную сидели на корточках мелкие желтые люди в обтрепанных зеленых мундирах. Монгольские их лица смотрели поверх бортов печально и без всякого интереса. Если грузовик подбрасывало, раздавалось звяканье металла -- пленные были в ножных кандалах. Один за другим проезжали грузовики с печальными людьми. Уинстон слышал, как они едут, но видел их лишь изредка. Плечо женщины, ее рука прижимались к его плечу и руке. Щека была так близко, что он ощущал ее тепло. Она сразу взяла инициативу на себя, как в столовой. Заговорила, едва шевеля губами, таким же невыразительным голосом, как тогда, и этот полушепот тонул в общем гаме и рычании грузовиков.

"Can you hear me?"

-- Слышите меня?

"Yes."

-- Да.

"Can you get Sunday afternoon off?"

-- Можете вырваться в воскресенье?

"Yes."

-- Да.

"Then listen carefully. You'll have to remember this. Go to Paddington Station--"

-- Тогда слушайте внимательно. Вы должны запомнить. Отправитесь на Паддингтонский вокзал...

With a sort of military precision that astonished him, she outlined the route that he was to follow. A half-hour railway journey; turn left outside the station; two kilometres along the road: a gate with the top bar missing; a path across a field; a grass-grown lane; a track between bushes; a dead tree with moss on it. It was as though she had a map inside her head.

С военной точностью, изумившей Уинстона, она описала маршрут. Полчаса поездом; со станции -- налево; два километра по дороге, ворота без перекладины; тропинкой через поле; дорожка под деревьями, заросшая травой; тропа в кустарнике; упавшее замшелое дерево. У нее словно карта была в голове.

"Can you remember all that?" she murmured finally.

-- Все запомнили? -- шепнула она наконец.

"Yes."

-- Да.

"You turn left, then right, then left again. And the gate's got no top bar."

-- Повернете налево, потом направо и опять налево. И на воротах нет перекладины.

"Yes. What time?"

-- Да. Время?

"About fifteen. You may have to wait. I'll get there by another way. Are you sure you remember everything?"

-- Около пятнадцати. Может, вам придется подождать. Я приду туда другой дорогой. Вы точно все запомнили?

“Yes.”

“Then get away from me as quick as you can.”

She need not have told him that. But for the moment they could not extricate themselves from the crowd. The trucks were still filing post, the people still insatiably gaping. At the start there had been a few boos and hisses, but it came only from the Party members among the crowd, and had soon stopped. The prevailing emotion was simply curiosity. Foreigners, whether from Eurasia or from Eastasia, were a kind of strange animal. One literally never saw them except in the guise of prisoners, and even as prisoners one never got more than a momentary glimpse of them. Nor did one know what became of them, apart from the few who were hanged as war-criminals: the others simply vanished, presumably into forced-labour camps. The round Mogol faces had given way to faces of a more European type, dirty, bearded and exhausted. From over scrubby cheekbones eyes looked into Winston’s, sometimes with strange intensity, and flashed away again. The convoy was drawing to an end. In the last truck he could see an aged man, his face a mass of grizzled hair, standing upright with wrists crossed in front of him, as though he were used to having them bound together. It was almost time for Winston and the girl to part. But at the last moment, while the crowd still hemmed them in, her hand felt for his and gave it a fleeting squeeze.

It could not have been ten seconds, and yet it seemed a long time that their hands were clasped together. He had time to learn every detail of her hand. He explored the long fingers, the shapely nails, the work-hardened palm with its row of callouses, the smooth flesh under the wrist. Merely from feeling it he would have known it by sight. In the same instant it occurred to him that he did not know what colour the girl’s eyes were. They were probably brown, but people with dark hair sometimes had blue eyes. To turn his head and look at her would have been inconceivable folly. With hands locked together, invisible among the press of bodies, they stared steadily in front of them, and instead of the eyes of the girl, the eyes of the aged prisoner gazed mournfully at Winston out of nests of hair.

II

-- Да.

-- Тогда отойдите скорей.

В этих словах не было надобности. Но толпа не позволяла разойтись. Колонна все шла, люди глазели ненасытно. Вначале раздавались выкрики и свист, но шумели только партийные, а вскоре и они умолкли. Преобладающим чувством было обыкновенное любопытство. Иностранцы -- из Евразии ли, из Остазии -- были чем-то вроде диковинных животных. Ты их никогда не видел -- только в роли военнопленных, да и то мельком. Неизвестна была и судьба их -- кроме тех, кого вешали как военных преступников; остальные просто исчезали -- надо думать, в каторжных лагерях. Круглые монгольские лица сменились более европейскими, грязными, небритыми, изнуренными. Иногда заросшее лицо останавливало на Уинстоне необычайно пристальный взгляд, и сразу же он скользил дальше. Колонна подходила к концу. В последнем грузовике Уинстон увидел пожилого человека, до глаз заросшего седой бородой; он стоял на ногах, скрестив перед животом руки, словно привык к тому, что они скованы. Пора уже было отойти от женщины. Но в последний миг, пока толпа их еще сдавливала, она нашла его руку и незаметно пожала.

Длилось это меньше десяти секунд, но ему показалось, что они держат друг друга за руки очень долго. Уинстон успел изучить ее руку во всех подробностях. Он трогал длинные пальцы, продолговатые ногти, затвердевшую от работы ладонь с мозолями, нежную кожу запястья. Он так изучил эту руку на ощупь, что теперь узнал бы ее и по виду. Ему пришло в голову, что он не заметил, какого цвета у нее глаза. Наверно, карие, хотя у темноволосых бывают и голубые глаза. Повернуть голову и посмотреть на нее было бы крайним безрассудством. Стиснутые толпой, незаметно держась за руки, они смотрели прямо перед собой, и не ее глаза, а глаза пожилого пленника тоскливо уставились на Уинстона из чащи спутанных волос.

II

Winston picked his way up the lane through dappled light and shade, stepping out into pools of gold wherever the boughs parted. Under the trees to the left of him the ground was misty with bluebells. The air seemed to kiss one's skin. It was the second of May. From somewhere deeper in the heart of the wood came the droning of ring doves.

Уинстон шел по дорожке в пятнистой тени деревьев, изредка вступая в лужицы золотого света -- там, где не смыкались кроны. Под деревьями слева земля туманилась от колокольчиков. Воздух ласкал кожу. Было второе мая. Где-то в глубине леса кричали вяхири.

He was a bit early. There had been no difficulties about the journey, and the girl was so evidently experienced that he was less frightened than he would normally have been. Presumably she could be trusted to find a safe place. In general you could not assume that you were much safer in the country than in London. There were no telescreens, of course, but there was always the danger of concealed microphones by which your voice might be picked up and recognized; besides, it was not easy to make a journey by yourself without attracting attention. For distances of less than 100 kilometres it was not necessary to get your passport endorsed, but sometimes there were patrols hanging about the railway stations, who examined the papers of any Party member they found there and asked awkward questions. However, no patrols had appeared, and on the walk from the station he had made sure by cautious backward glances that he was not being followed. The train was full of proles, in holiday mood because of the summery weather. The wooden-seated carriage in which he travelled was filled to overflowing by a single enormous family, ranging from a toothless great-grandmother to a month-old baby, going out to spend an afternoon with "in-laws" in the country, and, as they freely explained to Winston, to get hold of a little blackmarket butter.

Он пришел чуть раньше времени. Трудностей в дороге он не встретил; женщина, судя по всему, была так опытна, что он даже боялся меньше, чем полагалось бы в подобных обстоятельствах. Он не сомневался, что она выбрала безопасное место. Вообще трудно было рассчитывать на то, что за городом безопаснее, чем в Лондоне. Телекранов, конечно, нет, но в любом месте может скрываться микрофон -- твой голос услышат и опознают; кроме того, путешествующий в одиночку непременно привлечет внимание. Для расстояний меньше ста километров отметка в паспорте не нужна, но иногда около станции ходят патрули, там они проверяют документы у всех партийных и задают неприятные вопросы. На патруль он, однако, не налетел, а по дороге со станции не раз оглядывался -- нет ли слежки. Поезд был набит пролами, довольно жизнерадостными по случаю теплой погоды. Он ехал в вагоне с деревянными скамьями, полностью оккупированном одной громадной семьей -- от беззубой прабабушки до месячного младенца, -- намеревавшейся погостить денек «у сватьев» в деревне и, как они без опаски объяснили Уинстону, раздобыть на черном рынке масла.

The lane widened, and in a minute he came to the footpath she had told him of, a mere cattle-track which plunged between the bushes. He had no watch, but it could not be fifteen yet. The bluebells were so thick underfoot that it was impossible not to tread on them. He knelt down and began picking some partly to pass the time away, but also from a vague idea that he would like to have a bunch of flowers to offer to the girl when they met. He had got together a big bunch and was smelling their faint sickly scent when a sound at his back froze him, the unmistakable crackle of a foot on

Деревья расступились, он вышел на тропу, о которой она говорила, -- тропу в кустарнике, протоптанную скотом. Часов у него не было, но пришел он определенно раньше пятнадцати. Колокольчики росли так густо, что невозможно было на них не наступать. Он присел и стал рвать цветы -- отчасти чтобы убить время, отчасти со смутным намерением преподнести ей букет. Он собрал целую охапку и только понюхал слабо и душно пахшие цветы, как звук за спиной заставил его похолодеть: под чьей-то ногой хрустели веточки. Он

twigs. He went on picking bluebells. It was the best thing to do. It might be the girl, or he might have been followed after all. To look round was to show guilt. He picked another and another. A hand fell lightly on his shoulder.

продолжал рвать цветы. Это было самое правильное. Может быть, сзади -- она, а может, за ним все-таки следили. Оглянешься -- значит, что-то с тобой нечисто. Он сорвал колокольчик. потом еще один. Его легонько тронули за плечо.

He looked up. It was the girl. She shook her head, evidently as a warning that he must keep silent, then parted the bushes and quickly led the way along the narrow track into the wood. Obviously she had been that way before, for she dodged the boggy bits as though by habit. Winston followed, still clasping his bunch of flowers. His first feeling was relief, but as he watched the strong slender body moving in front of him, with the scarlet sash that was just tight enough to bring out the curve of her hips, the sense of his own inferiority was heavy upon him. Even now it seemed quite likely that when she turned round and looked at him she would draw back after all. The sweetness of the air and the greenness of the leaves daunted him. Already on the walk from the station the May sunshine had made him feel dirty and etiolated, a creature of indoors, with the sooty dust of London in the pores of his skin. It occurred to him that till now she had probably never seen him in broad daylight in the open. They came to the fallen tree that she had spoken of. The girl hopped over and forced apart the bushes, in which there did not seem to be an opening. When Winston followed her, he found that they were in a natural clearing, a tiny grassy knoll surrounded by tall saplings that shut it in completely. The girl stopped and turned.

Он поднял глаза. Это была она. Она помотала головой, веля ему молчать, потом раздвинула кусты и быстро пошла по трещине к лесу. По-видимому, она здесь бывала: топкие места она обходила уверенно. Уинстон шел за ней с букетом. Первым его чувством было облегчение, но теперь, глядя сзади на сильное стройное тело, перехваченное алым кушаком, который подчеркивал крутые бедра, он остро ощутил, что недостоин ее. Даже теперь ему казалось, что она может вернуться, посмотреть на него -- и раздумает. Нежный воздух и зелень листвы только увеличивали его робость. Из-за этого майского солнца он, еще когда шел со станции, почувствовал себя грязным и чахлым -- комнатное существо с забитыми лондонской пылью и копотью порами. Он подумал, что она ни разу не видела его при свете дня и на просторе. Перед ними было упавшее дерево, о котором она говорила на площади. Женщина отбежала в сторону и раздвинула кусты, стоявшие сплошной стеной. Уинстон полез за ней, и они очутились на прогалине, крохотной лужайке, окруженной высоким подростами отовсюду закрытой. Женщина обернулась.

"Here we are," she said.

-- Пришли, -- сказала она.

He was facing her at several paces' distance. As yet he did not dare move nearer to her.

Он смотрел на нее с расстояния нескольких шагов. И не решался приблизиться.

"I didn't want to say anything in the lane," she went on, "in case there's a mike hidden there. I don't suppose there is, but there could be. There's always the chance of one of those swine recognizing your voice. We're all right here."

-- Я не хотела разговаривать по дороге, -- объяснила она. -- Вдруг там микрофон. Вряд ли, конечно, но может быть. Чего доброго, узнают голос, сволочи. Здесь не опасно.

He still had not the courage to approach her.

Уинстон все еще не осмеливался подойти.

"We're all right here?" he repeated stupidly.

-- Здесь не опасно? -- переспросил он.

"Yes. Look at the trees." They were small ashes, which at some time had been cut down and had sprouted up again into a forest of poles, none of them thicker than

-- Да. Смотрите, какие деревья. -- Это была молодая ясеневая поросль на месте вырубки -- лес жердочек толщиной не больше запястья. -- Все тоненькие,

one's wrist. "There's nothing big enough to hide a mike in. Besides, I've been here before."

микрофон спрятать негде. Кроме того, я уже здесь была.

They were only making conversation. He had managed to move closer to her now. She stood before him very upright, with a smile on her face that looked faintly ironical, as though she were wondering why he was so slow to act. The bluebells had cascaded on to the ground. They seemed to have fallen of their own accord. He took her hand.

Они только разговаривали. Уинстон все-таки подошел к ней поближе. Она стояла очень прямо и улыбалась как будто с легкой иронией -- как будто недоумевая, почему он мешкает. Колокольчики посыпались на землю. Это произошло само собой. Он взял ее за руку.

"Would you believe," he said, "that till this moment I didn't know what colour your eyes were?" They were brown, he noted, a rather light shade of brown, with dark lashes. "Now that you've seen what I'm really like, can you still bear to look at me?"

-- Верите ли, -- сказал он, -- до этой минуты я не знал, какого цвета у вас глаза. -- Глаза были карие, светло карие, с темными ресницами. -- Теперь, когда вы разглядели, на что я похож, вам не противно на меня смотреть?

"Yes, easily."

-- Нисколько.

"I'm thirty-nine years old. I've got a wife that I can't get rid of. I've got varicose veins. I've got five false teeth."

-- Мне тридцать девять лет. Женат и не могу от нее избавиться. У меня расширение вен. Пять вставных зубов.

"I couldn't care less," said the girl.

-- Какое это имеет значение? -- сказала она.

The next moment, it was hard to say by whose act, she was in his his arms. At the beginning he had no feeling except sheer incredulity. The youthful body was strained against his own, the mass of dark hair was against his face, and yes! actually she had turned her face up and he was kissing the wide red mouth. She had clasped her arms about his neck, she was calling him darling, precious one, loved one. He had pulled her down on to the ground, she was utterly unresisting, he could do what he liked with her. But the truth was that he had no physical sensation, except that of mere contact. All he felt was incredulity and pride. He was glad that this was happening, but he had no physical desire. It was too soon, her youth and prettiness had frightened him, he was too much used to living without women -- he did not know the reason. The girl picked herself up and pulled a bluebell out of her hair. She sat against him, putting her arm round his waist.

И сразу -- непонятно даже, кто тут был первым, -- они обнялись. Сперва он ничего не чувствовал, только думал: этого не может быть. К нему прижималось молодое тело, его лицо касалось густых темных волос, и -- да! наяву! -- она подняла к нему лицо, и он целовал мягкие красные губы. Она сцепила руки у него на затылке, она называла его милым, дорогим, любимым. Он потянул ее на землю, и она покорилась ему, он мог делать с ней что угодно. Но в том-то и беда, что физически он ничего не ощущал, кроме прикосновений. Он испытывал только гордость и до сих пор не мог поверить в происходящее. Он радовался, что это происходит, но плотского желания не чувствовал. Все случилось слишком быстро... он испугался ее молодости и красоты... он привык обходиться без женщины... Он сам не понимал причины. Она села и вынула из волос колокольчик. Потом прислонилась к нему и обняла его за талию.

"Never mind, dear. There's no hurry. We've got the whole afternoon. Isn't this a splendid hide-out? I found it when I got lost once on a community hike. If anyone was coming you could hear them a hundred metres away."

-- Ничего, милый. Некуда спешить. У нас еще полдня. Правда, замечательное укрытие? Я разведала его во время одной туристской вылазки, когда отстала от своих. Если кто-то будет подходить, услышим за сто метров.

“What is your name?” said Winston.

-- Как тебя зовут? -- спросил Уинстон.

“Julia. I know yours. It’s Winston -- Winston Smith.”

-- Джулия. А как тебя зовут, я знаю. Уинстон. Уинстон Смит.

“How did you find that out?”

-- Откуда ты знаешь?

“I expect I’m better at finding things out than you are, dear. Tell me, what did you think of me before that day I gave you the note?”

-- Наверно, как разведчица я тебя способней, милый. Скажи, что ты обо мне думал до того, как я дала тебе записку?

He did not feel any temptation to tell lies to her. It was even a sort of love-offering to start off by telling the worst.

Ему совсем не хотелось лгать. Своего рода предисловие к любви -- сказать для начала самое худшее.

“I hated the sight of you,” he said. “I wanted to rape you and then murder you afterwards. Two weeks ago I thought seriously of smashing your head in with a cobblestone. If you really want to know, I imagined that you had something to do with the Thought Police.”

-- Видеть тебя не мог, -- ответил он. -- Хотел тебя изнасиловать, а потом убить. Две недели назад я серьезно размышлял о том, чтобы проломить тебе голову булыжником. Если хочешь знать, я вообразил, что ты связана с полицией мыслей.

The girl laughed delightedly, evidently taking this as a tribute to the excellence of her disguise.

Джулия радостно засмеялась, восприняв его слова как подтверждение того, что она прекрасно играет свою роль.

“Not the Thought Police! You didn’t honestly think that?”

-- Неужели с полицией мыслей? Нет, ты правда так думал?

“Well, perhaps not exactly that. But from your general appearance -- merely because you’re young and fresh and healthy, you understand -- I thought that probably--”

-- Ну, может, не совсем так. Но глядя на тебя... Наверно, оттого, что ты молодая, здоровая, свежая, понимаешь... я думал...

“You thought I was a good Party member. Pure in word and deed. Banners, processions, slogans, games, community hikes all that stuff. And you thought that if I had a quarter of a chance I’d denounce you as a thought-criminal and get you killed off?”

-- Ты думал, что я примерный член партии. Чиста в делах и помыслах. Знамена, шествия, лозунги, игры, туристские походы -- вся эта дребедень. И подумал, что при малейшей возможности угроблю тебя -- донесу как на мыслепреступника?

“Yes, something of that kind. A great many young girls are like that, you know.”

-- Да, что-то в этом роде. Знаешь, очень многие девушки именно такие.

“It’s this bloody thing that does it,” she said, ripping off the scarlet sash of the Junior Anti-Sex League and flinging it on to a bough.

-- Все из-за этой гадости, -- сказала она и, сорвав алый кушак Молодежного антиполового союза, забросила в кусты.

Then, as though touching her waist had reminded her of something, she felt in the pocket of her overalls and produced a small slab of chocolate. She broke it in half and gave one of the pieces to Winston. Even before he had taken it he knew by the smell that it was very unusual chocolate. It was dark and shiny, and was wrapped in silver paper. Chocolate normally was dull-brown crumbly stuff that tasted, as nearly as one could describe it, like the smoke of a rubbish fire. But at some time or another he had tasted chocolate like the piece she had given him. The first whiff of its scent

Она будто вспомнила о чем-то, когда дотронулась до пояса, и теперь, порывшись в кармане, достала маленькую шоколадку, разломила и дала половину Уинстону. Еще не взяв ее, по одному запаху он понял, что это совсем не обыкновенный шоколад. Темный, блестящий и завернут в фольгу. Обычно шоколад был тускло-коричневый, крошился и отдавал -- точнее его вкус не опишешь -- дымом горящего мусора. Но когда-то он пробовал шоколад вроде этого. Запах сразу напомнил о чем то -- о чем, Уинстон не мог сообразить, но

had stirred up some memory which he could not pin down, but which was powerful and troubling.

"Where did you get this stuff?" he said.

"Black market," she said indifferently. "Actually I am that sort of girl, to look at. I'm good at games. I was a troop-leader in the Spies. I do voluntary work three evenings a week for the Junior Anti-Sex League. Hours and hours I've spent pasting their bloody rot all over London. I always carry one end of a banner in the processions. I always look cheerful and I never shirk anything. Always yell with the crowd, that's what I say. It's the only way to be safe."

The first fragment of chocolate had melted on Winston's tongue. The taste was delightful. But there was still that memory moving round the edges of his consciousness, something strongly felt but not reducible to definite shape, like an object seen out of the corner of one's eye. He pushed it away from him, aware only that it was the memory of some action which he would have liked to undo but could not.

"You are very young," he said. "You are ten or fifteen years younger than I am. What could you see to attract you in a man like me?"

"It was something in your face. I thought I'd take a chance. I'm good at spotting people who don't belong. As soon as I saw you I knew you were against *them*."

Them, it appeared, meant the Party, and above all the Inner Party, about whom she talked with an open jeering hatred which made Winston feel uneasy, although he knew that they were safe here if they could be safe anywhere. A thing that astonished him about her was the coarseness of her language. Party members were supposed not to swear, and Winston himself very seldom did swear, aloud, at any rate. Julia, however, seemed unable to mention the Party, and especially the Inner Party, without using the kind of words that you saw chalked up in dripping alley-ways. He did not dislike it. It was merely one symptom of her revolt against the Party and all its ways, and somehow it seemed natural and healthy, like the sneeze of a horse that smells bad hay. They had left the clearing and were wandering again

напомнил мощно и тревожно.

-- Где ты достала?

-- На черном рынке, -- безразлично ответила она. -- Да, на вид я именно такая. Хорошая спортсменка. В разведчицах была командиром отряда. Три вечера в неделю занимаюсь общественной работой в Молодежном антиполовом союзе. Часами расклеиваю их паскудные листки по всему Лондону. В шествиях всегда несу транспарант. Всегда с веселым лицом и ни от чего не отлыниваю. Всегда ори с толпой -- мое правило. Только так ты в безопасности.

Первый кусочек шоколада растаял у него на языке. Вкус был восхитительный. Но что-то все шевелилось в глубинах памяти -- что-то, ощущаемое очень сильно, но не принимавшее отчетливой формы, как предмет, который ты заметил краем глаза. Уинстон отогнал непрояснившееся воспоминание, поняв только, что оно касается какого-то поступка, который он с удовольствием аннулировал бы, если б мог.

-- Ты совсем молодая, -- сказал он. -- На десять или пятнадцать лет моложе меня. Что тебя могло привлечь в таком человеке?

-- У тебя что-то было в лице. Решила рискнуть. Я хорошо угадываю чужаков. Когда увидела тебя, сразу поняла, что ты против них.

Они, по-видимому, означало партию, и прежде всего внутреннюю партию, о которой она говорила издевательски и с открытой ненавистью -- Уинстону от этого становилось не по себе, хотя он знал, что здесь они в безопасности, насколько безопасность вообще возможна. Он был поражен грубостью ее языка. Партийцам сквернословить не полагалось, и сам Уинстон ругался редко, по крайней мере вслух, но Джулия не могла помянуть партию, особенно внутреннюю партию, без какого-нибудь словца из тех, что пишутся мелом на заборах. И его это не отталкивало. Это было просто одно из проявлений ее бунта против партии, против партийного духа и казалось таким же здоровым и естественным, как чихание лошади, понюхавшей прелого сена. Они ушли с

through the chequered shade, with their arms round each other's waists whenever it was wide enough to walk two abreast. He noticed how much softer her waist seemed to feel now that the sash was gone. They did not speak above a whisper. Outside the clearing, Julia said, it was better to go quietly. Presently they had reached the edge of the little wood. She stopped him.

"Don't go out into the open. There might be someone watching. We're all right if we keep behind the boughs."

They were standing in the shade of hazel bushes. The sunlight, filtering through innumerable leaves, was still hot on their faces. Winston looked out into the field beyond, and underwent a curious, slow shock of recognition. He knew it by sight. An old, closebitten pasture, with a footpath wandering across it and a molehill here and there. In the ragged hedge on the opposite side the boughs of the elm trees swayed just perceptibly in the breeze, and their leaves stirred faintly in dense masses like women's hair. Surely somewhere nearby, but out of sight, there must be a stream with green pools where dace were swimming?

"Isn't there a stream somewhere near here?" he whispered.

"That's right, there is a stream. It's at the edge of the next field, actually. There are fish in it, great big ones. You can watch them lying in the pools under the willow trees, waving their tails."

"It's the Golden Country -- almost," he murmured.

"The Golden Country?"

"It's nothing, really. A landscape I've seen sometimes in a dream."

"Look!" whispered Julia.

A thrush had alighted on a bough not five metres away, almost at the level of their faces. Perhaps it had not seen them. It was in the sun, they in the shade. It spread out its wings, fitted them carefully into place again, ducked its head for a moment, as though making a sort of obeisance to the sun, and then began to pour forth a torrent of song. In the afternoon hush the volume of sound was startling. Winston and Julia clung together, fascinated. The music went on and on, minute after minute, with astonishing variations, never once repeating itself, almost as though the bird

прогалины и снова гуляли в пятнистой тени, обняв друг друга за талию, -- там, где можно было идти рядом. Он заметил, насколько мягче стала у нее талия без кушака. Разговаривали шепотом. Пока мы не на лужайке, сказала Джулия, лучше вести себя тихо. Вскоре они вышли к опушке рощи. Джулия его остановила.

-- Не выходи на открытое место. Может, кто-нибудь наблюдает. Пока мы в лесу -- все в порядке.

Они стояли в орешнике. Солнце проникало сквозь густую листву и грело им лица. Уинстон смотрел на луг, лежавший перед ними, со странным чувством медленного узнавания. Он знал этот пейзаж. Старое пастбище с короткой травой, по нему бежит тропинка, там и сям кротовые кочки. Неровной изгородью на дальней стороне встали деревья, ветки вязов чуть шевелились от ветерка, и плотная масса листьев волновалась, как женские волосы. Где то непременно должен быть ручей с зелеными заводями, в них ходит плотва.

-- Тут поблизости нет ручейка? -- прошептал он.

-- Правильно, есть. На краю следующего поля. Там рыбы, крупные. Их видно -- они стоят под ветлами, шевелят хвостами.

-- Золотая страна... почти что, -- пробормотал он.

-- Золотая страна?

-- Это просто так. Это место я вижу иногда во сне.

-- Смотри! -- шепнула Джулия.

Метрах в пяти от них, почти на уровне их лиц, на ветку слетел дрозд. Может быть, он их не видел. Он был на солнце, они в тени. Дрозд расправил крылья, потом не торопясь сложил, нагнул на секунду голову, словно поклонился солнцу, и запел. В послеполуденном затишье песня его звучала ошеломляюще громко. Уинстон и Джулия прильнули друг к другу и замерли, очарованные. Музыка лилась и лилась, минута за минутой, с удивительными вариациями, ни разу не повторяясь, будто птица нарочно показывала свое мастерство. Иногда она

were deliberately showing off its virtuosity. Sometimes it stopped for a few seconds, spread out and resettled its wings, then swelled its speckled breast and again burst into song. Winston watched it with a sort of vague reverence. For whom, for what, was that bird singing? No mate, no rival was watching it. What made it sit at the edge of the lonely wood and pour its music into nothingness? He wondered whether after all there was a microphone hidden somewhere near. He and Julia had spoken only in low whispers, and it would not pick up what they had said, but it would pick up the thrush. Perhaps at the other end of the instrument some small, beetle-like man was listening intently -- listening to that. But by degrees the flood of music drove all speculations out of his mind. It was as though it were a kind of liquid stuff that poured all over him and got mixed up with the sunlight that filtered through the leaves. He stopped thinking and merely felt. The girl's waist in the bend of his arm was soft and warm. He pulled her round so that they were breast to breast; her body seemed to melt into his. Wherever his hands moved it was all as yielding as water. Their mouths clung together; it was quite different from the hard kisses they had exchanged earlier. When they moved their faces apart again both of them sighed deeply. The bird took fright and fled with a clatter of wings.

замолкала на несколько секунд, расправляла и складывала крылья, потом раздувала рябую грудь и снова разражалась песней. Уинстон смотрел на нее с чем-то вроде почтения. Для кого, для чего она поет? Ни подруги, ни соперника поблизости. Что ее заставляет сидеть на опушке необитаемого леса и выплескивать эту музыку в никуда? Он подумал: а вдруг здесь все-таки спрятан микрофон? Они с Джулией разговаривали тихим шепотом, их голосов он не поймает, а дрозда услышит наверняка. Может быть, на другом конце линии сидит маленький жукоподобный человек и внимательно слушает, -- слушает *это*. Постепенно поток музыки вымыл из его головы все рассуждения. Она лилась на него, словно влага, и смешивалась с солнечным светом, цедившимся сквозь листву. Он перестал думать и только чувствовал. Талия женщины под его рукой была мягкой и теплой. Он повернул ее так, что они стали грудь в грудь, ее тело словно растаяло в его теле. Где бы он ни тронул рукой, оно было податливо, как вода. Их губы соединились; это было совсем непохоже на их жадные поцелуи вначале. Они отодвинулись друг от друга и перевели дух. Что-то спугнуло дрозда, и он улетел, шурша крыльями.

Winston put his lips against her ear. "*Now*," he whispered.

Уинстон прошептал ей на ухо:-- Сейчас.

"Not here," she whispered back. "Come back to the hideout. It's safer."

-- Не здесь, -- шепнула она в ответ. -- Пойдем на прогалину. Там безопасней.

Quickly, with an occasional crackle of twigs, they threaded their way back to the clearing. When they were once inside the ring of saplings she turned and faced him. They were both breathing fast. but the smile had reappeared round the corners of her mouth. She stood looking at him for an instant, then felt at the zipper of her overalls. And, yes! it was almost as in his dream. Almost as swiftly as he had imagined it, she had torn her clothes off, and when she flung them aside it was with that same magnificent gesture by which a whole civilization seemed to be annihilated. Her body gleamed white in the sun. But for a moment he did not look at her body; his eyes were anchored by the freckled face with its faint, bold smile. He knelt down

Похрустывая веточками, они живо пробрались на свою лужайку, под защиту молодых деревьев. Джулия повернулась к нему. Оба дышали часто, но у нее на губах снова появилась слабая улыбка. Она смотрела на него несколько мгновений, потом взялась за молнию. Да! Это было почти как во сне. Почти так же быстро, как там, она сорвала с себя одежду и отшвырнула великолепным жестом, будто зачеркнувшим целую цивилизацию. Ее белое тело сияло на солнце. Но он не смотрел на тело -- он не мог оторвать глаз от веснушчатого лица, от легкой дерзкой улыбки. Он стал на колени и взял ее за руки.

before her and took her hands in his.

“Have you done this before?”

-- У тебя уже так бывало?

“Of course. Hundreds of times -- well, scores of times anyway.”

-- Конечно... Сотни раз... ну ладно, десятки.

“With Party members?”

-- С партийными?

“Yes, always with Party members.”

-- Да, всегда с партийными.

“With members of the Inner Party?”

-- Из внутренней партии тоже?

“Not with those swine, no. But there’s plenty that *would* if they got half a chance. They’re not so holy as they make out.”

-- Нет, с этими сволочами -- нет. Но многие были бы рады -- будь у них хоть четверть шанса. Они не такие святые, как изображают.

His heart leapt. Scores of times she had done it: he wished it had been hundreds -- thousands. Anything that hinted at corruption always filled him with a wild hope. Who knew, perhaps the Party was rotten under the surface, its cult of strenuousness and self-denial simply a sham concealing iniquity. If he could have infected the whole lot of them with leprosy or syphilis, how gladly he would have done so! Anything to rot, to weaken, to undermine! He pulled her down so that they were kneeling face to face.

Сердце у него взыграло. Это бывало у нее десятки раз -- жаль, не сотни... не тысячи. Все, что пахло порчей, вселяло в него дикую надежду. Кто знает, может, партия внутри сгнила, ее культ усердия и самоотверженности -- бутафория, скрывающая распад. Он заразил бы их всех проказой и сифилисом -- с какой бы радостью заразил! Что угодно -- лишь бы растлить, подорвать, ослабить. Он потянул ее вниз -- теперь оба стояли на коленях.

“Listen. The more men you’ve had, the more I love you. Do you understand that?”

-- Слушай, чем больше у тебя было мужчин, тем больше я тебя люблю. Ты понимаешь?

“Yes, perfectly.”

-- Да, отлично.

“I hate purity, I hate goodness! I don’t want any virtue to exist anywhere. I want everyone to be corrupt to the bones.”

-- Я ненавижу чистоту, ненавижу благонравие. Хочу, чтобы добродетелей вообще не было на свете. Я хочу, чтобы все были испорчены до мозга костей.

“Well then, I ought to suit you, dear. I’m corrupt to the bones.”

-- Ну, тогда я тебе подхожу, милый. Я испорчена до мозга костей.

“You like doing this? I don’t mean simply me: I mean the thing in itself?”

-- Ты любишь этим заниматься? Не со мной, я спрашиваю, а вообще?

“I adore it.”

-- Обожаю.

That was above all what he wanted to hear. Not merely the love of one person but the animal instinct, the simple undifferentiated desire: that was the force that would tear the Party to pieces. He pressed her down upon the grass, among the fallen bluebells. This time there was no difficulty. Presently the rising and falling of their breasts slowed to normal speed, and in a sort of pleasant helplessness they fell apart. The sun seemed to have grown hotter. They were both sleepy. He reached out for the discarded overalls and pulled them partly over her. Almost immediately they fell asleep and slept for about half an hour.

Это он и хотел услышать больше всего. Не просто любовь к одному мужчине, но животный инстинкт, неразборчивое вожделение: вот сила, которая разорвет партию в клочья. Он повалил ее на траву, на рассыпанные колокольчики. На этот раз все получилось легко. Потом, отдышавшись, они в сладком бессилии отвалились друг от друга. Солнце как будто грело жарче. Обоим захотелось спать. Он протянул руку к отброшенному комбинезону и прикрыл ее. Они почти сразу уснули и проспали с полчаса.

Winston woke first. He sat up and watched

Уинстон проснулся первым. Он сел и

the freckled face, still peacefully asleep, pillowed on the palm of her hand. Except for her mouth, you could not call her beautiful. There was a line or two round the eyes, if you looked closely. The short dark hair was extraordinarily thick and soft. It occurred to him that he still did not know her surname or where she lived.

посмотрел на веснушчатое лицо, спокойно лежавшее на ладони. Красивым в нем был, пожалуй, только рот. Возле глаз, если приглядеться, уже залегли морщинки. Короткие темные волосы были необычайно густы и мягки. Он вспомнил, что до сих пор не знает, как ее фамилия и где она живет.

The young, strong body, now helpless in sleep, awoke in him a pitying, protecting feeling. But the mindless tenderness that he had felt under the hazel tree, while the thrush was singing, had not quite come back. He pulled the overalls aside and studied her smooth white flank. In the old days, he thought, a man looked at a girl's body and saw that it was desirable, and that was the end of the story. But you could not have pure love or pure lust nowadays. No emotion was pure, because everything was mixed up with fear and hatred. Their embrace had been a battle, the climax a victory. It was a blow struck against the Party. It was a political act.

Молодое сильное тело стало беспомощным во сне, и Уинстон смотрел на него с жалостливым, покровительственным чувством. Но та бессмысленная нежность, которая овладела им в орешнике, когда пел дрозд, вернулась не вполне. Он приподнял край комбинезона и посмотрел на ее гладкий белый бок. Прежде, подумал он, мужчина смотрел на женское тело, видел, что оно желанно, и дело с концом. А нынче не может быть ни чистой любви, ни чистого вожделения. Нет чистых чувств, все смешаны со страхом и ненавистью. Их любовные объятия были боем, а завершение -- победой. Это был удар по партии. Это был политический акт.

III

"We can come here once again," said Julia. "It's generally safe to use any hide-out twice. But not for another month or two, of course."

III

-- Мы можем прийти сюда еще раз, -- сказала Джулия. -- Два раза использовать одно укрытие, в общем, неопасно. Но, конечно, не раньше чем через месяц иди два.

As soon as she woke up her demeanour had changed. She became alert and business-like, put her clothes on, knotted the scarlet sash about her waist, and began arranging the details of the journey home. It seemed natural to leave this to her. She obviously had a practical cunning which Winston lacked, and she seemed also to have an exhaustive knowledge of the countryside round London, stored away from innumerable community hikes. The route she gave him was quite different from the one by which he had come, and brought him out at a different railway station. "Never go home the same way as you went out," she said, as though enunciating an important general principle. She would leave first, and Winston was to wait half an hour before following her.

Проснулась Джулия другой -- собранной и деловитой. Сразу оделась, затянула на себе алый кушак и стала объяснять план возвращения. Естественно было предоставить руководство ей. Она обладала практической сметкой -- не в пример Уинстону, -- а, кроме того, в бесчисленных туристских походах досконально изучила окрестности Лондона. Обратный маршрут она дала ему совсем другой, и заканчивался он на другом вокзале. «Никогда не возвращайся тем же путем, каким приехал», -- сказала она, будто провозгласила некий общий принцип. Она уйдет первой, а Уинстон должен выждать полчаса.

She had named a place where they could meet after work, four evenings hence. It was a street in one of the poorer quarters, where there was an open market which was generally crowded and noisy. She would be hanging about among the stalls, pretending

Она назвала место, где они смогут встретиться через четыре вечера, после работы. Это была улица в бедном районе -- там рынок, всегда шумно и людно. Она будет бродить возле ларьков якобы в поисках шнурков или ниток. Если она

to be in search of shoelaces or sewing-thread. If she judged that the coast was clear she would blow her nose when he approached; otherwise he was to walk past her without recognition. But with luck, in the middle of the crowd, it would be safe to talk for a quarter of an hour and arrange another meeting.

сочтет, что опасности нет, то при его приближении высморкается; в противном случае он должен пройти мимо, как бы не заметив ее. Но если повезет, то в гуще народа можно четверть часа поговорить и условиться о новой встрече.

“And now I must go,” she said as soon as he had mastered his instructions. “I’m due back at nineteen-thirty. I’ve got to put in two hours for the Junior Anti-Sex League, handing out leaflets, or something. Isn’t it bloody? Give me a brush-down, would you? Have I got any twigs in my hair? Are you sure? Then good-bye, my love, good-bye!”

-- А теперь мне пора, -- сказала она, когда он усвоил предписания. -- Я должна вернуться к девятнадцати тридцати. Надо отработать два часа в Молодежном антиполовом союзе -- раздавать листовки или что-то такое. Ну не гадость? Отряхни меня, пожалуйста. Травы в волосах нет? Ты уверен? Тогда до свидания, любимый, до свидания.

She flung herself into his arms, kissed him almost violently, and a moment later pushed her way through the saplings and disappeared into the wood with very little noise. Even now he had not found out her surname or her address. However, it made no difference, for it was inconceivable that they could ever meet indoors or exchange any kind of written communication.

Она кинулась к нему в объятья, поцеловала его почти исступленно, а через мгновение уже протиснулась между молодых деревьев и бесшумно исчезла в лесу. Он так и не узнал ее фамилию и адрес. Но это не имело значения: под крышей им не встретиться и писем друг другу не писать.

As it happened, they never went back to the clearing in the wood. During the month of May there was only one further occasion on which they actually succeeded in making love. That was in another hidlng-place known to Julia, the belfry of a ruinous church in an almost-deserted stretch of country where an atomic bomb had fallen thirty years earlier. It was a good hiding-place when once you got there, but the getting there was very dangerous. For the rest they could meet only in the streets, in a different place every evening and never for more than half an hour at a time. In the street it was usually possible to talk, after a fashion. As they drifted down the crowded pavements, not quite abreast and never looking at one another, they carried on a curious, intermittent conversation which flicked on and off like the beams of a lighthouse, suddenly nipped into silence by the approach of a Party uniform or the proximity of a telescreen, then taken up again minutes later in the middle of a sentence, then abruptly cut short as they parted at the agreed spot, then continued almost without introduction on the following day. Julia appeared to be quite used to this kind of conversation, which she called “talking by instalments”. She

Вышло так, что на прогалину они больше не вернулись. За май им только раз удалось побыть вдвоем. Джулия выбрала другое место -- колокольню разрушенной церкви в почти безлюдной местности, где тридцать лет назад сбросили атомную бомбу. Убежище было хорошее, но дорога туда -- очень опасна. В остальном они встречались только на улицах, каждый вечер в новом месте и не больше чем на полчаса. На улице можно было поговорить -- более или менее. Двигаясь в толчее по тротуару не рядом и не глядя друг на друга, они вели странный разговор, прерывистый, как миганье маяка: когда поблизости был телекран или навстречу шел партиец в форме, разговор замолкал, потом возобновлялся на середине фразы; там, где они условились расстаться, он резко обрывался и продолжался снова почти без вступления на следующий вечер. Джулия, видимо, привыкла к такому способу вести беседу -- у нее это называлось разговором в рассрочку. Кроме того, она удивительно владела искусством говорить, не шевеля губами. За месяц, встречаясь почти каждый вечер, они только раз смогли поцеловаться. Они молча шли по

was also surprisingly adept at speaking without moving her lips. Just once in almost a month of nightly meetings they managed to exchange a kiss. They were passing in silence down a side-street (Julia would never speak when they were away from the main streets) when there was a deafening roar, the earth heaved, and the air darkened, and Winston found himself lying on his side, bruised and terrified. A rocket bomb must have dropped quite near at hand. Suddenly he became aware of Julia's face a few centimetres from his own, deathly white, as white as chalk. Even her lips were white. She was dead! He clasped her against him and found that he was kissing a live warm face. But there was some powdery stuff that got in the way of his lips. Both of their faces were thickly coated with plaster.

переулку (Джулия не разговаривала, когда они уходили с больших улиц), как вдруг раздался оглушительный грохот, мостовая всколыхнулась, воздух потемнел, и Уинстон очутился на земле, испуганный, весь в ссадинах. Ракета, должно быть, упала совсем близко. В нескольких сантиметрах он увидел лицо Джулии, мертвенно бледное, белое как мел. Даже губы были белые. Убита! Он прижал ее к себе, и вдруг оказалось, что целует он живое, теплое лицо, только на губах у него все время какой-то порошок. Лица у обоих были густо засыпаны алебастровой пылью.

There were evenings when they reached their rendezvous and then had to walk past one another without a sign, because a patrol had just come round the corner or a helicopter was hovering overhead. Even if it had been less dangerous, it would still have been difficult to find time to meet. Winston's working week was sixty hours, Julia's was even longer, and their free days varied according to the pressure of work and did not often coincide. Julia, in any case, seldom had an evening completely free. She spent an astonishing amount of time in attending lectures and demonstrations, distributing literature for the junior Anti-Sex League, preparing banners for Hate Week, making collections for the savings campaign, and such-like activities. It paid, she said, it was camouflage. If you kept the small rules, you could break the big ones. She even induced Winston to mortgage yet another of his evenings by enrolling himself for the part-time munition work which was done voluntarily by zealous Party members. So, one evening every week, Winston spent four hours of paralysing boredom, screwing together small bits of metal which were probably parts of bomb fuses, in a draughty, ill-lit workshop where the knocking of hammers mingled drearily with the music of the telescreens.

Случались и такие вечера, когда они приходили на место встречи и расходились, не взглянув друг на друга: то ли патруль появился из-за поворота, то ли завис над головой вертолет. Не говоря об опасности, им было попросту трудно выкроить время для встреч. Уинстон работал шестьдесят часов в неделю, Джулия еще больше, выходные дни зависели от количества работы и совпадали не часто. Вдобавок у Джулии редко выдавался вполне свободный вечер. Удивительно много времени она тратила на посещение лекций и демонстраций, на раздачу литературы в Молодежном антиполовом союзе, изготовление лозунгов к Неделе ненависти, сбор всяческих добровольных взносов и тому подобные дела. Это окупается, сказала она, -- маскировка. Если соблюдаешь мелкие правила, можно нарушать большие. Она и Уинстона уговорила пожертвовать еще одним вечером -- записаться на работу по изготовлению боеприпасов, которую добровольно выполняли во внеслужебное время усердные партийцы. И теперь раз в неделю, изнемогая от скуки, в сумрачной мастерской, где гуляли сквозняки и унылый стук молотков мешался с телемузыкой, Уинстон по четыре часа свинчивал какие-то железки -- наверно, детали бомбовых взрывателей.

When they met in the church tower the gaps in their fragmentary conversation were

Когда они встретились на колокольне, пробелы в их отрывочных разговорах

filled up. It was a blazing afternoon. The air in the little square chamber above the bells was hot and stagnant, and smelt overpoweringly of pigeon dung. They sat talking for hours on the dusty, twig-littered floor, one or other of them getting up from time to time to cast a glance through the arrowslits and make sure that no one was coming.

были заполнены. День стоял знойный. В квадратной комнатке над звонницей было душно и нестерпимо пахло голубиным пометом. Несколько часов они просидели на пыльном полу, замусоренном хворостинками, и разговаривали; иногда один из них вставал и подходил к окошкам -- посмотреть, не идет ли кто.

Julia was twenty-six years old. She lived in a hostel with thirty other girls ("Always in the stink of women! How I hate women!" she said parenthetically), and she worked, as he had guessed, on the novel-writing machines in the Fiction Department. She enjoyed her work, which consisted chiefly in running and servicing a powerful but tricky electric motor. She was "not clever", but was fond of using her hands and felt at home with machinery. She could describe the whole process of composing a novel, from the general directive issued by the Planning Committee down to the final touching-up by the Rewrite Squad. But she was not interested in the finished product. She "didn't much care for reading," she said. Books were just a commodity that had to be produced, like jam or bootlaces.

Джулии было двадцать шесть лет. Она жила в общежитии еще с тридцатью молодыми женщинами («Все провоняло бабами! До чего я ненавижу баб!» -- заметила она мимоходом), а работала, как он и догадывался, в отделе литературы на машине для сочинения романов. Работа ей нравилась -- она обслуживала мощный, но капризный электромотор. Она была «неспособной», но любила работать руками и хорошо разбиралась в технике. Могла описать весь процесс сочинения романа -- от общей директивы, выданной плановым комитетом, до заключительной правки в редакционной группе. Но сам конечный продукт ее не интересовал. «Читать не охотница», -- сказала она. Книги были одним из потребительских товаров, как повидло и шнурки для ботинок.

She had no memories of anything before the early 'sixties and the only person she had ever known who talked frequently of the days before the Revolution was a grandfather who had disappeared when she was eight. At school she had been captain of the hockey team and had won the gymnastics trophy two years running. She had been a troop-leader in the Spies and a branch secretary in the Youth League before joining the Junior Anti-Sex League. She had always borne an excellent character. She had even (an infallible mark of good reputation) been picked out to work in Pornosec, the sub-section of the Fiction Department which turned out cheap pornography for distribution among the proles. It was nicknamed Muck House by the people who worked in it, she remarked. There she had remained for a year, helping to produce booklets in sealed packets with titles like *Spanking Stories* or *One Night in a Girls' School*, to be bought furtively by proletarian youths who were under the impression that they were buying something illegal.

О том, что происходило до 60-х годов, воспоминаний у нее не сохранилось, а среди людей, которых она знала, лишь один человек часто говорил о дореволюционной жизни -- это был ее дед, но он исчез, когда ей шел девятый год. В школе она была капитаном хоккейной команды и два года подряд выигрывала первенство по гимнастике. В разведчицах она была командиром отряда, а в Союзе юных, до того, как вступила в Молодежный антиполовой союз, -- секретарем отделения. Всюду -- на отличном счету. Ее даже выдвинули (признак хорошей репутации) на работу в порносеке, подразделении литературного отдела, выпускающем дешевую порнографию для пролов. Сотрудники называли его Навозным домом, сказала она. Там Джулия проработала год, занимаясь изготовлением таких книжечек, как «Оззорные рассказы» и «Одна ночь в женской школе», -- эту литературу рассылают в запечатанных пакетах, и пролетарская молодежь покупает ее украдкой, полагая, что покупает запретное.

"What are these books like?" said Winston curiously.

-- Что это за книжки? -- спросил Уинстон.

"Oh, ghastly rubbish. They're boring, really. They only have six plots, but they swap them round a bit. Of course I was only on the kaleidoscopes. I was never in the Rewrite Squad. I'm not literary, dear -- not even enough for that."

-- Жуткая дребедень. И скучища, между прочим. Есть всего шесть сюжетов, их слегка тасуют. Я, конечно, работала только на калейдоскопах. В редакционной группе -- никогда. Я, милый, мало смыслю в литературе.

He learned with astonishment that all the workers in Pornosec, except the heads of the departments, were girls. The theory was that men, whose sex instincts were less controllable than those of women, were in greater danger of being corrupted by the filth they handled.

Он с удивлением узнал, что, кроме главного, все сотрудники порносека -- девушки. Идея в том, что половой инстинкт у мужчин труднее контролируется, чем у женщин, а следовательно, набраться грязи на такой работе мужчина может с большей вероятностью.

"They don't even like having married women there," she added. Girls are always supposed to be so pure. Here's one who isn't, anyway.

-- Там даже замужних женщин не держат, -- сказала Джулия. -- Считается ведь, что девушки -- чистые создания. Перед тобой пример обратного.

She had had her first love-affair when she was sixteen, with a Party member of sixty who later committed suicide to avoid arrest. "And a good job too," said Julia, "otherwise they'd have had my name out of him when he confessed." Since then there had been various others. Life as she saw it was quite simple. You wanted a good time; "they", meaning the Party, wanted to stop you having it; you broke the rules as best you could. She seemed to think it just as natural that "they" should want to rob you of your pleasures as that you should want to avoid being caught. She hated the Party, and said so in the crudest words, but she made no general criticism of it. Except where it touched upon her own life she had no interest in Party doctrine. He noticed that she never used Newspeak words except the ones that had passed into everyday use. She had never heard of the Brotherhood, and refused to believe in its existence. Any kind of organized revolt against the Party, which was bound to be a failure, struck her as stupid. The clever thing was to break the rules and stay alive all the same. He wondered vaguely how many others like her there might be in the younger generation people who had grown up in the world of the Revolution, knowing nothing else, accepting the Party as something unalterable, like the sky, not rebelling against its authority but simply evading it, as a rabbit dodges a dog.

Первый роман у нее был в шестнадцать лет -- с шестидесятилетним партийцем, который впоследствии покончил с собой, чтобы избежать ареста. «И правильно сделал, -- добавила Джулия. -- У него бы и мое имя вытянули на допросе». После этого у нее были разные другие. Жизнь в ее представлении была штука простая. Ты хочешь жить весело; «они», то есть партия, хотят тебе помещать; ты нарушаешь правила как можешь. То, что «они» хотят отнять у тебя удовольствия, казалось ей таким же естественным, как то, что ты не хочешь попасться. Она ненавидела партию и выражала это самыми грубыми словами, но в целом ее не критиковала. Партийным учением Джулия интересовалась лишь в той степени, в какой оно затрагивало ее личную жизнь. Уинстон заметил, что и новоязовских слов она не употребляет -- за исключением тех, которые вошли в общий обиход. О Братстве она никогда не слышала и верить в его существование не желала. Любой организованный бунт против партии, поскольку он обречен, представлялся ей глупостью. Умный тот, кто нарушает правила и все-таки остается жив. Уинстон рассеянно спросил себя, много ли таких, как она, в молодом поколении -- среди людей, которые выросли в революционном мире, ничего другого не знают и принимают партию как нечто незыблемое, как небо, не восстают против ее владычества, а просто пытаются из-под него

ускользнуть, как кролик от собаки.

They did not discuss the possibility of getting married. It was too remote to be worth thinking about. No imaginable committee would ever sanction such a marriage even if Katharine, Winston's wife, could somehow have been got rid of. It was hopeless even as a daydream.

О женитьбе они не заговаривали. Слишком призрачное дело -- не стоило о нем и думать. Даже если бы удалось избавиться от Кэтрин, жены Уинстона, ни один комитет не даст им разрешения. Даже как мечта это безнадежно.

"What was she like, your wife?" said Julia.

-- Какая она была -- твоя жена? -- спросила Джулия.

"She was -- do you know the Newspeak word *goodthinkful*? Meaning naturally orthodox, incapable of thinking a bad thought?"

-- Она?.. Ты знаешь, в новоязе есть слово «благомыслящий». Означает: правоверный от природы, не способный на дурную мысль.

"No, I didn't know the word, but I know the kind of person, right enough."

-- Нет, слова не знаю, а породу эту знаю, и даже очень.

He began telling her the story of his married life, but curiously enough she appeared to know the essential parts of it already. She described to him, almost as though she had seen or felt it, the stiffening of Katharine's body as soon as he touched her, the way in which she still seemed to be pushing him from her with all her strength, even when her arms were clasped tightly round him. With Julia he felt no difficulty in talking about such things: Katharine, in any case, had long ceased to be a painful memory and became merely a distasteful one.

Он стал рассказывать ей о своей супружеской жизни, но, как ни странно, все самое главное она знала и без него. Она описала ему, да так, словно сама видела или чувствовала, как цепенела при его прикосновении Кэтрин, как, крепко обнимая его, в то же время будто отталкивала изо всей силы. С Джулией ему было легко об этом говорить, да и Кэтрин из мучительного воспоминания давно превратилась всего лишь в противное.

"I could have stood it if it hadn't been for one thing," he said. He told her about the frigid little ceremony that Katharine had forced him to go through on the same night every week. "She hated it, but nothing would make her stop doing it. She used to call it -- but you'll never guess."

-- Я бы вытерпел, если бы не одна вещь. -- Он рассказал ей о маленькой холодной церемонии, к которой его принуждала Кэтрин, всегда в один и тот же день недели. -- Терпеть этого не могла, но помешать ей было нельзя никакими силами. У нее это называлось... никогда не догадаешься.

"Our duty to the Party," said Julia promptly.

-- Наш партийный долг, -- без промедления отозвалась Джулия.

"How did you know that?"

-- Откуда ты знаешь?

"I've been at school too, dear. Sex talks once a month for the over-sixteens. And in the Youth Movement. They rub it into you for years. I dare say it works in a lot of cases. But of course you can never tell; people are such hypocrites."

-- Милый, я тоже ходила в школу. После шестнадцати лет -- раз в месяц беседы на половые темы. И в Союзе юных. Это вбивают годами. И я бы сказала, во многих случаях действует. Конечно, никогда не угадаешь: люди -- лицемеры...

She began to enlarge upon the subject. With Julia, everything came back to her own sexuality. As soon as this was touched upon in any way she was capable of great acuteness. Unlike Winston, she had grasped the inner meaning of the Party's sexual puritanism. It was not merely that

Она увлеклась темой. У Джулии все неизменно сводилось к ее сексуальности. И когда речь заходила об этом, ее суждения бывали очень проницательны. В отличие от Уинстона она поняла смысл пуританства, насаждаемого партией. Дело не только в том, что половой

the sex instinct created a world of its own which was outside the Party's control and which therefore had to be destroyed if possible. What was more important was that sexual privation induced hysteria, which was desirable because it could be transformed into war-fever and leader-worship. The way she put it was:

инстинкт творит свой собственный мир, который неподвластен партии, а значит, должен быть по возможности уничтожен. Еще важнее то, что половой голод вызывает истерию, а она желательна, ибо ее можно преобразовать в военное неистовство и в поклонение вождю. Джулия выразила это так:

"When you make love you're using up energy; and afterwards you feel happy and don't give a damn for anything. They can't bear you to feel like that. They want you to be bursting with energy all the time. All this marching up and down and cheering and waving flags is simply sex gone sour. If you're happy inside yourself, why should you get excited about Big Brother and the Three-Year Plans and the Two Minutes Hate and all the rest of their bloody rot?"

-- Когда спишь с человеком, тратишь энергию; а потом тебе хорошо и на все наплевать. Им это -- поперек горла. Они хотят, чтобы анергия в тебе бурлила постоянно. Вся эта маршировка, крики, махание флагами -- просто секс протухший. Если ты сам по себе счастлив, зачем тебе возбуждаться из-за Старшего Брата, трехлетних планов, двухминуток ненависти и прочей гнусной ахинеи?

That was very true, he thought. There was a direct intimate connexion between chastity and political orthodoxy. For how could the fear, the hatred, and the lunatic credulity which the Party needed in its members be kept at the right pitch, except by bottling down some powerful instinct and using it as a driving force? The sex impulse was dangerous to the Party, and the Party had turned it to account. They had played a similar trick with the instinct of parenthood. The family could not actually be abolished, and, indeed, people were encouraged to be fond of their children, in almost the old-fashioned way. The children, on the other hand, were systematically turned against their parents and taught to spy on them and report their deviations. The family had become in effect an extension of the Thought Police. It was a device by means of which everyone could be surrounded night and day by informers who knew him intimately.

Очень верно, додумал он. Между воздержанием и политической правоверностью есть прямая и тесная связь. Как еще разогреть до нужного градуса ненависть, страх и кретинскую доверчивость, если не закупорив наглухо какой-то могучий инстинкт, дабы он превратился в топливо? Половое влечение было опасно для партии, и партия поставила его себе на службу. Такой же фокус проделали с родительским инстинктом. Семью отменить нельзя; напротив, любовь к детям, сохранившуюся почти в прежнем виде, поощряют. Детей же систематически настраивают против родителей, учат шпионить за ними и доносить об их отклонениях. По существу, семья стала придатком полиции мыслей. К каждому человеку круглые сутки приставлен осведомитель -- его близкий.

Abruptly his mind went back to Katharine. Katharine would unquestionably have denounced him to the Thought Police if she had not happened to be too stupid to detect the unorthodoxy of his opinions. But what really recalled her to him at this moment was the stifling heat of the afternoon, which had brought the sweat out on his forehead. He began telling Julia of something that had happened, or rather had failed to happen, on another sweltering summer afternoon, eleven years ago.

Неожиданно мысли Уинстона вернулись к Кэтрин. Если бы Кэтрин была не так глупа и смогла уловить неортодоксальность его мнений, она непременно донесла бы в полицию мыслей. А напомнили ему о жене зной и духота, испарина на лбу. Он стал рассказывать Джулии о том что произошло, а вернее, не произошло в такой же жаркий день одиннадцать лет назад.

It was three or four months after they were married. They had lost their way on a

Случилось это через три или четыре месяца после женитьбы. В туристском

community hike somewhere in Kent. They had only lagged behind the others for a couple of minutes, but they took a wrong turning, and presently found themselves pulled up short by the edge of an old chalk quarry. It was a sheer drop of ten or twenty metres, with boulders at the bottom. There was nobody of whom they could ask the way. As soon as she realized that they were lost Katharine became very uneasy. To be away from the noisy mob of hikers even for a moment gave her a feeling of wrong-doing. She wanted to hurry back by the way they had come and start searching in the other direction. But at this moment Winston noticed some tufts of loosestrife growing in the cracks of the cliff beneath them. One tuft was of two colours, magenta and brick-red, apparently growing on the same root. He had never seen anything of the kind before, and he called to Katharine to come and look at it.

походе, где-то в Кенте, они отстали от группы. Замешкались на каких-нибудь две минуты, но повернули не туда и вскоре вышли к старому меловому карьеру. Путь им преградил обрыв в десять или двадцать метров; на дне лежали валуны. Спросить дорогу было не у кого. Сообразив, что они сбились с пути, Кэтрин забеспокоилась. Отстать от шумной ватаги туристов хотя бы на минуту для нее уже было нарушением. Она хотела сразу бежать назад, искать группу в другой стороне. Но тут Уинстон заметил дербенник, росший пучками в трещинах каменного обрыва. Один был с двумя цветками -- ярко-красным и кирпичным, -- они росли из одного корня. Уинстон ничего подобного не видел и позвал Кэтрин.

“Look, Katharine! Look at those flowers. That clump down near the bottom. Do you see they’re two different colours?”

-- Кэтрин, смотри! Смотри, какие цветы. Вон тот кустик в самом низу. Видишь, двухцветный?

She had already turned to go, but she did rather fretfully come back for a moment. She even leaned out over the cliff face to see where he was pointing. He was standing a little behind her, and he put his hand on her waist to steady her. At this moment it suddenly occurred to him how completely alone they were. There was not a human creature anywhere, not a leaf stirring, not even a bird awake. In a place like this the danger that there would be a hidden microphone was very small, and even if there was a microphone it would only pick up sounds. It was the hottest sleepiest hour of the afternoon. The sun blazed down upon them, the sweat tickled his face. And the thought struck him...

Она уже пошла прочь, но вернулась, не скрывая раздражения. И даже наклонилась над обрывом, чтобы разглядеть, куда он показывает. Уинстон стоял сзади и придерживал ее за талию. Вдруг ему пришло в голову, что они здесь совсем одни. Ни души кругом, листик не шелохнется, птицы и те затихли. В таком месте можно было почти не бояться скрытого микрофона, да если и есть микрофон -- что он уловит, кроме звука? Был самый жаркий, самый сонный послеполуденный час. Солнце палило, пот щекотал лицо. И у него мелькнула мысль...

“Why didn’t you give her a good shove?” said Julia. “I would have.”

-- Толкнул бы ее как следует, -- сказала Джулия. -- Я бы обязательно толкнула.

“Yes, dear, you would have. I would, if I’d been the same person then as I am now. Or perhaps I would -- I’m not certain.”

-- Да, милая, ты бы толкнула. И я бы толкнул, будь я таким, как сейчас. А может... Не уверен.

“Are you sorry you didn’t?”

-- Жалеешь, что не толкнул?

“Yes. On the whole I’m sorry I didn’t.”

-- Да. В общем, жалею.

They were sitting side by side on the dusty floor. He pulled her closer against him. Her head rested on his shoulder, the pleasant smell of her hair conquering the pigeon dung. She was very young, he thought, she still expected something from life, she did

Они сидели рядышком на пыльном полу. Он притянул ее поближе. Голова ее легла ему на плечо, и свежий запах ее волос был сильнее, чем запах голубиного помета. Она еще очень молодая, подумал он, еще ждет чего-то от жизни, она не

not understand that to push an inconvenient person over a cliff solves nothing.

понимает, что, столкнув неприятного человека с кручи, ничего не решишь.

“Actually it would have made no difference,” he said.

-- По сути, это ничего бы не изменило.

“Then why are you sorry you didn’t do it?”

-- Тогда почему жалеешь, что не столкнул?

“Only because I prefer a positive to a negative. In this game that we’re playing, we can’t win. Some kinds of failure are better than other kinds, that’s all.”

-- Только потому, что действие предпочитаю бездействию. В этой игре, которую мы ведем, выиграть нельзя. Одни неудачи лучше других -- вот и все.

He felt her shoulders give a wriggle of dissent. She always contradicted him when he said anything of this kind. She would not accept it as a law of nature that the individual is always defeated. In a way she realized that she herself was doomed, that sooner or later the Thought Police would catch her and kill her, but with another part of her mind she believed that it was somehow possible to construct a secret world in which you could live as you chose. All you needed was luck and cunning and boldness. She did not understand that there was no such thing as happiness, that the only victory lay in the far future, long after you were dead, that from the moment of declaring war on the Party it was better to think of yourself as a corpse.

Джулия упрямо передернула плечами. Когда он высказывался в таком духе, она ему возражала. Она не желала признавать законом природы то, что человек обречен на поражение. В глубине души она знала, что приговорена, что рано или поздно полиция мыслей настигнет ее и убьет, но вместе с тем верила, будто можно выстроить отдельный тайный мир и жить там как тебе хочется. Для этого нужно только везение да еще ловкость и дерзость. Она не понимала, что счастья не бывает, что победа возможна только в отдаленном будущем и тебя к тому времени давно не будет на свете, что с той минуты, когда ты объявил партии войну, лучше всего считать себя трупом.

“We are the dead,” he said.

-- Мы покойники, -- сказал он.

“We’re not dead yet,” said Julia prosaically.

-- Еще не покойники, -- прозаически поправила его Джулия.

“Not physically. Six months, a year -- five years, conceivably. I am afraid of death. You are young, so presumably you’re more afraid of it than I am. Obviously we shall put it off as long as we can. But it makes very little difference. So long as human beings stay human, death and life are the same thing.”

-- Не телесно. Через полгода, через год... ну, предположим, через пять. Я боюсь смерти. Ты молодая и, надо думать, боишься больше меня. Ясно, что мы будем оттягивать ее как можем. Но разница маленькая. Покуда человек остается человеком, смерть и жизнь -- одно и то же.

“Oh, rubbish! Which would you sooner sleep with, me or a skeleton? Don’t you enjoy being alive? Don’t you like feeling: This is me, this is my hand, this is my leg, I’m real, I’m solid, I’m alive! Don’t you like *this*?”

-- Тьфу, чепуха. С кем ты захочешь спать -- со мной или со скелетом? Ты не радуешься тому, что жив? Тебе неприятно чувствовать: вот я, вот моя рука, моя нога, я хожу, я дышу, я живу! *Это* тебе не нравится?

She twisted herself round and pressed her bosom against him. He could feel her breasts, ripe yet firm, through her overalls. Her body seemed to be pouring some of its youth and vigour into his.

Она повернулась и прижалась к нему грудью. Он чувствовал ее грудь сквозь комбинезон -- спелую, но твердую. В его тело будто переливалась молодость и энергия из ее тела.

“Yes, I like that,” he said.

-- Нет, это мне нравится, -- сказал он.

“Then stop talking about dying. And now listen, dear, we’ve got to fix up about the

-- Тогда перестань говорить о смерти. А теперь слушай, милый, -- нам надо

next time we meet. We may as well go back to the place in the wood. We've given it a good long rest. But you must get there by a different way this time. I've got it all planned out. You take the train -- but look, I'll draw it out for you."

условиться о следующей встрече. Свободно можем поехать на то место, в лес. Перерыв был вполне достаточный. Только ты должен добираться туда другим путем. Я уже все рассчитала. Садишься в поезд... подожди, я тебе нарисую.

And in her practical way she scraped together a small square of dust, and with a twig from a pigeon's nest began drawing a map on the floor.

И, практичная, как всегда, она сгребла в квадратик пыль на полу и хворостинкой из голубиного гнезда стала рисовать карту.

IV

IV

Winston looked round the shabby little room above Mr. Charrington's shop. Beside the window the enormous bed was made up, with ragged blankets and a coverless bolster. The old-fashioned clock with the twelve-hour face was ticking away on the mantelpiece. In the corner, on the gateleg table, the glass paperweight which he had bought on his last visit gleamed softly out of the half-darkness.

Уинстон обвел взглядом запущенную комнатушку над лавкой мистера Чаррингтона. Широченная с голым валиком кровать возле окна была застлана драными одеялами. На каминной доске тикали старинные часы с двенадцатичасовым циферблатом. В темном углу на раздвижном столе поблескивало стеклянное пресс-папье, которое он принес сюда в прошлый раз.

In the fender was a battered tin oilstove, a saucepan, and two cups, provided by Mr. Charrington. Winston lit the burner and set a pan of water to boil. He had brought an envelope full of Victory Coffee and some saccharine tablets. The clock's hands said seventeen-twenty: it was nineteen-twenty really. She was coming at nineteen-thirty.

В камине стояла помятая керосинка, кастрюля и две чашки -- все это было выдано мистером Чаррингтоном. Уинстон зажег керосинку и поставил кастрюлю с водой. Он принес с собой полный конверт кофе «Победа» и сахариновые таблетки. Часы показывали двадцать минут восьмого, это значило 19.20. Она должна была прийти в 19.30.

Folly, folly, his heart kept saying: conscious, gratuitous, suicidal folly. Of all the crimes that a Party member could commit, this one was the least possible to conceal. Actually the idea had first floated into his head in the form of a vision, of the glass paperweight mirrored by the surface of the gateleg table. As he had foreseen, Mr. Charrington had made no difficulty about letting the room. He was obviously glad of the few dollars that it would bring him. Nor did he seem shocked or become offensively knowing when it was made clear that Winston wanted the room for the purpose of a love-affair. Instead he looked into the middle distance and spoke in generalities, with so delicate an air as to give the impression that he had become partly invisible. Privacy, he said, was a very valuable thing. Everyone wanted a place where they could be alone occasionally. And when they had such a place, it was only common courtesy in anyone else who knew of it to keep his knowledge to himself. He even, seeming almost to fade out of

Безрассудство, безрассудство! -- твердило ему сердце: самоубийственная прихоть и безрассудство. Из всех преступлений, какие может совершить член партии, это скрыть труднее всего. Идея зародилась у него как видение: стеклянное пресспапье, отразившееся в крышке раздвижного стола. Как он и ожидал, мистер Ларрингтон охотно согласился сдать комнату. Он был явно рад этим нескольким лишним долларам. А когда Уинстон объяснил ему, что комната нужна для свиданий с женщиной, он и не оскорбился и не перешел на противный доверительный тон. Глядя куда-то мимо, он завел разговор на общие темы, причем с такой деликатностью, что сделался как бы отчасти невидим. Уединиться, сказал он, для человека очень важно. Каждому время от времени хочется побыть одному. И когда человек находит такое место, те, кто об этом знает, должны хотя бы из простой вежливости держать эти сведения при себе. Он добавил -- причем создалось впечатление, будто его уже

existence as he did so, added that there were two entries to the house, one of them through the back yard, which gave on an alley.

здесь почти нет, -- что в доме два входа, второй -- со двора, а двор открывается в проулок.

Under the window somebody was singing. Winston peeped out, secure in the protection of the muslin curtain. The June sun was still high in the sky, and in the sun-filled court below, a monstrous woman, solid as a Norman pillar, with brawny red forearms and a sacking apron strapped about her middle, was stumping to and fro between a washtub and a clothes line, pegging out a series of square white things which Winston recognized as babies' diapers. Whenever her mouth was not corked with clothes pegs she was singing in a powerful contralto:

Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, укрывшись за муслиновой занавеской. Июньское солнце еще стояло высоко, а на освещенном дворе топала взад-вперед между корытом и бельевой веревкой громадная, мощная, как норманнский столб, женщина с красными мускулистыми руками и развешивала квадратные тряпочки, в которых Уинстон угадал детские пеленки. Когда ее рот освобождался от прищепок, она запевала сильным контральто:

"*It was only an 'opeless fancy.*

It passed like an Ipril dye,

But a look an' a word an' the dreams they stirred!

They 'ave stolen my 'eart awye!"

Давно уж нет мечтаний, сердцу милых.

Они прошли, как первый день весны,

Но позабыть я и теперь не в силах

Тем голосом навеянные сны!

The tune had been haunting London for weeks past. It was one of countless similar songs published for the benefit of the proles by a sub-section of the Music Department. The words of these songs were composed without any human intervention whatever on an instrument known as a versificator. But the woman sang so tunefully as to turn the dreadful rubbish into an almost pleasant sound. He could hear the woman singing and the scrape of her shoes on the flagstones, and the cries of the children in the street, and somewhere in the far distance a faint roar of traffic, and yet the room seemed curiously silent, thanks to the absence of a telescreen.

Последние недели весь Лондон был помешан на этой песенке. Их в бесчисленном множестве выпускала для пролов особая секция музыкального отдела. Слова сочинялись вообще без участия человека -- на аппарате под названием «версификатор». Но женщина пела так мелодично, что эта страшная дребедень почти радовала слух. Уинстон слышал и ее песню, и шарканье ее туфель по каменным плитам, и детские выкрики на улице, и отдаленный гул транспорта, но при всем этом в комнате стояла удивительная тишина: тут не было телекрана.

Folly, folly, folly! he thought again. It was inconceivable that they could frequent this place for more than a few weeks without being caught. But the temptation of having a hiding-place that was truly their own, indoors and near at hand, had been too much for both of them. For some time after their visit to the church belfry it had been impossible to arrange meetings. Working hours had been drastically increased in anticipation of Hate Week. It was more than a month distant, but the enormous, complex preparations that it entailed were throwing extra work on to everybody. Finally both of them managed to secure a free afternoon on the same day. They had

Безрассудство, безрассудство! -- снова подумал он. Несколько недель встречаться здесь и не попасться -- мыслимое ли дело? Но слишком велико для них было искушение иметь свое место, под крышей и недалеко. После свидания на колокольне они никак не могли встретиться. К Неделе ненависти рабочий день резко удлинили. До нее еще оставалось больше месяца, но громадные и сложные приготовления всем прибавили работы. Наконец Джулия и Уинстон выхлопотали себе свободное время после обеда в один день. Решили поехать на прогалину. Накануне они ненадолго встретились на улице. Пока

agreed to go back to the clearing in the wood. On the evening beforehand they met briefly in the street. As usual, Winston hardly looked at Julia as they drifted towards one another in the crowd, but from the short glance he gave her it seemed to him that she was paler than usual.

они пробирались навстречу друг другу в толпе, Уинстон по обыкновению почти не смотрел в сторону Джулии, но даже одного взгляда ему было достаточно, чтобы заметить ее бледность.

"It's all off," she murmured as soon as she judged it safe to speak. "Tomorrow, I mean."

-- Все сорвалось, -- пробормотала она, когда увидела, что можно говорить. -- Я о завтрашнем.

"What?"

-- Что?

"Tomorrow afternoon. I can't come."

-- Завтра. Не смогу после обеда.

"Why not?"

-- Почему?

"Oh, the usual reason. It's started early this time."

-- Да обычная история. В этот раз рано начали.

For a moment he was violently angry. During the month that he had known her the nature of his desire for her had changed. At the beginning there had been little true sensuality in it. Their first love-making had been simply an act of the will. But after the second time it was different. The smell of her hair, the taste of her mouth, the feeling of her skin seemed to have got inside him, or into the air all round him. She had become a physical necessity, something that he not only wanted but felt that he had a right to. When she said that she could not come, he had the feeling that she was cheating him. But just at this moment the crowd pressed them together and their hands accidentally met. She gave the tips of his fingers a quick squeeze that seemed to invite not desire but affection. It struck him that when one lived with a woman this particular disappointment must be a normal, recurring event; and a deep tenderness, such as he had not felt for her before, suddenly took hold of him. He wished that they were a married couple of ten years' standing. He wished that he were walking through the streets with her just as they were doing now but openly and without fear, talking of trivialities and buying odds and ends for the household. He wished above all that they had some place where they could be alone together without feeling the obligation to make love every time they met. It was not actually at that moment, but at some time on the following day, that the idea of renting Mr. Charrington's room had occurred to him. When he suggested it to Julia she had agreed with unexpected readiness. Both of them knew that it was

Сперва он ужасно рассердился. Теперь, через месяц после их знакомства, его тянуло к Джулии совсем по-другому. Тогда настоящей чувственности в этом было мало. Их первое любовное свидание было просто волевым поступком. Но после второго все изменилось. Запах ее волос, вкус губ, ощущение от ее кожи будто поселились в нем или же пропитали весь воздух вокруг. Она стала физической необходимостью, он ее не только хотел, но и как бы имел на нее право. Когда она сказала, что не сможет прийти, ему почудилось, что она его обманывает. Но тут как раз толпа прижала их друг к другу, и руки их нечаянно соединились. Она быстро сжала ему кончики пальцев, и это пожатие как будто просило не страсти, а просто любви. Он подумал, что, когда живешь с женщиной, такие осечки в порядке вещей и должны повторяться; и вдруг почувствовал глубокую, незнакомую доселе нежность к Джулии. Ему захотелось, чтобы они были мужем и женой и жили вместе уже десять лет. Ему захотелось идти с ней до улице, как теперь, только не таясь, без страха, говорить о пустяках и покупать всякую ерунду для дома. А больше всего захотелось найти такое место, где они смогли бы побыть вдвоем и не чувствовать, что обязаны урвать любви на каждом свидании. Но не тут, а только на другой день родилась у него мысль снять комнату у мистера Чаррингтона. Когда он сказал об этом Джулии, она на удивление быстро согласилась. Оба понимали, что это -- сумасшествие. Они сознательно делали шаг к могиле. И

lunacy. It was as though they were intentionally stepping nearer to their graves. As he sat waiting on the edge of the bed he thought again of the cellars of the Ministry of Love. It was curious how that predestined horror moved in and out of one's consciousness. There it lay, fixed in future times, preceding death as surely as 99 precedes 100. One could not avoid it, but one could perhaps postpone it: and yet instead, every now and again, by a conscious, wilful act, one chose to shorten the interval before it happened.

сейчас, сидя на краю кровати, он думал о подвалах министерства любви. Интересно, как этот неотвратимый кошмар то уходит из твоего сознания, то возвращается. Вот он поджидает тебя где-то в будущем, и смерть следует за ним так же, как за девяносто девятью следует сто. Его не избежать, но оттянуть, наверное, можно; а вместо этого каждым таким поступком ты умышленно, добровольно его приближаешь.

At this moment there was a quick step on the stairs. Julia burst into the room. She was carrying a tool-bag of coarse brown canvas, such as he had sometimes seen her carrying to and fro at the Ministry. He started forward to take her in his arms, but she disengaged herself rather hurriedly, partly because she was still holding the tool-bag.

На лестнице послышались быстрые шаги. В комнату ворвалась Джулия. У нее была коричневая брезентовая сумка для инструментов -- с такой он не раз видел ее в министерстве. Он было обнял ее, но она поспешно освободилась -- может быть, потому, что еще держала сумку.

“Half a second,” she said. “Just let me show you what I've brought. Did you bring some of that filthy Victory Coffee? I thought you would. You can chuck it away again, because we shan't be needing it. Look here.”

-- Подожди, -- сказала она. -- Дай покажу, что я притащила. Ты принес эту гадость, кофе «Победа»? Так и знала. Можешь отнести его туда, откуда взял, -- он не понадобится. Смотри.

She fell on her knees, threw open the bag, and tumbled out some spanners and a screwdriver that filled the top part of it. Underneath were a number of neat paper packets. The first packet that she passed to Winston had a strange and yet vaguely familiar feeling. It was filled with some kind of heavy, sand-like stuff which yielded wherever you touched it.

Она встала на колени, раскрыла сумку и вывалила лежавшие сверху гаечные ключи и отвертку. Под ними были спрятаны аккуратные бумажные пакеты. В первом, который она протянула Уинстону, было что-то странное, но как будто знакомое на ощупь. Тяжелое вещество подавалось под пальцами, как песок.

“It isn't sugar?” he said.

-- Это не сахар? -- спросил он.

“Real sugar. Not saccharine, sugar. And here's a loaf of bread -- proper white bread, not our bloody stuff -- and a little pot of jam. And here's a tin of milk -- but look! This is the one I'm really proud of. I had to wrap a bit of sacking round it, because--”

-- Настоящий сахар. Не сахарин, а сахар. А вот батон хлеба -- порядочного белого хлеба, не нашей дряни... и баночка джема. Тут банка молока... и смотри! Вот моя главная гордость! Пришлось завернуть в мешковину, чтобы...

But she did not need to tell him why she had wrapped it up. The smell was already filling the room, a rich hot smell which seemed like an emanation from his early childhood, but which one did occasionally meet with even now, blowing down a passage-way before a door slammed, or diffusing itself mysteriously in a crowded street, sniffed for an instant and then lost again.

Но она могла не объяснять, зачем завернула. Запах уже наполнил комнату, густой и теплый; повеяло ранним детством, хотя и теперь случалось этот запах слышать: то в проулке им потянет до того, как захлопнулась дверь, то таинственно расплывется он вдруг в уличной толпе и тут же рассеется.

“It's coffee,” he murmured, “real coffee.”

-- Кофе, -- пробормотал он, настоящий

кофе.

"It's Inner Party coffee. There's a whole kilo here," she said.

-- Кофе для внутренней партии. Целый килограмм.

"How did you manage to get hold of all these things?"

-- Где ты столько всякого достала?

"It's all Inner Party stuff. There's nothing those swine don't have, nothing. But of course waiters and servants and people pinch things, and -- look, I got a little packet of tea as well."

-- Продукты для внутренней партии. У этих сволочей есть все на свете. Но, конечно, официанты и челядь воруют... смотри, еще пакетик чаю.

Winston had squatted down beside her. He tore open a corner of the packet.

Уинстон сел рядом с ней на корточки. Он надорвал угол пакета.

"It's real tea. Not blackberry leaves."

-- И чай настоящий. Не черносмородинный лист.

"There's been a lot of tea about lately. They've captured India, or something," she said vaguely. "But listen, dear. I want you to turn your back on me for three minutes. Go and sit on the other side of the bed. Don't go too near the window. And don't turn round till I tell you."

-- Чай в последнее время появился. Индию заняли или вроде того, -- рассеянно сказала она. -- Знаешь что, милый? Отвернись на три минуты, ладно? Сядь на кровать с другой стороны. Не подходи близко к окну. И не оборачивайся, пока не скажу.

Winston gazed abstractedly through the muslin curtain. Down in the yard the red-armed woman was still marching to and fro between the washtub and the line. She took two more pegs out of her mouth and sang with deep feeling:

Уинстон праздно глядел на двор из-за муслиновой занавески. Женщина с красными руками все еще расхаживала между корытом и веревкой. Она вынула изо рта две прищепки и с сильным чувством запела:

"*They sye that time 'eals all things,*
They sye you can always forget;
But the smiles an' the tears acrorss the years
They twist my 'eart-strings yet!"

Пусть говорят мне: время все излечит.
Пусть говорят: страдания забудь.
Но музыка давно забытой речи
Мне и сегодня разрывает грудь!

She knew the whole drivelling song by heart, it seemed. Her voice floated upward with the sweet summer air, very tuneful, charged with a sort of happy melancholy. One had the feeling that she would have been perfectly content, if the June evening had been endless and the supply of clothes inexhaustible, to remain there for a thousand years, pegging out diapers and singing rubbish. It struck him as a curious fact that he had never heard a member of the Party singing alone and spontaneously. It would even have seemed slightly unorthodox, a dangerous eccentricity, like talking to oneself. Perhaps it was only when people were somewhere near the starvation level that they had anything to sing about.

Всю эту идиотскую песенку она, кажется, знала наизусть. Голос плыл в нежном летнем воздухе, очень мелодичный, полный какой-то счастливой меланхолии. Казалось, что она будет вполне довольна, если никогда не кончится этот летний вечер, не иссякнут запасы белья, и готова хоть тысячу лет развешивать тут пеленки и петь всякую чушь. Уинстон с удивлением подумал, что ни разу не видел партийца, поющего в одиночку и для себя. Это сочли бы даже вольнодумством, опасным чудачеством, вроде привычки разговаривать с собой вслух. Может быть, людям только тогда и есть о чем петь, когда они на грани голода.

"You can turn round now," said Julia.

-- Можешь повернуться, -- сказали Джулия.

He turned round, and for a second almost failed to recognize her. What he had actually expected was to see her naked. But

Уинстон обернулся и не узнал ее. Он ожидал увидеть ее голой. Но она была не голая. Превращение ее оказалось куда

she was not naked. The transformation that had happened was much more surprising than that. She had painted her face.

замечательнее. Она накрасилась.

She must have slipped into some shop in the proletarian quarters and bought herself a complete set of make-up materials. Her lips were deeply reddened, her cheeks rouged, her nose powdered; there was even a touch of something under the eyes to make them brighter. It was not very skilfully done, but Winston's standards in such matters were not high. He had never before seen or imagined a woman of the Party with cosmetics on her face. The improvement in her appearance was startling. With just a few dabs of colour in the right places she had become not only very much prettier, but, above all, far more feminine. Her short hair and boyish overalls merely added to the effect. As he took her in his arms a wave of synthetic violets flooded his nostrils. He remembered the half-darkness of a basement kitchen, and a woman's cavernous mouth. It was the very same scent that she had used; but at the moment it did not seem to matter.

Должно быть, она украдкой забежала в какую-нибудь из пролетарских лавочек и купила полный набор косметики. Губы -- ярко-красные от помады, щеки нарумянены, нос напудрен; и даже глаза подвела: они стали ярче. Сделала она это не очень умело, но и запросы Уинстона были весьма скромны. Он никогда не видел и не представлял себе партийную женщину с косметикой на лице. Джулия похорошела удивительно. Чуть-чуть краски в нужных местах -- и она стала не только красивее, но и, самое главное, женственнее. Короткая стрижка и мальчишеский комбинезон лишь усиливали впечатление. Когда он обнял Джулию, на него пахнуло синтетическим запахом фиалок. Он вспомнил сумрак полуподвальной кухни и рот женщины, похожий на пещеру. От нее пахло теми же духами, но сейчас это не имело значения.

"Scent too!" he said.

-- Духи! -- сказал ой.

"Yes, dear, scent too. And do you know what I'm going to do next? I'm going to get hold of a real woman's frock from somewhere and wear it instead of these bloody trousers. I'll wear silk stockings and high-heeled shoes! In this room I'm going to be a woman, not a Party comrade."

-- Да, милый, духи. И знаешь, что я теперь сделаю? Где-нибудь достану настоящее платье и надену вместо этих гнусных брюк. Надену шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. В этой комнате я буду женщина, а не товарищ!

They flung their clothes off and climbed into the huge mahogany bed. It was the first time that he had stripped himself naked in her presence. Until now he had been too much ashamed of his pale and meagre body, with the varicose veins standing out on his calves and the discoloured patch over his ankle. There were no sheets, but the blanket they lay on was threadbare and smooth, and the size and springiness of the bed astonished both of them.

Они скинули одежду и забрались на громадную кровать из красного дерева. Он впервые разделся перед ней догола. До сих пор он стыдился своего бледного, хилого тела, синих вен на икрах, красного пятна над щиколоткой. Белья не было, но одеяло под ними было вытертое и мягкое, а ширина кровати обоих изумила.

"It's sure to be full of bugs, but who cares?" said Julia.

-- Клопов, наверно, тьма, но какая разница -- сказала Джулия.

One never saw a double bed nowadays, except in the homes of the proles. Winston had occasionally slept in one in his boyhood: Julia had never been in one before, so far as she could remember.

Двуспальную кровать можно было увидеть только в домах у пролов. Уинстон спал на похожей в детстве; Джулия, сколько помнила, не лежала на такой ни разу.

Presently they fell asleep for a little while. When Winston woke up the hands of the

После они ненадолго уснули. Когда Уинстон проснулся, стрелки часов

clock had crept round to nearly nine. He did not stir, because Julia was sleeping with her head in the crook of his arm. Most of her make-up had transferred itself to his own face or the bolster, but a light stain of rouge still brought out the beauty of her cheekbone. A yellow ray from the sinking sun fell across the foot of the bed and lighted up the fireplace, where the water in the pan was boiling fast. Down in the yard the woman had stopped singing, but the faint shouts of children floated in from the street. He wondered vaguely whether in the abolished past it had been a normal experience to lie in bed like this, in the cool of a summer evening, a man and a woman with no clothes on, making love when they chose, talking of what they chose, not feeling any compulsion to get up, simply lying there and listening to peaceful sounds outside. Surely there could never have been a time when that seemed ordinary? Julia woke up, rubbed her eyes, and raised herself on her elbow to look at the oilstove.

подбирались к девяти. Он не шевелился -- Джулия спала у него на руке. Почти все румяна перешли на его лицо, на валик, но и то немногое, что осталось, все равно оттеняло красивую лепку ее скулы. Желтый луч закатного солнца падал на изножье кровати и освещал камин -- там давно кипела вода в кастрюле. Женщина на дворе уже не пела, с улицы негромко доносились выкрики детей. Он лениво подумал: неужели в отмененном прошлом это было обычным делом -- мужчина и женщина могли лежать в постели прохладным вечером, ласкать друг друга когда захочется, разговаривать о чем вздумается и никуда не спешить -- просто лежать и слушать мирный уличный шум? Нет, не могло быть такого времени, когда это считалось нормальным. Джулия проснулась, протерла глаза и, приподнявшись на локте, поглядела на керосинку.

“Half that water’s boiled away,” she said. “I’ll get up and make some coffee in another moment. We’ve got an hour. What time do they cut the lights off at your flats?”

-- Вода наполовину выкипела, -- сказала она. -- Сейчас встану, заварю кофе. Еще час есть. У тебя в доме когда выключают свет?

“Twenty-three thirty.”

-- В двадцать три тридцать.

“It’s twenty-three at the hostel. But you have to get in earlier than that, because -- Hi! Get out, you filthy brute!”

-- А в общежитии -- в двадцать три. Но возвращаться надо раньше, иначе... Ах ты! Пошла, гадина!

She suddenly twisted herself over in the bed, seized a shoe from the floor, and sent it hurtling into the corner with a boyish jerk of her arm, exactly as he had seen her fling the dictionary at Goldstein, that morning during the Two Minutes Hate.

Она свесилась с кровати, схватила с пола туфлю и, размахнувшись по-мальчишески, швырнула в угол, как тогда на двухминутке ненависти -- словарем в Голдстейна.

“What was it?” he said in surprise.

-- Что там такое? -- с удивлением спросил он.

“A rat. I saw him stick his beastly nose out of the wainscoting. There’s a hole down there. I gave him a good fright, anyway.”

-- Крыса. Из панели, тварь, морду высунула. Нора у ней там. Но я ее хорошо пугнула.

“Rats!” murmured Winston. “In this room!”

-- Крысы! -- прошептал Уинстон. -- В этой комнате?

“They’re all over the place,” said Julia indifferently as she lay down again. “We’ve even got them in the kitchen at the hostel. Some parts of London are swarming with them. Did you know they attack children? Yes, they do. In some of these streets a woman daren’t leave a baby alone for two minutes. It’s the great huge brown ones that do it. And the nasty thing is that the brutes always--”

-- Да их полно, -- равнодушно ответила Джулия и снова легла. -- В некоторых районах кишмя кишат. А ты знаешь, что они нападают на детей? Нападают. Кое-где женщины на минуту не могут оставить грудного. Бояться надо старых, коричневых. А самое противное -- что эти твари...

"*Don't go on!*" said Winston, with his eyes tightly shut.

-- Перестань! -- Уинстон крепко зажмурил глаза.

"Dearest! You've gone quite pale. What's the matter? Do they make you feel sick?"

-- Миленький! Ты прямо побледнел. Что с тобой? Не переносишь крыс?

"Of all horrors in the world -- a rat!"

-- Крыс... Нет ничего страшней на свете.

She pressed herself against him and wound her limbs round him, as though to reassure him with the warmth of her body. He did not reopen his eyes immediately. For several moments he had had the feeling of being back in a nightmare which had recurred from time to time throughout his life. It was always very much the same. He was standing in front of a wall of darkness, and on the other side of it there was something unendurable, something too dreadful to be faced. In the dream his deepest feeling was always one of self-deception, because he did in fact know what was behind the wall of darkness. With a deadly effort, like wrenching a piece out of his own brain, he could even have dragged the thing into the open. He always woke up without discovering what it was: but somehow it was connected with what Julia had been saying when he cut her short.

Она прижалась к нему, обвила его руками и ногами, словно хотела успокоить теплом своего тела. Он не сразу открыл глаза. Несколько мгновений у него было такое чувство, будто его погрузили в знакомый кошмар, который посещал его на протяжении всей жизни. Он стоит перед стеной мрака, а за ней -- что-то невыносимое, настолько ужасное, что нет сил смотреть. Главным во сне было ощущение, что он себя обманывает: на самом деле ему известно, что находится за стеной мрака. Чудовищным усилием, выворотив кусок собственного мозга, он мог бы даже извлечь это на свет. Уинстон всегда просыпался, так и не выяснив, что там скрывалось... И вот прерванный на середине рассказ Джулии имел какое-то отношение к его кошмару.

"I'm sorry," he said, "it's nothing. I don't like rats, that's all."

-- Извини, -- сказал он. -- Пустяки. Крыс не люблю, больше ничего.

"Don't worry, dear, we're not going to have the filthy brutes in here. I'll stuff the hole with a bit of sacking before we go. And next time we come here I'll bring some plaster and bung it up properly."

-- Не волнуйся, милый, мы этих тварей сюда не пустим. Перед уходом заткну дыру тряпкой. А в следующий раз принесу штукатурку, и забьем как следует.

Already the black instant of panic was half-forgotten. Feeling slightly ashamed of himself, he sat up against the bedhead. Julia got out of bed, pulled on her overalls, and made the coffee. The smell that rose from the saucepan was so powerful and exciting that they shut the window lest anybody outside should notice it and become inquisitive. What was even better than the taste of the coffee was the silky texture given to it by the sugar, a thing Winston had almost forgotten after years of saccharine. With one hand in her pocket and a piece of bread and jam in the other, Julia wandered about the room, glancing indifferently at the bookcase, pointing out the best way of repairing the gateleg table, plumping herself down in the ragged arm-chair to see if it was comfortable, and examining the absurd twelve-hour clock with a sort of tolerant amusement. She

Черный миг паники почти выветрился из головы. Слегка устыдившись, Уинстон сел к изголовью. Джулия слезла с кровати, надела комбинезон и сварила кофе. Аромат из кастрюли был до того силен и соблазнителен, что они закрыли окно: почует кто-нибудь на дворе и станет любопытничать. Самым приятным в кофе был даже не вкус, а шелковистость на языке, которую придавал сахар, -- ощущение, почти забытое за многие годы питья с сахарином. Джулия, засунув одну руку в карман, а в другой держа бутерброд с джемом, бродила по комнате, безразлично скользила взглядом по книжной полке, объясняла, как лучше всего починить раздвижной стол, падала в кресло -- проверить, удобное ли, -- весело и снисходительно разглядывала двенадцатичасовой циферблат. Принесла на кровать, поближе к свету, стеклянное

brought the glass paperweight over to the bed to have a look at it in a better light. He took it out of her hand, fascinated, as always, by the soft, rainwatery appearance of the glass.

“What is it, do you think?” said Julia.

“I don’t think it’s anything -- I mean, I don’t think it was ever put to any use. That’s what I like about it. It’s a little chunk of history that they’ve forgotten to alter. It’s a message from a hundred years ago, if one knew how to read it.”

“And that picture over there” -- she nodded at the engraving on the opposite wall -- “would that be a hundred years old?”

“More. Two hundred, I dare say. One can’t tell. It’s impossible to discover the age of anything nowadays.”

She went over to look at it.

“Here’s where that brute stuck his nose out,” she said, kicking the wainscoting immediately below the picture. “What is this place? I’ve seen it before somewhere.”

“It’s a church, or at least it used to be. St. Clement’s Danes its name was.” The fragment of rhyme that Mr. Charrington had taught him came back into his head, and he added half-nostalgically: ‘Oranges and lemons, say the bells of St. Clement’s!’”

To his astonishment she capped the line:

“*You owe me three farthings, say the bells of St. Martin’s,*

“*When will you pay me? say the bells of Old Bailey--*

“I can’t remember how it goes on after that. But anyway I remember it ends up, ‘Here comes a candle to light you to bed, here comes a chopper to chop off your head!’”

It was like the two halves of a countersign. But there must be another line after “the bells of Old Bailey”. Perhaps it could be dug out of Mr. Charrington’s memory, if he were suitably prompted.

“Who taught you that?“ he said.

“My grandfather. He used to say it to me when I was a little girl. He was vaporized when I was eight -- at any rate, he disappeared. I wonder what a lemon was,” she added inconsequently. “I’ve seen oranges. They’re a kind of round yellow

пресс-папье. Уинстон взял его в руки и в который раз залюбовался мягкой дождевой глубиною стекла.

-- Для чего эта вещь, как думаешь? -- спросила Джулия.

-- Думаю, ни для чего... то есть ею никогда не пользовались. За это она мне и нравится. Маленький обломок истории, который забыли переделать. Весточка из прошлого века -- знать бы, как ее прочесть.

-- А картинка на стене, -- она показала подбородком на гравюру, -- неужели тоже прошлого века?

-- Старше. Пожалуй, позапрошлого. Трудно сказать. Теперь ведь возраста ни у чего не установишь.

Джулия подошла к гравюре поближе.

-- Вот откуда эта тварь высовывалась, -- сказала она и пнула стену прямо под гравюрой. -- Что это за дом? Я его где-то видела.

-- Это церковь -- по крайней мере была церковью. Называлась -- церковь святого Клемента у датчан. -- Он вспомнил начало стишка, которому его научил мистер Чаррингтон, и с грустью добавил: -- Апельсинчики как мед, в колокол Сент-Клемент бьет.

К его изумлению, она подхватила:

И звонит Сент-Мартин: Отдавай мне фартинг!

А Олд-Бейли, ох, сердит, Возвращай должок! -- гудит.

Что там дальше, не могу вспомнить. Помню только, что кончается с: «Вот зажгу я пару свеч -- ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч -- и головка твоя с плеч».

Это было как пароль и отзыв. Но после «Олд-Бейли» должно идти что-то еще. Может быть, удастся извлечь из памяти мистера Чаррингтона -- если правильно его настроить.

-- Кто тебя научил? -- спросил он.

-- Дед научил. Я была еще маленькой. Его распылили, когда мне было восемь лет... во всяком случае, он исчез... Интересно, какие они были, апельсины, -- неожиданно сказала она. -- А лимоны я видела. Желтоватые, остроносые.

fruit with a thick skin."

"I can remember lemons," said Winston. "They were quite common in the fifties. They were so sour that it set your teeth on edge even to smell them."

-- Я помню лимоны, -- сказал Уинстон. -- В пятидесятые годы их было много. Такие кислые, что только понюхаешь, и то уже слюна бежит.

"I bet that picture's got bugs behind it," said Julia. "I'll take it down and give it a good clean some day. I suppose it's almost time we were leaving. I must start washing this paint off. What a bore! I'll get the lipstick off your face afterwards."

-- За картинкой наверняка живут клопы, -- сказала Джулия. -- Как-нибудь сниму ее и хорошенько почищу. Кажется, нам пора. Мне еще надо смыть краску. Какая тоска! А потом сотру с тебя помаду.

Winston did not get up for a few minutes more. The room was darkening. He turned over towards the light and lay gazing into the glass paperweight. The inexhaustibly interesting thing was not the fragment of coral but the interior of the glass itself. There was such a depth of it, and yet it was almost as transparent as air. It was as though the surface of the glass had been the arch of the sky, enclosing a tiny world with its atmosphere complete. He had the feeling that he could get inside it, and that in fact he was inside it, along with the mahogany bed and the gateleg table, and the clock and the steel engraving and the paperweight itself. The paperweight was the room he was in, and the coral was Julia's life and his own, fixed in a sort of eternity at the heart of the crystal.

Уинстон еще несколько минут повалялся. В комнате темнело. Он повернулся к свету и стал смотреть на пресс-папье. Не коралл, а внутренность самого стекла -- вот что без конца притягивало взгляд. Глубина и вместе с тем почти воздушная его прозрачность. Подобно небесному своду, стекло замкнуло в себе целый крохотный мир вместе с атмосферой. И чудилось Уинстону, что он мог бы попасть внутрь, что он уже внутри -- и он, и эта кровать красного дерева, и раздвижной стол, и часы, и гравюра, и само пресс-папье. Оно было этой комнатой, а коралл -- жизнью его и Джулии, запаянной, словно в вечность, в сердцевину хрусталя.

V

V

Syme had vanished. A morning came, and he was missing from work: a few thoughtless people commented on his absence. On the next day nobody mentioned him. On the third day Winston went into the vestibule of the Records Department to look at the notice-board. One of the notices carried a printed list of the members of the Chess Committee, of whom Syme had been one. It looked almost exactly as it had looked before -- nothing had been crossed out -- but it was one name shorter. It was enough. Syme had ceased to exist: he had never existed.

Исчез Сайм. Утром не пришел на работу; недалекие люди поговорили о его отсутствии. На другой день о нем никто не упоминал. На третий Уинстон сходил в вестибюль отдела документации и посмотрел на доску объявлений. Там был печатный список Шахматного комитета, где состоял Сайм. Список выглядел почти как раньше -- никто не вычеркнут, -- только стал на одну фамилию короче. Все ясно. Сайм перестал существовать; он никогда не существовал.

The weather was baking hot. In the labyrinthine Ministry the windowless, air-conditioned rooms kept their normal temperature, but outside the pavements scorched one's feet and the stench of the Tubes at the rush hours was a horror. The preparations for Hate Week were in full swing, and the staffs of all the Ministries were working overtime. Processions, meetings, military parades, lectures,

Жара стояла изнурительная. В министерских лабиринтах, в кабинах без окон кондиционеры поддерживали нормальную температуру, но на улице тротуар обжигал ноги, и вонь в метро в часы пик была несусветная. Приготовления к Неделе ненависти шли полным ходом, и сотрудники министерств работали сверхурочно. Шествия, митинги, военные парады,

waxworks, displays, film shows, telescreen programmes all had to be organized; stands had to be erected, effigies built, slogans coined, songs written, rumours circulated, photographs faked. Julia's unit in the Fiction Department had been taken off the production of novels and was rushing out a series of atrocity pamphlets. Winston, in addition to his regular work, spent long periods every day in going through back files of the *Times* and altering and embellishing news items which were to be quoted in speeches. Late at night, when crowds of rowdy proles roamed the streets, the town had a curiously febrile air. The rocket bombs crashed oftener than ever, and sometimes in the far distance there were enormous explosions which no one could explain and about which there were wild rumours.

лекции, выставки восковых фигур, показ кинофильмов, специальные телепрограммы -- все это надо было организовать; надо было построить трибуны, смонтировать статуи, отшлифовать лозунги, сочинить песни, запустить слухи, подделать фотографии. В отделе литературы секцию Джулии сняли с романов и бросили на брошюры о зверствах. Уинстон в дополнение к обычной работе подолгу просиживал за подшивками «Таймс», меняя и разукрашивая сообщения, которые предстояло цитировать в докладах. Поздними вечерами, когда по улицам бродили толпы буйных пролов, Лондон словно лихорадило. Ракеты падали на город чаще обычного, а иногда в отдалении слышались чудовищные взрывы -- объяснить эти взрывы никто не мог, и о них ползли дикие слухи.

The new tune which was to be the theme-song of Hate Week (the Hate Song, it was called) had already been composed and was being endlessly plugged on the telescreens. It had a savage, barking rhythm which could not exactly be called music, but resembled the beating of a drum. Roared out by hundreds of voices to the tramp of marching feet, it was terrifying. The proles had taken a fancy to it, and in the midnight streets it competed with the still-popular "It was only a hopeless fancy". The Parsons children played it at all hours of the night and day, unbearably, on a comb and a piece of toilet paper. Winston's evenings were fuller than ever. Squads of volunteers, organized by Parsons, were preparing the street for Hate Week, stitching banners, painting posters, erecting flagstaffs on the roofs, and perilously slinging wires across the street for the reception of streamers. Parsons boasted that Victory Mansions alone would display four hundred metres of bunting. He was in his native element and as happy as a lark. The heat and the manual work had even given him a pretext for reverting to shorts and an open shirt in the evenings. He was everywhere at once, pushing, pulling, sawing, hammering, improvising, jollying everyone along with comradely exhortations and giving out from every fold of his body what seemed an inexhaustible supply of acrid-smelling sweat.

Сочинена уже была и беспрерывно передавалась по телекрану музыкальная тема Недели -- новая мелодия под названием «Песня ненависти». Построенная на свирепом, лающем ритме и мало чем похожая на музыку, она больше всего напоминала барабанный бой. Когда ее орали в тысячу глоток, под топот ног, впечатление получалось устрашающее. Она полюбилась пролам и уже теснила на ночных улицах до сих пор популярную «Давно уж нет мечтаний». Дети Парсонса исполняли ее в любой час дня и ночи, убийственно, на гребенках. Теперь вечера Уинстона были загружены еще больше. Отряды добровольцев, набранные Парсонсом, готовили улицу к Неделе ненависти, делали транспаранты, рисовали плакаты, ставили на крышах флагштоки, с опасностью для жизни натягивали через улицу проволоку для будущих лозунгов. Парсонс хвастал, что дом «Победа» один вывесит четыреста погонных метров флагов и транспарантов. Он был в своей стихии и радовался, как дитя. Благодаря жаре и физическому труду он имел полное основание переодеваться вечером в шорты и свободную рубашку. Он был повсюду одновременно -- тянул, толкал, пилил, заколачивал, изобретал, по-товарищески подбадривал и каждой складкой неиссякаемого тела источал едко пахнущий пот.

A new poster had suddenly appeared all

Вдруг весь Лондон украсился новым

over London. It had no caption, and represented simply the monstrous figure of a Eurasian soldier, three or four metres high, striding forward with expressionless Mongolian face and enormous boots, a submachine gun pointed from his hip. From whatever angle you looked at the poster, the muzzle of the gun, magnified by the foreshortening, seemed to be pointed straight at you. The thing had been plastered on every blank space on every wall, even outnumbering the portraits of Big Brother. The proles, normally apathetic about the war, were being lashed into one of their periodical frenzies of patriotism. As though to harmonize with the general mood, the rocket bombs had been killing larger numbers of people than usual. One fell on a crowded film theatre in Stepney, burying several hundred victims among the ruins. The whole population of the neighbourhood turned out for a long, trailing funeral which went on for hours and was in effect an indignation meeting. Another bomb fell on a piece of waste ground which was used as a playground and several dozen children were blown to pieces. There were further angry demonstrations, Goldstein was burned in effigy, hundreds of copies of the poster of the Eurasian soldier were torn down and added to the flames, and a number of shops were looted in the turmoil; then a rumour flew round that spies were directing the rocket bombs by means of wireless waves, and an old couple who were suspected of being of foreign extraction had their house set on fire and perished of suffocation.

плакатом. Без подписи: огромный, в три-четыре метра, евразийский солдат с непроницаемым монголоидным лицом и в гигантских сапогах шел на зрителя с автоматом, целясь от бедра. Где бы ты ни стал, увеличенное перспективой дуло автомата смотрело на тебя. Эту штуку клеили на каждом свободном месте, на каждой стене, и численно она превзошла даже портреты Старшего Брата. У пролов, войной обычно не интересовавшихся, сделался, как это периодически с ними бывало, припадок патриотизма. И, словно для поддержания воинственного духа, ракеты стали уничтожать больше людей, чем всегда. Одна угодила в переполненный кинотеатр в районе Степни и погребла под развалинами несколько сот человек. На похороны собрались все жители района; процессия тянулась несколько часов и вылилась в митинг протеста. Другая ракета упала на пустырь, занятый под детскую площадку, и разорвала в клочья несколько десятков детей. Снова были гневные демонстрации, жгли чучело Голдстейна, сотнями срывали и предавали огню плакаты с евразийцем; во время беспорядков разграбили несколько магазинов; потом разнесет слух, что шпионы наводят ракеты при помощи радиоволн, -- у старой четы, заподозренной в иностранном происхождении, подожгли дом, и старики задохнулись в дыму.

In the room over Mr. Charrington's shop, when they could get there, Julia and Winston lay side by side on a stripped bed under the open window, naked for the sake of coolness. The rat had never come back, but the bugs had multiplied hideously in the heat. It did not seem to matter. Dirty or clean, the room was paradise. As soon as they arrived they would sprinkle everything with pepper bought on the black market, tear off their clothes, and make love with sweating bodies, then fall asleep and wake to find that the bugs had rallied and were massing for the counter-attack.

В комнате над лавкой мистера Чаррингтона Джулия и Уинстон ложились на незастланную кровать и лежали под окном голые из-за жары. Крыса больше не появлялась, но клоп плодился в тепле ужасающе. Их это не трогало. Грязная ли, чистая ли, комната была раем. Едва переступив порог, они посыпали все перцем, купленным на черном рынке, скидывали одежду и, потные, предавались любви; потом их смаривало, а проснувшись, они обнаруживали, что клопы воспряли и стягиваются для контратаки.

Four, five, six -- seven times they met during the month of June. Winston had dropped his habit of drinking gin at all

Четыре, пять, шесть... семь раз встречались они так в июне. Уинстон избавился от привычки пить джин во

hours. He seemed to have lost the need for it. He had grown fatter, his varicose ulcer had subsided, leaving only a brown stain on the skin above his ankle, his fits of coughing in the early morning had stopped. The process of life had ceased to be intolerable, he had no longer any impulse to make faces at the telescreen or shout curses at the top of his voice. Now that they had a secure hiding-place, almost a home, it did not even seem a hardship that they could only meet infrequently and for a couple of hours at a time. What mattered was that the room over the junk-shop should exist. To know that it was there, inviolate, was almost the same as being in it. The room was a world, a pocket of the past where extinct animals could walk. Mr. Charrington, thought Winston, was another extinct animal. He usually stopped to talk with Mr. Charrington for a few minutes on his way upstairs. The old man seemed seldom or never to go out of doors, and on the other hand to have almost no customers. He led a ghostlike existence between the tiny, dark shop, and an even tinier back kitchen where he prepared his meals and which contained, among other things, an unbelievably ancient gramophone with an enormous horn. He seemed glad of the opportunity to talk. Wandering about among his worthless stock, with his long nose and thick spectacles and his bowed shoulders in the velvet jacket, he had always vaguely the air of being a collector rather than a tradesman. With a sort of faded enthusiasm he would finger this scrap of rubbish or that -- a china bottle-stopper, the painted lid of a broken snuffbox, a pinchbeck locket containing a strand of some long-dead baby's hair -- never asking that Winston should buy it, merely that he should admire it. To talk to him was like listening to the tinkling of a worn-out musical-box. He had dragged out from the corners of his memory some more fragments of forgotten rhymes. There was one about four and twenty blackbirds, and another about a cow with a crumpled horn, and another about the death of poor Cock Robin. "It just occurred to me you might be interested," he would say with a deprecating little laugh whenever he produced a new fragment. But he could never recall more than a few lines of any

всякое время дня. И как будто не испытывал в нем потребности. Он пополнел, варикозная язва его затянулась, оставив после себя только коричневое пятно над щиколоткой; прекратились и утренние приступы кашля. Процесс жизни перестал быть невыносимым; Уинстона уже не подмывало, как раньше, скорчить рожу телекрану или выругаться во весь голос. Теперь, когда у них было надежное пристанище, почти свой дом, не казалось лишением даже то, что приходить сюда они могут только изредка и на каких-нибудь два часа. Важно было, что у них есть эта комната над лавкой старьевщика. Знать, что она есть и неприкосновенна, -- почти то же самое, что находиться в ней. Комната была миром, заказником прошлого, где могут бродить вымершие животные. Мистер Чаррингтон тоже вымершее животное, думал Уинстон. По дороге наверх он останавливался поговорить с хозяином. Старик, по-видимому, редко выходил на улицу, если вообще выходил; с другой стороны, и покупателей у него почти не бывало. Незаметная жизнь его протекала между крохотной темной лавкой и еще более крохотной кухонькой в тылу, где он стряпал себе еду и где стоял среди прочих предметов невероятно древний граммофон с огромнейшим раструбом. Старик был рад любому случаю поговорить. Длинноносый и сутулый, в толстых очках и бархатном пиджаке, он бродил среди своих бесполезных товаров, похожий скорее на коллекционера, чем на торговца. С несколько остывшим энтузиазмом он брал в руку тот или иной пустяк -- фарфоровую затычку для бутылки, разрисованную крышку бывшей табакерки, латунный медальон с прядкой волос неведомого и давно умершего ребенка, -- не купить предлагая Уинстону, а просто полюбоваться. Беседовать с ним было все равно что слушать звон изношенной музыкальной шкатулки. Он извлек из закоулков своей памяти еще несколько забытых детских стишков. Один был: «Птицы в пироге», другой про корову с гнутым рогом, а еще один про смерть малиновки. «Я подумал, что вам зто может быть интересно», -- говорил он с неодобрительным смешком, воспроизведя очередной отрывок. Но ни в одном стихотворении он не мог

one rhyme.

припомнить больше двух-трех строк.

Both of them knew -- in a way, it was never out of their minds that what was now happening could not last long. There were times when the fact of impending death seemed as palpable as the bed they lay on, and they would cling together with a sort of despairing sensuality, like a damned soul grasping at his last morsel of pleasure when the clock is within five minutes of striking. But there were also times when they had the illusion not only of safety but of permanence. So long as they were actually in this room, they both felt, no harm could come to them. Getting there was difficult and dangerous, but the room itself was sanctuary. It was as when Winston had gazed into the heart of the paperweight, with the feeling that it would be possible to get inside that glassy world, and that once inside it time could be arrested. Often they gave themselves up to daydreams of escape. Their luck would hold indefinitely, and they would carry on their intrigue, just like this, for the remainder of their natural lives. Or Katharine would die, and by subtle manoeuvrings Winston and Julia would succeed in getting married. Or they would commit suicide together. Or they would disappear, alter themselves out of recognition, learn to speak with proletarian accents, get jobs in a factory and live out their lives undetected in a back-street. It was all nonsense, as they both knew. In reality there was no escape. Even the one plan that was practicable, suicide, they had no intention of carrying out. To hang on from day to day and from week to week, spinning out a present that had no future, seemed an unconquerable instinct, just as one's lungs will always draw the next breath so long as there is air available.

Они с Джулией понимали -- и, можно сказать, все время помнили, -- что долго продолжаться это не может. В иные минуты грядущая смерть казалась не менее ощутимой, чем кровать под ними, и они прижимались друг к другу со страстью отчаяния -- как обреченный хватает последние крохи наслаждения за пять минут до боя часов. Впрочем, бывали такие дни, когда они тешили себя иллюзией не только безопасности, но и постоянства. Им казалось, что в этой комнате с ними не может случиться ничего плохого. Добираться сюда трудно и опасно, но сама комната -- убежище. С похожим чувством Уинстон вглядывался однажды в пресс-папье: казалось, что можно попасть в сердцевину стеклянного мира и, когда очутишься там, время остановится. Они часто предавались грезам о спасении. Удача их не покинет, и роман их не кончится, пока они не умрут своей смертью. Или Кэтрин отправится на тот свет, и путем разных ухищрений Уинстон с Джулией добьются разрешения на брак. Или они вместе покончат с собой. Или скроются: изменят внешность, научатся пролетарскому выговору, устроятся на фабрику и, никем не узнанные, доживут свой век на задворках. Оба знали, что все это ерунда. В действительности спасения нет. Реальным был один план -- самоубийство, но и его они не спешили осуществить. В подвешенном состоянии, день за днем, из недели в неделю тянуть настоящее без будущего велел им непобедимый инстинкт -- так легкие всегда делают следующий вдох, покуда есть воздух.

Sometimes, too, they talked of engaging in active rebellion against the Party, but with no notion of how to take the first step. Even if the fabulous Brotherhood was a reality, there still remained the difficulty of finding one's way into it. He told her of the strange intimacy that existed, or seemed to exist, between himself and O'Brien, and of the impulse he sometimes felt, simply to walk into O'Brien's presence, announce that he was the enemy of the Party, and demand his help. Curiously enough, this did not strike her as an impossibly rash thing to

А еще они иногда говорили о деятельном бунте против партии -- но не представляли себе, с чего начать. Даже если мифическое Братство существует, как найти к нему путь? Уинстон рассказал ей о странной близости, возникшей -- или как будто возникшей -- между ним и О'Брайеном, и о том, что у него бывает желание прийти к О'Брайену, объявить себя врагом партии и попросить помощи. Как ни странно, Джулия не сочла эту идею совсем безумной. Она привыкла судить о людях

do. She was used to judging people by their faces, and it seemed natural to her that Winston should believe O'Brien to be trustworthy on the strength of a single flash of the eyes. Moreover she took it for granted that everyone, or nearly everyone, secretly hated the Party and would break the rules if he thought it safe to do so. But she refused to believe that widespread, organized opposition existed or could exist. The tales about Goldstein and his underground army, she said, were simply a lot of rubbish which the Party had invented for its own purposes and which you had to pretend to believe in. Times beyond number, at Party rallies and spontaneous demonstrations, she had shouted at the top of her voice for the execution of people whose names she had never heard and in whose supposed crimes she had not the faintest belief. When public trials were happening she had taken her place in the detachments from the Youth League who surrounded the courts from morning to night, chanting at intervals "Death to the traitors!" During the Two Minutes Hate she always excelled all others in shouting insults at Goldstein. Yet she had only the dimmest idea of who Goldstein was and what doctrines he was supposed to represent. She had grown up since the Revolution and was too young to remember the ideological battles of the fifties and sixties. Such a thing as an independent political movement was outside her imagination: and in any case the Party was invincible. It would always exist, and it would always be the same. You could only rebel against it by secret disobedience or, at most, by isolated acts of violence such as killing somebody or blowing something up.

по лицам, и ей казалось естественным, что, один раз переглянувшись с О'Брайеном, Уинстон ему поверил. Она считала само собой разумеющимся, что каждый человек, почти каждый, тайно ненавидит партию и нарушит правила, если ему это ничем не угрожает. Но она отказывалась верить, что существует и может существовать широкое организованное сопротивление. Рассказы о Голдстейне и его подпольной армии -- ахинея, придуманная партией для собственной выгоды, а ты должен делать вид, будто веришь. Невесть сколько раз на партийных собраниях и стихийных демонстрациях она надсаживала горло, требуя казнить людей, чьих имен никогда не слышала и в чьи преступления не верила ни секунды. Когда происходили открытые процессы, она занимала свое место в отрядах Союза юных, с утра до ночи стоявших в оцеплений вокруг суда, и выкрикивала с ними: «Смерть предателям!» На двухминутках ненависти громче всех поносила Голдстейна. При этом очень смутно представляла себе, кто такой Голдстейн и в чем состоят его теории. Она выросла после революции и по молодости лет не помнила идеологические баталии пятидесятых и шестидесятых годов. Независимого политического движения она представить себе не могла; да и в любом случае партия неуязвима. Партия будет всегда и всегда будет такой же. Противиться ей можно только тайным неповиновением, самое большее -- частными актами террора: кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать.

In some ways she was far more acute than Winston, and far less susceptible to Party propaganda. Once when he happened in some connexion to mention the war against Eurasia, she startled him by saying casually that in her opinion the war was not happening. The rocket bombs which fell daily on London were probably fired by the Government of Oceania itself, "just to keep people frightened". This was an idea that had literally never occurred to him. She also stirred a sort of envy in him by telling him that during the Two Minutes Hate her great difficulty was to avoid bursting out laughing. But she only questioned the

В некоторых отношениях она была гораздо проницательнее Уинстона и меньше подвержена партийной пропаганде. Однажды, кода он обмолвился в связи с чем-то о войне с Евразией, Джулия ошеломила его, небрежно сказав, что, по ее мнению, никакой войны нет. Ракеты, падающие на Лондон, может быть, пускает само правительство, «чтобы держат людей в страхе». Ему такая мысль просто не приходила в голову. А один раз он ей даже позавидовал: когда она сказала, что на двухминутках ненависти самое трудное для нее -- удержаться от смеха.

teachings of the Party when they in some way touched upon her own life. Often she was ready to accept the official mythology, simply because the difference between truth and falsehood did not seem important to her. She believed, for instance, having learnt it at school, that the Party had invented aeroplanes. (In his own schooldays, Winston remembered, in the late fifties, it was only the helicopter that the Party claimed to have invented; a dozen years later, when Julia was at school, it was already claiming the aeroplane; one generation more, and it would be claiming the steam engine.) And when he told her that aeroplanes had been in existence before he was born and long before the Revolution, the fact struck her as totally uninteresting. After all, what did it matter who had invented aeroplanes? It was rather more of a shock to him when he discovered from some chance remark that she did not remember that Oceania, four years ago, had been at war with Eastasia and at peace with Eurasia. It was true that she regarded the whole war as a sham: but apparently she had not even noticed that the name of the enemy had changed. "I thought we'd always been at war with Eurasia," she said vaguely. It frightened him a little. The invention of aeroplanes dated from long before her birth, but the switchover in the war had happened only four years ago, well after she was grown up. He argued with her about it for perhaps a quarter of an hour. In the end he succeeded in forcing her memory back until she did dimly recall that at one time Eastasia and not Eurasia had been the enemy. But the issue still struck her as unimportant. "Who cares?" she said impatiently. "It's always one bloody war after another, and one knows the news is all lies anyway."

Но партийные идеи она подвергала сомнению только тогда, когда они прямо затрагивали ее жизнь. Зачастую она готова была принять официальный миф просто потому, что ей казалось не важным, ложь это или правда. Например, она верила, что партия изобрела самолет, -- так ее научили в школе. (Когда Уинстон был школьником -- в конце 50-х годов, -- партия претендовала только на изобретение вертолета; десятью годами позже, когда в школу пошла Джулия, изобретением партии стал уже и самолет; еще одно поколение -- и она изобретет паровую машину.) Когда он сказал Джулии, что самолеты летали до его рождения и задолго до революции, ее это нисколько не взволновало. В конце концов какая разница, кто изобрел самолет? Но больше поразило его другое: как выяснилось из одной мимоходом брошенной фразы, Джулия не помнила, что четыре года назад у них с Евразией был мир, а война -- с Остазией. Правда, войну она вообще считала мошенничеством; но что противник теперь другой, она даже не заметила. «Я думала, мы всегда воевали с Евразией», -- сказала она равнодушно. Его это немного испугало. Самолет изобрели задолго до ее рождения, но враг-то переменился всего четыре года назад, она была уже вполне взрослой. Он растолковывал ей это, наверное, четверть часа. В конце концов ему удалось разбудить ее память, и она с трудом вспомнила, что когда-то действительно врагом была не Евразия, а Остазия. Но отнеслась к этому безразлично. «Не все ли равно? -- сказала она с раздражением. -- Не одна сволочная война, так другая, и всем понятно, что сводки врут».

Sometimes he talked to her of the Records Department and the impudent forgeries that he committed there. Such things did not appear to horrify her. She did not feel the abyss opening beneath her feet at the thought of lies becoming truths. He told her the story of Jones, Aaronson, and Rutherford and the momentous slip of paper which he had once held between his fingers. It did not make much impression on her. At first, indeed, she failed to grasp the point of the story.

Иногда он рассказывал ей об отделе документации, о том, как занимаются наглыми подтасовками. Ее это не ужасало. Пропасть под ее ногами не разверзалась оттого, что ложь превращают в правду. Он рассказал ей о Джонсе, Аронсоне и Резерфорде, о том, как в руки ему попал клочок газеты -- потрясающая улика. На Джулию и это не произвело впечатления. Она даже не сразу поняла смысл рассказа.

"Were they friends of yours?" she said.

-- Они были твои друзья? -- спросила она.

"No, I never knew them. They were Inner Party members. Besides, they were far older men than I was. They belonged to the old days, before the Revolution. I barely knew them by sight."

-- Нет, я с ними не был знаком. Они были членами внутренней партии. Кроме того, они гораздо старше меня. Это люди старого времени, дореволюционного. Я их и в лицо-то едва знал.

"Then what was there to worry about? People are being killed off all the time, aren't they?"

-- Тогда почему столько переживаний? Кого-то все время убивают, правда?

He tried to make her understand.

Он попытался объяснить.

"This was an exceptional case. It wasn't just a question of somebody being killed. Do you realize that the past, starting from yesterday, has been actually abolished? If it survives anywhere, it's in a few solid objects with no words attached to them, like that lump of glass there. Already we know almost literally nothing about the Revolution and the years before the Revolution. Every record has been destroyed or falsified, every book has been rewritten, every picture has been repainted, every statue and street and building has been renamed, every date has been altered. And that process is continuing day by day and minute by minute. History has stopped. Nothing exists except an endless present in which the Party is always right. I *know*, of course, that the past is falsified, but it would never be possible for me to prove it, even when I did the falsification myself. After the thing is done, no evidence ever remains. The only evidence is inside my own mind, and I don't know with any certainty that any other human being shares my memories. Just in that one instance, in my whole life, I did possess actual concrete evidence *after* the event -- years after it."

-- Это случай исключительный. Дело не только в том, что кого-то убили. Ты понимаешь, что прошлое начиная со вчерашнего дня фактически отменено? Если оно где и уцелело, то только в материальных предметах, никак не привязанных к словам, -- вроде этой стекляшки. Ведь мы буквально ничего уже не знаем о революции и дореволюционной жизни. Документы все до одного уничтожены или подделаны, все книги исправлены, картины переписаны, статуи, улицы и здания переименованы, все даты изменены. И этот процесс не прерывается ни на один день, ни на минуту. История остановилась. Нет ничего, кроме нескончаемого настоящего, где партия всегда права. *Я знаю*, конечно, что прошлое подделывают, но ничем не смог бы это доказать -- даже когда сам совершил подделку. Как только она совершена, свидетельства исчезают. Единственное свидетельство -- у меня в голове, но кто поручится, что хоть у одного еще человека сохранилось в памяти то же самое? Только в тот раз, единственный раз в жизни, я располагал подлинным фактическим доказательством -- *после* событий, несколько лет спустя.

"And what good was that?"

-- И что толку?

"It was no good, because I threw it away a few minutes later. But if the same thing happened today, I should keep it."

-- Толку никакого, потому что через несколько минут я его выбросил. Но если бы такое произошло сегодня, я бы сохранил.

"Well, I wouldn't!" said Julia. "I'm quite ready to take risks, but only for something worth while, not for bits of old newspaper. What could you have done with it even if you had kept it?"

-- А я -- нет! -- сказала Джулия. -- Я согласна рисковать, но ради чего-то стоящего, не из-за клочков старой газеты. Ну сохранил ты его -- и что бы ты сделал?

"Not much, perhaps. But it was evidence. It might have planted a few doubts here and there, supposing that I'd dared to show it to anybody. I don't imagine that we can alter anything in our own lifetime. But one can

-- Наверно, ничего особенного. Но это было доказательство. И кое в ком поселило бы сомнения -- если бы я набрался духу кому-нибудь его показать. Я вовсе не воображаю, будто мы

imagine little knots of resistance springing up here and there -- small groups of people banding themselves together, and gradually growing, and even leaving a few records behind, so that the next generations can carry on where we leave off."

способны что-то изменить при нашей жизни. Но можно вообразить, что там и сям возникнут очажки сопротивления -- соберутся маленькие группы людей, будут постепенно расти и, может быть, даже оставят после себя несколько документов, чтобы прочло следующее поколение и продолжило наше дело.

"I'm not interested in the next generation, dear. I'm interested in *us*."

-- Следующее поколение, милый, меня не интересует. Меня интересуем мы.

"You're only a rebel from the waist downwards," he told her.

-- Ты бунтовщица только ниже пояса, -- сказал он.

She thought this brilliantly witty and flung her arms round him in delight.

Шутка показалась Джулии замечательно остроумной, и она в восторге обняла его.

In the ramifications of party doctrine she had not the faintest interest. Whenever he began to talk of the principles of Ingsoc, doublethink, the mutability of the past, and the denial of objective reality, and to use Newspeak words, she became bored and confused and said that she never paid any attention to that kind of thing. One knew that it was all rubbish, so why let oneself be worried by it? She knew when to cheer and when to boo, and that was all one needed. If he persisted in talking of such subjects, she had a disconcerting habit of falling asleep. She was one of those people who can go to sleep at any hour and in any position. Talking to her, he realized how easy it was to present an appearance of orthodoxy while having no grasp whatever of what orthodoxy meant. In a way, the world-view of the Party imposed itself most successfully on people incapable of understanding it. They could be made to accept the most flagrant violations of reality, because they never fully grasped the enormity of what was demanded of them, and were not sufficiently interested in public events to notice what was happening. By lack of understanding they remained sane. They simply swallowed everything, and what they swallowed did them no harm, because it left no residue behind, just as a grain of corn will pass undigested through the body of a bird.

Хитросплетения партийной доктрины ее не занимали совсем. Когда он рассуждал о принципах ангсоца, о двоемыслии, об изменчивости прошлого и отрицании объективной действительности, да еще употребляя новоязовские слова, она сразу начинала скучать, смущалась и говорила, что никогда не обращала внимания на такие вещи. Ясно ведь, что все это чепуха, так зачем волноваться? Она знает, когда кричать «ура» и когда улюлюкать, -- а больше ничего не требуется. Если он все-таки продолжал говорить на эти темы, она обыкновенно засыпала, чем приводила его в замешательство. Она была из тех людей, которые способны заснуть в любое время и в любом положении. Беседуя с ней, он понял, до чего легко представляться идейным, не имея даже понятия о самих идеях. В некотором смысле мировоззрение партии успешнее всего прививалось людям, не способным его понять. Они соглашаются с самыми вопиющими искажениями действительности, ибо не понимают всего безобразия подмены и, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они глотают все подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда, не оставляет осадка, подобно тому как кукурузное зерно проходит непереваренным через кишечник птицы.

VI

VI

It had happened at last. The expected message had come. All his life, it seemed to him, he had been waiting for this to happen.

Случилось наконец. Пришла долгожданная весть. Всю жизнь, казалось ему, он ждал этого события.

He was walking down the long corridor at

Он шел по длинному коридору

the Ministry and he was almost at the spot where Julia had slipped the note into his hand when he became aware that someone larger than himself was walking just behind him. The person, whoever it was, gave a small cough, evidently as a prelude to speaking. Winston stopped abruptly and turned. It was O'Brien.

министерства и, приближаясь к тому месту, где Джулия сунула ему в руку записку, почувствовал, что по пятам за ним идет кто-то, -- кто-то крупнее его. Неизвестный тихонько кашлянул, как бы намереваясь заговорить. Уинстон замер на месте, обернулся. Перед ним был О'Брайен.

At last they were face to face, and it seemed that his only impulse was to run away. His heart bounded violently. He would have been incapable of speaking. O'Brien, however, had continued forward in the same movement, laying a friendly hand for a moment on Winston's arm, so that the two of them were walking side by side. He began speaking with the peculiar grave courtesy that differentiated him from the majority of Inner Party members.

Наконец-то они очутились с глазу на глаз, но Уинстоном владело как будто одно желание -- бежать. Сердце у него выпрыгивало из груди. Заговорить первым он бы не смог. О'Брайен, продолжая идти прежним шагом, на миг дотронулся до руки Уинстона, и они пошли рядом. О'Брайен заговорил с важной учтивостью, которая отличала его от большинства членов внутренней партии.

"I had been hoping for an opportunity of talking to you," he said. "I was reading one of your Newspeak articles in the *Times* the other day. You take a scholarly interest in Newspeak, I believe?"

-- Я ждал случая с вами поговорить, -- начал он. -- На днях я прочел вашу статью на новоязе в «Таймс». Насколько я понимаю, ваш интерес к новоязу -- научного свойства?

Winston had recovered part of his self-possession.

К Уинстону частично вернулось самообладание.

"Hardly scholarly," he said. "I'm only an amateur. It's not my subject. I have never had anything to do with the actual construction of the language."

-- Едва ли научного, -- ответил он. -- Я всего лишь дилетант. Это не моя специальность. В практической разработке языка я никогда не принимал участия.

"But you write it very elegantly," said O'Brien. "That is not only my own opinion. I was talking recently to a friend of yours who is certainly an expert. His name has slipped my memory for the moment."

-- Но написана она очень изящно, -- сказал О'Брайен. -- Это не только мое мнение. Недавно я разговаривал с одним вашим знакомым -- определенно специалистом. Не могу сейчас вспомнить его имя.

Again Winston's heart stirred painfully. It was inconceivable that this was anything other than a reference to Syme. But Syme was not only dead, he was abolished, an unperson. Any identifiable reference to him would have been mortally dangerous. O'Brien's remark must obviously have been intended as a signal, a codeword. By sharing a small act of thoughtcrime he had turned the two of them into accomplices. They had continued to stroll slowly down the corridor, but now O'Brien halted. With the curious, disarming friendliness that he always managed to put in to the gesture he resettled his spectacles on his nose. Then he went on:

Сердце Уинстона опять заторопилось. Сомнений нет -- речь о Сайме. Но Сайм не просто мертв, он отменен -- *нелицо*. Даже завуалированное упоминание о нем смертельно опасно. Слова О'Брайена не могли быть ничем иным, как сигналом, паролем. Совершив при нем это маленькое мыслепреступление, О'Брайен взял его в сообщники. Они продолжали медленно идти по коридору, но тут О'Брайен остановился. Поправил на носу очки -- как всегда, в этом жесте было что-то обезоруживающее, дружелюбной. Потом продолжал:

"What I had really intended to say was that in your article I noticed you had used two

-- Я, в сущности, вот что хотел сказать: в вашей статье я заметил два слова,

words which have become obsolete. But they have only become so very recently. Have you seen the tenth edition of the Newspeak Dictionary?"

"No," said Winston. "I didn't think it had been issued yet. We are still using the ninth in the Records Department."

"The tenth edition is not due to appear for some months, I believe. But a few advance copies have been circulated. I have one myself. It might interest you to look at it, perhaps?"

"Very much so," said Winston, immediately seeing where this tended.

"Some of the new developments are most ingenious. The reduction in the number of verbs -- that is the point that will appeal to you, I think. Let me see, shall I send a messenger to you with the dictionary? But I am afraid I invariably forget anything of that kind. Perhaps you could pick it up at my flat at some time that suited you? Wait. Let me give you my address."

They were standing in front of a telescreen. Somewhat absentmindedly O'Brien felt two of his pockets and then produced a small leather-covered notebook and a gold ink-pencil. Immediately beneath the telescreen, in such a position that anyone who was watching at the other end of the instrument could read what he was writing, he scribbled an address, tore out the page and handed it to Winston.

"I am usually at home in the evenings," he said. "If not, my servant will give you the dictionary."

He was gone, leaving Winston holding the scrap of paper, which this time there was no need to conceal. Nevertheless he carefully memorized what was written on it, and some hours later dropped it into the memory hole along with a mass of other papers.

They had been talking to one another for a couple of minutes at the most. There was only one meaning that the episode could possibly have. It had been contrived as a way of letting Winston know O'Brien's address. This was necessary, because except by direct enquiry it was never possible to discover where anyone lived. There were no directories of any kind. "If you ever want to see me, this is where I can be found," was what O'Brien had been saying to him. Perhaps there would even be

которые уже считаются устаревшими. Но устаревшими они стали совсем недавно. Вы видели десятое издание словаря новояза?

-- Нет, -- сказал Уинстон. -- По-моему, оно еще не вышло. У нас в отделе документации пока пользуются девятым.

-- Десятое издание, насколько я знаю, выпустят лишь через несколько месяцев. Но сигнальные экземпляры уже разосланы. У меня есть. Вам интересно было бы посмотреть?

-- Очень интересно, -- сказал Уинстон, сразу поняв, куда он клонит.

-- Некоторые нововведения чрезвычайно остроумны. Сокращение количества глаголов... я думаю, это вам понравится. Давайте подумаем. Прислать вам словарь с курьером? Боюсь, я крайне забывчив в подобных делах. Может, вы сами зайдете за ним ко мне домой -- в любое удобное время? Минутку. Я дам вам адрес.

Они стояли перед телекраном. О'Брайен рассеянно порылся в обоих карманах, потом извлек кожаный блокнот и золотой чернильный карандаш. Прямо под телекраном, в таком месте, что наблюдающий на другом конце легко прочел бы написанное, он набросал адрес, вырвал листок и вручил Уинстону.

-- Вечерами я, как правило, дома, -- сказал он. -- Если меня не будет, словарь вам отдаст слуга.

Он ушел, оставив Уинстона с листком бумаги, который на этот раз можно было не прятать. Тем не менее Уинстон заучил адрес и несколькими часами позже бросил листок в гнездо памяти вместе с другими бумагами.

Разговаривали они совсем недолго. И объяснить эту встречу можно только одним. Она подстроена для того, чтобы сообщить Уинстону адрес О'Брайена. Иного способа не было: выяснить, где человек живет, можно, лишь спросив об этом прямо. Адресных книг нет. «Если захотите со мной повидаться, найдете меня там-то» -- вот что на самом деле сказал ему О'Брайен. Возможно, в словаре будет спрятана записка. Во всяком случае, ясно одно: заговор, о

a message concealed somewhere in the dictionary. But at any rate, one thing was certain. The conspiracy that he had dreamed of did exist, and he had reached the outer edges of it.

котором Уинстон мечтал, все-таки существует и Уинстон приблизился к нему вплотную.

He knew that sooner or later he would obey O'Brien's summons. Perhaps tomorrow, perhaps after a long delay -- he was not certain. What was happening was only the working-out of a process that had started years ago. The first step had been a secret, involuntary thought, the second had been the opening of the diary. He had moved from thoughts to words, and now from words to actions. The last step was something that would happen in the Ministry of Love. He had accepted it. The end was contained in the beginning. But it was frightening: or, more exactly, it was like a foretaste of death, like being a little less alive. Even while he was speaking to O'Brien, when the meaning of the words had sunk in, a chilly shuddering feeling had taken possession of his body. He had the sensation of stepping into the dampness of a grave, and it was not much better because he had always known that the grave was there and waiting for him.

Рано или поздно он явится на зов О'Брайена. Завтра явится или будет долго откладывать -- он сам не знал. То, что сейчас происходит, -- просто развитие процесса, начавшегося сколько-то лет назад. Первым шагом была тайная нечаянная мысль, вторым -- дневник. От мыслей он перешел к словам, а теперь от слов к делу. Последним шагом будет то, что произойдет в министерстве любви. С этим он примирился. Конец уже содержится в начале. Но это пугало; точнее, он как бы уже почуял смерть, как бы стал чуть менее живым. Когда он говорил с О'Брайеном, когда до него дошел смысл приглашения, его охватил озноб. Чувство было такое, будто он ступил в сырую могилу; он и раньше знал, что могила недалеко и ждет его, но легче ему от этого не стало.

VII

VII

Winston had woken up with his eyes full of tears. Julia rolled sleepily against him, murmuring something that might have been "What's the matter?"

Уинстон проснулся в слезах. Джулия сонно привалилась к нему и пролепетала что-то невнятное, может быть: «Что с тобой?»

"I dreamt--" he began, and stopped short. It was too complex to be put into words. There was the dream itself, and there was a memory connected with it that had swum into his mind in the few seconds after waking.

-- Мне снилось... -- начал он и осекся. Слишком сложно: не укладывалось в слова. Тут был и сам по себе сон, и воспоминание, с ним связанное, -- оно всплыло через несколько секунд после пробуждения.

He lay back with his eyes shut, still sodden in the atmosphere of the dream. It was a vast, luminous dream in which his whole life seemed to stretch out before him like a landscape on a summer evening after rain. It had all occurred inside the glass paperweight, but the surface of the glass was the dome of the sky, and inside the dome everything was flooded with clear soft light in which one could see into interminable distances. The dream had also been comprehended by -- indeed, in some sense it had consisted in -- a gesture of the arm made by his mother, and made again thirty years later by the Jewish woman he had seen on the news film, trying to shelter the small boy from the bullets, before the

Он снова лег, закрыл глаза, все еще налитый сном... Это был просторный, светозарный сон, вся его жизнь раскинулась перед ним в этом сне, как пейзаж летним вечером после дождя. Происходило все внутри стеклянного пресс-папье, но поверхность стекла была небосводом, и мир под небосводом был залит ясным мягким светом, открывшим глазу бескрайние дали. Кроме того, мотивом сна -- и даже его содержанием -- был жест материнской руки, повторившийся тридцать лет спустя в кинохронике, где еврейка пыталась загородить маленького мальчика от пуль, а потом вертолет разорвал обоих в

helicopter blew them both to pieces.

"Do you know," he said, "that until this moment I believed I had murdered my mother?"

"Why did you murder her?" said Julia, almost asleep.

"I didn't murder her. Not physically."

In the dream he had remembered his last glimpse of his mother, and within a few moments of waking the cluster of small events surrounding it had all come back. It was a memory that he must have deliberately pushed out of his consciousness over many years. He was not certain of the date, but he could not have been less than ten years old, possibly twelve, when it had happened.

His father had disappeared some time earlier, how much earlier he could not remember. He remembered better the rackety, uneasy circumstances of the time: the periodical panics about air-raids and the sheltering in Tube stations, the piles of rubble everywhere, the unintelligible proclamations posted at street corners, the gangs of youths in shirts all the same colour, the enormous queues outside the bakeries, the intermittent machine-gun fire in the distance -- above all, the fact that there was never enough to eat. He remembered long afternoons spent with other boys in scrounging round dustbins and rubbish heaps, picking out the ribs of cabbage leaves, potato peelings, sometimes even scraps of stale breadcrust from which they carefully scraped away the cinders; and also in waiting for the passing of trucks which travelled over a certain route and were known to carry cattle feed, and which, when they jolted over the bad patches in the road, sometimes spilt a few fragments of oil-cake.

When his father disappeared, his mother did not show any surprise or any violent grief, but a sudden change came over her. She seemed to have become completely spiritless. It was evident even to Winston that she was waiting for something that she knew must happen. She did everything that was needed -- cooked, washed, mended, made the bed, swept the floor, dusted the mantelpiece -- always very slowly and with a curious lack of superfluous motion, like an artist's lay-figure moving of its own accord. Her large shapely body seemed to

клочья.

-- Ты знаешь, -- сказал Уинстон, -- до этой минуты я думал, что убил мать.

-- Зачем убил? -- спросонок сказала Джулия.

-- Нет, я ее не убил. Физически.

Во сне он вспомнил, как в последний раз увидел мать, а через несколько секунд после пробуждения восстановилась вся цепь мелких событий того дня. Наверное, он долгие годы отталкивал от себя это воспоминание. К какому времени оно относится, он точно не знал, но лет ему было тогда не меньше десяти, а то и все двенадцать.

Отец исчез раньше; намного ли раньше, он не помнил. Лучше сохранились в памяти приметы того напряженного и сумбурного времени: паника и сидение на станции метро по случаю воздушных налетов, груды битого кирпича, невразумительные воззвания, расклеенные на углах, ватаги парней в рубашках одинакового цвета, громадные очереди у булочных, пулеметная стрельба вдалеке и, в первую голову, вечная нехватка еды. Он помнил, как долгими послеполуденными часами вместе с другими ребятами рылся в мусорных баках и на помойках, отыскивая хряпу, картофельные очистки, а то и заплесневелую корку, с которой они тщательно соскабливали горелое; как ждали грузовиков с фуражом, ездивших по определенному маршруту: на разбитых местах дороги грузовик подбрасывало, иногда высыпалось несколько кусочков жмыха.

Когда исчез отец, мать ничем не выдала удивления или отчаяния, но как-то вдруг вся переменилась. Из нее будто жизнь ушла. Даже Уинстону было видно, что она ждет чего-то неизбежного. Дома она продолжала делать всю обычную работу -- стряпала, стирала, штопала, стелила кровать, подметала пол, вытирала пыль, -- только очень медленно и странно, без единого лишнего движения, словно оживший манекен. Ее крупное красивое тело как бы само собой впадало в неподвижность. Часами она сидела на

relapse naturally into stillness. For hours at a time she would sit almost immobile on the bed, nursing his young sister, a tiny, ailing, very silent child of two or three, with a face made simian by thinness. Very occasionally she would take Winston in her arms and press him against her for a long time without saying anything. He was aware, in spite of his youthfulness and selfishness, that this was somehow connected with the never-mentioned thing that was about to happen.

He remembered the room where they lived, a dark, close-smelling room that seemed half filled by a bed with a white counterpane. There was a gas ring in the fender, and a shelf where food was kept, and on the landing outside there was a brown earthenware sink, common to several rooms. He remembered his mother's statuesque body bending over the gas ring to stir at something in a saucepan. Above all he remembered his continuous hunger, and the fierce sordid battles at mealtimes. He would ask his mother naggingly, over and over again, why there was not more food, he would shout and storm at her (he even remembered the tones of his voice, which was beginning to break prematurely and sometimes boomed in a peculiar way), or he would attempt a snivelling note of pathos in his efforts to get more than his share. His mother was quite ready to give him more than his share. She took it for granted that he, "the boy", should have the biggest portion; but however much she gave him he invariably demanded more. At every meal she would beseech him not to be selfish and to remember that his little sister was sick and also needed food, but it was no use. He would cry out with rage when she stopped ladling, he would try to wrench the saucepan and spoon out of her hands, he would grab bits from his sister's plate. He knew that he was starving the other two, but he could not help it; he even felt that he had a right to do it. The clamorous hunger in his belly seemed to justify him. Between meals, if his mother did not stand guard, he was constantly pilfering at the wretched store of food on the shelf.

One day a chocolate-ration was issued. There had been no such issue for weeks or months past. He remembered quite clearly that precious little morsel of chocolate. It was a two-ounce slab (they still talked

кровати, почти не шевелясь, и держала на руках его младшую сестренку -- маленькую, болезненную, очень тихую девочку двух или трех лет, от худобы похожую лицом на обезьянку. Иногда она обнимала Уинстона и долго прижимала к себе, не произнося ни слова. Он понимал, несмотря на свое малолетство и эгоизм, что это как-то связано с тем близким и неизбежным, о чем она никогда не говорит.

Он помнил их комнату, темную душную комнату, половину которой занимала кровать под белым стеганым покрывалом. В комнате был камин с газовой конфоркой, полка для продуктов, а снаружи, на лестничной площадке, -- коричневая керамическая раковина, одна на несколько семей. Он помнил, как царственное тело матери склонялось над конфоркой -- она мешала в кастрюле. Но лучше всего помнил непрерывный голод, яростные и безобразные свары за едой. Он ныл и ныл, почему она не дает добавки, он кричал на нее и скандалил (даже голос свой помнил -- голос у него стал рано ломаться и время от времени он вдруг взревывал басом) или бил на жалость и хныкал, пытаясь добиться большей доли. Мать с готовностью давала ему больше. Он принимал это как должное: ему, «мальчику», полагалось больше всех, но, сколько бы ни дала она лишнего, он требовал еще и еще. Каждый раз она умоляла его не быть эгоистом, помнить, что сестренка больна и тоже должна есть, -- но без толку. Когда она переставала накладывать, он кричал от злости, вырывал у нее половник и кастрюлю, хватал куски с сестриной тарелки. Он знал, что из-за него они голодают, но ничего не мог с собой сделать; у него даже было ощущение своей правоты. Его как бы оправдывал голодный бунт в желудке. А между трапезами, стоило матери отвернуться, тащил из жалких припасов на полке.

Однажды им выдали по талону шоколад. Впервые за несколько недель или месяцев. Он ясно помнил эту драгоценную плиточку. Две унции (тогда еще считали на унции) на троих.

about ounces in those days) between the three of them. It was obvious that it ought to be divided into three equal parts. Suddenly, as though he were listening to somebody else, Winston heard himself demanding in a loud booming voice that he should be given the whole piece. His mother told him not to be greedy. There was a long, nagging argument that went round and round, with shouts, whines, tears, remonstrances, bargainings. His tiny sister, clinging to her mother with both hands, exactly like a baby monkey, sat looking over her shoulder at him with large, mournful eyes. In the end his mother broke off three-quarters of the chocolate and gave it to Winston, giving the other quarter to his sister. The little girl took hold of it and looked at it dully, perhaps not knowing what it was. Winston stood watching her for a moment. Then with a sudden swift spring he had snatched the piece of chocolate out of his sister's hand and was fleeing for the door.

Шоколад, понятно, надо было разделить на три равные части. Вдруг, словно со стороны, Уинстон услышал свой громкий бас: он требовал все. Мать сказала: не жадничай. Начался долгий, нудный спор, с бесконечными повторениями, криками, нытьем, слезами, уговорами, торговлей. Сестра, вцепившись в мать обеими ручонками, совсем как обезьяний детеныш, оглядывалась на него через плечо большими печальными глазами. В конце концов мать отломила от шоколадки три четверти и дала Уинстону, а оставшуюся четверть -- сестре. Девочка взяла свой кусок и тупо смотрела на него, может быть, не понимая, что это такое. Уинстон наблюдал за ней. Потом подскочил, выхватил у нее шоколад и бросился вон.

"Winston, Winston!" his mother called after him. "Come back! Give your sister back her chocolate!"

-- Уинстон, Уинстон! -- кричала вдогонку мать. -- Вернись! Отдай сестре шоколад!

He stopped, but did not come back. His mother's anxious eyes were fixed on his face. Even now he was thinking about the thing, he did not know what it was that was on the point of happening. His sister, conscious of having been robbed of something, had set up a feeble wail. His mother drew her arm round the child and pressed its face against her breast. Something in the gesture told him that his sister was dying. He turned and fled down the stairs. with the chocolate growing sticky in his hand.

Он остановился, но назад не пошел. Мать не сводила с него тревожных глаз. Даже сейчас она думала о том же, близком и неизбежном... -- Уинстон не знал, о чем. Сестра поняла, что ее обидели, и слабо заплакала. Мать обхватила ее одной рукой и прижала к груди. По этому жесту он как-то догадался, что сестра умирает. Он повернулся и сбежал по лестнице, держа в кулаке тающую шоколадку.

He never saw his mother again. After he had devoured the chocolate he felt somewhat ashamed of himself and hung about in the streets for several hours, until hunger drove him home. When he came back his mother had disappeared. This was already becoming normal at that time. Nothing was gone from the room except his mother and his sister. They had not taken any clothes, not even his mother's overcoat. To this day he did not know with any certainty that his mother was dead. It was perfectly possible that she had merely been sent to a forced-labour camp. As for his sister, she might have been removed, like Winston himself, to one of the colonies for

Матери он больше не видел. Когда он проглотил шоколад, ему стало стыдно, и несколько часов, покуда голод не погнал его домой, он бродил по улицам. Когда он вернулся, матери не было. В ту пору такое уже становилось обычным. Из комнаты ничего не исчезло, кроме матери и сестры. Одежду не взяли, даже материно пальто. Он до сих пор не был вполне уверен, что мать погибла. Не исключено, что ее лишь отправили в каторжный лагерь. Что до сестры, то ее могли поместить, как и самого Уинстона, в колонию для беспризорных (эти «воспитательные центры» возникли в результате гражданской войны), или с

homeless children (Reclamation Centres, they were called) which had grown up as a result of the civil war, or she might have been sent to the labour camp along with his mother, or simply left somewhere or other to die.

матерью в лагерь, или просто оставили где-нибудь умирать.

The dream was still vivid in his mind, especially the enveloping protecting gesture of the arm in which its whole meaning seemed to be contained. His mind went back to another dream of two months ago. Exactly as his mother had sat on the dingy whitequilted bed, with the child clinging to her, so she had sat in the sunken ship, far underneath him, and drowning deeper every minute, but still looking up at him through the darkening water.

Сновидение еще не погасло в голове -- особенно обнимающий, охранный жест матери, в котором, кажется, и заключался весь его смысл. На память пришел другой сон, двухмесячной давности. В сегодняшнем она сидела на бедной кровати с белым покрывалом, держа сестренку на руках, в том тоже сидела, но на тонущем корабле, далеко внизу, и, с каждой минутой уходя все глубже, смотрела на него снизу сквозь темнеющий слой воды.

He told Julia the story of his mother's disappearance. Without opening her eyes she rolled over and settled herself into a more comfortable position.

Он рассказал Джулии, как исчезла мать. Не открывая глаз, Джулия перевернулась и легла поудобнее.

"I expect you were a beastly little swine in those days," she said indistinctly. "All children are swine."

-- Вижу, ты был тогда порядочным свиненком, -- пробормотала она. -- Дети все свинята.

"Yes. But the real point of the story--"

-- Да. Но главное тут...

From her breathing it was evident that she was going off to sleep again. He would have liked to continue talking about his mother. He did not suppose, from what he could remember of her, that she had been an unusual woman, still less an intelligent one; and yet she had possessed a kind of nobility, a kind of purity, simply because the standards that she obeyed were private ones. Her feelings were her own, and could not be altered from outside. It would not have occurred to her that an action which is ineffectual thereby becomes meaningless. If you loved someone, you loved him, and when you had nothing else to give, you still gave him love. When the last of the chocolate was gone, his mother had clasped the child in her arms. It was no use, it changed nothing, it did not produce more chocolate, it did not avert the child's death or her own; but it seemed natural to her to do it. The refugee woman in the boat had also covered the little boy with her arm, which was no more use against the bullets than a sheet of paper. The terrible thing that the Party had done was to persuade you that mere impulses, mere feelings, were of no account, while at the same time robbing you of all power over the material world. When once you were in the grip of

По дыханию ее было понятно, что она снова засыпает. Ему хотелось еще поговорить о матери. Из того, что он помнил, не складывалось впечатления о ней как о женщине необыкновенной, а тем более умной; но в ней было какое-то благородство, какая-то чистота -- просто потому, что нормы, которых она придерживалась, были личными. Чувства ее были ее чувствами, их нельзя было изменить извне. Ей не пришло бы в голову, что, если действие безрезультатно, оно бессмысленно, Когда любишь кого-то, ты его любишь, и, если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь. Когда не стало шоколадки, она прижала ребенка к груди. Проку в этом не было, это ничего не меняло, это не вернуло шоколадку, не отвратило смерть -- ни ее смерть, ни ребенка; но для нее было естественно так поступить. Беженка в шлюпке так же прикрыла ребенка рукой, хотя рука могла защитить от пуль не лучше, чем лист бумаги. Ужасную штуку сделала партия: убедила тебя, что сами по себе чувство, порыв ничего не значат, и в то же время отняла у тебя всякую власть над миром материальным. Как только ты попал к ней в лапы, что ты чувствуешь и чего не

the Party, what you felt or did not feel, what you did or refrained from doing, made literally no difference. Whatever happened you vanished, and neither you nor your actions were ever heard of again. You were lifted clean out of the stream of history. And yet to the people of only two generations ago this would not have seemed all-important, because they were not attempting to alter history. They were governed by private loyalties which they did not question. What mattered were individual relationships, and a completely helpless gesture, an embrace, a tear, a word spoken to a dying man, could have value in itself. The proles, it suddenly occurred to him, had remained in this condition. They were notloyal to a party or a country or an idea, they were loyal to one another. For the first time in his life he did not despise the proles or think of them merely as an inert force which would one day spring to life and regenerate the world. The proles had stayed human. They had not become hardened inside. They had held on to the primitive emotions which he himself had to re-learn by conscious effort. And in thinking this he remembered, without apparent relevance, how a few weeks ago he had seen a severed hand lying on the pavement and had kicked it into the gutter as though it had been a cabbage-stalk.

чувствуешь, что ты делаешь и чего не делаешь -- все равно. Что бы ни произошло, ты исчезнешь, ни о тебе, ни о твоих поступках никто никогда не услышит. Тебя выдернули из потока истории. А ведь людям позапрошлого поколения это не показалось бы таким уж важным -- они не пытались изменить историю. Они были связаны личными узами верности и не подвергали их сомнению. Важны были личные отношения, и совершенно беспомощный жест, объятье, слеза, слово, сказанное умирающему, были ценны сами по себе. Пролы, вдруг сообразил он, в этом состоянии и остались. Они верны не партии, не стране, не идее, а друг другу. Впервые в жизни он подумал о них без презрения -- не как о косной силе, которая однажды пробудится и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не зачерствели внутри. Они сохранили простейшие чувства, которым ему пришлось учиться сознательно. Подумав об этом, он вспомнил -- вроде бы и не к месту, -- как несколько недель назад увидел на тротуаре оторванную руку и пинком отшвырнул в канаву, словно это была капустная кочерыжка.

“The proles are human beings,” he said aloud. “We are not human.”

-- Пролы -- люди, -- сказал он вслух. -- Мы -- не люди.

“Why not?” said Julia, who had woken up again.

-- Почему? -- спросила Джулия, опять проснувшись.

He thought for a little while. “Has it ever occurred to you,” he said, “that the best thing for us to do would be simply to walk out of here before it’s too late, and never see each other again?”

-- Тебе когда-нибудь приходило в голову, что самое лучшее для нас -- выйти отсюда, пока не поздно, и больше не встречаться?

“Yes, dear, it has occurred to me, several times. But I’m not going to do it, all the same.”

-- Да, милый, приходило, не раз. Но я все равно буду с тобой встречаться.

“We’ve been lucky,” he said “but it can’t last much longer. You’re young. You look normal and innocent. If you keep clear of people like me, you might stay alive for another fifty years.”

-- Нам везло, но долго это не продлится. Ты молодая. Ты выглядишь нормальной и неиспорченной. Будешь держаться подальше от таких, как я, -- можешь прожить еще пятьдесят лет.

“No. I’ve thought it all out. What you do, I’m going to do. And don’t be too downhearted. I’m rather good at staying alive.”

-- Нет. Я все обдумала. Что ты делаешь, то и я буду делать. И не унывай. Живучести мне не занимать.

“We may be together for another six months -- a year -- there’s no knowing. At the end

-- Мы можем быть вместе еще полгода... год... никому это не ведомо. В конце

we're certain to be apart. Do you realize how utterly alone we shall be? When once they get hold of us there will be nothing, literally nothing, that either of us can do for the other. If I confess, they'll shoot you, and if I refuse to confess, they'll shoot you just the same. Nothing that I can do or say, or stop myself from saying, will put off your death for as much as five minutes. Neither of us will even know whether the other is alive or dead. We shall be utterly without power of any kind. The one thing that matters is that we shouldn't betray one another, although even that can't make the slightest difference."

концов нас разлучат. Ты представляешь, как мы будем одиноки? Когда нас заберут, ни ты, ни я ничего не сможем друг для друга сделать, совсем ничего. Если я сознаюсь, тебя расстреляют, не сознаюсь -- расстреляют все равно. Что бы я ни сказал и ни сделал, о чем бы ни умолчал, я и на пять минут твою смерть не отсрочу. Я даже не буду знать, жива ты или нет, и ты не будешь знать. Мы будем бессильны, полностью. Важно одно -- не предать друг друга, хотя и это совершенно ничего не изменит.

"If you mean confessing," she said, "we shall do that, right enough. Everybody always confesses. You can't help it. They torture you."

-- Если ты -- о признании, -- сказала она, -- признаемся как миленькие. Там все признаются. С этим ничего не поделаешь. Там пытают.

"I don't mean confessing. Confession is not betrayal. What you say or do doesn't matter: only feelings matter. If they could make me stop loving you -- that would be the real betrayal."

-- Я не о признании. Признание не предательство. Что ты сказал или не сказал -- не важно, важно только чувство. Если меня заставят разлюбить тебя -- вот будет настоящее предательство.

She thought it over. "They can't do that," she said finally. "It's the one thing they can't do. They can make you say anything -- *anything* -- but they can't make you believe it. They can't get inside you."

Она задумалась. -- Этого они не могут, -- сказала она наконец. -- Этого как раз и не могут. Сказать что угодно -- *что угодно* -- они тебя заставят, но поверить в это не заставят. Они не могут в тебя влезть.

"No," he said a little more hopefully, "no; that's quite true. They can't get inside you. If you can *feel* that staying human is worth while, even when it can't have any result whatever, you've beaten them."

-- Да, -- ответил он уже не так безнадежно, -- да, это верно. Влезть в тебя они не могут. Если ты чувствуешь, что оставаться человеком стоит -- пусть это ничего не дает, -- ты все равно их победил,

He thought of the telescreen with its never-sleeping ear. They could spy upon you night and day, but if you kept your head you could still outwit them. With all their cleverness they had never mastered the secret of finding out what another human being was thinking. Perhaps that was less true when you were actually in their hands. One did not know what happened inside the Ministry of Love, but it was possible to guess: tortures, drugs, delicate instruments that registered your nervous reactions, gradual wearing-down by sleeplessness and solitude and persistent questioning. Facts, at any rate, could not be kept hidden. They could be tracked down by enquiry, they could be squeezed out of you by torture. But if the object was not to stay alive but to stay human, what difference did it

Он подумал о телекране, этом недреманном ухе. Они могут следить за тобой день и ночь, но, если не потерял голову, ты можешь их перехитрить. При всей своей изощренности они так и не научились узнавать, что человек думает. Может быть, когда ты у них уже в руках, это не совсем так. Неизвестно, что творится в министерстве любви, но догадаться можно: пытки, наркотики, тонкие приборы, которые регистрируют твои нервные реакции, изматывание бессонницей, одиночеством и непрерывными допросами. Факты, во всяком случае, утаить невозможно. Их распутают на допросе, вытянут из тебя пыткой. Но если цель -- не остаться живым, а остаться человеком, тогда какая в конце концов разница? Чувств

ultimately make? They could not alter your feelings: for that matter you could not alter them yourself, even if you wanted to. They could lay bare in the utmost detail everything that you had done or said or thought; but the inner heart, whose workings were mysterious even to yourself, remained impregnable.

твоих они изменить не могут; если на то пошло, ты сам не можешь их изменить, даже если захочешь. Они могут выяснить до мельчайших подробностей все, что ты делал, говорил и думал, но душа, чьи движения загадочны даже для тебя самого, остается неприступной.

VIII

VIII

They had done it, they had done it at last!

Удалось, удалось наконец!

The room they were standing in was long-shaped and softly lit. The telescreen was dimmed to a low murmur; the richness of the dark-blue carpet gave one the impression of treading on velvet. At the far end of the room O'Brien was sitting at a table under a green-shaded lamp, with a mass of papers on either side of him. He had not bothered to look up when the servant showed Julia and Winston in.

Они стояли в длинной ровно освещенной комнате. Приглушенный телекран светился тускло, синий ковер мягкостью своей напоминал бархат. В другом конце комнаты за столом, у лампы с зеленым абажуром сидел О'Брайен, слева и справа от него высились стопки документов. Когда слуга ввел Джулию и Уинстона, он даже не поднял головы.

Winston's heart was thumping so hard that he doubted whether he would be able to speak. They had done it, they had done it at last, was all he could think. It had been a rash act to come here at all, and sheer folly to arrive together; though it was true that they had come by different routes and only met on O'Brien's doorstep. But merely to walk into such a place needed an effort of the nerve. It was only on very rare occasions that one saw inside the dwelling-places of the Inner Party, or even penetrated into the quarter of the town where they lived. The whole atmosphere of the huge block of flats, the richness and spaciousness of everything, the unfamiliar smells of good food and good tobacco, the silent and incredibly rapid lifts sliding up and down, the white-jacketed servants hurrying to and fro -- everything was intimidating. Although he had a good pretext for coming here, he was haunted at every step by the fear that a black-uniformed guard would suddenly appear from round the corner, demand his papers, and order him to get out. O'Brien's servant, however, had admitted the two of them without demur. He was a small, dark-haired man in a white jacket, with a diamond-shaped, completely expressionless face which might have been that of a Chinese. The passage down which he led them was softly carpeted, with cream-papered walls and white wainscoting, all exquisitely clean. That too was intimidating. Winston could not remember

Уинстон боялся, что не сможет заговорить -- так стучало у него сердце. Удалось, удалось наконец -- вот все, о чем он мог думать. Приход сюда был опрометчивостью, а то, что явились вдвоем, вообще безумие; правда, шли они разными дорогами и встретились только перед дверью О'Брайена. В дом войти -- и то требовалось присутствие духа. Очень редко доводилось человеку видеть изнутри жилье членов внутренней партии и даже забредать в их кварталы. Сама атмосфера громадного дома, богатство его и простор, непривычные запахи хорошей еды и хорошего табака, бесшумные стремительные лифты, деловитые слуги в белых пиджаках -- все внушало робость. Хотя он явился сюда под вполне основательным предлогом, страх не отставал от него ни на шаг: вот сейчас из-за угла появится охранник в черной форме, потребует документы и прикажет убираться. Однако слуга О'Брайена впустил их беспрекословно. Это был щуплый человек в белом пиджаке, черноволосый, с ромбовидным и совершенно непроницаемым лицом -- возможно, китаец. Он провел их по коридору с толстым ковром, кремовыми обоями и белыми панелями, безукоризненно чистыми. И это внушало робость. Уинстон не помнил такого коридора, где стены не были бы обтерты телами.

ever to have seen a passageway whose walls were not grimy from the contact of human bodies.

O'Brien had a slip of paper between his fingers and seemed to be studying it intently. His heavy face, bent down so that one could see the line of the nose, looked both formidable and intelligent. For perhaps twenty seconds he sat without stirring. Then he pulled the speakwrite towards him and rapped out a message in the hybrid jargon of the Ministries:

О'Брайен держал в пальцах листок бумаги и внимательно читал. Его мясистое лицо, повернутое так, что виден был очерк носа, казалось и грозным и умным. Секунд двадцать он сидел неподвижно. Потом подтянул к себе речепис и на гибридном министерском жаргоне отчеканил:

"Items one comma five comma seven approved fullwise stop suggestion contained item six doubleplus ridiculous verging crimethink cancel stop unproceed constructionwise antegetting plusfull estimates machinery overheads stop end message."

-- Позиции первую запятая пятую запятая седьмую одобрить сквозь точка предложение по позиции шесть плюсплюс нелепость грани мыслепреступления точка не продолжать конструктивно до получения плюсовых цифр перевыполнения машиностроения точна конец записки.

He rose deliberately from his chair and came towards them across the soundless carpet. A little of the official atmosphere seemed to have fallen away from him with the Newspeak words, but his expression was grimmer than usual, as though he were not pleased at being disturbed. The terror that Winston already felt was suddenly shot through by a streak of ordinary embarrassment. It seemed to him quite possible that he had simply made a stupid mistake. For what evidence had he in reality that O'Brien was any kind of political conspirator? Nothing but a flash of the eyes and a single equivocal remark: beyond that, only his own secret imaginings, founded on a dream. He could not even fall back on the pretence that he had come to borrow the dictionary, because in that case Julia's presence was impossible to explain. As O'Brien passed the telescreen a thought seemed to strike him. He stopped, turned aside and pressed a switch on the wall. There was a sharp snap. The voice had stopped.

Он неторопливо встал из-за стола и бесшумно подошел к ним по ковру. Официальность он частично отставил вместе с новоязовскими словами, но глядел угрюмее обычного, будто был недоволен тем, что его потревожили. К ужасу, владевшему Уинстоном, вдруг примешалась обыкновенная растерянность. А что, если он просто совершил дурацкую ошибку? С чего он взял, что О'Брайен -- политический заговорщик? Всего один взгляд да одна двусмысленная фраза; в остальном -- лишь тайные мечтания, подкрепленные разве что сном. Он даже не может отговориться тем, что пришел за словарем: зачем тогда здесь Джулия? Проходя мимо телекрана, О'Брайен вдруг словно вспомнил о чем-то. Он остановился и нажал выключатель на стене. Раздался щелчок. Голос смолк.

Julia uttered a tiny sound, a sort of squeak of surprise. Even in the midst of his panic, Winston was too much taken aback to be able to hold his tongue.

Джулия тихонько взвизгнула от удивления. Уинстон, несмотря на панику, был настолько поражен, что не удержался и воскликнул:

"You can turn it off!" he said.

-- Вы можете его выключить?!

"Yes," said O'Brien, "we can turn it off. We have that privilege."

-- Да, -- сказал О'Брайен, -- мы можем их выключать. Нам дано такое право.

He was opposite them now. His solid form towered over the pair of them, and the expression on his face was still

Он уже стоял рядом. Массивный, он возвышался над ними, и выражение его лица прочесть было невозможно. С

indecipherable. He was waiting, somewhat sternly, for Winston to speak, but about what? Even now it was quite conceivable that he was simply a busy man wondering irritably why he had been interrupted. Nobody spoke. After the stopping of the telescreen the room seemed deadly silent. The seconds marched past, enormous. With difficulty Winston continued to keep his eyes fixed on O'Brien's. Then suddenly the grim face broke down into what might have been the beginnings of a smile. With his characteristic gesture O'Brien resettled his spectacles on his nose.

"Shall I say it, or will you?" he said.

"I will say it," said Winston promptly. "That thing is really turned off?"

"Yes, everything is turned off. We are alone."

"We have come here because--"

He paused, realizing for the first time the vagueness of his own motives. Since he did not in fact know what kind of help he expected from O'Brien, it was not easy to say why he had come here. He went on, conscious that what he was saying must sound both feeble and pretentious:

"We believe that there is some kind of conspiracy, some kind of secret organization working against the Party, and that you are involved in it. We want to join it and work for it. We are enemies of the Party. We disbelieve in the principles of Ingsoc. We are thought-criminals. We are also adulterers. I tell you this because we want to put ourselves at your mercy. If you want us to incriminate ourselves in any other way, we are ready."

He stopped and glanced over his shoulder, with the feeling that the door had opened. Sure enough, the little yellow-faced servant had come in without knocking. Winston saw that he was carrying a tray with a decanter and glasses.

"Martin is one of us," said O'Brien impassively. "Bring the drinks over here, Martin. Put them on the round table. Have we enough chairs? Then we may as well sit down and talk in comfort. Bring a chair for yourself, Martin. This is business. You can stop being a servant for the next ten minutes."

The little man sat down, quite at his ease, and yet still with a servant-like air, the air

некоторой суровостью он ждал, что скажет Уинстон -- но о чем говорить? Даже сейчас вполне можно было понять это так, что занятой человек О'Брайен раздражен и недоумевает: зачем его потревожили? Никто не произнес ни слова. Телекран был выключен, и в комнате стояла мертвая тишина. Секунды шли одна за другой, огромные. Уинстон с трудом смотрел в глаза О'Брайену. Вдруг угрюмое лицо хозяина смягчилось как бы обещанием улыбки. Характерным жестом он поправил очки на носу.

-- Мне сказать, или вы скажете? -- начал он.

-- Я скажу, -- живо отозвался Уинстон. -- Он в самом деле выключен?

-- Да, все выключено. Мы одни.

-- Мы пришли сюда потому, что…

Уинстон запнулся, только теперь поняв, насколько смутные побуждения привели его сюда. Он сам не знал, какой помощи ждет от О'Брайена, и объяснить, зачем он пришел, было нелегко. Тем не менее он продолжал, чувствуя, что слова его звучат неубедительно и претенциозно:

-- Мы думаем, что существует заговор, какая-то тайная организация борется с партией и вы в ней участвуете. Мы хотим в нее вступить и для нее работать. Мы враги партии. Мы не верим в принципы ангсоца. Мы мыслепреступники. Кроме того, мы развратники. Говорю это потому, что мы предаем себя вашей власти. Если хотите, чтобы мы сознались еще в каких-то преступлениях, мы готовы.

Он умолк и оглянулся -- ему показалось, что сзади открыли дверь. И в самом деле, маленький желтолицый слуга вошел без стука. В руках у него был поднос с графином и бокалами.

-- Мартин свой, -- бесстрастно объяснил О'Брайен. -- Мартин, несите сюда. Поставьте на круглый стол. Стульев хватает? В таком случае мы можем сесть и побеседовать с удобствами. Мартин, возьмите себе стул. У нас дело. На десять минут можете забыть, что вы слуга.

Маленький человек сел непринужденно, но вместе с тем почтительно -- как

of a valet enjoying a privilege. Winston regarded him out of the corner of his eye. It struck him that the man's whole life was playing a part, and that he felt it to be dangerous to drop his assumed personality even for a moment. O'Brien took the decanter by the neck and filled up the glasses with a dark-red liquid. It aroused in Winston dim memories of something seen long ago on a wall or a hoarding -- a vast bottle composed of electric lights which seemed to move up and down and pour its contents into a glass. Seen from the top the stuff looked almost black, but in the decanter it gleamed like a ruby. It had a sour-sweet smell. He saw Julia pick up her glass and sniff at it with frank curiosity.

низший, которому оказали честь. Уинстон наблюдал за ним краем глаза. Он подумал, что этот человек всю жизнь разыгрывал роль и теперь боится сбросить личину даже на несколько мгновений. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил стаканы темно-красной жидкостью. Уинстону смутно вспомнилась виденная давным-давно -- то ли на стене, то ли на ограде -- громадная бутылка из электрических огней, перебегавших так, что из нее как бы лилось в стакан. Сверху жидкость казалась почти черной, а в графине, на просвет, горела, как рубин. Запах был кисло-сладкий. Джулия взяла свой стакан и с откровенным любопытством понюхала.

"It is called wine," said O'Brien with a faint smile. "You will have read about it in books, no doubt. Not much of it gets to the Outer Party, I am afraid." His face grew solemn again, and he raised his glass: "I think it is fitting that we should begin by drinking a health. To our Leader: To Emmanuel Goldstein."

-- Называется -- вино, -- с легкой улыбкой сказал О'Брайен. -- Вы, безусловно, читали о нем в книгах. Боюсь, что членам внешней партии оно не часто достается. -- Лицо у него снова стало серьезным, и он поднял бокал. -- Мне кажется, будет уместно начать с тоста. За нашего вождя -- Эммануэля Голдстейна.

Winston took up his glass with a certain eagerness. Wine was a thing he had read and dreamed about. Like the glass paperweight or Mr. Charrington's half-remembered rhymes, it belonged to the vanished, romantic past, the olden time as he liked to call it in his secret thoughts. For some reason he had always thought of wine as having an intensely sweet taste, like that of blackberry jam and an immediate intoxicating effect. Actually, when he came to swallow it, the stuff was distinctly disappointing. The truth was that after years of gin-drinking he could barely taste it. He set down the empty glass.

Уинстон взялся за бокал нетерпеливо. Он читал о вине, мечтал о вине. Подобно стеклянному пресс-папье и полузабытым стишкам мистера Чаррингтона, вино принадлежало мертвому романтическому прошлому -- или, как Уинстон называл его про себя, минувшим дням. Почему-то он всегда думал, что вино должно быть очень сладким, как черносмородиновый джем, и сразу бросаться в голову. Но первый же глоток разочаровал его. Он столько лет пил джин, что сейчас, по правде говоря, и вкуса почти не почувствовал. Он поставил пустой бокал.

"Then there is such a person as Goldstein?" he said.

-- Так значит есть такой человек -- Голдстейн? -- сказал он.

"Yes, there is such a person, and he is alive. Where, I do not know."

-- Да, такой человек есть, и он жив. Где он, я не знаю.

"And the conspiracy -- the organization? Is it real? It is not simply an invention of the Thought Police?"

-- И заговор, организация? Это в самом деле? Не выдумка полиции мыслей?

"No, it is real. The Brotherhood, we call it. You will never learn much more about the Brotherhood than that it exists and that you belong to it. I will come back to that presently." He looked at his wrist-watch. "It is unwise even for members of the Inner Party to turn off the telescreen for more

-- Не выдумка. Мы называем ее Братством. Вы мало узнаете о Братстве, кроме того, что оно существует и вы в нем состоите. К этому я еще вернусь. -- Он посмотрел на часы. -- Выключать телекран больше чем на полчаса даже членам внутренней партии не

than half an hour. You ought not to have come here together, and you will have to leave separately. You, comrade" -- he bowed his head to Julia -- "will leave first. We have about twenty minutes at our disposal. You will understand that I must start by asking you certain questions. In general terms, what are you prepared to do?"

рекомендуется. Вам не стоило приходить вместе, и уйдете вы порознь. Вы, товарищ, -- он слегка поклонился Джулии, -- уйдете первой. В нашем распоряжении минут двадцать. Как вы понимаете, для начала я должен задать вам несколько вопросов. В общем и целом, что вы готовы делать?

"Anything that we are capable of," said Winston.

-- Все, что в наших силах, -- ответил Уинстон.

O'Brien had turned himself a little in his chair so that he was facing Winston. He almost ignored Julia, seeming to take it for granted that Winston could speak for her. For a moment the lids flitted down over his eyes. He began asking his questions in a low, expressionless voice, as though this were a routine, a sort of catechism, most of whose answers were known to him already.

О'Брайен слегка повернулся на стуле -- лицом к Уинстону, Он почти не обращался к Джулии, полагая, видимо, что Уинстон говорит и за нее. Прикрыл на секунду глаза. Потом стал задавать вопросы -- тихо, без выражения, как будто это было что-то заученное, катехизис, и ответы он знал заранее.

"You are prepared to give your lives?"

-- Вы готовы пожертвовать жизнью?

"Yes."

-- Да.

"You are prepared to commit murder?"

-- Вы готовы совершить убийство?

"Yes."

-- Да.

"To commit acts of sabotage which may cause the death of hundreds of innocent people?"

-- Совершить вредительство, которое будет стоить жизни сотням ни в чем не повинных людей?

"Yes."

-- Да.

"To betray your country to foreign powers?"

-- Изменить родине и служить иностранным державам?

"Yes."

-- Да.

"You are prepared to cheat, to forge, to blackmail, to corrupt the minds of children, to distribute habit-forming drugs, to encourage prostitution, to disseminate venereal diseases -- to do anything which is likely to cause demoralization and weaken the power of the Party?"

-- Вы готовы обманывать, совершать подлоги, шантажировать, растлевать детские умы, распространять наркотики, способствовать проституции, разносить венерические болезни -- делать все, что могло бы деморализовать население и ослабить могущество партии?

"Yes."

-- Да.

"If, for example, it would somehow serve our interests to throw sulphuric acid in a child's face -- are you prepared to do that?"

-- Если, например, для наших целей потребуется плеснуть серной кислотой в лицо ребенку -- вы готовы это сделать?

"Yes."

-- Да.

"You are prepared to lose your identity and live out the rest of your life as a waiter or a dock-worker?"

-- Вы готовы подвергнуться полному превращению и до конца дней быть официантом или портовым рабочим?

"Yes."

-- Да.

"You are prepared to commit suicide, if and when we order you to do so?"

-- Вы готовы покончить с собой по нашему приказу?

"Yes."

-- Да.

"You are prepared, the two of you, to separate and never see one another again?"

-- Готовы ли вы -- оба -- расстаться и больше никогда не видеть друг друга?

"No!" broke in Julia.

-- Нет! -- вмешалась Джулия.

It appeared to Winston that a long time passed before he answered. For a moment he seemed even to have been deprived of the power of speech. His tongue worked soundlessly, forming the opening syllables first of one word, then of the other, over and over again. Until he had said it, he did not know which word he was going to say. “No,” he said finally.

“You did well to tell me,” said O’Brien. “It is necessary for us to know everything.”

He turned himself toward Julia and added in a voice with somewhat more expression in it:

“Do you understand that even if he survives, it may be as a different person? We may be obliged to give him a new identity. His face, his movements, the shape of his hands, the colour of his hair -- even his voice would be different. And you yourself might have become a different person. Our surgeons can alter people beyond recognition. Sometimes it is necessary. Sometimes we even amputate a limb.”

Winston could not help snatching another sidelong glance at Martin’s Mongolian face. There were no scars that he could see. Julia had turned a shade paler, so that her freckles were showing, but she faced O’Brien boldly. She murmured something that seemed to be assent.

“Good. Then that is settled.”

There was a silver box of cigarettes on the table. With a rather absent-minded air O’Brien pushed them towards the others, took one himself, then stood up and began to pace slowly to and fro, as though he could think better standing. They were very good cigarettes, very thick and well-packed, with an unfamiliar silkiness in the paper. O’Brien looked at his wrist-watch again.

“You had better go back to your Pantry, Martin,” he said. “I shall switch on in a quarter of an hour. Take a good look at these comrades’ faces before you go. You will be seeing them again. I may not.”

Exactly as they had done at the front door, the little man’s dark eyes flickered over their faces. There was not a trace of friendliness in his manner. He was memorizing their appearance, but he felt no

А Уинстону показалось, что, прежде чем он ответил, прошло очень много времени. Он как будто лишился дара речи. Язык шевелился беззвучно, прилаживаясь к началу то одного слова, то другого, опять и опять. И покуда Уинстон не произнес ответ, он сам не знал, что скажет.

-- Нет, -- выдавил он наконец.

-- Хорошо, что вы сказали. Нам необходимо знать все. -- О'Брайен повернулся к Джулии и спросил уже не так бесстрастно:

-- Вы понимаете, что, если даже он уцелеет, он может стать совсем другим человеком? Допустим, нам придется изменить его совершенно. Лицо, движения, форма рук, цвет волос... даже голос будет другой. И вы сама, возможно, подвергнетесь такому же превращению. Наши хирурги умеют изменить человека до неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже ампутируем конечность.

Уинстон не удержался и еще раз искоса взглянул на монголоидное лицо Мартина. Никаких шрамов он не разглядел. Джулия побледнела так, что выступили веснушки, но смотрела на О'Брайена дерзко. Она пробормотала что-то утвердительное.

-- Хорошо. Об этом мы условились.

На столе лежала серебряная коробка сигарет. С рассеянным видом О'Брайен подвинул коробку к ним, сам взял сигарету, потом поднялся и стал расхаживать по комнате, как будто ему легче думалось на ходу. Сигареты оказались очень хорошими -- толстые, плотно набитые, в непривычно шелковистой бумаге[3]. О'Брайен снова посмотрел на часы.

-- Мартин, вам лучше вернуться в буфетную, -- сказал он. -- Через четверть часа я включу. Пока не ушли, хорошенько присмотритесь к лицам товарищей. Вам предстоит еще с ними встречаться. Мне -- возможно, нет.

Точно так же как при входе, темные глаза слуги пробежали по их лицам. В его взгляде не было и намека на дружелюбие. Он запоминал их внешность, но интереса к ним не испытывал -- по крайней мере

interest in them, or appeared to feel none. It occurred to Winston that a synthetic face was perhaps incapable of changing its expression. Without speaking or giving any kind of salutation, Martin went out, closing the door silently behind him. O'Brien was strolling up and down, one hand in the pocket of his black overalls, the other holding his cigarette.

не проявлял. Уинстон подумал, что синтетическое лицо просто не может изменить выражение. Ни слова не говоря и никак с ними не попрощавшись, Мартин вышел и бесшумно затворил за собой дверь. О'Брайен мерил комнату шагами, одну руку засунув в карман черного комбинезона, в другой держа сигарету.

"You understand," he said, "that you will be fighting in the dark. You will always be in the dark. You will receive orders and you will obey them, without knowing why. Later I shall send you a book from which you will learn the true nature of the society we live in, and the strategy by which we shall destroy it. When you have read the book, you will be full members of the Brotherhood. But between the general aims that we are fighting for and the immedi ate tasks of the moment, you will never know anything. I tell you that the Brotherhood exists, but I cannot tell you whether it numbers a hundred members, or ten million. From your personal knowledge you will never be able to say that it numbers even as many as a dozen. You will have three or four contacts, who will be renewed from time to time as they disappear. As this was your first contact, it will be preserved. When you receive orders, they will come from me. If we find it necessary to communicate with you, it will be through Martin. When you are finally caught, you will confess. That is unavoidable. But you will have very little to confess, other than your own actions. You will not be able to betray more than a handful of unimportant people. Probably you will not even betray me. By that time I may be dead, or I shall have become a different person, with a different face."

-- Вы понимаете, -- сказал он, -- что будете сражаться во тьме? Все время во тьме. Будете получать приказы и выполнять их, не зная для чего. Позже я пошлю вам книгу, из которой вы уясните истинную природу нашего общества и ту стратегию, при помощи которой мы должны его разрушить. Когда прочтете книгу, станете полноправными членами Братства. Но все, кроме общих целей нашей борьбы и конкретных рабочих заданий, будет от вас скрыто. Я говорю вам, что Братство существует, но не могу сказать, насчитывает оно сто членов или десять миллионов. По вашим личным связям вы не определите даже, наберется ли в нем десяток человек. В контакте с вами будут находиться трое или четверо; если кто-то из них исчезнет, на смену появятся новые. Поскольку здесь -- ваша первая связь, она сохранится. Если вы получили приказ, знайте, что он исходит от меня. Если вы нам понадобитесь, найдем вас через Мартина. Когда вас схватят, вы сознаетесь. Это неизбежно. Но помимо собственных акций, сознаваться вам будет почти не в чем. Выдать вы сможете лишь горстку незначительных людей. Вероятно, даже меня не сможете выдать. К тому времени я погибну или стану другим человеком, с другой внешностью.

He continued to move to and fro over the soft carpet. In spite of the bulkiness of his body there was a remarkable grace in his movements. It came out even in the gesture with which he thrust a hand into his pocket, or manipulated a cigarette. More even than of strength, he gave an impression of confidence and of an understanding tinged by irony. However much in earnest he might be, he had nothing of the single-mindedness that belongs to a fanatic. When he spoke of murder, suicide, venereal disease, amputated limbs, and altered faces, it was

Он продолжал расхаживать по толстому ковру. Несмотря на громоздкость, О'Брайен двигался с удивительным изяществом. Оно сказывалось даже в том, как он засовывал руку в карман, как держал сигарету. В нем чувствовалась сила, но еще больше -- уверенность и проницательный, ироничный ум. Держался он необычайно серьезно, но в нем не было и намека на узость, свойственную фанатикам. Когда он вел речь об убийстве, самоубийстве, венерических болезнях, ампутации конечностей, изменении липа, в голосе

with a faint air of persiflage. “This is unavoidable,” his voice seemed to say; “this is what we have got to do, unflinchingly. But this is not what we shall be doing when life is worth living again.” A wave of admiration, almost of worship, flowed out from Winston towards O’Brien. For the moment he had forgotten the shadowy figure of Goldstein. When you looked at O’Brien’s powerful shoulders and his blunt-featured face, so ugly and yet so civilized, it was impossible to believe that he could be defeated. There was no stratagem that he was not equal to, no danger that he could not foresee. Even Julia seemed to be impressed. She had let her cigarette go out and was listening intently. O’Brien went on:

проскальзывали насмешливые нотки. «Это неизбежно, -- говорил его тон, -- мы пойдем на это не дрогнув. Но не этим мы будем заниматься, когда жизнь снова будет стоить того, чтоб люди жили». Уинстон почувствовал прилив восхищения, сейчас он почти преклонялся перед О'Брайеном. Неопределенная фигура Голдстейна отодвинулись на задний план. Глядя на могучие плечи О'Брайена, на тяжелое лицо, грубое и вместе с тем интеллигентное, нельзя было поверить, что этот человек потерпит поражение. Нет такого коварства, которого он бы не разгадал, нет такой опасности, которой он не предвидел бы. Даже на Джулию он произвел впечатление. Она слушала внимательно, и сигарета у нее потухла. О'Брайен продолжал:

“You will have heard rumours of the existence of the Brotherhood. No doubt you have formed your own picture of it. You have imagined, probably, a huge underworld of conspirators, meeting secretly in cellars, scribbling messages on walls, recognizing one another by codewords or by special movements of the hand. Nothing of the kind exists. The members of the Brotherhood have no way of recognizing one another, and it is impossible for any one member to be aware of the identity of more than a few others. Goldstein himself, if he fell into the hands of the Thought Police, could not give them a complete list of members, or any information that would lead them to a complete list. No such list exists. The Brotherhood cannot be wiped out because it is not an organization in the ordinary sense. Nothing holds it together except an idea which is indestructible. You will never have anything to sustain you, except the idea. You will get no comradeship and no encouragement. When finally you are caught, you will get no help. We never help our members. At most, when it is absolutely necessary that someone should be silenced, we are occasionally able to smuggle a razor blade into a prisoner’s cell. You will have to get used to living without results and without hope. You will work for a while, you will be caught, you will confess, and then you will die. Those are the only results that you will ever see. There is no possibility that any perceptible

-- До вас, безусловно, доходили слухи о Братстве. И у вас сложилось о нем свое представление. Вы, наверное, воображали широкое подполье, заговорщиков, которые собираются в подвалах, оставляют на стенах надписи, узнают друг друга по условным фразам и особым жестам. Ничего подобного. Члены Братства не имеют возможности узнать друг друга, каждый знает лишь нескольких человек. Сам Голдстейн, попади он в руки полиции мыслей, не смог бы выдать список Братства или такие сведения, которые вывели бы ее к этому списку. Списка нет. Братство нельзя истребить потому, что оно не организация в обычном смысле. Оно не скреплено ничем, кроме идеи, идея же неистребима. Вам не на что будет опереться, кроме идеи. Не будет товарищей, не будет ободрения[4]. В конце, когда вас схватят, помощи не ждите. Мы никогда не помогаем нашим. Самое большее -- если необходимо обеспечить чье-то молчание -- нам иногда удается переправить в камеру бритву. Вы должны привыкнуть к жизни без результатов и без надежды. Какое-то время вы будете работать, вас схватят, вы сознаетесь, после чего умрете. Других результатов вам не увидеть. О том, что при нашей жизни наступят заметные перемены, думать не приходится. Мы покойники. Подлинная наша жизнь -- в будущем. В нее мы войдем горсткой праха, обломками костей. Когда наступит

change will happen within our own lifetime. We are the dead. Our only true life is in the future. We shall take part in it as handfuls of dust and splinters of bone. But how far away that future may be, there is no knowing. It might be a thousand years. At present nothing is possible except to extend the area of sanity little by little. We cannot act collectively. We can only spread our knowledge outwards from individual to individual, generation after generation. In the face of the Thought Police there is no other way."

He halted and looked for the third time at his wrist-watch.

"It is almost time for you to leave, comrade," he said to Julia. "Wait. The decanter is still half full."

He filled the glasses and raised his own glass by the stem.

"What shall it be this time?" he said, still with the same faint suggestion of irony. "To the confusion of the Thought Police? To the death of Big Brother? To humanity? To the future?"

"To the past," said Winston.

"The past is more important," agreed O'Brien gravely.

They emptied their glasses, and a moment later Julia stood up to go. O'Brien took a small box from the top of a cabinet and handed her a flat white tablet which he told her to place on her tongue. It was important, he said, not to go out smelling of wine: the lift attendants were very observant. As soon as the door had shut behind her he appeared to forget her existence. He took another pace or two up and down, then stopped.

"There are details to be settled," he said. "I assume that you have a hiding-place of some kind?"

Winston explained about the room over Mr. Charrington's shop.

"That will do for the moment. Later we will arrange something else for you. It is important to change one's hiding-place frequently. Meanwhile I shall send you a copy of *the book*" -- even O'Brien, Winston noticed, seemed to pronounce the words as though they were in italics -- "Goldstein's book, you understand, as soon as possible. It may be some days before I can get hold of one. There are not many in existence, as

это будущее, неведомо никому. Быть может, через тысячу лет. Сейчас же ничто невозможно -- только понемногу расширять владения здравого ума. Мы не можем действовать сообща. Можем лишь передавать наше знание -- от человека к человеку, из поколения в поколение. Против нас -- полиция мыслей, иного пути у нас нет.

Он умолк и третий раз посмотрел на часы.

-- Вам, товарищ, уже пора, -- сказал он Джулии. -- Подождите. Графин наполовину не выпит.

Он наполнил бокалы и поднял свой.

-- Итак, за что теперь? -- сказал он с тем же легким оттенком иронии. -- За посрамление полиции мыслей? За смерть Старшего Брата? За человечность? За будущее?

-- За прошлое, -- сказал Уинстон.

-- Прошлое важнее, -- веско подтвердил О'Брайен.

Они осушили бокалы, и Джулия поднялась. О'Брайен взял со шкафчика маленькую коробку и дал ей белую таблетку, велев сосать. -- Нельзя, чтобы от вас пахло вином, -- сказал он, -- лифтеры весьма наблюдательны. Едва за Джулией закрылась дверь, он словно забыл о ее существовании. Сделав два-три шага, он остановился.

-- Надо договориться о деталях, -- сказал он. -- Полагаю, у вас есть какое-либо рода убежище?

Уинстон объяснил, что есть комната над лавкой мистера Чаррингтона.

-- На первое время годится. Позже мы устроим вас в другое место. Убежища надо часто менять. А пока что постараюсь как можно скорее послать вам *книгу*, -- Уинстон отметил, что даже О'Брайен произносит это слово с нажимом, -- книгу Голдстейна, вы понимаете. Возможно, я достану ее только через несколько дней. Как вы догадываетесь, экземпляров в наличии

you can imagine. The Thought Police hunt them down and destroy them almost as fast as we can produce them. It makes very little difference. The book is indestructible. If the last copy were gone, we could reproduce it almost word for word. Do you carry a brief-case to work with you?" he added.

"As a rule, yes."

"What is it like?"

"Black, very shabby. With two straps."

"Black, two straps, very shabby -- good. One day in the fairly near future -- I cannot give a date -- one of the messages among your morning's work will contain a misprinted word, and you will have to ask for a repeat. On the following day you will go to work without your brief-case. At some time during the day, in the street, a man will touch you on the arm and say 'I think you have dropped your brief-case.' The one he gives you will contain a copy of Goldstein's book. You will return it within fourteen days."

They were silent for a moment.

"There are a couple of minutes before you need go," said O'Brien. "We shall meet again -- if we do meet again--"

Winston looked up at him. "In the place where there is no darkness?" he said hesitantly.

O'Brien nodded without appearance of surprise. "In the place where there is no darkness," he said, as though he had recognized the allusion. "And in the meantime, is there anything that you wish to say before you leave? Any message? Any question?."

Winston thought. There did not seem to be any further question that he wanted to ask: still less did he feel any impulse to utter high-sounding generalities. Instead of anything directly connected with O'Brien or the Brotherhood, there came into his mind a sort of composite picture of the dark bedroom where his mother had spent her last days, and the little room over Mr. Charrington's shop, and the glass paperweight, and the steel engraving in its rosewood frame. Almost at random he said:

"Did you ever happen to hear an old rhyme that begins 'Oranges and lemons, say the bells of St Clement's'?"

мало. Полиция мыслей разыскивает их и уничтожает чуть ли не так же быстро, как мы печатаем. Но это не имеет большого значения. Книга неистребима. Если погибнет последний экземпляр, мы сумеем воспроизвести ее почти дословно. На работу вы ходите с портфелем?

-- Как правило, да.

-- Какой у вас портфель?

-- Черный, очень обтрепанный. С двумя застежками.

-- Черный, с двумя застежками, очень обтрепанный... Хорошо. В ближайшее время -- день пока не могу назвать -- в одном из ваших утренних заданий попадется слово с опечаткой, и вы затребуете повтор. На следующий день вы отправитесь на работу без портфеля. В этот день на улице вас тронет за руку человек и скажет: «По-моему, вы обронили портфель». Он даст вам портфель с книгой Голдстейна. Вы вернете ее ровно через две недели.

Наступило молчание.

-- До ухода у вас минуты три, -- сказал О'Брайен. -- Мы встретимся снова... если встретимся...

Уинстон посмотрел ему в глаза. -- Там, где нет темноты? -- неуверенно закончил он.

О'Брайен кивнул, нисколько не удивившись. -- Там, где нет темноты, -- повторил он так, словно это был понятный ему намек. -- А пока -- не хотели бы вы что-нибудь сказать перед уходом? Пожелание? Вопрос?

Уинстон задумался. Спрашивать ему было больше не о чем; еще меньше хотелось изрекать на прощание высокопарные банальности. В голове у него возникло нечто, не связанное прямо ни с Братством, ни с О'Брайеном: видение, в котором совместились темная спальня, где провела последние дни мать, и комнатка у мистера Чаррингтона, со стеклянным пресс-папье и гравюрой в рамке розового дерева. Почти непроизвольно он спросил:

-- Вам не приходилось слышать один старый стишок с таким началом: «Апельсинчики как мед, в колокол Сент-

Клемент бьет»?

Again O'Brien nodded. With a sort of grave courtesy he completed the stanza:

O'Брайен и на этот раз кивнул. Любезно и с некоторой важностью он закончил строфу:

"'Oranges and lemons, say the bells of St. Clement's,

You owe me three farthings, say the bells of St. Martin's,

When will you pay me? say the bells of Old Bailey,

When I grow rich, say the bells of Shoreditch.'"

Апельсинчики как мед, В колокол Сент-Клемент бьет.

И звонит Сент-Мартин: Отдавай мне фартинг!

И Олд-Бейли, ох, сердит. Возвращай должок! -- гудит.

Все верну с получки! – хнычет Колокольный звон Шордитча.

"You knew the last line!" said Winston.

-- Вы знаете последний стих! -- сказал Уинстон.

"Yes, I knew the last line. And now, I am afraid, it is time for you to go. But wait. You had better let me give you one of these tablets."

-- Да, я знаю последний стих. Но боюсь, вам пора уходить. Постойте. Разрешите и вам дать таблетку.

As Winston stood up O'Brien held out a hand. His powerful grip crushed the bones of Winston's palm. At the door Winston looked back, but O'Brien seemed already to be in process of putting him out of mind. He was waiting with his hand on the switch that controlled the telescreen. Beyond him Winston could see the writing-table with its green-shaded lamp and the speakwrite and the wire baskets deep-laden with papers. The incident was closed. Within thirty seconds, it occurred to him, O'Brien would be back at his interrupted and important work on behalf of the Party.

Уинстон встал, O'Брайен подал руку. Ладонь Уинстона была смята его пожатием. В дверях Уинстон оглянулся: O'Брайен уже думал о другом. Он ждал, положив руку на выключатель телекрана. За спиной у него Уинстон видел стол с лампой под зеленым абажуром, речепис и проволочные корзинки, полные документов. Эпизод закончился. Через полминуты, подумал Уинстон, хозяин вернется к ответственной партийной работе.

IX

IX

Winston was gelatinous with fatigue. Gelatinous was the right word. It had come into his head spontaneously. His body seemed to have not only the weakness of a jelly, but its translucency. He felt that if he held up his hand he would be able to see the light through it. All the blood and lymph had been drained out of him by an enormous debauch of work, leaving only a frail structure of nerves, bones, and skin. All sensations seemed to be magnified. His overalls fretted his shoulders, the pavement tickled his feet, even the opening and closing of a hand was an effort that made his joints creak.

От усталости Уинстон превратился в студень. Студень -- подходящее слово. Оно пришло ему в голову неожиданно. Он чувствовал себя не только дряблым, как студень, но и таким же полупрозрачным. Казалось, если поднять ладонь, она будет просвечивать. Трудовая оргия выпила из него кровь и лимфу, оставила только хрупкое сооружение из нервов, костей и кожи. Все ощущения обострились чрезвычайно. Комбинезон тер плечи, тротуар щекотал ступни, даже кулак сжать стоило такого труда, что хрустели суставы.

He had worked more than ninety hours in five days. So had everyone else in the Ministry. Now it was all over, and he had literally nothing to do, no Party work of any description, until tomorrow morning. He could spend six hours in the hiding-place

За пять дней он отработал больше девяноста часов. И так -- все в министерстве. Но теперь аврал кончился, делать было нечего -- совсем никакой партийной работы до завтрашнего утра. Шесть часов он мог провести в убежище

and another nine in his own bed. Slowly, in mild afternoon sunshine, he walked up a dingy street in the direction of Mr. Charrington's shop, keeping one eye open for the patrols, but irrationally convinced that this afternoon there was no danger of anyone interfering with him. The heavy brief-case that he was carrying bumped against his knee at each step, sending a tingling sensation up and down the skin of his leg. Inside it was the book, which he had now had in his possession for six days and had not yet opened, nor even looked at.

и еще девять -- в своей постели. Под мягким вечерним солнцем, не торопясь, он шел по грязной улочке к лавке мистера Чаррингтона и, хоть поглядывал настороженно, нет ли патруля, в глубине души был уверен, что сегодня вечером можно не бояться, никто не остановит. Тяжелый портфель стукал по колену при каждом шаге, и удары легким покалыванием отдавались по всей ноге. В портфеле лежала *книга*, лежала уже шестой день, но до сих пор он не то что раскрыть ее -- даже взглянуть на нее не успел.

On the sixth day of Hate Week, after the processions, the speeches, the shouting, the singing, the banners, the posters, the films, the waxworks, the rolling of drums and squealing of trumpets, the tramp of marching feet, the grinding of the caterpillars of tanks, the roar of massed planes, the booming of guns -- after six days of this, when the great orgasm was quivering to its climax and the general hatred of Eurasia had boiled up into such delirium that if the crowd could have got their hands on the 2,000 Eurasian war-criminals who were to be publicly hanged on the last day of the proceedings, they would unquestionably have torn them to pieces -- at just this moment it had been announced that Oceania was not after all at war with Eurasia. Oceania was at war with Eastasia. Eurasia was an ally.

На шестой день Недели ненависти, после шествий, речей, криков, пения, лозунгов, транспарантов, фильмов, восковых чучел, барабанной дроби, визга труб, маршевого топота, лязга танковых гусениц, рева эскадрилий и орудийной пальбы, при заключительных судорогах всеобщего оргазма, когда ненависть дошла до такого кипения, что попадись толпе те две тысячи евразийских военных преступников, которых предстояло публично повесить в последний день мероприятий, их непременно растерзали бы, -- в этот самый день было объявлено, что Океания с Евразией не воюет. Война идет с Остазией. Евразия -- союзник.

There was, of course, no admission that any change had taken place. Merely it became known, with extreme suddenness and everywhere at once, that Eastasia and not Eurasia was the enemy. Winston was taking part in a demonstration in one of the central London squares at the moment when it happened. It was night, and the white faces and the scarlet banners were luridly floodlit. The square was packed with several thousand people, including a block of about a thousand schoolchildren in the uniform of the Spies. On a scarlet-draped platform an orator of the Inner Party, a small lean man with disproportionately long arms and a large bald skull over which a few lank locks straggled, was haranguing the crowd. A little Rumpelstiltskin figure, contorted with hatred, he gripped the neck of the microphone with one hand while the other, enormous at the end of a bony arm, clawed the air menacingly above his head.

Ни о какой перемене, естественно, и речи не было. Просто стало известно -- вдруг и всюду разом, -- что враг -- Остазия, а не Евразия. Когда это произошло, Уинстон как раз участвовал в демонстрации на одной из центральных площадей Лондона. Был уже вечер, мертвенный свет прожекторов падал на белые лица и алые знамена. На площади стояло несколько тысяч человек, среди них -- примерно тысяча школьников, одной группой, в форме разведчиков. С затянутой кумачом трибуны выступал оратор из внутренней партии -- тощий человечек с необычайно длинными руками и большой лысой головой, на которой развевались отдельные мягкие прядки волос. Корчась от ненависти, карлик одной рукой душил за шейку микрофон, а другая, громадная на костлявом запястье, угрожающе загребала воздух над головой.

His voice, made metallic by the amplifiers, boomed forth an endless catalogue of atrocities, massacres, deportations, lootings, rapings, torture of prisoners, bombing of civilians, lying propaganda, unjust aggressions, broken treaties. It was almost impossible to listen to him without being first convinced and then maddened. At every few moments the fury of the crowd boiled over and the voice of the speaker was drowned by a wild beast-like roaring that rose uncontrollably from thousands of throats. The most savage yells of all came from the schoolchildren. The speech had been proceeding for perhaps twenty minutes when a messenger hurried on to the platform and a scrap of paper was slipped into the speaker's hand. He unrolled and read it without pausing in his speech. Nothing altered in his voice or manner, or in the content of what he was saying, but suddenly the names were different. Without words said, a wave of understanding rippled through the crowd. Oceania was at war with Eastasia! The next moment there was a tremendous commotion. The banners and posters with which the square was decorated were all wrong! Quite half of them had the wrong faces on them. It was sabotage! The agents of Goldstein had been at work! There was a riotous interlude while posters were ripped from the walls, banners torn to shreds and trampled underfoot. The Spies performed prodigies of activity in clambering over the rooftops and cutting the streamers that fluttered from the chimneys. But within two or three minutes it was all over. The orator, still gripping the neck of the microphone, his shoulders hunched forward, his free hand clawing at the air, had gone straight on with his speech. One minute more, and the feral roars of rage were again bursting from the crowd. The Hate continued exactly as before, except that the target had been changed.

Металлический голос из репродукторов гремел о бесконечных зверствах, бойнях, выселениях целых народов, грабежах, насилиях, пытках военнопленных, бомбардировках мирного населения, пропагандистских вымыслах, наглых агрессиях, нарушенных договорах. Слушая его, через минуту не поверить, а через две не взбеситься было почти невозможно. То и дело ярость в толпе перекипала через край, и голос оратора тонул в зверском реве, вырывавшемся из тысячи глоток. Свирепее всех кричали школьники. Речь продолжалась уже минут двадцать, как вдруг на трибуну взбежал курьер и подсунул оратору бумажку. Тот развернул ее и прочел, не переставая говорить. Ничто не изменилось ни в голосе его, ни в повадке, ни в содержании речи, но имена вдруг стали иными. Без всяких слов по толпе прокатилась волна понимания. Воюем с Остазией! В следующий миг возникла гигантская суматоха. Все плакаты и транспаранты на площади были неправильные! На половине из них совсем не те лица! Вредительство! Работа голдстейновских агентов! Была бурная интерлюдия: со стен сдирали плакаты, рвали в клочья и топтали транспаранты. Разведчики показывали чудеса ловкости, карабкаясь по крышам и срезая лозунги, трепетавшие между дымоходами. Через две-три минуты все было кончено. Оратор, еще державший за горло микрофон, продолжал речь без заминки, сутулясь и загребая воздух. Еще минута -- и толпа вновь разразилась первобытными криками злобы. Ненависть продолжалась как ни в чем не бывало -- только предмет стал другим.

The thing that impressed Winston in looking back was that the speaker had switched from one line to the other actually in midsentence, not only without a pause, but without even breaking the syntax. But at the moment he had other things to preoccupy him. It was during the moment of disorder while the posters were being torn down that a man whose face he did not see had tapped him on the shoulder

Задним числом Уинстон поразился тому, как оратор сменил линию буквально на полуфразе, не только не запнувшись, но даже не нарушив синтаксиса. Но сейчас ему было не до этого. Как раз во время суматохи, когда срывали плакаты, кто-то тронул его за плечо и произнес: «Прошу прощения, по-моему, вы обронили портфель». Он рассеянно принял портфель и ничего не ответил. Он знал,

and said, “Excuse me, I think you’ve dropped your brief-case.” He took the brief-case abstractedly, without speaking. He knew that it would be days before he had an opportunity to look inside it. The instant that the demonstration was over he went straight to the Ministry of Truth, though the time was now nearly twenty-three hours. The entire staff of the Ministry had done likewise. The orders already issuing from the telescreen, recalling them to their posts, were hardly necessary.

что в ближайшие дни ему не удастся заглянуть в портфель. Едва кончилась демонстрация, он пошел в министерство правды, хотя время было -- без чего-то двадцать три. Все сотрудники министерства поступили так же. Распоряжения явиться на службу, которые уже неслись из телекранов, были излишни.

Oceania was at war with Eastasia: Oceania had always been at war with Eastasia. A large part of the political literature of five years was now completely obsolete. Reports and records of all kinds, newspapers, books, pamphlets, films, sound-tracks, photographs -- all had to be rectified at lightning speed. Although no directive was ever issued, it was known that the chiefs of the Department intended that within one week no reference to the war with Eurasia, or the alliance with Eastasia, should remain in existence anywhere. The work was overwhelming, all the more so because the processes that it involved could not be called by their true names. Everyone in the Records Department worked eighteen hours in the twenty-four, with two three-hour snatches of sleep. Mattresses were brought up from the cellars and pitched all over the corridors: meals consisted of sandwiches and Victory Coffee wheeled round on trolleys by attendants from the canteen. Each time that Winston broke off for one of his spells of sleep he tried to leave his desk clear of work, and each time that he crawled back sticky-eyed and aching, it was to find that another shower of paper cylinders had covered the desk like a snowdrift, halfburying the speakwrite and overflowing on to the floor, so that the first job was always to stack them into a neat enough pile to give him room to work. What was worst of all was that the work was by no means purely mechanical. Often it was enough merely to substitute one name for another, but any detailed report of events demanded care and imagination. Even the geographical knowledge that one needed in transferring the war from one part of the world to another was considerable.

Океания воюет с Остазией: Океания всегда воевала с Остазией. Большая часть всей политической литературы последних пяти лет устарела. Всякого рода сообщения и документы, книги, газеты, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии -- все это следовало молниеносно уточнить. Хотя указания на этот счет не было, стало известно, что руководители решили уничтожить в течение недели всякое упоминание о войне с Евразией и союзе с Остазией. Работы было невпроворот, тем более что процедуры, с ней связанные, нельзя было называть своими именами, В отделе документации трудились по восемнадцать часов в сутки с двумя трехчасовыми перерывами для сна. Из подвалов принесли матрасы и разложили в коридорах; из столовой на тележках возили еду -- бутерброды и кофе «Победа». К каждому перерыву Уинстон старался очистить стол от работы, и каждый раз, когда он приползал обратно, со слипающимися глазами и ломотой во всем теле, его ждал новый сугроб бумажных трубочек, почти заваливший речепис и даже осыпавшийся на пол; первым делом, чтобы освободить место, он собирал их в более или менее аккуратную горку. Хуже всего, что работа была отнюдь не механическая. Иногда достаточно было заменить одно имя другим; но всякое подробное сообщение требовало внимательности и фантазии. Чтобы только перенести войну из одной части света в другую, и то нужны были немалые географические познания.

By the third day his eyes ached unbearably and his spectacles needed wiping every few minutes. It was like struggling with some

На третий день глаза у него болели невыносимо, и каждые несколько минут приходилось протирать очки. Это

crushing physical task, something which one had the right to refuse and which one was nevertheless neurotically anxious to accomplish. In so far as he had time to remember it, he was not troubled by the fact that every word he murmured into the speakwrite, every stroke of his ink-pencil, was a deliberate lie. He was as anxious as anyone else in the Department that the forgery should be perfect. On the morning of the sixth day the dribble of cylinders slowed down. For as much as half an hour nothing came out of the tube; then one more cylinder, then nothing. Everywhere at about the same time the work was easing off. A deep and as it were secret sigh went through the Department. A mighty deed, which could never be mentioned, had been achieved. It was now impossible for any human being to prove by documentary evidence that the war with Eurasia had ever happened. At twelve hundred it was unexpectedly announced that all workers in the Ministry were free till tomorrow morning. Winston, still carrying the brief-case containing the book, which had remained between his feet while he worked and under his body while he slept, went home, shaved himself, and almost fell asleep in his bath, although the water was barely more than tepid.

напоминало какую-то непосильную физическую работу: ты как будто и можешь от нее отказаться, но нервический азарт подхлестывает тебя и подхлестывает. Задумываться ему было некогда, но, кажется, его нисколько не тревожило то, что каждое слово, сказанное им в речепис, каждый росчерк чернильного карандаша -- преднамеренная ложь. Как и все в отделе, он беспокоился только об одном -- чтобы подделка была безупречна. Утром шестого дня поток заданий стал иссякать. За полчаса на стол не выпало ни одной трубочки; потом одна -- и опять ничего. Примерно в то же время работа пошла на спад повсюду. По отделу пронесся глубокий и, так сказать, затаенный вздох. Великий негласный подвиг совершен. Ни один человек на свете документально не докажет, что война с Евразией была. В 12.00 неожиданно объявили, что до завтрашнего утра сотрудники министерства свободны. С книгой в портфеле (во время работы он держал его между ног, а когда спал -- под собой) Уинстон пришел домой, побрился и едва не уснул в ванне, хотя вода была чуть теплая.

With a sort of voluptuous creaking in his joints he climbed the stair above Mr. Charrington’s shop. He was tired, but not sleepy any longer. He opened the window, lit the dirty little oilstove and put on a pan of water for coffee. Julia would arrive presently: meanwhile there was the book. He sat down in the sluttish armchair and undid the straps of the brief-case.

Сладостно хрустя суставами, он поднялся по лестнице в комнатку у мистера Чаррингтона. Усталость не прошла, но спать уже не хотелось. Он распахнул окно, зажег грязную керосинку и поставил воду для кофе. Джулия скоро придет, а пока -- *книга.* Он сел в засаленное кресло и расстегнул портфель.

A heavy black volume, amateurishly bound, with no name or title on the cover. The print also looked slightly irregular. The pages were worn at the edges, and fell apart, easily, as though the book had passed through many hands. The inscription on the title-page ran:

На самодельном черном переплете толстой книги заглавия не было. Печать тоже оказалась слегка неровной. Страницы, обтрепанные по краям, раскрывались легко -- книга побывала во многих руках. На титульном листе значилось:

THE THEORY AND PRACTICE OF

OLIGARCHICAL COLLECTIVISM

By Emmanuel Goldstein

ЭММАНУЭЛЬ ГОЛДСТЕЙН

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА

Winston began reading:

Уинстон начал читать:

Chapter I

Глава 1

Ignorance is Strength

Незнание -- сила

Throughout recorded time, and probably

На протяжении всей зафиксированной

since the end of the Neolithic Age, there have been three kinds of people in the world, the High, the Middle, and the Low. They have been subdivided in many ways, they have borne countless different names, and their relative numbers, as well as their attitude towards one another, have varied from age to age: but the essential structure of society has never altered. Even after enormous upheavals and seemingly irrevocable changes, the same pattern has always reasserted itself, just as a gyroscope will always return to equilibrium, however far it is pushed one way or the other.

истории и, по-видимому, с конца неолита в мире были люди трех сортов: высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования, их численные пропорции, а также взаимные отношения от века к веку менялись; но неизменной оставалась фундаментальная структура общества. Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен структура эта восстанавливалась, подобно тому как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули.

The aims of these groups are entirely irreconcilable...

Цели этих трех групп совершенно несовместимы...

Winston stopped reading, chiefly in order to appreciate the fact that he was reading, in comfort and safety. He was alone: no telescreen, no ear at the keyhole, no nervous impulse to glance over his shoulder or cover the page with his hand. The sweet summer air played against his cheek. From somewhere far away there floated the faint shouts of children: in the room itself there was no sound except the insect voice of the clock. He settled deeper into the arm-chair and put his feet up on the fender. It was bliss, it was etemity. Suddenly, as one sometimes does with a book of which one knows that one will ultimately read and re-read every word, he opened it at a different place and found himself at Chapter III. He went on reading:

Уинстон прервал чтение -- главным образом для того, чтобы еще раз почувствовать: он *читает* спокойно и с удобствами. Он был один: ни телекрана, ни уха у замочной скважины, ни нервного позыва оглянуться и прикрыть страницу рукой. Издалека тихо доносились крики детей; в самой же комнате -- ни звука, только часы стрекотали, как сверчок. Он уселся поглубже и положил ноги на каминную решетку. Вдруг, как бывает при чтении, когда знаешь, что все равно книгу прочтешь и перечтешь от доски до доски, он раскрыл ее наугад и попал на начало третьей главы. Он стал читать:

Chapter III

War is Peace

Глава 3

Воина -- это мир

The splitting up of the world into three great super-states was an event which could be and indeed was foreseen before the middle of the twentieth century. With the absorption of Europe by Russia and of the British Empire by the United States, two of the three existing powers, Eurasia and Oceania, were already effectively in being. The third, Eastasia, only emerged as a distinct unit after another decade of confused fighting. The frontiers between the three super-states are in some places arbitrary, and in others they fluctuate according to the fortunes of war, but in general they follow geographical lines. Eurasia comprises the whole of the northern part of the European and Asiatic land-mass, from Portugal to the Bering Strait. Oceania comprises the Americas, the

Раскол мира на три сверхдержавы явился событием, которое могло быть предсказано и было предсказано еще до середины XX века. После того как Россия поглотила Европу, а Соединенные Штаты -- Британскую империю, фактически сложились две из них. Третья, Остазия, оформилась как единое целое лишь спустя десятилетие, наполненное беспорядочными войнами. Границы между сверхдержавами кое-где не установлены, кое-где сдвигаются в зависимости от военной фортуны, но в целом совпадают с естественными географическими рубежами. Евразия занимает всю северную часть европейского и азиатского континентов, от Португалии до Берингова пролива. В Океанию входят обе Америки,

Atlantic islands including the British Isles, Australasia, and the southern portion of Africa. Eastasia, smaller than the others and with a less definite western frontier, comprises China and the countries to the south of it, the Japanese islands and a large but fluctuating portion of Manchuria, Mongolia, and Tibet.

In one combination or another, these three super-states are permanently at war, and have been so for the past twenty-five years. War, however, is no longer the desperate, annihilating struggle that it was in the early decades of the twentieth century. It is a warfare of limited aims between combatants who are unable to destroy one another, have no material cause for fighting and are not divided by any genuine ideological difference This is not to say that either the conduct of war, or the prevailing attitude towards it, has become less bloodthirsty or more chivalrous. On the contrary, war hysteria is continuous and universal in all countries, and such acts as raping, looting, the slaughter of children, the reduction of whole populations to slavery, and reprisals against prisoners which extend even to boiling and burying alive, are looked upon as normal, and, when they are committed by one's own side and not by the enemy, meritorious. But in a physical sense war involves very small numbers of people, mostly highly-trained specialists, and causes comparatively few casualties. The fighting, when there is any, takes place on the vague frontiers whose whereabouts the average man can only guess at, or round the Floating Fortresses which guard strategic spots on the sea lanes. In the centres of civilization war means no more than a continuous shortage of consumption goods, and the occasional crash of a rocket bomb which may cause a few scores of deaths. War has in fact changed its character. More exactly, the reasons for which war is waged have changed in their order of importance. Motives which were already present to some small extent in the great wars of the early twentieth centuury have now become dominant and are consciously recognized and acted upon.

To understand the nature of the present war -- for in spite of the regrouping which occurs every few years, it is always the

атлантические острова, включая Британские, Австралазия и юг Африки. Остазия, наименьшая из трех и с не вполне установившейся западной границей, включает в себя Китай, страны к югу от него, Японские острова и большие, но не постоянные части Маньжурии, Монголии и Тибета.

В том или ином сочетании три сверхдержавы постоянно ведут войну, которая длится уже двадцать пять лет. Война, однако, уже не то отчаянное, смертельное противоборство, каким она была в первой половине XX века. Это военные действия с ограниченными целями, причем противники не в состоянии уничтожить друг друга, материально в войне не заинтересованы и не противостоят друг другу идеологически. Но неверно думать, что методы ведения войны и преобладающее отношение к ней стали менее жестокими и кровавыми. Напротив, во всех странах военная истерия имеет всеобщий и постоянный характер, а такие акты, как насилие, мародерство, убийство детей, обращение всех жителей в рабство, репрессии против пленных, доходящие до варки или погребения живьем, считаются нормой и даже доблестью -- если совершены своей стороной, а не противником. Но физически войной занята малая часть населения -- в основном хорошо обученные профессионалы, и людские потери сравнительно невелики. Бои -- когда бои идут -- развертываются на отдаленных границах, о местоположении которых рядовой гражданин может только гадать, или вокруг плавающих крепостей, которые контролируют морские коммуникации. В центрах цивилизации война дает о себе знать лишь постоянной нехваткой потребительских товаров да от случая к случаю -- взрывом ракеты, уносящим порой несколько десятков жизней. Война, в сущности, изменила свой характер. Точнее, вышли на первый план прежде второстепенные причины войны. Мотивы, присутствовавшие до некоторой степени в больших войнах начала XX века, стали доминировать, их осознали и ими руководствуются.

Дабы понять природу нынешней войны -- а, несмотря на перегруппировки, происходящие раз в несколько лет, это

same war -- one must realize in the first place that it is impossible for it to be decisive. None of the three super-states could be definitively conquered even by the other two in combination. They are too evenly matched, and their natural defences are too formidable. Eurasia is protected by its vast land spaces, Oceania by the width of the Atlantic and the Pacific, Eastasia by the fecundity and indus triousness of its inhabitants. Secondly, there is no longer, in a material sense, anything to fight about. With the establishment of self-contained economies, in which production and consumption are geared to one another, the scramble for markets which was a main cause of previous wars has come to an end, while the competition for raw materials is no longer a matter of life and death. In any case each of the three super-states is so vast that it can obtain almost all the materials that it needs within its own boundaries. In so far as the war has a direct economic purpose, it is a war for labour power. Between the frontiers of the super-states, and not permanently in the possession of any of them, there lies a rough quadrilateral with its corners at Tangier, Brazzaville, Darwin, and Hong Kong, containing within it about a fifth of the population of the earth. It is for the possession of these thickly-populated regions, and of the northern ice-cap, that the three powers are constantly struggling. In practice no one power ever controls the whole of the disputed area. Portions of it are constantly changing hands, and it is the chance of seizing this or that fragment by a sudden stroke of treachery that dictates the endless changes of alignment.

All of the disputed territories contain valuable minerals, and some of them yield important vegetable products such as rubber which in colder climates it is necessary to synthesize by comparatively expensive methods. But above all they contain a bottomless reserve of cheap labour. Whichever power controls equatorial Africa, or the countries of the Middle East, or Southern India, or the Indonesian Archipelago, disposes also of the bodies of scores or hundreds of millions of ill-paid and hard-working coolies. The inhabitants of these areas, reduced more or less openly to the status of slaves, pass

все время одна и та же война, -- надо прежде всего усвоить, что она никогда не станет решающей. Ни одна из трех сверхдержав не может быть завоевана даже объединенными армиями двух других. Силы их слишком равны, и естественный оборонный потенциал неисчерпаем. Евразия защищена своими необозримыми пространствами, Океания -- шириной Атлантического и Тихого океанов, Остазия -- плодовитостью и трудолюбием ее населения. Кроме того, в материальном смысле сражаться больше не за что. С образованием самодостаточных экономических систем борьба за рынки -- главная причина прошлых войн -- прекратилась, соперничество из-за сырьевых баз перестало быть жизненно важным. Каждая из трех держав настолько огромна, что может добыть почти все нужное сырье на своей территории. А если уж говорить о чисто экономических целях войны, то это война за рабочую силу. Между границами сверхдержав, не принадлежа ни одной из них постоянно, располагается неправильный четырехугольник с вершинами в Танжере, Браззавиле, Дарвине и Гонконге, в нем приживает примерно одна пятая населения Земли. За обладание этими густонаселенными областями, а также арктической ледяной шапкой и борются постоянно три державы. Фактически ни одна из них никогда полностью не контролировала спорную территорию. Части ее постоянно переходят из рук в руки; возможность захватить ту или иную часть внезапным предательским маневром как раз и диктует бесконечную смену партнеров.

Все спорные земли располагают важными минеральными ресурсами, а некоторые производят ценные растительные продукты, как, например, каучук, который в холодных странах приходится синтезировать, причем сравнительно дорогими способами. Но самое главное, они располагают неограниченным резервом дешевой рабочей силы. Тот, кто захватывает Экваториальную Африку, или страны Ближнего Востока, или индонезийский архипелаг, приобретает сотни миллионов практически даровых рабочих рук. Население этих районов, более или менее

continually from conqueror to conqueror, and are expended like so much coal or oil in the race to turn out more armaments, to capture more territory, to control more labour power, to turn out more armaments, to capture more territory, and so on indefinitely. It should be noted that the fighting never really moves beyond the edges of the disputed areas. The frontiers of Eurasia flow back and forth between the basin of the Congo and the northern shore of the Mediterranean; the islands of the Indian Ocean and the Pacific are constantly being captured and recaptured by Oceania or by Eastasia; in Mongolia the dividing line between Eurasia and Eastasia is never stable; round the Pole all three powers lay claim to enormous territories which in fact are largely unihabited and unexplored: but the balance of power always remains roughly even, and the territory which forms the heartland of each super-state always remains inviolate. Moreover, the labour of the exploited peoples round the Equator is not really necessary to the world's economy. They add nothing to the wealth of the world, since whatever they produce is used for purposes of war, and the object of waging a war is always to be in a better position in which to wage another war. By their labour the slave populations allow the tempo of continuous warfare to be speeded up. But if they did not exist, the structure of world society, and the process by which it maintains itself, would not be essentially different.

открыто низведенное до состояния рабства, беспрерывно переходит из-под власти одного оккупанта под власть другого и лихорадочно расходуется ими, подобно углю и нефти, чтобы произвести больше оружия, чтобы захватить больше территории, чтобы получить больше рабочей силы, чтобы произвести больше оружия -- и так до бесконечности. Надо отметить, что боевые действия всегда ведутся в основном на окраинах спорных территорий. Рубежи Евразии перемещаются взад и вперед между Конго и северным побережьем Средиземного моря; острова в Индийском и Тихом океанах захватывает то Океания, то Остазия; в Монголии линия раздела между Евразией и Остазией непостоянна; в Арктике все три державы претендуют на громадные территории -- по большей части не заселенные и не исследованные; однако приблизительное равновесие сил всегда сохраняется, и метрополии всегда неприступны. Больше того, мировой экономике, по существу, не нужна рабочая сила эксплуатируемых тропических стран. Они ничем не обогащают мир, ибо все, что там производится, идет на войну, а задача войны -- подготовить лучшую позицию для новой войны. Своим рабским трудом эти страны просто позволяют наращивать темп непрерывной войны. Но если бы их не было, структура мирового сообщества и процессы, ее поддерживающие, существенно не изменились бы.

The primary aim of modern warfare (in accordance with the principles of *doublethink*, this aim is simultaneously recognized and not recognized by the directing brains of the Inner Party) is to use up the products of the machine without raising the general standard of living. Ever since the end of the nineteenth century, the problem of what to do with the surplus of consumption goods has been latent in industrial society. At present, when few human beings even have enough to eat, this problem is obviously not urgent, and it might not have become so, even if no artificial processes of destruction had been at work. The world of today is a bare, hungry, dilapidated place compared with the world that existed before 1914, and still

Главная цель современной войны (в соответствии с принципом *двоемыслия* эта цель одновременно признается и не признается руководящей головкой внутренней партии) -- израсходовать продукцию машины, не повышая общего уровня жизни. Вопрос, как быть с излишками потребительских товаров в индустриальном обществе, подспудно назрел еще в конце XIX века. Ныне, когда мало кто даже ест досыта, вопрос этот, очевидно, не стоит; возможно, он не встал бы даже в том случае, если бы не действовали искусственные процессы разрушения. Сегодняшний мир -- скудное, голодное, запущенное место по сравнению с миром, существовавшим до 1914 года, а тем более если сравнивать

more so if compared with the imaginary future to which the people of that period looked forward. In the early twentieth century, the vision of a future society unbelievably rich, leisured, orderly, and efficient -- a glittering antiseptic world of glass and steel and snow-white concrete -- was part of the consciousness of nearly every literate person. Science and technology were developing at a prodigious speed, and it seemed natural to assume that they would go on developing. This failed to happen, partly because of the impoverishment caused by a long series of wars and revolutions, partly because scientific and technical progress depended on the empirical habit of thought, which could not survive in a strictly regimented society. As a whole the world is more primitive today than it was fifty years ago. Certain backward areas have advanced, and various devices, always in some way connected with warfare and police espionage, have been developed, but experiment and invention have largely stopped, and the ravages of the atomic war of the nineteen-fifties have never been fully repaired. Nevertheless the dangers inherent in the machine are still there. From the moment when the machine first made its appearance it was clear to all thinking people that the need for human drudgery, and therefore to a great extent for human inequality, had disappeared. If the machine were used deliberately for that end, hunger, overwork, dirt, illiteracy, and disease could be eliminated within a few generations. And in fact, without being used for any such purpose, but by a sort of automatic process -- by producing wealth which it was sometimes impossible not to distribute -- the machine did raise the living standards of the average humand being very greatly over a period of about fifty years at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries.

But it was also clear that an all-round increase in wealth threatened the destruction -- indeed, in some sense was the destruction -- of a hierarchical society. In a world in which everyone worked short hours, had enough to eat, lived in a house with a bathroom and a refrigerator, and possessed a motor-car or even an

его с безоблачным будущим, которое воображали люди той поры. В начале XX века мечта о будущем обществе, невероятно богатом, с обилием досуга, упорядоченном, эффективном -- о сияющем антисептическом мире из стекла, стали и снежно-белого бетона -- жила в сознании чуть ли не каждого грамотного человека. Наука и техника развивались с удивительной быстротой, и естественно было предположить, что так они и будут развиваться. Этого не произошло -- отчасти из-за обнищания, вызванного длинной чередой войн и революций, отчасти из-за того, что научно-технический прогресс основывался на эмпирическом мышлении, которое не могло уцелеть в жестко регламентированном обществе. В целом мир сегодня примитивнее, чем пятьдесят лет назад. Развились некоторые отсталые области, созданы разнообразные новые устройства -- правда, так или иначе связанные с войной и полицейской слежкой, -- но эксперимент и изобретательство в основном отмерли, и разруха, вызванная атомной войной 50-х годов, полностью не ликвидирована. Тем не менее опасности, которые несет с собой машина, никуда не делись. С того момента, когда машина заявила о себе, всем мыслящим людям стало ясно, что исчезла необходимость в черной работе -- а значит, и главная предпосылка человеческого неравенства. Если бы машину направленно использовали для этой цели, то через несколько поколений было бы покончено и с голодом, и с изнурительным трудом, и с грязью, и с неграмотностью, и с болезнями. Да и не будучи употреблена для этой цели, а, так сказать, стихийным порядком -- производя блага, которые иногда невозможно было распределить, -- машина за пять десятков лет в конце XIX века и начале XX разительно подняла жизненный уровень обыкновенного человека.

Но так же ясно было и то, что общий рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью, а в каком-то смысле и есть уже его гибель. В мире, где рабочий день короток, где каждый сыт и живет в доме с ванной и холодильником, владеет автомобилем или даже самолетом, самая очевидная, а быть может, и самая

aeroplane, the most obvious and perhaps the most important form of inequality would already have disappeared. If it once became general, wealth would confer no distinction. It was possible, no doubt, to imagine a society in which *wealth*, in the sense of personal possessions and luxuries, should be evenly distributed, while *power* remained in the hands of a small privileged caste. But in practice such a society could not long remain stable. For if leisure and security were enjoyed by all alike, the great mass of human beings who are normally stupefied by poverty would become literate and would learn to think for themselves; and when once they had done this, they would sooner or later realize that the privileged minority had no function, and they would sweep it away. In the long run, a hierarchical society was only possible on a basis of poverty and ignorance. To return to the agricultural past, as some thinkers about the beginning of the twentieth century dreamed of doing, was not a practicable solution. It conflicted with the tendency towards mechanization which had become quasi-instinctive throughout almost the whole world, and moreover, any country which remained industrially backward was helpless in a military sense and was bound to be dominated, directly or indirectly, by its more advanced rivals.

важная форма неравенства уже исчезла. Став всеобщим, богатство перестает порождать различия. Можно, конечно, вообразить общество, *где блага*, в смысле личной собственности и удовольствий, будут распределены поровну, а *власть* останется у маленькой привилегированной касты. Но на деле такое общество не может долго быть устойчивым. Ибо если обеспеченностью и досугом смогут наслаждаться все, то громадная масса людей, отупевших от нищеты, станет грамотной и научится думать самостоятельно; после чего эти люди рано или поздно поймут, что привилегированное меньшинство не выполняет никакой функции, и выбросят его. В конечном счете иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве. Вернуться к сельскому образу жизни, как мечтали некоторые мыслители в начале XX века, -- выход нереальный. Он противоречит стремлению к индустриализации, которое почти повсеместно стало квазиинстинктом; кроме того, индустриально отсталая страна беспомощна в военном отношении и прямо или косвенно попадет в подчинение к более развитым соперникам.

Nor was it a satisfactory solution to keep the masses in poverty by restricting the output of goods. This happened to a great extent during the final phase of capitalism, roughly between 1920 and 1940. The economy of many countries was allowed to stagnate, land went out of cultivation, capital equipment was not added to, great blocks of the population were prevented from working and kept half alive by State charity. But this, too, entailed military weakness, and since the privations it inflicted were obviously unnecessary, it made opposition inevitable. The problem was how to keep the wheels of industry turning without increasing the real wealth of the world. Goods must be produced, but they must not be distributed. And in practice the only way of achieving this was by continuous warfare.

Не оправдал себя и другой способ: держать массы в нищете, ограничив производство товаров. Это уже отчасти наблюдалось на конечной стадии капитализма -- приблизительно между 1920 и 1940 годами. В экономике многих стран был допущен застой, земли не возделывались, оборудование не обновлялось, большие группы населения были лишены работы и кое-как поддерживали жизнь за счет государственной благотворительности. Но это также ослабляло военную мощь, и, поскольку лишения явно не были вызваны необходимостью, неизбежно возникала оппозиция. Задача состояла в том, чтобы промышленность работала на полных оборотах, не увеличивая количество материальных ценностей в мире. Товары надо производить, но не надо распределять. На практике единственный путь к этому -- непрерывная война.

The essential act of war is destruction, not

Сущность войны -- уничтожение не

necessarily of human lives, but of the products of human labour. War is a way of shattering to pieces, or pouring into the stratosphere, or sinking in the depths of the sea, materials which might otherwise be used to make the masses too comfortable, and hence, in the long run, too intelligent. Even when weapons of war are not actually destroyed, their manufacture is still a convenient way of expending labour power without producing anything that can be consumed. A Floating Fortress, for example, has locked up in it the labour that would build several hundred cargo-ships. Ultimately it is scrapped as obsolete, never having brought any material benefit to anybody, and with further enormous labours another Floating Fortress is built. In principle the war effort is always so planned as to eat up any surplus that might exist after meeting the bare needs of the population. In practice the needs of the population are always underestimated, with the result that there is a chronic shortage of half the necessities of life; but this is looked on as an advantage. It is deliberate policy to keep even the favoured groups somewhere near the brink of hardship, because a general state of scarcity increases the importance of small privileges and thus magnifies the distinction between one group and another. By the standards of the early twentieth century, even a member of the Inner Party lives an austere, laborious kind of life. Nevertheless, the few luxuries that he does enjoy his large, well-appointed flat, the better texture of his clothes, the better quality of his food and drink and tobacco, his two or three servants, his private motor-car or helicopter -- set him in a different world from a member of the Outer Party, and the members of the Outer Party have a similar advantage in comparison with the submerged masses whom we call “the proles”. The social atmosphere is that of a besieged city, where the possession of a lump of horseflesh makes the difference between wealth and poverty. And at the same time the consciousness of being at war, and therefore in danger, makes the handing-over of all power to a small caste seem the natural, unavoidable condition of survival.

War, it will be seen, accomplishes the

только человеческих жизней, но и плодов человеческого труда. Война -- это способ разбивать вдребезги, распылять в стратосфере, топить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем самым в конечном счете сделать его разумнее. Даже когда оружие не уничтожается на поле боя, производство его -- удобный способ истратить человеческий труд и не произвести ничего для потребления. Плавающая крепость, например, поглотила столько труда, сколько пошло бы на строительство нескольких сот грузовых судов. В конце концов она устаревает, идет на лом, не принеся никому материальной пользы, и вновь с громадными трудами строится другая плавающая крепость. Теоретически военные усилия всегда планируются так, чтобы поглотить все излишки, которые могли бы остаться после того, как будут удовлетворены минимальные нужды населения. Практически нужды населения всегда недооцениваются, и в результате -- хроническая нехватка предметов первой необходимости; но она считается полезной. Это обдуманная политика: держать даже привилегированные слои на грани лишений, ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой. По меркам начала XX века даже член внутренней партии ведет аскетическую и многотрудную жизнь. Однако немногие преимущества, которые ему даны, -- большая, хорошо оборудованная квартира, одежда из лучшей ткани, лучшего качества пища, табак и напитки, два или три слуги, персональный автомобиль или вертолет -- пропастью отделяют его от члена внешней партии, а тот в свою очередь имеет такие же преимущества перед беднейшей массой, которую мы именуем «пролы». Это социальная атмосфера осажденного города, где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском конины. Одновременно благодаря ощущению войны, а следовательно, опасности передача всей власти маленькой верхушке представляется естественным, необходимым условием выживания.

Война, как нетрудно видеть, не только

necessary destruction, but accomplishes it in a psychologically acceptable way. In principle it would be quite simple to waste the surplus labour of the world by building temples and pyramids, by digging holes and filling them up again, or even by producing vast quantities of goods and then setting fire to them. But this would provide only the economic and not the emotional basis for a hierarchical society. What is concerned here is not the morale of masses, whose attitude is unimportant so long as they are kept steadily at work, but the morale of the Party itself. Even the humblest Party member is expected to be competent, industrious, and even intelligent within narrow limits, but it is also necessary that he should be a credulous and ignorant fanatic whose prevailing moods are fear, hatred, adulation, and orgiastic triumph. In other words it is necessary that he should have the mentality appropriate to a state of war. It does not matter whether the war is actually happening, and, since no decisive victory is possible, it does not matter whether the war is going well or badly. All that is needed is that a state of war should exist. The splitting of the intelligence which the Party requires of its members, and which is more easily achieved in an atmosphere of war, is now almost universal, but the higher up the ranks one goes, the more marked it becomes. It is precisely in the Inner Party that war hysteria and hatred of the enemy are strongest. In his capacity as an administrator, it is often necessary for a member of the Inner Party to know that this or that item of war news is untruthful, and he may often be aware that the entire war is spurious and is either not happening or is being waged for purposes quite other than the declared ones: but such knowledge is easily neutralized by the technique of *doublethink*. Meanwhile no Inner Party member wavers for an instant in his mystical belief that the war is real, and that it is bound to end victoriously, with Oceania the undisputed master of the entire world.

All members of the Inner Party believe in this coming conquest as an article of faith. It is to be achieved either by gradually acquiring more and more territory and so

осуществляет нужные разрушения, но и осуществляет их психологически приемлемым способом. В принципе было бы очень просто израсходовать избыточный труд на возведение храмов и пирамид, рытье ям, а затем их засыпку или даже на производство огромного количества товаров, с тем чтобы после предавать их огню. Однако так мы создадим только экономическую, а не эмоциональную базу иерархического общества. Дело тут не в моральном состоянии масс -- их настроения роли не играют, покуда массы приставлены к работе, -- а в моральном состоянии самой партии. От любого, пусть самого незаметного члена партии требуется знание дела, трудолюбие и даже ум в узких пределах, но так же необходимо, чтобы он был невопрошающим невежественным фанатиком и в душе его господствовали страх, ненависть, слепое поклонение и оргиастический восторг. Другими словами, его ментальность должна соответствовать состоянию войны. Неважно, идет ли война на самом деле, и, поскольку решительной победы быть не может, неважно, хорошо идут дела на фронте или худо. Нужно одно: находиться в состоянии войны. Осведомительство, которого партия требует от своих членов и которого легче добиться в атмосфере войны, приняло всеобщий характер, но, чем выше люди по положению, тем активнее оно проявляется. Именно во внутренней партии сильнее всего военная истерия и ненависть к врагу. Как администратор, член внутренней партии нередко должен знать, что та или иная военная сводка не соответствует истине, нередко ему известно, что вся война -- фальшивка и либо вообще не ведется, либо ведется совсем не с той целью, которую декларируют; но такое знание легко нейтрализуется методом двоемыслия. При всем этом ни в одном члене внутренней партии не пошатнется мистическая вера в то, что война -- настоящая, кончится победоносно и Океания станет безраздельной хозяйкой земного шара.

Для всех членов внутренней партии эта грядущая победа -- догмат веры. Достигнута она будет либо постепенным расширением территории, что обеспечит

building up an overwhelming preponderance of power, or by the discovery of some new and unanswerable weapon. The search for new weapons continues unceasingly, and is one of the very few remaining activities in which the inventive or speculative type of mind can find any outlet. In Oceania at the present day, Science, in the old sense, has almost ceased to exist. In Newspeak there is no word for "Science". The empirical method of thought, on which all the scientific achievements of the past were founded, is opposed to the most fundamental principles of Ingsoc. And even technological progress only happens when its products can in some way be used for the diminution of human liberty. In all the useful arts the world is either standing still or going backwards. The fields are cultivated with horse-ploughs while books are written by machinery. But in matters of vital importance -- meaning, in effect, war and police espionage -- the empirical approach is still encouraged, or at least tolerated. The two aims of the Party are to conquer the whole surface of the earth and to extinguish once and for all the possibility of independent thought. There are therefore two great problems which the Party is concerned to solve. One is how to discover, against his will, what another human being is thinking, and the other is how to kill several hundred million people in a few seconds without giving warning beforehand. In so far as scientific research still continues, this is its subject matter. The scientist of today is either a mixture of psychologist and inquisitor, studying with real ordinary minuteness the meaning of facial expressions, gestures, and tones of voice, and testing the truth-producing effects of drugs, shock therapy, hypnosis, and physical torture; or he is chemist, physicist, or biologist concerned only with such branches of his special subject as are relevant to the taking of life. In the vast laboratories of the Ministry of Peace, and in the experimental stations hidden in the Brazilian forests, or in the Australian desert, or on lost islands of the Antarctic, the teams of experts are indefatigably at work. Some are concerned simply with planning the logistics of future wars; others devise larger and larger rocket bombs, more and more powerful explosives, and more and more impenetrable armour-plating;

подавляющее превосходство в силе, либо благодаря какому-то новому, неотразимому оружию. Поиски нового оружия продолжаются постоянно, и это одна из немногих областей, где еще может найти себе применение изобретательный или теоретический ум. Ныне в Океании наука в прежнем смысле почти перестала существовать. На новоязе нет слова «наука». Эмпирический метод мышления, на котором основаны все научные достижения прошлого, противоречит коренным принципам ангсоца. И даже технический прогресс происходит только там, где результаты его можно как-то использовать для сокращения человеческой свободы. В полезных ремеслах мир либо стоит на месте, либо движется вспять. Поля пашут конным плугом, а книги сочиняют на машинах. Но в жизненно важных областях, то есть в военной и полицейско-сыскной, эмпирический метод поощряют или по крайней мере терпят. У партии две цели: завоевать весь земной шар и навсегда уничтожить возможность независимой мысли. Поэтому она озабочена двумя проблемами. Первая -- как вопреки желанию человека узнать, что он думает, и вторая -- как за несколько секунд, без предупреждения, убить несколько сот миллионов человек. Таковы суть предметы, которыми занимается оставшаяся наука. Сегодняшний ученый -- это либо гибрид психолога и инквизитора, дотошно исследующий характер мимики, жестов, интонаций и испытывающий действие медикаментов, шоковых процедур, гипноза и пыток в целях извлечения правды из человека; либо это химик, физик, биолог, занятый исключительно такими отраслями своей науки, которые связаны с умерщвлением. В громадных лабораториях министерства мира и на опытных полигонах, скрытых в бразильских джунглях, австралийской пустыне, на уединенных островах Антарктики, неутомимо трудятся научные коллективы. Одни планируют материально-техническое обеспечение будущих войн, другие разрабатывают все более мощные ракеты, все более сильные взрывчатые вещества, все более прочную броню; третьи изобретают новые смертоносные газы или растворимые яды, которые можно будет производить в

others search for new and deadlier gases, or for soluble poisons capable of being produced in such quantities as to destroy the vegetation of whole continents, or for breeds of disease germs immunized against all possible antibodies; others strive to produce a vehicle that shall bore its way under the soil like a submarine under the water, or an aeroplane as independent of its base as a sailing-ship; others explore even remoter possibilities such as focusing the sun's rays through lenses suspended thousands of kilometres away in space, or producing artificial earthquakes and tidal waves by tapping the heat at the earth's centre.

таких количествах, чтобы уничтожить растительность на целом континенте, или новые виды микробов, неуязвимые для антител; четвертые пытаются сконструировать транспортное средство, которое сможет прошивать землю, как подводная лодка -- морскую толщу, или самолет, не привязанный к аэродромам и авианосцам; пятые изучают совсем фантастические идеи наподобие того, чтобы фокусировать солнечные лучи линзами в космическом пространстве или провоцировать землетрясения путем проникновения к раскаленному ядру Земли.

But none of these projects ever comes anywhere near realization, and none of the three super-states ever gains a significant lead on the others. What is more remarkable is that all three powers already possess, in the atomic bomb, a weapon far more powerful than any that their present researches are likely to discover. Although the Party, according to its habit, claims the invention for itself, atomic bombs first appeared as early as the nineteen-forties, and were first used on a large scale about ten years later. At that time some hundreds of bombs were dropped on industrial centres, chiefly in European Russia, Western Europe, and North America. The effect was to convince the ruling groups of all countries that a few more atomic bombs would mean the end of organized society, and hence of their own power. Thereafter, although no formal agreement was ever made or hinted at, no more bombs were dropped. All three powers merely continue to produce atomic bombs and store them up against the decisive opportunity which they all believe will come sooner or later. And meanwhile the art of war has remained almost stationary for thirty or forty years. Helicopters are more used than they were formerly, bombing planes have been largely superseded by self-propelled projectiles, and the fragile movable battleship has given way to the almost unsinkable Floating Fortress; but otherwise there has been little development. The tank, the submarine, the torpedo, the machine gun, even the rifle and the hand grenade are still in use. And in spite of the endless slaughters reported in the Press and on the telescreens, the desperate battles of earlier

Ни один из этих проектов так и не приблизился к осуществлению, и ни одна из трех сверхдержав существенного преимущества никогда не достигала. Но самое удивительное: все три уже обладают атомной бомбой -- оружием гораздо более мощным, чем то, что могли бы дать нынешние разработки. Хотя партия, как заведено, приписывает это изобретение себе, бомбы появились еще в 40-х годах и впервые были применены массированно лет десять спустя. Тогда на промышленные центры -- главным образом в европейской России, Западной Европе и Северной Америке -- были сброшены сотни бомб. В результате правящие группы всех стран убедились: еще несколько бомб -- и конец организованному обществу, а следовательно, их власти. После этого, хотя никакого официального соглашения не было даже в проекте, атомные бомбардировки прекратились. Все три державы продолжают лишь производить и накапливать атомные бомбы в расчете на то, что рано или поздно представится удобный случай, когда они смогут решить войну в свою пользу. В целом же последние тридцать-сорок лет военное искусство топчется на месте. Шире стали использоваться вертолеты; бомбардировщики по большей части вытеснены беспилотными снарядами, боевые корабли с их невысокой живучестью уступили место почти непотопляемым плавающим крепостям; в остальном боевая техника изменилась мало. Так, подводная лодка, пулемет, даже винтовка и ручная граната по-прежнему в ходу. И несмотря на

wars, in which hundreds of thousands or even millions of men were often killed in a few weeks, have never been repeated.

бесконечные сообщения о кровопролитных боях в прессе и по телекранам, грандиозные сражения прошлых войн, когда за несколько недель гибли сотни тысяч и даже миллионы, уже не повторяются.

None of the three super-states ever attempts any manoeuvre which involves the risk of serious defeat. When any large operation is undertaken, it is usually a surprise attack against an ally. The strategy that all three powers are following, or pretend to themselves that they are following, is the same. The plan is, by a combination of fighting, bargaining, and well-timed strokes of treachery, to acquire a ring of bases completely encircling one or other of the rival states, and then to sign a pact of friendship with that rival and remain on peaceful terms for so many years as to lull suspicion to sleep. During this time rockets loaded with atomic bombs can be assembled at all the strategic spots; finally they will all be fired simultaneously, with effects so devastating as to make retaliation impossible. It will then be time to sign a pact of friendship with the remaining world-power, in preparation for another attack. This scheme, it is hardly necessary to say, is a mere daydream, impossible of realization. Moreover, no fighting ever occurs except in the disputed areas round the Equator and the Pole: no invasion of enemy territory is ever undertaken. This explains the fact that in some places the frontiers between the superstates are arbitrary. Eurasia, for example, could easily conquer the British Isles, which are geographically part of Europe, or on the other hand it would be possible for Oceania to push its frontiers to the Rhine or even to the Vistula. But this would violate the principle, followed on all sides though never formulated, of cultural integrity. If Oceania were to conquer the areas that used once to be known as France and Germany, it would be necessary either to exterminate the inhabitants, a task of great physical difficulty, or to assimilate a population of about a hundred million people, who, so far as technical development goes, are roughly on the Oceanic level. The problem is the same for all three super-states. It is absolutely necessary to their structure that there should be no contact with foreigners,

Все три сверхдержавы никогда не предпринимают маневров, чреватых риском тяжелого поражения. Если и осуществляется крупная операция, то, как правило, это -- внезапное нападение на союзника. Все три державы следуют -- или уверяют себя, что следуют, -- одной стратегии. Идея ее в том, чтобы посредством боевых действий, переговоров и своевременных изменнических ходов полностью окружить противника кольцом военных баз, заключить с ним пакт о дружбе и сколько-то лет поддерживать мир, дабы усыпить всякие подозрения. Тем временем во всех стратегических пунктах можно смонтировать ракеты с атомными боевыми частями и наконец нанести массированный удар, столь разрушительный, что противник лишится возможности ответного удара. Тогда можно будет подписать договор о дружбе с третьей мировой державой и готовиться к новому нападению. Излишне говорить, что план этот -- всего лишь греза, он неосуществим. Да и бои если ведутся, то лишь вблизи спорных областей у экватора и у полюса; вторжения на территорию противника не было никогда. Этим объясняется и неопределенность некоторых границ между сверхдержавами. Евразии, например, нетрудно было бы захватить Британские острова, географически принадлежащие Европе; с другой стороны, и Океания могла бы отодвинуть свои границы к Рейну и даже Висле. Но тогда был бы нарушен принцип, хотя и не провозглашенный, но соблюдаемый всеми сторонами, -- принцип культурной целостности. Если Океания завоюет области, прежде называвшиеся Францией и Германией, то возникнет необходимость либо истребить жителей, что физически трудно осуществимо, либо ассимилировать стомиллионный народ, в техническом отношении находящийся примерно на том же уровне развития, что и Океания. Перед всеми тремя державами стоит одна и та же проблема.

except, to a limited extent, with war prisoners and coloured slaves. Even the official ally of the moment is always regarded with the darkest suspicion. War prisoners apart, the average citizen of Oceania never sets eyes on a citizen of either Eurasia or Eastasia, and he is forbidden the knowledge of foreign languages. If he were allowed contact with foreigners he would discover that they are creatures similar to himself and that most of what he has been told about them is lies. The sealed world in which he lives would be broken, and the fear, hatred, and self-righteousness on which his morale depends might evaporate. It is therefore realized on all sides that however often Persia, or Egypt, or Java, or Ceylon may change hands, the main frontiers must never be crossed by anything except bombs.

Under this lies a fact never mentioned aloud, but tacitly understood and acted upon: namely, that the conditions of life in all three super-states are very much the same. In Oceania the prevailing philosophy is called Ingsoc, in Eurasia it is called Neo-Bolshevism, and in Eastasia it is called by a Chinese name usually translated as Death-Worship, but perhaps better rendered as Obliteration of the Self. The citizen of Oceania is not allowed to know anything of the tenets of the other two philosophies, but he is taught to execrate them as barbarous outrages upon morality and common sense. Actually the three philosophies are barely distinguishable, and the social systems which they support are not distinguishable at all. Everywhere there is the same pyramidal structure, the same worship of semi-divine leader, the same economy existing by and for continuous warfare. It follows that the three super-states not only cannot conquer one another, but would gain no advantage by doing so. On the contrary, so long as they remain in conflict they prop one another up, like three sheaves of corn. And, as usual, the ruling groups of all three powers are simultaneously aware and unaware of what they are doing. Their lives are dedicated to world conquest, but they also know that it is necessary that the war should continue everlastingly and without

Их устройство, безусловно, требует, чтобы контактов с иностранцами не было -- за исключением военнопленных и цветных рабов, да и то в ограниченной степени. С глубочайшим подозрением смотрят даже на официального (в данную минуту) союзника. Если не считать пленных, гражданин Океании никогда не видит граждан Евразии и Остазии, и знать иностранные языки ему запрещено. Если разрешить ему контакт с иностранцами, он обнаружит, что это такие же люди, как он, а рассказы о них -- по большей части ложь. Закупоренный мир, где он обитает, раскроется, и страх, ненависть, убежденность в своей правоте, которыми жив его гражданский дух, могут испариться. Поэтому все три стороны понимают, что, как бы часто ни переходили из рук в руки Персия и Египет, Ява и Цейлон, основные границы не должно пересекать ничто, кроме ракет.

Под этим скрывается факт, никогда не обсуждаемый вслух, но молчаливо признаваемый и учитываемый при любых действиях, а именно: условия жизни во всех трех державах весьма схожи. В Океании государственное учение именуется ангсоцем, в Евразии -- необольшевизмом, а в Остазии его называют китайским словом, которое обычно переводится как «культ смерти», но лучше, пожалуй, передало бы его смысл «стирание личности». Гражданину Океании не дозволено что-либо знать о догмах двух других учений, но он привык проклинать их как варварское надругательство над моралью и здравым смыслом. На самом деле эти три идеологии почти неразличимы, а общественные системы, на них основанные, неразличимы совсем. Везде та же пирамидальная структура, тот же культ полубога-вождя, та же экономика, живущая постоянной войной и для войны. Отсюда следует, что три державы не только не могут покорить одна другую, но и не получили бы от этого никакой выгоды. Напротив, покуда они враждуют, они подпирают друг друга подобно трем снопам. И как всегда, правящие группы трех стран и сознают и одновременно не сознают, что делают. Они посвятили себя завоеванию мира, но вместе с тем понимают, что война

victory. Meanwhile the fact that there IS no danger of conquest makes possible the denial of reality which is the special feature of Ingsoc and its rival systems of thought. Here it is necessary to repeat what has been said earlier, that by becoming continuous war has fundamentally changed its character.

должна длиться постоянно, без победы. А благодаря тому, что опасность быть покоренным государству не грозит, становится возможным отрицание действительности -- характерная черта и ангсоца и конкурирующих учений. Здесь надо повторить сказанное ранее: став постоянной, война изменила свой характер.

In past ages, a war, almost by definition, was something that sooner or later came to an end, usually in unmistakable victory or defeat. In the past, also, war was one of the main instruments by which human societies were kept in touch with physical reality. All rulers in all ages have tried to impose a false view of the world upon their followers, but they could not afford to encourage any illusion that tended to impair military efficiency. So long as defeat meant the loss of independence, or some other result generally held to be undesirable, the precautions against defeat had to be serious. Physical facts could not be ignored. In philosophy, or religion, or ethics, or politics, two and two might make five, but when one was designing a gun or an aeroplane they had to make four. Inefficient nations were always conquered sooner or later, and the struggle for efficiency was inimical to illusions. Moreover, to be efficient it was necessary to be able to learn from the past, which meant having a fairly accurate idea of what had happened in the past. Newspapers and history books were, of course, always coloured and biased, but falsification of the kind that is practised today would have been impossible. War was a sure safeguard of sanity, and so far as the ruling classes were concerned it was probably the most important of all safeguards. While wars could be won or lost, no ruling class could be completely irresponsible.

В прошлом война, можно сказать, по определению была чем-то, что рано или поздно кончалось -- как правило, несомненной победой или поражением. Кроме того, в прошлом война была одним из главных инструментов, не дававших обществу оторваться от физической действительности. Во все времена все правители пытались навязать подданным ложные представления о действительности; но иллюзий, подрывающих военную силу, они позволить себе не могли. Покуда поражение влечет за собой потерю независимости или какой-то другой результат, считающийся нежелательным, поражения надо остерегаться самым серьезным образом. Нельзя игнорировать физические факты. В философии, в религии, в этике, в политике дважды два может равняться пяти, но если вы конструируете пушку или самолет, дважды два должно быть четыре. Недееспособное государство раньше или позже будет побеждено, а дееспособность не может опираться на иллюзии. Кроме того, чтобы быть дееспособным, необходимо умение учиться на уроках прошлого, а для этого надо более или менее точно знать, что происходило в прошлом. Газеты и книги по истории, конечно, всегда страдали пристрастностью и предвзятостью, но фальсификация в сегодняшних масштабах прежде была бы невозможна. Война всегда была стражем здравого рассудка, и, если говорить о правящих классах, вероятно, главным стражем. Пока войну можно было выиграть или проиграть, никакой правящий класс не имел права вести себя совсем безответственно.

But when war becomes literally continuous, it also ceases to be dangerous. When war is continuous there is no such thing as military necessity. Technical progress can cease and the most palpable facts can be

Но когда война становится буквально бесконечной, она перестает быть опасной. Когда война бесконечна, такого понятия, как военная необходимость, нет. Технический прогресс может

denied or disregarded. As we have seen, researches that could be called scientific are still carried out for the purposes of war, but they are essentially a kind of daydreaming, and their failure to show results is not important. Efficiency, even military efficiency, is no longer needed. Nothing is efficient in Oceania except the Thought Police. Since each of the three super-states is unconquerable, each is in effect a separate universe within which almost any perversion of thought can be safely practised. Reality only exerts its pressure through the needs of everyday life -- the need to eat and drink, to get shelter and clothing, to avoid swallowing poison or stepping out of top-storey windows, and the like. Between life and death, and between physical pleasure and physical pain, there is still a distinction, but that is all. Cut off from contact with the outer world, and with the past, the citizen of Oceania is like a man in interstellar space, who has no way of knowing which direction is up and which is down. The rulers of such a state are absolute, as the Pharaohs or the Caesars could not be. They are obliged to prevent their followers from starving to death in numbers large enough to be inconvenient, and they are obliged to remain at the same low level of military technique as their rivals; but once that minimum is achieved, they can twist reality into whatever shape they choose.

прекратиться, можно игнорировать и отрицать самые очевидные факты. Как мы уже видели, исследования, называемые научными, еще ведутся в военных целях, но, по существу, это своего рода мечтания, и никого не смущает, что они безрезультатны. Дееспособность и даже боеспособность больше не нужны. В Океании все плохо действует, кроме полиции мыслей. Поскольку сверхдержавы непобедимы, каждая представляет собой отдельную вселенную, где можно предаваться почти любому умственному извращению. Действительность оказывает давление только через обиходную жизнь: надо есть и пить, надо иметь кров и одеваться, нельзя глотать ядовитые вещества, выходить через окно на верхнем этаже и так далее. Между жизнью и смертью, между физическим удовольствием и физической болью разница все-таки есть -- но и только. Отрезанный от внешнего мира и от прошлого, гражданин Океании, подобно человеку в межзвездном пространстве, не знает, где верх, где низ. Правители такого государства обладают абсолютной властью, какой не было ни у цезарей, ни у фараонов. Они не должны допустить, чтобы их подопечные мерли от голода в чрезмерных количествах, когда это уже представляет известные неудобства, они должны поддерживать военную технику на одном невысоком уровне; но, коль скоро этот минимум выполнен, они могут извращать действительность так, как им заблагорассудится.

The war, therefore, if we judge it by the standards of previous wars, is merely an imposture. It is like the battles between certain ruminant animals whose horns are set at such an angle that they are incapable of hurting one another. But though it is unreal it is not meaningless. It eats up the surplus of consumable goods, and it helps to preserve the special mental atmosphere that a hierarchical society needs. War, it will be seen, is now a purely internal affair. In the past, the ruling groups of all countries, although they might recognize their common interest and therefore limit the destructiveness of war, did fight against one another, and the victor always plundered the vanquished. In our own day they are not fighting against one another at

Таким образом, война, если подходить к ней с мерками прошлых войн, -- мошенничество. Она напоминает схватки некоторых жвачных животных, чьи рога растут под таким углом, что они не способны ранить друг друга. Но хотя война нереальна, она не бессмысленна. Она пожирает излишки благ и позволяет поддерживать особую душевную атмосферу, в которой нуждается иерархическое общество. Ныне, как нетрудно видеть, война -- дело чисто внутреннее. В прошлом правители всех стран, хотя и понимали порой общность своих интересов, а потому ограничивали разрушительность войн, воевали все-таки друг с другом, и победитель грабил побежденного. В наши дни они друг с

all. The war is waged by each ruling group against its own subjects, and the object of the war is not to make or prevent conquests of territory, but to keep the structure of society intact. The very word "war", therefore, has become misleading. It would probably be accurate to say that by becoming continuous war has ceased to exist. The peculiar pressure that it exerted on human beings between the Neolithic Age and the early twentieth century has disappeared and been replaced by something quite different. The effect would be much the same if the three super-states, instead of fighting one another, should agree to live in perpetual peace, each inviolate within its own boundaries. For in that case each would still be a self-contained universe, freed for ever from the sobering influence of external danger. A peace that was truly permanent would be the same as a permanent war. This -- although the vast majority of Party members understand it only in a shallower sense -- is the inner meaning of the Party slogan: *War is peace*.

другом не воюют. Войну ведет правящая группа против своих подданных, и цель войны -- не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй. Поэтому само слово «война» вводит в заблуждение. Мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем, что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной. То особое давление, которое она оказывала на человечество со времен неолита и до начала XX века, исчезло и сменилось чем-то совсем другим. Если бы три державы не воевали, а согласились вечно жить в мире и каждая оставалась бы неприкосновенной в своих границах, результат был бы тот же самый. Каждая была бы замкнутой вселенной, навсегда избавленной от отрезвляющего влияния внешней опасности. Постоянный мир был бы то же самое, что постоянная война. Вот в чем глубинный смысл -- хотя большинство членов партии понимают его поверхностно -- партийного лозунга ВОЙНА -- ЭТО МИР.

Winston stopped reading for a moment. Somewhere in remote distance a rocket bomb thundered. The blissful feeling of being alone with the forbidden book, in a room with no telescreen, had not worn off. Solitude and safety were physical sensations, mixed up somehow with the tiredness of his body, the softness of the chair, the touch of the faint breeze from the window that played upon his cheek. The book fascinated him, or more exactly it reassured him. In a sense it told him nothing that was new, but that was part of the attraction. It said what he would have said, if it had been possible for him to set his scattered thoughts in order. It was the product of a mind similar to his own, but enormously more powerful, more systematic, less fear-ridden. The best books, he perceived, are those that tell you what you know already. He had just turned back to Chapter I when he heard Julia's footstep on the stair and started out of his chair to meet her. She dumped her brown tool-bag on the floor and flung herself into his arms. It was more than a week since they had seen one another.

Уинстон перестал читать. Послышался гром -- где-то вдалеке разорвалась ракета. Блаженное чувство -- один с запретной книгой, в комнате без телекрана -- не проходило. Одиночество и покой он ощущал физически, так же как усталость в теле, мягкость кресла, ветерок из окна, дышавший в щеку. Книга завораживала его, а вернее, укрепляла. В каком-то смысле книга не сообщила ему ничего нового -- но в этом-то и заключалась ее прелесть. Она говорила то, что он сам бы мог сказать, если бы сумел привести в порядок отрывочные мысли. Она была произведением ума, похожего на его ум, только гораздо более сильного, более систематического и не изъязвленного страхом. Лучшие книги, понял он, говорят тебе то, что ты уже сам знаешь. Он хотел вернуться к первой главе, но тут услышал на лестнице шаги Джулии и встал, чтобы ее встретить. Она уронила на пол коричневую сумку с инструментами и бросилась ему на шею. Они не виделись больше недели.

"I've got *the book*," he said as they disentangled themselves.

-- *Книга* у меня, -- объявил Уинстон, когда они отпустили друг друга.

"Oh, you've got it? Good," she said without

-- Да, уже? Хорошо, -- сказала она без

much interest, and almost immediately knelt down beside the oil stove to make the coffee.

особого интереса и тут же стала на колени у керосинки, чтобы сварить кофе.

They did not return to the subject until they had been in bed for half an hour. The evening was just cool enough to make it worth while to pull up the counterpane. From below came the familiar sound of singing and the scrape of boots on the flagstones. The brawny red-armed woman whom Winston had seen there on his first visit was almost a fixture in the yard. There seemed to be no hour of daylight when she was not marching to and fro between the washtub and the line, alternately gagging herself with clothes pegs and breaking forth into lusty song. Julia had settled down on her side and seemed to be already on the point of falling asleep. He reached out for the book, which was lying on the floor, and sat up against the bedhead.

К разговору о книге они вернулись после того, как полчаса провели в постели. Вечер был нежаркий, и они натянули на себя одеяло. Снизу доносилось привычное пение и шарканье ботинок по каменным плитам. Могучая краснорукая женщина, которую Уинстон увидел здесь еще в первый раз, будто и не уходила со двора. Не было такого дня и часа, когда бы она не шагала взад-вперед между корытом и веревкой, то затыкая себя прищепками для белья, то снова разражаясь зычной песней. Джулия перевернулась на бок и совсем уже засыпала. Он поднял книгу, лежавшую на полу, и сел к изголовью.

“We must read it,” he said. “You too. All members of the Brotherhood have to read it.”

-- Нам надо ее прочесть, -- сказал он, -- Тебе тоже. Все, кто в Братстве, должны ее прочесть.

“You read it,” she said with her eyes shut. “Read it aloud. That’s the best way. Then you can explain it to me as you go.”

-- Ты читай, -- отозвалась она с закрытыми глазами. -- Вслух. Так лучше. По дороге будешь мне все объяснять.

The clock’s hands said six, meaning eighteen. They had three or four hours ahead of them. He propped the book against his knees and began reading:

Часы показывали шесть, то есть 18. Оставалось еще часа три-четыре. Он положил книгу на колени и начал читать:

Chapter I

Глава 1

Ignorance is Strength

Незнание -- сила

Throughout recorded time, and probably since the end of the Neolithic Age, there have been three kinds of people in the world, the High, the Middle, and the Low. They have been subdivided in many ways, they have borne countless different names, and their relative numbers, as well as their attitude towards one another, have varied from age to age: but the essential structure of society has never altered. Even after enormous upheavals and seemingly irrevocable changes, the same pattern has always reasserted itself, just as a gyroscope will always return to equilibnum, however far it is pushed one way or the other

На протяжении всей зафиксированной истории и, по-видимому, с конца неолита в мире были люди трех сортов: высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования, их численные пропорций, а также взаимные отношения от века к веку менялись; но неизменной оставалась фундаментальная структура общества. Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен структура эта восстанавливалась, подобно тому как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули.

“Julia, are you awake?” said Winston.

-- Джулия, не спишь? -- спросил Уинстон.

“Yes, my love, I’m listening. Go on. It’s marvellous.”

-- Нет, милый, я слушаю. Читай. Это чудесно.

He continued reading:

Он продолжал:

The aims of these three groups are entirely

Цели этих трех групп совершенно

irreconcilable. The aim of the High is to remain where they are. The aim of the Middle is to change places with the High. The aim of the Low, when they have an aim -- for it is an abiding characteristic of the Low that they are too much crushed by drudgery to be more than intermittently conscious of anything outside their daily lives -- is to abolish all distinctions and create a society in which all men shall be equal. Thus throughout history a struggle which is the same in its main outlines recurs over and over again. For long periods the High seem to be securely in power, but sooner or later there always comes a moment when they lose either their belief in themselves or their capacity to govern efficiently, or both. They are then overthrown by the Middle, who enlist the Low on their side by pretending to them that they are fighting for liberty and justice. As soon as they have reached their objective, the Middle thrust the Low back into their old position of servitude, and themselves become the High. Presently a new Middle group splits off from one of the other groups, or from both of them, and the struggle begins over again. Of the three groups, only the Low are never even temporarily successful in achieving their aims. It would be an exaggeration to say that throughout history there has been no progress of a material kind. Even today, in a period of decline, the average human being is physically better off than he was a few centuries ago. But no advance in wealth, no softening of manners, no reform or revolution has ever brought human equality a millimetre nearer. From the point of view of the Low, no historic change has ever meant much more than a change in the name of their masters.

By the late nineteenth century the recurrence of this pattern had become obvious to many observers. There then rose schools of thinkers who interpreted history as a cyclical process and claimed to show that inequality was the unalterable law of human life. This doctrine, of course, had always had its adherents, but in the manner in which it was now put forward there was a significant change. In the past the need for a hierarchical form of society had been the doctrine specifically of the High. It had been preached by kings and aristocrats and by the priests, lawyers, and

несовместимы. Цель высших -- остаться там, где они есть. Цель средних -- поменяться местами с высшими; цель низших -- когда у них есть цель, ибо для низших то и характерно, что они задавлены тяжким трудом и лишь от случая к случаю направляют взгляд за пределы повседневной жизни, -- отменить все различия и создать общество, где все люди должны быть равны. Таким образом, на протяжении всей истории вновь и вновь. вспыхивает борьба, в общих чертах всегда одинаковая. Долгое время высшие как будто бы прочно удерживают власть, но рано или поздно наступает момент, когда они теряют либо веру в себя, либо способность управлять эффективно, либо и то и другое. Тогда их свергают средние, которые привлекли низших на свою сторону тем, что разыгрывали роль борцов за свободу и справедливость. Достигнув своей цели, они сталкивают низших в прежнее рабское положение и сами становятся высшими. Тем временем новые средние отслаиваются от одной из двух других групп или от обеих, и борьба начинается сызнова. Из трех групп только низшим никогда не удается достичь своих целей, даже на время. Было бы преувеличением сказать, что история не сопровождалась материальным прогрессом. Даже сегодня, в период упадка, обыкновенный человек материально живет лучше, чем несколько веков назад. Но никакой рост благосостояния, никакое смягчение нравов, никакие революции и реформы не приблизили человеческое равенство ни на миллиметр. С точки зрения низших, все исторические перемены значили немногим больше, чем смена хозяев.

К концу XIX века для многих наблюдателей стала очевидной повторяемость этой схемы. Тогда возникли учения, толкующие историю как циклический процесс и доказывающие, что неравенство есть неизменный закон человеческой жизни. У этой доктрины, конечно, и раньше были приверженцы, но теперь она преподносилась существенно иначе. Необходимость иерархического строя прежде была доктриной высших. Ее проповедовали, короли и аристократы, а также паразитировавшие на них

the like who were parasitical upon them, and it had generally been softened by promises of compensation in an imaginary world beyond the grave. The Middle, so long as it was struggling for power, had always made use of such terms as freedom, justice, and fraternity. Now, however, the concept of human brotherhood began to be assailed by people who were not yet in positions of command, but merely hoped to be so before long. In the past the Middle had made revolutions under the banner of equality, and then had established a fresh tyranny as soon as the old one was overthrown. The new Middle groups in effect proclaimed their tyranny beforehand. Socialism, a theory which appeared in the early nineteenth century and was the last link in a chain of thought stretching back to the slave rebellions of antiquity, was still deeply infected by the Utopianism of past ages. But in each variant of Socialism that appeared from about 1900 onwards the aim of establishing liberty and equality was more and more openly abandoned. The new movements which appeared in the middle years of the century, Ingsoc in Oceania, Neo-Bolshevism in Eurasia, Death-Worship, as it is commonly called, in Eastasia, had the conscious aim of perpetuating UNfreedom and INequality. These new movements, of course, grew out of the old ones and tended to keep their names and pay lip-service to their ideology. But the purpose of all of them was to arrest progress and freeze history at a chosen moment. The familiar pendulum swing was to happen once more, and then stop. As usual, the High were to be turned out by the Middle, who would then become the High; but this time, by conscious strategy, the High would be able to maintain their position permanently.

священники, юристы и прочие, и смягчали обещаниями награды в воображаемом загробном мире. Средние, пока боролись за власть, всегда прибегали к помощи таких слов, как свобода, справедливость и братство. Теперь же на идею человеческого братства ополчились люди, которые еще не располагали властью, а только надеялись вскоре ее захватить. Прежде средние устраивали революции под знаменем равенства и, свергнув старую тиранию, немедленно устанавливали новую. Теперь средние фактически провозгласили свою тиранию заранее. Социализм -- теория, которая возникла в начале XIX века и явилась последним звеном в идейной традиции, ведущей начало от восстаний рабов в древности, -- был еще весь пропитан утопическими идеями прошлых веков. Однако все варианты социализма, появлявшиеся после 1900 года, более или менее открыто отказывались считать своей целью равенство и братство. Новые движения, возникшие в середине века, -- ангсоц в Океании, необольшевизм в Евразии и культ смерти, как его принято называть, в Остазии ставили себе целью увековечение *не*свободы и *не*равенства. Эти новые движения родились, конечно, из прежних, сохранили их названия и на словах оставались верными их идеологии, но целью их было в нужный момент остановить развитие и заморозить историю. Известный маятник должен качнуться еще раз -- и застыть. Как обычно, высшие будут свергнуты средними, и те сами станут высшими; но на этот раз благодаря продуманной стратегии высшие сохранят свое положение навсегда.

The new doctrines arose partly because of the accumulation of historical knowledge, and the growth of the historical sense, which had hardly existed before the nineteenth century. The cyclical movement of history was now intelligible, or appeared to be so; and if it was intelligible, then it was alterable. But the principal, underlying cause was that, as early as the beginning of the twentieth century, human equality had become technically possible. It was still true that men were not equal in their native talents and that functions had to be

Возникновение этих новых доктрин отчасти объясняется накоплением исторических знаний и ростом исторического мышления, до XIX века находившегося в зачаточном состоянии. Циклический ход истории стал понятен или представился понятным, а раз он понятен, значит, на него можно воздействовать. Но основная, глубинная предпосылка заключалась в том, что уже в начале XX века равенство людей стало технически осуществимо. Верно, разумеется, что люди по-прежнему не

specialized in ways that favoured some individuals against others; but there was no longer any real need for class distinctions or for large differences of wealth. In earlier ages, class distinctions had been not only inevitable but desirable. Inequality was the price of civilization. With the development of machine production, however, the case was altered. Even if it was still necessary for human beings to do different kinds of work, it was no longer necessary for them to live at different social or economic levels. Therefore, from the point of view of the new groups who were on the point of seizing power, human equality was no longer an ideal to be striven after, but a danger to be averted. In more primitive ages, when a just and peaceful society was in fact not possible, it had been fairly easy to believe it. The idea of an earthly paradise in which men should live together in a state of brotherhood, without laws and without brute labour, had haunted the human imagination for thousands of years. And this vision had had a certain hold even on the groups who actually profited by each historical change. The heirs of the French, English, and American revolutions had partly believed in their own phrases about the rights of man, freedom of speech, equality before the law, and the like, and have even allowed their conduct to be influenced by them to some extent. But by the fourth decade of the twentieth century all the main currents of political thought were authoritarian. The earthly paradise had been discredited at exactly the moment when it became realizable. Every new political theory, by whatever name it called itself, led back to hierarchy and regimentation. And in the general hardening of outlook that set in round about 1930, practices which had been long abandoned, in some cases for hundreds of years -- imprisonment without trial, the use of war prisoners as slaves, public executions, torture to extract confessions, the use of hostages, and the deportation of whole populations -- not only became common again, but were tolerated and even defended by people who considered themselves enlightened and progressive.

It was only after a decade of national wars, civil wars, revolutions, and counter-

были равны в отношении природных талантов и разделение функций ставило бы одного человека в более благоприятное положение, чем другого; отпала, однако, нужда в классовых различиях и в большом материальном неравенстве. В прошлые века классовые различия были не только неизбежны, но и желательны. За цивилизацию пришлось платить неравенством. Но с развитием машинного производства ситуация изменилась. Хотя люди по-прежнему должны были выполнять неодинаковые работы, исчезла необходимость в том, чтобы они стояли на разных социальных и экономических уровнях. Поэтому с точки зрения новых групп, готовившихся захватить власть, равенство людей стало уже не идеалом, к которому надо стремиться, а опасностью, которую надо предотвратить. В более примитивные времена, когда справедливое и мирное общество нельзя было построить, в него легко было верить. Человека тысячелетиями преследовала мечта о земном рае, где люди будут жить по-братски, без законов и без тяжкого труда. Видение это влияло даже на те группы, которые выигрывали от исторических перемен. Наследники английской, французской и американской революций отчасти Верили в собственные фразы о правах человека, о свободе слова, о равенстве перед законом и т. п. и до некоторой степени даже подчиняли им свое поведение. Но к четвертому десятилетию XX века все основные течения политической мысли были уже авторитарными. В земном рае разуверились именно тогда, когда он стал осуществим. Каждая новая политическая теория, как бы она ни именовалась, звала назад, к иерархии и регламентации. И в соответствии с общим ужесточением взглядов, обозначившимся примерно к 1930 году, возродились давно (иногда сотни лет назад) оставленные обычаи -- тюремное заключение без суда, рабский труд военнопленных, публичные казни, пытки, чтобы добиться признания, взятие заложников, выселение целых народов; мало того: их терпели и даже оправдывали люди, считавшие себя просвещенными и прогрессивными.

Должно было пройти еще десятилетие, полное войн, гражданских войн,

revolutions in all parts of the world that Ingsoc and its rivals emerged as fully worked-out political theories. But they had been foreshadowed by the various systems, generally called totalitarian, which had appeared earlier in the century, and the main outlines of the world which would emerge from the prevailing chaos had long been obvious. What kind of people would control this world had been equally obvious. The new aristocracy was made up for the most part of bureaucrats, scientists, technicians, trade-union organizers, publicity experts, sociologists, teachers, journalists, and professional politicians. These people, whose origins lay in the salaried middle class and the upper grades of the working class, had been shaped and brought together by the barren world of monopoly industry and centralized government. As compared with their opposite numbers in past ages, they were less avaricious, less tempted by luxury, hungrier for pure power, and, above all, more conscious of what they were doing and more intent on crushing opposition. This last difference was cardinal. By comparison with that existing today, all the tyrannies of the past were half-hearted and inefficient. The ruling groups were always infected to some extent by liberal ideas, and were content to leave loose ends everywhere, to regard only the overt act and to be uninterested in what their subjects were thinking. Even the Catholic Church of the Middle Ages was tolerant by modern standards. Part of the reason for this was that in the past no government had the power to keep its citizens under constant surveillance. The invention of print, however, made it easier to manipulate public opinion, and the film and the radio carried the process further. With the development of television, and the technical advance which made it possible to receive and transmit simultaneously on the same instrument, private life came to an end. Every citizen, or at least every citizen important enough to be worth watching, could be kept for twentyfour hours a day under the eyes of the police and in the sound of official propaganda, with all other channels of communication closed. The possibility of enforcing not only complete obedience to the will of the State, but complete uniformity of opinion on all

революций и контрреволюций, чтобы ангсоц и его конкуренты оформились как законченные политические теории. Но у них были провозвестники -- разные системы, возникшие ранее в этом же веке и в совокупности именуемые тоталитарными; давно были ясны и очертания мира, который родится из наличного хаоса. Кому предстоит править этим миром, было столь же ясно. Новая аристократия составилась в основном из бюрократов, ученых, инженеров, профсоюзных руководителей, специалистов по обработке общественного мнения, социологов, преподавателей и профессиональных политиков. Этих людей, по происхождению служащих и верхний слой рабочего класса, сформировал и свел вместе выхолощенный мир монополистической промышленности и централизованной власти. По сравнению с аналогичными группами прошлых веков они были менее алчны, менее склонны к роскоши, зато сильнее жаждали чистой власти, а самое главное, отчетливее сознавали, что они делают, и настойчивее стремились сокрушить оппозицию. Это последнее отличие оказалось решающим. Рядом с тем, что существует сегодня, все тирании прошлого выглядели бы нерешительными и расхлябанными. Правящие группы всегда были более или менее заражены либеральными идеями, всюду оставляли люфт, реагировали только на явные действия и не интересовались тем, что думают их подданные. По сегодняшним меркам даже католическая церковь средневековья была терпимой. Объясняется это отчасти тем, что прежде правительства не могли держать граждан под постоянным надзором. Когда изобрели печать, стало легче управлять общественным мнением; радио и кино позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники, когда стало возможно вести прием и передачу одним аппаратом, частной жизни пришел конец. Каждого гражданина, по крайней мере каждого, кто по своей значительности заслуживает слежки, можно круглые сутки держать под полицейским наблюдением и круглые сутки питать официальной пропагандой, перекрыв все остальные каналы связи.

subjects, now existed for the first time.

Впервые появилась возможность добиться не только полного подчинения воле государства, но и полного единства мнений по всем вопросам.

After the revolutionary period of the fifties and sixties, society regrouped itself, as always, into High, Middle, and Low. But the new High group, unlike all its forerunners, did not act upon instinct but knew what was needed to safeguard its position. It had long been realized that the only secure basis for oligarchy is collectivism. Wealth and privilege are most easily defended when they are possessed jointly. The so-called "abolition of private property" which took place in the middle years of the century meant, in effect, the concentration of property in far fewer hands than before: but with this difference, that the new owners were a group instead of a mass of individuals. Individually, no member of the Party owns anything, except petty personal belongings. Collectively, the Party owns everything in Oceania, because it controls everything, and disposes of the products as it thinks fit. In the years following the Revolution it was able to step into this commanding position almost unopposed, because the whole process was represented as an act of collectivization. It had always been assumed that if the capitalist class were expropriated, Socialism must follow: and unquestionably the capitalists had been expropriated. Factories, mines, land, houses, transport -- everything had been taken away from them: and since these things were no longer private property, it followed that they must be public property. Ingsoc, which grew out of the earlier Socialist movement and inherited its phraseology, has in fact carried out the main item in the Socialist programme; with the result, foreseen and intended beforehand, that economic inequality has been made permanent.

После революционного периода 50--60-х годов общество, как всегда, расслоилось на высших, средних и низших. Но новые высшие в отличие от своих предшественников действовали не по наитию: они знали, что надо делать, дабы сохранить свое положение. Давно стало понятно, что единственная надежная основа для олигархии -- коллективизм. Богатство и привилегии легче всего защитить, когда ими владеют сообща. Так называемая отмена частной собственности, осуществленная в середине века, на самом деле означала сосредоточение собственности в руках у гораздо более узкой группы -- но с той разницей, что теперь собственницей была группа, а не масса индивидуумов. Индивидуально ни один член партии не владеет ничем, кроме небольшого личного имущества. Коллективно партия владеет в Океании всем, потому что она всем управляет и распоряжается продуктами так, как считает нужным. В годы после революции она смогла занять господствующее положение почти беспрепятственно потому, что процесс шел под флагом коллективизации. Считалось, что, если класс капиталистов лишить собственности, наступит социализм; и капиталистов, несомненно, лишили собственности. У них отняли все -- заводы, шахты, землю, дома, транспорт; а раз все это перестало быть частной собственностью, значит, стало общественной собственностью. Ангсоц, выросший из старого социалистического движения и унаследовавший его фразеологию, в самом деле выполнил главный пункт социалистической программы -- с результатом, который он предвидел и к которому стремился: экономическое неравенство было закреплено навсегда.

But the problems of perpetuating a hierarchical society go deeper than this. There are only four ways in which a ruling group can fall from power. Either it is conquered from without, or it governs so inefficiently that the masses are stirred to revolt, or it allows a strong and discontented Middle group to come into

Но проблемы увековечения иерархического общества этим не исчерпываются. Правящая группа теряет власть по четырем причинам. Либо ее победил внешний враг, либо она правит так неумело, что массы поднимают восстание, либо она позволила образоваться сильной и недовольной

being, or it loses its own self-confidence and willingness to govern. These causes do not operate singly, and as a rule all four of them are present in some degree. A ruling class which could guard against all of them would remain in power permanently. Ultimately the determining factor is the mental attitude of the ruling class itself.

группе средних, либо потеряла уверенность в себе и желание править. Причины эти не изолированные; обычно в той или иной степени сказываются все четыре. Правящий класс, который сможет предохраниться от них, удержит власть навсегда. В конечном счете решающим фактором является психическое состояние самого правящего класса.

After the middle of the present century, the first danger had in reality disappeared. Each of the three powers which now divide the world is in fact unconquerable, and could only become conquerable through slow demographic changes which a government with wide powers can easily avert. The second danger, also, is only a theoretical one. The masses never revolt of their own accord, and they never revolt merely because they are oppressed. Indeed, so long as they are not permitted to have standards of comparison, they never even become aware that they are oppressed. The recurrent economic crises of past times were totally unnecessary and are not now permitted to happen, but other and equally large dislocations can and do happen without having political results, because there is no way in which discontent can become articulate. As for the problem of over-production, which has been latent in our society since the development of machine technique, it is solved by the device of continuous warfare (see Chapter III), which is also useful in keying up public morale to the necessary pitch. From the point of view of our present rulers, therefore, the only genuine dangers are the splitting-off of a new group of able, under-employed, power-hungry people, and the growth of liberalism and scepticism in their own ranks. The problem, that is to say, is educational. It is a problem of continuously moulding the consciousness both of the directing group and of the larger executive group that lies immediately below it. The consciousness of the masses needs only to be influenced in a negative way.

В середине нынешнего века первая опасность фактически исчезла. Три державы, поделившие мир, по сути дела, непобедимы и ослабеть могут только за счет медленных демографических изменений; однако правительству с большими полномочиями легко их предотвратить. Вторая опасность -- тоже всего лишь теоретическая. Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать. В повторявшихся экономических кризисах прошлого не было никакой нужды, и теперь их не допускают: могут происходить и происходят другие столь же крупные неурядицы, но политических последствий они не имеют, потому что не оставлено никакой возможности выразить недовольство во внятной форме. Что же до проблемы перепроизводства, подспудно зревшей в нашем обществе с тех пор, как развилась машинная техника, то она решена при помощи непрерывной войны (см, главу 3), которая полезна еще и в том отношении, что позволяет подогреть общественный дух. Таким образом, с точки зрения наших нынешних правителей, подлинные опасности -- это образование новой группы способных, не полностью занятых, рвущихся к власти людей и рост либерализма и скептицизма в их собственных рядах. Иначе говоря, проблема стоит воспитательная. Это проблема непрерывной формовки сознания направляющей группы и более многочисленной исполнительной группы, которая помещается непосредственно под ней. На сознание масс достаточно воздействовать лишь в отрицательном плане.

Given this background, one could infer, if one did not know it already, the general

Из сказанного выше нетрудно вывести -- если бы кто не знал ее -- общую структуру

structure of Oceanic society. At the apex of the pyramid comes Big Brother. Big Brother is infallible and all-powerful. Every success, every achievement, every victory, every scientific discovery, all knowledge, all wisdom, all happiness, all virtue, are held to issue directly from his leadership and inspiration. Nobody has ever seen Big Brother. He is a face on the hoardings, a voice on the telescreen. We may be reasonably sure that he will never die, and there is already considerable uncertainty as to when he was born. Big Brother is the guise in which the Party chooses to exhibit itself to the world. His function is to act as a focusing point for love, fear, and reverence, emotions which are more easily felt towards an individual than towards an organization. Below Big Brother comes the Inner Party. Its numbers limited to six millions, or something less than 2 per cent of the population of Oceania. Below the Inner Party comes the Outer Party, which, if the Inner Party is described as the brain of the State, may be justly likened to the hands. Below that come the dumb masses whom we habitually refer to as “the proles”, numbering perhaps 85 per cent of the population. In the terms of our earlier classification, the proles are the Low: for the slave population of the equatorial lands who pass constantly from conqueror to conqueror, are not a permanent or necessary part of the structure.

In principle, membership of these three groups is not hereditary. The child of Inner Party parents is in theory not born into the Inner Party. Admission to either branch of the Party is by examination, taken at the age of sixteen. Nor is there any racial discrimination, or any marked domination of one province by another. Jews, Negroes, South Americans of pure Indian blood are to be found in the highest ranks of the Party, and the administrators of any area are always drawn from the inhabitants of that area. In no part of Oceania do the inhabitants have the feeling that they are a colonial population ruled from a distant capital. Oceania has no capital, and its titular head is a person whose whereabouts nobody knows. Except that English is its chief lingua franca and Newspeak its

государства Океания. Вершина пирамиды -- Старший Брат. Старший Брат непогрешим и всемогущ. Каждое достижение, каждый успех, каждая победа, каждое научное открытие, все познания, вся мудрость, все счастье, вся доблесть -- непосредственно проистекают из его руководства и им вдохновлены. Старшего Брата никто не видел. Его лицо -- на плакатах, его голос -- в телекране. Мы имеем все оснований полагать, что он никогда не умрет, и уже сейчас существует значительная неопределенность касательно даты его рождения. Старший Брат -- это образ, в котором партия делает предстать перед миром. Назначение его -- служить фокусом для любви, страха и почитания, чувств, которые легче обратить на отдельное лицо, чем на организацию. Под Старшим Братом -- внутренняя партия; численность ее ограничена шестью миллионами -- это чуть меньше двух процентов населения Океании. Под внутренней партией -- внешняя партия; если внутреннюю уподобить мозгу государства, то внешнюю можно назвать руками. Ниже -- бессловесная масса, которую мы привычно именуем «пролами»; они составляют, по-видимому, восемьдесят пять процентов населения. По нашей прежней классификация пролы -- низшие, ибо рабское население экваториальных областей, переходящее от одного завоевателя к другому, нельзя считать постоянной и необходимой частью общества.

В принципе принадлежность к одной из этих трех групп не является наследственной. Ребенок членов внутренней партии не принадлежит к ней по праву рождения. И в ту и в другую часть партии принимают после экзамена в возрасте шестнадцати лет. В партии нет предпочтений ни по расовом, ни по географическому признаку. В самых верхних эшелонах можно встретить и еврея, и негра, и латиноамериканца, и чистокровного индейца; администраторов каждой области набирают из этой же области. Ни в одной части Океании жители не чувствуют себя колониальным народом, которым управляют из далекой столицы. Столицы в Океании нет: где находится номинальный глава государства, никто

official language, it is not centralized in any way. Its rulers are not held together by blood-ties but by adherence to a common doctrine. It is true that our society is stratified, and very rigidly stratified, on what at first sight appear to be hereditary lines. There is far less to-and-fro movement between the different groups than happened under capitalism or even in the pre-industrial age. Between the two branches of the Party there is a certain amount of interchange, but only so much as will ensure that weaklings are excluded from the Inner Party and that ambitious members of the Outer Party are made harmless by allowing them to rise. Proletarians, in practice, are not allowed to graduate into the Party. The most gifted among them, who might possibly become nuclei of discontent, are simply marked down by the Thought Police and eliminated. But this state of affairs is not necessarily permanent, nor is it a matter of principle. The Party is not a class in the old sense of the word. It does not aim at transmitting power to its own children, as such; and if there were no other way of keeping the ablest people at the top, it would be perfectly prepared to recruit an entire new generation from the ranks of the proletariat. In the crucial years, the fact that the Party was not a hereditary body did a great deal to neutralize opposition. The older kind of Socialist, who had been trained to fight against something called "class privilege" assumed that what is not hereditary cannot be permanent. He did not see that the continuity of an oligarchy need not be physical, nor did he pause to reflect that hereditary aristocracies have always been shortlived, whereas adoptive organizations such as the Catholic Church have sometimes lasted for hundreds or thousands of years. The essence of oligarchical rule is not father-to-son inheritance, but the persistence of a certain world-view and a certain way of life, imposed by the dead upon the living. A ruling group is a ruling group so long as it can nominate its successors. The Party is not concerned with perpetuating its blood but with perpetuating itself. *Who* wields power is not important, provided that the hierarchical structure remains always the same.

не знает. За исключением того, что в любой части страны можно объясниться на английском, а официальный язык ее -- новояз, жизнь никак не централизована. Правители соединены не кровными узами, а приверженностью к доктрине. Конечно, общество расслоено, причем весьма четко, и на первый взгляд расслоение имеет наследственный характер. Движения вверх и вниз по социальной лестнице гораздо меньше, чем было при капитализме и даже в доиндустриальную эпоху. Между двумя частями партии определенный обмен происходит -- но лишь в той мере, в какой необходимо избавиться от слабых во внутренней партии и обезопасить честолюбивых членов внешней, дав им возможность повышения. Пролетариям дорога в партию практически закрыта. Самых способных -- тех, кто мог бы стать катализатором недовольства, -- полиция мыслей просто берет на заметку и устраняет. Но такое положение дел не принципиально для строя и не является неизменным. Партия -- не класс в старом смысле слова. Она не стремится завещать власть своим детям как таковым; и если бы не было другого способа собрать наверху самых способных, она не колеблясь набрала бы целое новое поколение руководителей в среде пролетариата. То, что партия не наследственный корпус, в критические годы очень помогло нейтрализовать оппозицию. Социализм старого толка, приученный бороться с чем-то, называвшимся «классовыми привилегиями», полагал, что ненаследственное не может быть постоянным. Он не понимал, что преемственность олигархии необязательно должна быть биологической, и не задумывался над тем, что наследственные аристократии всегда были недолговечны, тогда как организации, основанные на наборе, -- католическая церковь, например, -- держались сотни, а то и тысячи лет. Суть олигархического правления не в наследной передаче от отца к сыну, а в стойкости определенного мировоззрения и образа жизни, диктуемых мертвыми живым. Правящая группа -- до тех пор правящая группа, пока она в состоянии назначать наследников. Партия озабочена не тем, чтобы увековечить

свою кровь, а тем, чтобы увековечить себя. Кто облечен властью -- не важно, лишь бы иерархический строй сохранялся неизменным.

All the beliefs, habits, tastes, emotions, mental attitudes that characterize our time are really designed to sustain the mystique of the Party and prevent the true nature of present-day society from being perceived. Physical rebellion, or any preliminary move towards rebellion, is at present not possible. From the proletarians nothing is to be feared. Left to themselves, they will continue from generation to generation and from century to century, working, breeding, and dying, not only without any impulse to rebel, but without the power of grasping that the world could be other than it is. They could only become dangerous if the advance of industrial technique made it necessary to educate them more highly; but, since military and commercial rivalry are no longer important, the level of popular education is actually declining. What opinions the masses hold, or do not hold, is looked on as a matter of indifference. They can be granted intellectual liberty because they have no intellect. In a Party member, on the other hand, not even the smallest deviation of opinion on the most unimportant subject can be tolerated.

Все верования, обычаи, вкусы, чувства, взгляды, свойственные нашему времени, на самом деле служат тому, чтобы поддержать таинственный ореол вокруг партии и скрыть подлинную природу нынешнего общества. Ни физический бунт, ни даже первые шаги к бунту сейчас невозможны. Пролетариев бояться нечего. Предоставленные самим себе, они из поколения в поколение, из века в век будут все так же работать, плодиться и умирать, не только не покушаясь на бунт, но даже не представляя себе, что жизнь может быть другой. Опасными они могут стать только в том случае, если прогресс техники потребует, чтобы им давали лучшее образование; но, поскольку военное и коммерческое соперничество уже не играет роли, уровень народного образования фактически снижается. Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются -- безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет. У партийца же, напротив, малейшее отклонение во взглядах, даже по самому маловажному вопросу, считается нетерпимым.

A Party member lives from birth to death under the eye of the Thought Police. Even when he is alone he can never be sure that he is alone. Wherever he may be, asleep or awake, working or resting, in his bath or in bed, he can be inspected without warning and without knowing that he is being inspected. Nothing that he does is indifferent. His friendships, his relaxations, his behaviour towards his wife and children, the expression of his face when he is alone, the words he mutters in sleep, even the characteristic movements of his body, are all jealously scrutinized. Not only any actual misdemeanour, but any eccentricity, however small, any change of habits, any nervous mannerism that could possibly be the symptom of an inner struggle, is certain to be detected. He has no freedom of choice in any direction whatever. On the other hand his actions are not regulated by law or by any clearly formulated code of behaviour. In Oceania there is no law. Thoughts and actions

Член партии с рождения до смерти живет на глазах у полиции мыслей. Даже оставшись один, он не может быть уверен, что он один. Где бы он ни был, спит он или бодрствует, работает или отдыхает, в ванне ли, в постели -- за ним могут наблюдать, и он не будет знать, что за ним наблюдают. Небезразличен ни один его поступок. Его друзья, его развлечения, его обращение с женой и детьми, выражение лица, когда он наедине с собой, слова, которые он бормочет во сне, даже характерные движения тела -- все это тщательно изучается. Не только поступок, но любое, пусть самое невинное чудачество, любая новая привычка и нервный жест, которые могут оказаться признаками внутренней неурядицы, непременно будут замечены. Свободы выбора у него нет ни в чем. С другой стороны, его поведение не регламентируется законом или четкими нормами. В Океании нет закона. Мысли и действия, караемые

which, when detected, mean certain death are not formally forbidden, and the endless purges, arrests, tortures, imprisonments, and vaporizations are not inflicted as punishment for crimes which have actually been committed, but are merely the wiping-out of persons who might perhaps commit a crime at some time in the future. A Party member is required to have not only the right opinions, but the right instincts. Many of the beliefs and attitudes demanded of him are never plainly stated, and could not be stated without laying bare the contradictions inherent in Ingsoc. If he is a person naturally orthodox (in Newspeak a *goodthinker*), he will in all circumstances know, without taking thought, what is the true belief or the desirable emotion. But in any case an elaborate mental training, undergone in childhood and grouping itself round the Newspeak words *crimestop*, *blackwhite*, and *doublethink*, makes him unwilling and unable to think too deeply on any subject whatever.

смертью (если их обнаружили), официально не запрещены, а бесконечные чистки, аресты, посадки, пытки и распыления имеют целью не наказать преступника, а устранить тех, кто мог бы когда-нибудь в будущем стать преступником. У члена партии должны быть не только правильные воззрения, но и правильные инстинкты. Требования к его взглядам и убеждениям зачастую не сформулированы в явном виде -- их и нельзя сформулировать, не обнажив противоречивости, свойственной ангсоцу. Бели человек от природы правоверен (*благомыслящий* на новоязе), он при всех обстоятельствах, не задумываясь, знает, какое убеждение правильно и какое чувство желательно. Но в любом случае тщательная умственная тренировка в детстве, основанная на новоязовских словах *самостоп*, *белочерный* и *двоемыслие*, отбивает у него охоту глубоко задумываться над какими бы то ни было вопросами.

A Party member is expected to have no private emotions and no respites from enthusiasm. He is supposed to live in a continuous frenzy of hatred of foreign enemies and internal traitors, triumph over victories, and self-abasement before the power and wisdom of the Party. The discontents produced by his bare, unsatisfying life are deliberately turned outwards and dissipated by such devices as the Two Minutes Hate, and the speculations which might possibly induce a sceptical or rebellious attitude are killed in advance by his early acquired inner discipline. The first and simplest stage in the discipline, which can be taught even to young children, is called, in Newspeak, *crimestop*. *Crimestop* means the faculty of stopping short, as though by instinct, at the threshold of any dangerous thought. It includes the power of not grasping analogies, of failing to perceive logical errors, of misunderstanding the simplest arguments if they are inimical to Ingsoc, and of being bored or repelled by any train of thought which is capable of leading in a heretical direction. *Crimestop*, in short, means protective stupidity. But stupidity is not enough. On the contrary, orthodoxy in the full sense demands a control over one's own mental processes as complete as that

Партийцу не положено иметь никаких личных чувств и никаких перерывов в энтузиазме. Он должен жить в постоянном неистовстве -- ненавидя внешних врагов и внутренних изменников, торжествуя очередную победу, преклоняясь перед могуществом и мудростью партии. Недовольство, порожденное скудной и безрадостной жизнью, планомерно направляют на внешние объекты и рассеивают при помощи таких приемов, как двухминутка ненависти, а мысли, которые могли бы привести к скептическому или мятежному расположению духа, убиваются в зародыше воспитанной сызмала внутренней дисциплиной. Первая и простейшая ступень дисциплины, которую могут усвоить даже дети, называется на новоязе *самостоп*. Самостоп означает как бы инстинктивное умение остановиться на пороге опасной мысли. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, неверно истолковывать даже простейший довод, если он враждебен ангсоцу, испытывать скуку и отвращение от хода мыслей, который может привести к ереси. Короче говоря, самостоп означает спасительную глупость. Но глупости недостаточно.

of a contortionist over his body. Oceanic society rests ultimately on the belief that Big Brother is omnipotent and that the Party is infallible. But since in reality Big Brother is not omnipotent and the party is not infallible, there is need for an unwearying, moment-to-moment flexibility in the treatment of facts. The keyword here is *blackwhite*. Like so many Newspeak words, this word has two mutually contradictory meanings. Applied to an opponent, it means the habit of impudently claiming that black is white, in contradiction of the plain facts. Applied to a Party member, it means a loyal willingness to say that black is white when Party discipline demands this. But it means also the ability to *believe* that black is white, and more, to *know* that black is white, and to forget that one has ever believed the contrary. This demands a continuous alteration of the past, made possible by the system of thought which really embraces all the rest, and which is known in Newspeak as *doublethink*.

Напротив, от правоверного требуется такое же владение своими умственными процессами, как от человека-змеи в цирке -- своим телом. В конечном счете строй зиждется на том убеждении, что Старший Брат всемогущ, а партия непогрешима. Но поскольку Старший Брат не всемогущ и непогрешимость партии не свойственна, необходима неустанная и ежеминутная гибкость в обращении с фактами. Ключевое слово здесь -- *белочерный*. Как и многие слова новояза, оно обладает двумя противоположными значениями. В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно утверждать, что черное -- это белое, вопреки очевидным фактам. В применении к члену партии -- благонамеренную готовность назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: еще и *верить*, что черное -- это белое, больше того, *знать*, что черное -- это белое, и забыть, что когда-то ты думал иначе. Для этого требуется непрерывная переделка прошлого, которую позволяет осуществлять система мышления, по сути охватывающая все остальные и именуемая на новоязе двоемыслием.

The alteration of the past is necessary for two reasons, one of which is subsidiary and, so to speak, precautionary. The subsidiary reason is that the Party member, like the proletarian, tolerates present-day conditions partly because he has no standards of comparison. He must be cut off from the past, just as he must be cut off from foreign countries, because it is necessary for him to believe that he is better off than his ancestors and that the average level of material comfort is constantly rising. But by far the more important reason for the readjustment of the past is the need to safeguard the infallibility of the Party. It is not merely that speeches, statistics, and records of every kind must be constantly brought up to date in order to show that the predictions of the Party were in all cases right. It is also that no change in doctrine or in political alignment can ever be admitted. For to change one's mind, or even one's policy, is a confession of weakness. If, for example, Eurasia or Eastasia (whichever it may be) is the enemy today, then that country must

Переделка прошлого нужна по двум причинам. Одна из них, второстепенная и, так сказать, профилактическая, заключается в следующем. Партиец, как и пролетарий, терпит нынешние условия отчасти потому, что ему не с чем сравнивать. Он должен быть отрезан от прошлого так же, как от зарубежных стран, ибо ему надо верить, что он живет лучше предков и что уровень материальной обеспеченности неуклонно повышается. Но несравненно более важная причина для исправления прошлого -- в том, что надо охранять непогрешимость партии. Речи, статистика, всевозможные документы должны подгоняться под сегодняшний день для доказательства того, что предсказания партии всегда были верны. Мало того: нельзя признавать никаких перемен в доктрине и политической линии. Ибо изменить воззрения или хотя бы политику -- это значит признаться в слабости. Если, например, сегодня враг -- Евразия (или Остазия, неважно, кто), значит, она всегда была врагом. А если

always have been the enemy. And if the facts say otherwise then the facts must be altered. Thus history is continuously rewritten. This day-to-day falsification of the past, carried out by the Ministry of Truth, is as necessary to the stability of the regime as the work of repression and espionage carried out by the Ministry of Love.

факты говорят обратное, тогда факты надо изменить. Так непрерывно переписывается история. Эта ежедневная подчистка прошлого, которой занято министерство правды, так же необходима для устойчивости режима, как репрессивная и шпионская работа, выполняемая министерством любви.

The mutability of the past is the central tenet of Ingsoc. Past events, it is argued, have no objective existence, but survive only in written records and in human memories. The past is whatever the records and the memories agree upon. And since the Party is in full control of all records and in equally full control of the minds of its members, it follows that the past is whatever the Party chooses to make it. It also follows that though the past is alterable, it never has been altered in any specific instance. For when it has been recreated in whatever shape is needed at the moment, then this new version *is* the past, and no different past can ever have existed. This holds good even when, as often happens, the same event has to be altered out of recognition several times in the course of a year. At all times the Party is in possession of absolute truth, and clearly the absolute can never have been different from what it is now. It will be seen that the control of the past depends above all on the training of memory. To make sure that all written records agree with the orthodoxy of the moment is merely a mechanical act. But it is also necessary to *remember* that events happened in the desired manner. And if it is necessary to rearrange one's memories or to tamper with written records, then it is necessary to *forget* that one has done so. The trick of doing this can be learned like any other mental technique. It is learned by the majority of Party members, and certainly by all who are intelligent as well as orthodox. In Oldspeak it is called, quite frankly, “reality control”. In Newspeak it is called *doublethink*, though *doublethink* comprises much else as well.

Изменчивость прошлого -- главный догмат ангсоца. Утверждается, что события прошлого объективно не существуют, а сохраняются только в письменных документах и в человеческих воспоминаниях. Прошлое есть то, что согласуется с записями и воспоминаниями. А поскольку партия полностью распоряжается документами и умами своих членов, прошлое таково, каким его желает сделать партия. Отсюда же следует, что, хотя прошлое изменчиво, его ни в какой момент не меняли. Ибо если оно воссоздано в том виде, какой сейчас надобен, значит, эта новая версия *и есть* прошлое и никакого другого прошлого быть не могло. Сказанное справедливо и тогда, когда прошлое событие, как нередко бывает, меняется до неузнаваемости несколько раз в год. В каждое мгновение партия владеет абсолютной истиной; абсолютное же очевидно не может быть иным, чем сейчас. Понятно также, что управление прошлым прежде всего зависит от тренировки памяти. Привести все документы в соответствие с требованиями дня -- дело чисто механическое. Но ведь необходимо и *помнить*, что события происходили так, как требуется. А если необходимо переиначить воспоминания и подделать документы, значит, необходимо *забыть*, что это сделано. Этому фокусу можно научиться так же, как любому методу умственной работы. И большинство членов партии (а умные и правоверные -- все) ему научаются. На староязе это прямо называют «покорением действительности». На новоязе -- двоемыслием, хотя двоемыслие включает в себя и многое другое.

Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one's mind simultaneously, and accepting both of them. The Party intellectual knows in which direction his memories must be

Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания;

altered; he therefore knows that he is playing tricks with reality; but by the exercise of *doublethink* he also satisfies himself that reality is not violated. The process has to be conscious, or it would not be carried out with sufficient precision, but it also has to be unconscious, or it would bring with it a feeling of falsity and hence of guilt. *Doublethink* lies at the very heart of Ingsoc, since the essential act of the Party is to use conscious deception while retaining the firmness of purpose that goes with complete honesty. To tell deliberate lies while genuinely believing in them, to forget any fact that has become inconvenient, and then, when it becomes necessary again, to draw it back from oblivion for just so long as it is needed, to deny the existence of objective reality and all the while to take account of the reality which one denies -- all this is indispensably necessary. Even in using the word *doublethink* it is necessary to exercise *doublethink*. For by using the word one admits that one is tampering with reality; by a fresh act of *doublethink* one erases this knowledge; and so on indefinitely, with the lie always one leap ahead of the truth. Ultimately it is by means of *doublethink* that the Party has been able -- and may, for all we know, continue to be able for thousands of years -- to arrest the course of history.

All past oligarchies have fallen from power either because they ossified or because they grew soft. Either they became stupid and arrogant, failed to adjust themselves to changing circumstances, and were overthrown; or they became liberal and cowardly, made concessions when they should have used force, and once again were overthrown. They fell, that is to say, either through consciousness or through unconsciousness. It is the achievement of the Party to have produced a system of thought in which both conditions can exist simultaneously. And upon no other intellectual basis could the dominion of the Party be made permanent. If one is to rule, and to continue ruling, one must be able to dislocate the sense of reality. For the secret of rulership is to combine a belief in one's own infallibility with the Power to learn from past mistakes.

следовательно, сознает, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие -- душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твердо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, -- все это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом «двоемыслие», необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаешь, что мошенничаешь с действительностью; еще один акт двоемыслия -- и ты стер это в памяти; и так до бесконечности, причем ложь все время на шаг впереди истины. В конечном счете именно благодаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, еще тысячи лет может удаваться) остановить ход истории.

Все прошлые олигархии лишались власти либо из-за окостенения, либо из-за дряблости. Либо они становились тупыми и самонадеянными, переставали приспосабливаться к новым обстоятельствам и рушились, либо становились либеральными и трусливыми, шли на уступки, когда надо было применить силу, -- и опять-таки рушились. Иначе говоря, губила их сознательность или, наоборот, атрофия сознания. Успехи партии зиждятся на том, что она создала систему мышления, где оба состояния существуют одновременно. И ни на какой другой интеллектуальной основе ее владычество нерушимым быть не могло. Тому, кто правит и намерен править дальше, необходимо умение искажать чувство реальности. Ибо секрет владычества в том, чтобы вера в свою непогрешимость сочеталась с умением учитья на прошлых ошибках.

It need hardly be said that the subtlest practitioners of *doublethink* are those who invented *doublethink* and know that it is a vast system of mental cheating. In our society, those who have the best knowledge of what is happening are also those who are furthest from seeing the world as it is. In general, the greater the understanding, the greater the delusion; the more intelligent, the less sane. One clear illustration of this is the fact that war hysteria increases in intensity as one rises in the social scale. Those whose attitude towards the war is most nearly rational are the subject peoples of the disputed territories. To these people the war is simply a continuous calamity which sweeps to and fro over their bodies like a tidal wave. Which side is winning is a matter of complete indifference to them. They are aware that a change of overlordship means simply that they will be doing the same work as before for new masters who treat them in the same manner as the old ones. The slightly more favoured workers whom we call "the proles" are only intermittently conscious of the war. When it is necessary they can be prodded into frenzies of fear and hatred, but when left to themselves they are capable of forgetting for long periods that the war is happening. It is in the ranks of the Party, and above all of the Inner Party, that the true war enthusiasm is found. World-conquest is believed in most firmly by those who know it to be impossible. This peculiar linking-together of opposites -- knowledge with ignorance, cynicism with fanaticism -- is one of the chief distinguishing marks of Oceanic society. The official ideology abounds with contradictions even when there is no practical reason for them. Thus, the Party rejects and vilifies every principle for which the Socialist movement originally stood, and it chooses to do this in the name of Socialism. It preaches a contempt for the working class unexampled for centuries past, and it dresses its members in a uniform which was at one time peculiar to manual workers and was adopted for that reason. It systematically undermines the solidarity of the family, and it calls its leader by a name which is a direct appeal to the sentiment of family loyalty. Even the names of the four Ministries by which we are governed exhibit a sort of impudence in their deliberate reversal of the facts. The

Излишне говорить, что тоньше всех владеют двоемыслием те, кто изобрел двоемыслие и понимает его как грандиозную систему умственного надувательства. В нашем обществе те, кто лучше всех осведомлен о происходящем, меньше всех способны увидеть мир таким, каков он есть. В общем, чем больше понимания, тем сильнее иллюзии: чем умнее, тем безумнее. Наглядный пример -- военная истерия, нарастающая по мере того, как мы поднимаемся по социальной лестнице. Наиболее разумное отношение к войне -- у покоренных народов на спорных территориях. Для этих народов война -- просто нескончаемое бедствие, снова и снова прокатывающееся по их телам, подобно цунами. Какая сторона побеждает, им безразлично. Они знают, что при новых властителях будут делать прежнюю работу и обращаться с ними будут так же, как прежде. Находящиеся в чуть лучшем положении рабочие, которых мы называем «пролами», замечают войну лишь время от времени. Когда надо, их можно возбудить до исступленного гнева или страха, но, предоставленные самим себе, они забывают о ведущейся войне надолго. Подлинный военный энтузиазм мы наблюдаем в рядах партии, особенно внутренней партии. В завоевание мира больше всех верят те, кто знает, что оно невозможно. Это причудливое сцепление противоположностей -- знания с невежеством, циничности с фанатизмом -- одна из отличительных особенностей нашего общества. Официальное учение изобилует противоречиями даже там, где в них нет реальной нужды. Так, партия отвергает и чернит все принципы, на которых первоначально стоял социализм, -- и занимается этим во имя социализма. Она проповедует презрение к рабочему классу, невиданное в минувшие века, -- и одевает своих членов в форму, некогда привычную для людей физического труда и принятую именно по этой причине. Она систематически подрывает сплоченность семьи -- и зовет своего вождя именем, прямо апеллирующим к чувству семейной близости. Даже в названиях четырех министерств, которые нами управляют, -- беззастенчивое опрокидывание фактов. Министерство мира занимается войной, министерство

Ministry of Peace concerns itself with war, the Ministry of Truth with lies, the Ministry of Love with torture and the Ministry of Plenty with starvation. These contradictions are not accidental, nor do they result from ordinary hypocrisy; they are deliberate exercises in *doublethink*. For it is only by reconciling contradictions that power can be retained indefinitely. In no other way could the ancient cycle be broken. If human equality is to be for ever averted -- if the High, as we have called them, are to keep their places permanently -- then the prevailing mental condition must be controlled insanity.

But there is one question which until this moment we have almost ignored. It is; *why* should human equality be averted? Supposing that the mechanics of the process have been rightly described, what is the motive for this huge, accurately planned effort to freeze history at a particular moment of time?

Here we reach the central secret. As we have seen. the mystique of the Party, and above all of the Inner Party, depends upon *doublethink* But deeper than this lies the original motive, the never-questioned instinct that first led to the seizure of power and brought *doublethink*, the Thought Police, continuous warfare, and all the other necessary paraphernalia into existence afterwards. This motive really consists...

Winston became aware of silence, as one becomes aware of a new sound. It seemed to him that Julia had been very still for some time past. She was lying on her side, naked from the waist upwards, with her cheek pillowed on her hand and one dark lock tumbling across her eyes. Her breast rose and fell slowly and regularly.

“Julia.”

No answer.

“Julia, are you awake?”

No answer. She was asleep. He shut the book, put it carefully on the floor, lay down, and pulled the coverlet over both of them.

He had still, he reflected, not learned the ultimate secret. He understood *how*; he did not understand *why*. Chapter I, like Chapter III, had not actually told him anything that he did not know, it had

правды -- ложью, министерство любви -- пытками, министерство изобилия морит голодом. Такие противоречия не случайны и происходят не просто от лицемерия: это двоемыслие в действии. Ибо лишь примирение противоречий позволяет удерживать власть неограниченно долго. По-иному извечный цикл прервать нельзя. Если человеческое равенство надо навсегда сделать невозможным, если высшие, как мы их называем, хотят сохранить свое место навеки, тогда господствующим душевным состоянием должно быть управляемое безумие.

Но есть один вопрос, который мы до сих пор не затрагивали. *Почему* надо сделать невозможным равенство людей? Допустим, механика процесса описана верно -- каково же все-таки побуждение к этой колоссальной, точно спланированной деятельности, направленной на то, чтобы заморозить историю в определенной точке?

Здесь мы подходим к главной загадке. Как мы уже видели, мистический ореол вокруг партии, и прежде всего внутренней партии, обусловлен двоемыслием. Но под этим кроется исходный мотив, неисследованный инстинкт, который привел сперва к захвату власти, а затем породил и двоемыслие, и полицию мыслей, и постоянную войну, и прочие обязательные принадлежности строя. Мотив этот заключается...

Уинстон ощутил тишину, как ощущаешь новый звук. Ему показалось, что Джулия давно не шевелится. Она лежала на боку, до пояса голая, подложив ладонь под щеку, и темная прядь упала ей на глаза. Грудь у нее вздымалась медленно и мерно.

-- Джулия.

Нет ответа.

-- Джулия, ты не спишь?

Нет ответа. Она спала. Он закрыл книгу, опустил на пол, лег и натянул повыше одеяло -- на нее и на себя.

Он подумал, что так и не знает главного секрета. Он понимал *как*; он не понимал *зачем*. Первая глава, как и третья, не открыла ему, в сущности, ничего нового. Она просто привела его знания в

merely systematized the knowledge that he possessed already. But after reading it he knew better than before that he was not mad. Being in a minority, even a minority of one, did not make you mad. There was truth and there was untruth, and if you clung to the truth even against the whole world, you were not mad. A yellow beam from the sinking sun slanted in through the window and fell across the pillow. He shut his eyes. The sun on his face and the girl's smooth body touching his own gave him a strong, sleepy, confident feeling. He was safe, everything was all right. He fell asleep murmuring "Sanity is not statistical," with the feeling that this remark contained in it a profound wisdom.

систему. Однако книга окончательно убедила его в том, что он не безумец. Если ты в меньшинстве -- и даже в единственном числе, -- это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен. Желтый луч закатного солнца протянулся от окна к подушке. Уинстон закрыл глаза. От солнечного тепла на лице, оттого, что к нему прикасалось гладкое женское тело, им овладело спокойное, сонное чувство уверенности. Им ничто не грозит... все хорошо. Он уснул, бормоча: «Здравый рассудок -- понятие не статистическое», -- и ему казалось, что в этих словах заключена глубокая мудрость.

X

When he woke it was with the sensation of having slept for a long time, but a glance at the old-fashioned clock told him that it was only twenty-thirty. He lay dozing for a while; then the usual deep-lunged singing struck up from the yard below:

"*It was only an 'opeless fancy,*

It passed like an Ipril dye,

But a look an' a word an' the dreams they stirred

They 'ave stolen my 'eart awye!"

The driveling song seemed to have kept its popularity. You still heard it all over the place. It had outlived the Hate Song. Julia woke at the sound, stretched herself luxuriously, and got out of bed.

"I'm hungry," she said. "Let's make some more coffee. Damn! The stove's gone out and the water's cold." She picked the stove up and shook it. "There's no oil in it."

"We can get some from old Charrington, I expect."

"The funny thing is I made sure it was full. I'm going to put my clothes on," she added. "It seems to have got colder."

Winston also got up and dressed himself. The indefatigable voice sang on:

"*They sye that time 'eals all things,*

They sye you can always forget;

But the smiles an' the tears acrorss the years

They twist my 'eart-strings yet!"

As he fastened the belt of his overalls he strolled across to the window. The sun

X

Проснулся он с ощущением, что спал долго, но по старинным часам получалось, что сейчас только 20.30. Он опять задремал, а потом во дворе запел знакомый грудной голос:

Давно уж нет мечтаний, сердцу милых.

Они прошли, как первый день весны.

Но позабыть я и теперь не в силах

Былых надежд волнующие сны!

Дурацкая песенка, кажется, не вышла из моды. Ее пели по всему городу. Она пережила «Песню ненависти». Джулия, разбуженная пением, сладко потянулась и вылезла из постели.

-- Хочу есть, -- сказала она. -- Сварим еще кофе? Черт, керосинка погасла, вода остыла. -- Она подняла керосинку и поболтала. -- Керосину нет.

-- Наверное, можно попросить у старика.

-- Удивляюсь, она у меня была полная. Надо одеться. Похолодало как будто.

Уинстон тоже встал и оделся. Неугомонный голос продолжал петь:

Пусть говорят мне: время все излечит,

Пусть говорят: страдания забудь.

Но музыка давно забытой речи

Мне и сегодня разрывает грудь!

Застегнув пояс комбинезона, он подошел к окну. Солнце опустилось за дома -- уже

must have gone down behind the houses; it was not shining into the yard any longer. The flagstones were wet as though they had just been washed, and he had the feeling that the sky had been washed too, so fresh and pale was the blue between the chimney-pots. Tirelessly the woman marched to and fro, corking and uncorking herself, singing and falling silent, and pegging out more diapers, and more and yet more. He wondered whether she took in washing for a living or was merely the slave of twenty or thirty grandchildren. Julia had come across to his side; together they gazed down with a sort of fascination at the sturdy figure below. As he looked at the woman in her characteristic attitude, her thick arms reaching up for the line, her powerful mare-like buttocks protruded, it struck him for the first time that she was beautiful. It had never before occurred to him that the body of a woman of fifty, blown up to monstrous dimensions by childbearing, then hardened, roughened by work till it was coarse in the grain like an over-ripe turnip, could be beautiful. But it was so, and after all, he thought, why not? The solid, contourless body, like a block of granite, and the rasping red skin, bore the same relation to the body of a girl as the rose-hip to the rose. Why should the fruit be held inferior to the flower?

не светило на двор. Каменные плиты были мокрые, как будто их только что вымыли, и ему показалось, что небо тоже мыли -- так свежо и чисто голубело оно между дымоходами. Без устали шагала женщина взад и вперед, закупоривала себе рот и раскупоривала, запевала, умолкала и все вешала пеленки, вешала, вешала. Он подумал: зарабатывает она стиркой или просто обстирывает двадцать-тридцать внуков? Джулия подошла и стала рядом: мощная фигура во дворе приковывала взгляд. Вот женщина опять приняла обычную позу -- протянула толстые руки к веревке, отставив могучий круп, и Уинстон впервые подумал, что она красива. Ему никогда не приходило в голову, что тело пятидесятилетней женщины, чудовищно раздавшееся от многих родов, а потом загрубевшее, затвердевшее от работы, сделавшееся плотным, как репа, может быть красиво. Но оно было красиво, и Уинстон подумал: а почему бы, собственно, нет? С шершавой красной кожей, прочное и бесформенное, словно гранитная глыба, оно так же походило на девичье тело, как ягода шиповника -- на цветок. Но кто сказал, что плод хуже цветка?

“She’s beautiful,” he murmured.

-- Она красивая, -- прошептал Уинстон.

“She’s a metre across the hips, easily,” said Julia.

-- У нее бедра два метра в обхвате, -- отозвалась Джулия.

“That is her style of beauty,” said Winston.

-- Да, это красота в другом роде.

He held Julia’s supple waist easily encircled by his arm. From the hip to the knee her flank was against his. Out of their bodies no child would ever come. That was the one thing they could never do. Only by word of mouth, from mind to mind, could they pass on the secret. The woman down there had no mind, she had only strong arms, a warm heart, and a fertile belly. He wondered how many children she had given birth to. It might easily be fifteen. She had had her momentary flowering, a year, perhaps, of wild-rose beauty and then she had suddenly swollen like a fertilized fruit and grown hard and red and coarse, and then her life had been laundering, scrubbing, darning, cooking, sweeping, polishing, mending, scrubbing, laundering, first for children, then for grandchildren, over thirty unbroken years. At the end of it she was

Он держал ее, обхватив кругом талии одной рукой. Ее бедро прижималось к его бедру. Их тела никогда не произведут ребенка. Этого им не дано. Только устным словом, от разума к разуму, передадут они дальше свой секрет. У женщины во дворе нет разума -- только сильные руки, горячее сердце, плодоносное чрево. Он подумал: скольких она родила? Такая свободно могла и полтора десятка. Был и у нее недолгий расцвет, на год какой-нибудь распустилась, словно дикая роза, а потом вдруг набухла, как завязь, стала твердой, красной, шершавой, и пошло: стирка, уборка, штопка, стряпня, подметание, натирка, починка, уборка, стирка -- сперва на детей, потом на внуков, -- и так тридцать лет без передышки. И после этого еще поет. Мистическое

still singing. The mystical reverence that he felt for her was somehow mixed up with the aspect of the pale, cloudless sky, stretching away behind the chimney-pots into interminable distance. It was curious to think that the sky was the same for everybody, in Eurasia or Eastasia as well as here. And the people under the sky were also very much the same -- everywhere, all over the world, hundreds of thousands of millions of people just like this, people ignorant of one another's existence, held apart by walls of hatred and lies, and yet almost exactly the same -- people who had never learned to think but who were storing up in their hearts and bellies and muscles the power that would one day overturn the world. If there was hope, it lay in the proles! Without having read to the end of *the book*, he knew that that must be Goldstein's final message. The future belonged to the proles. And could he be sure that when their time came the world they constructed would not be just as alien to him, Winston Smith, as the world of the Party? Yes, because at the least it would be a world of sanity. Where there is equality there can be sanity. Sooner or later it would happen, strength would change into consciousness. The proles were immortal, you could not doubt it when you looked at that valiant figure in the yard. In the end their awakening would come. And until that happened, though it might be a thousand years, they would stay alive against all the odds, like birds, passing on from body to body the vitality which the Party did not share and could not kill.

благоговение перед ней как-то наложилось на картину чистого бледного неба над дымоходами, уходившего в бесконечную даль. Странно было думать, что небо у всех то же самое -- и в Евразии, и в Остазии, и здесь. И люди под небом те же самые -- всюду, по всему свету, сотни, тысячи миллионов людей, таких же, как эта: они не ведают о существовании друг друга, они разделены стенами ненависти и лжи и все же почти одинаковы: они не научились думать, но копят в сердцах, и чреслах, и мышцах мощь, которая однажды перевернет мир. Если есть надежда, то она -- в пролах. Он знал, что таков будет и вывод Голдстейна, хотя не дочел книгу до конца. Будущее за пролами. А можно ли быть уверенным, что, когда придет их время, для него, Уинстона Смита, мир, ими созданный, не будет таким же чужим, как мир партии? Да, можно, ибо новый мир будет наконец миром здравого рассудка. Где есть равенство, там может быть здравый рассудок. Рано или поздно это произойдет -- сила превратится в сознание. Пролы бессмертны: героическая фигура во дворе -- лучшее доказательство. И пока это не произойдет -- пусть надо ждать еще тысячу лет, -- они будут жить наперекор всему, как птицы, передавая от тела к телу жизненную силу, которой партия лишена и которую она не может убить.

"Do you remember," he said, "the thrush that sang to us, that first day, at the edge of the wood?"

-- Ты помнишь, -- спросил он, -- как в первый день на прогалине нам пел дрозд?

"He wasn't singing to us," said Julia. "He was singing to please himself. Not even that. He was just singing."

-- Он не нам пел, -- сказала Джулия. -- Он пел для собственного удовольствия. И даже не для этого. Просто пел.

The birds sang, the proles sang. the Party did not sing. All round the world, in London and New York, in Africa and Brazil, and in the mysterious, forbidden lands beyond the frontiers, in the streets of Paris and Berlin, in the villages of the endless Russian plain, in the bazaars of China and Japan -- everywhere stood the same solid unconquerable figure, made monstrous by work and childbearing, toiling from birth to death and still singing. Out of those mighty loins a race of conscious beings must one

Поют птицы, поют пролы, партия не поет. По всей земле, в Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, в таинственных запретных странах за границей, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях на бескрайних равнинах России, на базарах Китая и Японии -- всюду стоит эта крепкая непобедимая женщина, чудовищно раздавшаяся от родов и вековечного труда, -- и вопреки всему поет. Из этого мощного лона когда-нибудь может выйти племя сознательных

day come. You were the dead, theirs was the future. But you could share in that future if you kept alive the mind as they kept alive the body, and passed on the secret doctrine that two plus two make four.

существ. Ты -- мертвец; будущее -- за ними. Но ты можешь причаститься к этому будущему, если сохранишь живым разум, как они сохранили тело, и передашь дальше тайное учение о том, что дважды два -- четыре.

“We are the dead,” he said.

-- Мы -- покойники, -- сказал он.

“We are the dead,” echoed Julia dutifully.

-- Мы -- покойники, -- послушно согласилась Джулия.

“You are the dead,” said an iron voice behind them.

-- Вы покойники, -- раздался железный голос у них за спиной.

They sprang apart. Winston’s entrails seemed to have turned into ice. He could see the white all round the irises of Julia’s eyes. Her face had turned a milky yellow. The smear of rouge that was still on each cheekbone stood out sharply, almost as though unconnected with the skin beneath.

Они отпрянули друг от друга. Внутренности у него превратились в лед. Он увидел, как расширились глаза у Джулии. Лицо стало молочно-желтым. Румяна на скулах выступили ярче, как что-то отдельное от кожи.

“You are the dead,” repeated the iron voice.

-- Вы покойники, -- повторил железный голос.

“It was behind the picture,” breathed Julia.

-- Это за картинкой, -- прошептала Джулия.

“It was behind the picture,” said the voice. “Remain exactly where you are. Make no movement until you are ordered.”

-- Это за картинкой, -- произнес голос. -- Оставаться на своих местах. Двигаться только по приказу.

It was starting, it was starting at last! They could do nothing except stand gazing into one another’s eyes. To run for life, to get out of the house before it was too late -- no such thought occurred to them. Unthinkable to disobey the iron voice from the wall. There was a snap as though a catch had been turned back, and a crash of breaking glass. The picture had fallen to the floor uncovering the telescreen behind it.

Вот оно, началось! Началось! Они не могли пошевелиться и только смотрели друг на друга. Спасаться бегством, удрать из дома, пока не поздно, -- это им даже в голову не пришло. Немыслимо ослушаться железного голоса из стены. Послышался щелчок, как будто отодвинули щеколду, зазвенело разбитое стекло. Гравюра упала на пол, и под ней открылся телекран.

“Now they can see us,” said Julia.

-- Теперь они нас видят, -- сказала Джулия.

“Now we can see you,” said the voice. “Stand out in the middle of the room. Stand back to back. Clasp your hands behind your heads. Do not touch one another.”

-- Теперь мы вас видим, -- сказал голос. -- Встаньте в центре комнаты. Стоять спиной к спине. Руки за голову. Не прикасаться друг к другу.

They were not touching, but it seemed to him that he could feel Julia’s body shaking. Or perhaps it was merely the shaking of his own. He could just stop his teeth from chattering, but his knees were beyond his control. There was a sound of trampling boots below, inside the house and outside. The yard seemed to be full of men. Something was being dragged across the stones. The woman’s singing had stopped abruptly. There was a long, rolling clang, as though the washtub had been flung across

Уинстон не прикасался к Джулии, но чувствовал, как она дрожит всем телом. А может, это он сам дрожал. Зубами он еще мог не стучать, но колени его не слушались. Внизу -- в доме и снаружи -- топали тяжелые башмаки. Дом будто наполнился людьми. По плитам тащили какой-то предмет. Песня женщины оборвалась. Что-то загромыхало по камням -- как будто через весь двор швырнули корыто, потом поднялся галдеж, закончившийся криком боли.

the yard, and then a confusion of angry shouts which ended in a yell of pain.

“The house is surrounded,” said Winston.

-- Дом окружен, -- сказал Уинстон.

“The house is surrounded,” said the voice.

-- Дом окружен, -- сказал голос.

He heard Julia snap her teeth together. “I suppose we may as well say good-bye,” she said.

Он услышал, как лязгнули зубы у Джулии. -- Кажется, мы можем попрощаться, -- сказала она.

“You may as well say good-bye,” said the voice. And then another quite different voice, a thin, cultivated voice which Winston had the impression of having heard before, struck in; “And by the way, while we are on the subject, Here comes a candle to light you to bed, here comes a chopper to chop off your head!”

-- Можете попрощаться, -- сказал голос. Тут вмешался другой голос -- высокий, интеллигентный, показавшийся Уинстону знакомым: -- И раз уж мы коснулись этой темы: «Вот зажгу я пару свеч -- ты в постельку можешь лечь, вот возьму я острый меч -- и головка твоя с плеч».

Something crashed on to the bed behind Winston’s back. The head of a ladder had been thrust through the window and had burst in the frame. Someone was climbing through the window. There was a stampede of boots up the stairs. The room was full of solid men in black uniforms, with iron-shod boots on their feet and truncheons in their hands.

Позади Уинстона что-то со звоном посыпалось на кровать. В окно просунули лестницу, и конец ее торчал в раме. Кто-то лез к окну. На лестнице в доме послышался топот многих ног. Комнату наполнили крепкие мужчины в черной форме, в кованых башмаках и с дубинками наготове.

Winston was not trembling any longer. Even his eyes he barely moved. One thing alone mattered; to keep still, to keep still and not give them an excuse to hit you! A man with a smooth prize-fighter’s jowl in which the mouth was only a slit paused opposite him balancing his truncheon meditatively between thumb and forefinger. Winston met his eyes. The feeling of nakedness, with one’s hands behind one’s head and one’s face and body all exposed, was almost unbearable. The man protruded the tip of a white tongue, licked the place where his lips should have been, and then passed on. There was another crash. Someone had picked up the glass paperweight from the table and smashed it to pieces on the hearth-stone.

Уинстон больше не дрожал. Даже глаза у него почти остановились. Одно было важно: не шевелиться, не шевелиться, чтобы у них не было повода бить! Задумчиво покачивая в двух пальцах дубинку, перед ним остановился человек с тяжелой челюстью боксера и щелью вместо рта. Уинстон встретился с ним взглядом. Ощущение наготы оттого, что ты стоишь, сцепив руки на затылке, а лицо и тело не защищены, было почти непереносимым. Человек высунул кончик белого языка, облизнул то место, где полагалось быть губам, и прошел дальше. Опять раздался треск. Кто-то взял со стола стеклянное пресс-папье и вдребезги разбил о камин.

The fragment of coral, a tiny crinkle of pink like a sugar rosebud from a cake, rolled across the mat. How small, thought Winston, how small it always was! There was a gasp and a thump behind him, and he received a violent kick on the ankle which nearly flung him off his balance. One of the men had smashed his fist into Julia’s solar plexus, doubling her up like a pocket ruler. She was thrashing about on the floor, fighting for breath. Winston dared not turn his head even by a millimetre, but sometimes her livid, gasping face came

По половику прокатился осколок коралла -- крохотная розовая морщинка, как кусочек карамели с торта. Какой маленький, подумал Уинстон, какой же он был маленький! Сзади послышался удар по чему-то мягкому, кто-то охнул; Уинстона с силой пнули в лодыжку, чуть не сбив с ног. Один из полицейских ударил Джулию в солнечное сплетение, и она сложилась пополам. Она корчилась на полу и не могла вздохнуть. Уинстон не осмеливался повернуть голову на миллиметр, но ее бескровное лицо с

within the angle of his vision. Even in his terror it was as though he could feel the pain in his own body, the deadly pain which nevertheless was less urgent than the struggle to get back her breath. He knew what it was like; the terrible, agonizing pain which was there all the while but could not be suffered yet, because before all else it was necessary to be able to breathe. Then two of the men hoisted her up by knees and shoulders, and carried her out of the room like a sack. Winston had a glimpse of her face, upside down, yellow and contorted, with the eyes shut, and still with a smear of rouge on either cheek; and that was the last he saw of her.

разинутым ртом очутилось в поле его зрения. Несмотря на ужас, он словно чувствовал ее боль в своем теле -- смертельную боль, и все же не такую невыносимую, как удушье. Он знал, что это такое: боль ужасная, мучительная, никак не отступающая -- но терпеть ее еще не надо, потому что все заполнено одним: воздуху! Потом двое подхватили ее за колени и за плечи и вынесли из комнаты, как мешок. Перед Уинстоном мелькнуло ее лицо, запрокинувшееся, искаженное, желтое, с закрытыми глазами и пятнами румян на щеках; он видел ее в последний раз.

He stood dead still. No one had hit him yet. Thoughts which came of their own accord but seemed totally uninteresting began to flit through his mind. He wondered whether they had got Mr. Charrington. He wondered what they had done to the woman in the yard. He noticed that he badly wanted to urinate, and felt a faint surprise, because he had done so only two or three hours ago. He noticed that the clock on the mantelpiece said nine, meaning twenty-one. But the light seemed too strong. Would not the light be fading at twenty-one hours on an August evening? He wondered whether after all he and Julia had mistaken the time -- had slept the clock round and thought it was twenty-thirty when really it was nought eight-thirty on the following morning. But he did not pursue the thought further. It was not interesting.

Он застыл на месте. Пока что его не били. В голове замелькали мыслн, совсем ненужные. Взяли или нет мистера Чаррингтона? Что они сделали с женщиной во дворе? Он заметил, что ему очень хочется по малой нужде, и это его слегка удивило: он был в уборной всего два-три часа назад. Заметил, что часы на камине показывают девять, то есть 21. Но на дворе было совсем светло. Разве в августе не темнеет к двадцати одному часу? А может быть, они с Джулией все-таки перепутали время -- проспали полсуток, и было тогда не 20.30, как они думали, а уже 8.30 утра? Но развивать эту мысль не стал. Она его не занимала.

There ws another, lighter step in the passage. Mr. Charrington came into the room. The demeanour of the black-uniformed men suddenly became more subdued. Something had also changed in Mr. Charrington's appearance. His eye fell on the fragments of the glass paperweight.

В коридоре послышались еще чьи-то шаги, более легкие. В комнату вошел мистер Чаррингтон. Люди в черном сразу притихли. И сам мистер Чаррингтон как-то изменился. Взгляд его упал на осколки пресс-папье.

"Pick up those pieces," he said sharply.

-- Подберите стекло, -- резко сказал он.

A man stooped to obey. The cockney accent had disappeared; Winston suddenly realized whose voice it was that he had heard a few moments ago on the telescreen. Mr. Charrington was still wearing his old velvet jacket, but his hair, which had been almost white, had turned black. Also he was not wearing his spectacles. He gave Winston a single sharp glance, as though verifying his identity, and then paid no more attention to him. He was still

Один человек послушно нагнулся. Простонародный лондонский выговор у хозяина исчез; Уинстон вдруг сообразил, что это его голос только что звучал в телекране. Мистер Чаррингтон по-прежнему был в старом бархатном пиджаке, но его волосы, почти совсем седые, стали черными. И очков на нем не было. Он кинул на Уинстона острый взгляд, как бы опознавая его, и больше им не интересовался. Он был похож на

recognizable, but he was not the same person any longer. His body had straightened, and seemed to have grown bigger. His face had undergone only tiny changes that had nevertheless worked a complete transformation. The black eyebrows were less bushy, the wrinkles were gone, the whole lines of the face seemed to have altered; even the nose seemed shorter. It was the alert, cold face of a man of about five-and-thirty. It occurred to Winston that for the first time in his life he was looking, with knowledge, at a member of the Thought Police.

себя прежнего, но это был другой человек. Он выпрямился, как будто стал крупнее. В лице произошли только мелкие изменения -- но при этом оно преобразилось совершенно. Черные брови казались не такими кустистыми, морщины исчезли, изменился и очерк лица; даже нос стал короче. Это было лицо настороженного хладнокровного человека лет тридцати пяти. Уинстон подумал, что впервые в жизни видит перед собой с полной определенностью сотрудника полиции мыслей.

PART III

Третья

I

I

He did not know where he was. Presumably he was in the Ministry of Love, but there was no way of making certain. He was in a high-ceilinged windowless cell with walls of glittering white porcelain. Concealed lamps flooded it with cold light, and there was a low, steady humming sound which he supposed had something to do with the air supply. A bench, or shelf, just wide enough to sit on ran round the wall, broken only by the door and, at the end opposite the door, a lavatory pan with no wooden seat. There were four telescreens, one in each wall.

Уинстон не знал, где он. Вероятно, его привезли в министерство любви, но удостовериться в этом не было никакой возможности.Он находился в камере без окон, с высоким потолком и белыми, сияющими кафельными стенами. Скрытые лампы заливали ее холодным светом, и слышалось ровное тихое гудение -- он решил, что это вентиляция. Вдоль всех стен, с промежутком только в двери, тянулась то ли скамья, то ли полка, как раз такой ширины, чтобы сесть, а в дальнем конце, напротив двери, стояло ведро без стульчака. На каждой стене было по телекрану -- четыре штуки.

There was a dull aching in his belly. It had been there ever since they had bundled him into the closed van and driven him away. But he was also hungry, with a gnawing, unwholesome kind of hunger. It might be twenty-four hours since he had eaten, it might be thirty-six. He still did not know, probably never would know, whether it had been morning or evening when they arrested him. Since he was arrested he had not been fed.

Он чувствовал тупую боль в животе. Заболело еще тогда, когда Уинстона запихнули в фургон и повезли. Ему хотелось есть -- голод был сосущий, нездоровый. Он не ел, наверное, сутки, а то и полтора суток. Он так и не понял, и скорее всего не поймет, когда же его арестовали, вечером или утром. После ареста ему не давали есть.

He sat as still as he could on the narrow bench, with his hands crossed on his knee. He had already learned to sit still. If you made unexpected movements they yelled at you from the telescreen. But the craving for food was growing upon him. What he longed for above all was a piece of bread. He had an idea that there were a few breadcrumbs in the pocket of his overalls. It was even possible -- he thought this because from time to time something seemed to tickle his leg -- that there might be a sizeable bit of crust there. In the end

Как можно тише он сел на узкую скамью и сложил руки на колене. Он уже научился сидеть тихо. Если делаешь неожиданное движение, на тебя кричит телекран. А голод донимал все злее. Больше всего ему хотелось хлеба. Он предполагал, что в кармане комбинезона завалялись крошки. Или даже -- что еще там могло щекотать ногу? -- кусок корки. В конце концов искушение пересилило страх; он сунул руку в карман.

the temptation to find out overcame his fear; he slipped a hand into his pocket.

“Smith!” yelled a voice from the telescreen. “6079 Smith W! Hands out of pockets in the cells!”

He sat still again, his hands crossed on his knee. Before being brought here he had been taken to another place which must have been an ordinary prison or a temporary lock-up used by the patrols. He did not know how long he had been there; some hours at any rate; with no clocks and no daylight it was hard to gauge the time. It was a noisy, evil-smelling place. They had put him into a cell similar to the one he was now in, but filthily dirty and at all times crowded by ten or fifteen people. The majority of them were common criminals, but there were a few political prisoners among them. He had sat silent against the wall, jostled by dirty bodies, too preoccupied by fear and the pain in his belly to take much interest in his surroundings, but still noticing the astonishing difference in demeanour between the Party prisoners and the others. The Party prisoners were always silent and terrified, but the ordinary criminals seemed to care nothing for anybody. They yelled insults at the guards, fought back fiercely when their belongings were impounded, wrote obscene words on the floor, ate smuggled food which they produced from mysterious hiding-places in their clothes, and even shouted down the telescreen when it tried to restore order. On the other hand some of them seemed to be on good terms with the guards, called them by nicknames, and tried to wheedle cigarettes through the spyhole in the door. The guards, too, treated the common criminals with a certain forbearance, even when they had to handle them roughly. There was much talk about the forced-labour camps to which most of the prisoners expected to be sent. It was “all right” in the camps, he gathered, so long as you had good contacts and knew the ropes. There was bribery, favouritism, and racketeering of every kind, there was homosexuality and prostitution, there was even illicit alcohol distilled from potatoes. The positions of trust were given only to the common criminals, especially the gangsters and the murderers, who formed a sort of aristocracy. All the dirty jobs were done by the politicals.

-- Смит! -- гаркнуло из телекрана. -- Шестьдесят -- семьдесят девять, Смит У.! Руки из карманов в камере!

Он опять застыл, сложив руки на колене. Перед тем как попасть сюда, он побывал в другом месте -- не то в обыкновенной тюрьме, не то в камере предварительного заключения у патрульных. Он не знал, долго ли там пробыл -- во всяком случае, не один час: без окна и без часов о времени трудно судить. Место было шумное, вонючее. Его поместили в камеру вроде этой, но отвратительно грязную, и теснилось в ней не меньше десяти -- пятнадцати человек. В большинстве обыкновенные уголовники, но были и политические. Он молча сидел у стены, стиснутый грязными телами, от страха и боли в животе почти не обращал внимания на сокамерников -- и тем не менее удивился, до чего по-разному ведут себя партийцы и остальные. Партийцы были молчаливы и напуганы, а уголовники, казалось, не боятся никого. Они выкрикивали оскорбления надзирателям, яростно сопротивлялись, когда у них отбирали пожитки, писали на полу непристойности, ели пищу, пронесенную контрабандой и спрятанную в непонятных местах под одеждой, и даже огрызались на телекраны, призывавшие к порядку. С другой стороны, некоторые из них как будто были на дружеской ноге с надзирателями, звали их по кличкам и через глазок клянчили у них сигареты. Надзиратели относились к уголовникам снисходительно, даже когда приходилось применять к ним силу. Много было разговоров о каторжных лагерях, куда предстояло отправиться большинству арестованных. В лагерях «нормально», понял Уинстон, если знаешь что к чему и имеешь связи. Там подкуп, блат и всяческое вымогательство, там педерастия и проституция и даже самогон из картошки. На должностях только уголовники, особенно бандиты и убийцы -- это аристократия. Самая черная работа достается политическим.

There was a constant come-and-go of prisoners of every description: drug-peddlers, thieves, bandits, black-marketeers, drunks, prostitutes. Some of the drunks were so violent that the other prisoners had to combine to suppress them. An enormous wreck of a woman, aged about sixty, with great tumbling breasts and thick coils of white hair which had come down in her struggles, was carried in, kicking and shouting, by four guards, who had hold of her one at each corner. They wrenched off the boots with which she had been trying to kick them, and dumped her down across Winston's lap, almost breaking his thigh-bones. The woman hoisted herself upright and followed them out with a yell of "F-- bastards!" Then, noticing that she was sitting on something uneven, she slid off Winston's knees on to the bench.

Через камеру непрерывно текли самые разные арестанты: торговцы наркотиками, воры, бандиты, спекулянты, пьяницы, проститутки. Пьяницы иногда буянили так, что остальным приходилось усмирять их сообща. Четверо надзирателей втащили, растянув за четыре конечности, громадную растерзанную бабищу лет шестидесяти, с большой вислой грудью; она кричала, дрыгала ногами, и от возни ее седые волосы рассыпались толстыми извилистыми прядами. Она все время норовила пнуть надзирателей, и, сорвав с нее ботинки, они свалили ее на Уинстона, чуть не сломав ему ноги. Женщина села и крикнула им вдогонку: «За...цы!» Потом почувствовала, что сидит на неровном, и сползла с его колен на скамью.

"Beg pardon, dearie," she said. "I wouldn't 'a sat on you, only the buggers put me there. They dono 'ow to treat a lady, do they?" She paused, patted her breast, and belched. "Pardon," she said, "I ain't meself, quite."

-- Извини, голубок, -- сказала она. -- Я не сама на тебя села -- паразиты посадили. Видал, что с женщиной творят? -- Она замолчала, похлопала себя по груди и рыгнула. -- Извиняюсь. Сама не своя.

She leant forward and vomited copiously on the floor.

Она наклонилась, и ее обильно вырвало на пол.

"Thass better," she said, leaning back with closed eyes. "Never keep it down, thass what I say. Get it up while it's fresh on your stomach, like."

-- Все полегче, -- сказала она, с закрытыми глазами откинувшись к стене. -- Я так говорю: никогда в себе не задерживай. Выпускай, чтоб в животе не закисло.

She revived, turned to have another look at Winston and seemed immediately to take a fancy to him. She put a vast arm round his shoulder and drew him towards her, breathing beer and vomit into his face.

Она слегка ожила, повернулась, еще раз взглянула на Уинстона и моментально к нему расположилась. Толстой ручищей она обняла его за плечи и притянула к себе, дыша в лицо пивом и рвотой.

"Wass your name, dearie?" she said.

-- Звать-то тебя как, голубок?

"Smith," said Winston.

-- Смит, -- сказал Уинстон.

"Smith?" said the woman. "Thass funny. My name's Smith too. Why," she added sentimentally, "I might be your mother!"

-- Смит? Смотри ты. И я Смит. -- И, расчувствовавшись, добавила: -- Я тебе матерью могла быть.

She might, thought Winston, be his mother. She was about the right age and physique, and it was probable that people changed somewhat after twenty years in a forced-labour camp.

Могла быть и матерью, подумал Уинстон. И по возрасту, и по телосложению -- а за двадцать лет в лагере человек, надо полагать, меняется.

No one else had spoken to him. To a surprising extent the ordinary criminals ignored the Party prisoners. "The pol*its*," they called them, with a sort of uninterested contempt. The Party prisoners seemed terrified of speaking to anybody,

Больше никто с ним не заговаривал. Удивительно было, насколько уголовники игнорируют партийных. Называли они их с нескрываемым презрением «политики». Арестованные партийцы вообще боялись разговаривать, а друг с другом -- в

and above all of speaking to one another. Only once, when two Party members, both women, were pressed close together on the bench, he overheard amid the din of voices a few hurriedly-whispered words; and in particular a reference to something called "room one-oh-one", which he did not understand.

особенности. Только раз, когда двух партийных женщин притиснули друг к дружке на скамье, он услышал в общем гомоне обрывки их торопливого шепота -- в частности, о какой-то «комнате сто один», что-то совершенно непонятное.

It might be two or three hours ago that they had brought him here. The dull pain in his belly never went away, but sometimes it grew better and sometimes worse, and his thoughts expanded or contracted accordingly. When it grew worse he thought only of the pain itself, and of his desire for food. When it grew better, panic took hold of him. There were moments when he foresaw the things that would happen to him with such actuality that his heart galloped and his breath stopped. He felt the smash of truncheons on his elbows and iron-shod boots on his shins; he saw himself grovelling on the floor, screaming for mercy through broken teeth. He hardly thought of Julia. He could not fix his mind on her. He loved her and would not betray her; but that was only a fact, known as he knew the rules of arithmetic. He felt no love for her, and he hardly even wondered what was happening to her. He thought oftener of O'Brien, with a flickering hope. O'Brien might know that he had been arrested. The Brotherhood, he had said, never tried to save its members. But there was the razor blade; they would send the razor blade if they could. There would be perhaps five seconds before the guard could rush into the cell. The blade would bite into him with a sort of burning coldness, and even the fingers that held it would be cut to the bone. Everything came back to his sick body, which shrank trembling from the smallest pain. He was not certain that he would use the razor blade even if he got the chance. It was more natural to exist from moment to moment, accepting another ten minutes' life even with the certainty that there was torture at the end of it.

В новой камере он сидел, наверно, уже два часа, а то и три. Тупая боль в животе не проходила, но временами ослабевала, а временами усиливалась -- соответственно мысли его то распространялись, то съеживались. Когда боль усиливалась, он думал только о ней и о том, что хочется есть. Когда она отступала, его охватывала паника. Иной раз предстоящее рисовалось ему так ясно, что дух занимался и сердце неслось вскачь. Он ощущал удары дубинки по локтю и подкованных сапог -- по щиколоткам; видел, как ползает по полу и, выплевывая зубы, кричит «не надо!». О Джулии он почти не думал. Не мог на ней сосредоточиться. Он любил ее и он ее не предаст; но это был просто факт, известный, как известно правило арифметики. Любви он не чувствовал и даже не особенно думал о том, что сейчас происходит с Джулией. О'Брайена он вспоминал чаще -- и с проблесками надежды. О'Брайен должен знать, что его арестовали. Братство, сказал он, никогда не пытается выручить своих. Но -- бритвенное лезвие; если удастся, они передадут ему бритву. Пока надзиратели прибегут в камеру, пройдет секунд пять. Лезвие вопьется обжигающим холодом, и даже пальцы, сжавшие его, будут прорезаны до кости. Все это он ощущал явственно, а измученное тело и так дрожало и сжималось от малейшей боли. Уинстон не был уверен, что воспользуется бритвой, даже если получит ее в руки. Человеку свойственно жить мгновением, он согласится продлить жизнь хоть на десять минут, даже зная наверняка, что в конце его ждет пытка.

Sometimes he tried to calculate the number of porcelain bricks in the walls of the cell. It should have been easy, but he always lost count at some point or another. More often he wondered where he was, and what time of day it was. At one moment he felt certain that it was broad daylight outside, and at the next equally certain that it was pitch

Несколько раз он пытался сосчитать изразцы на стенах камеры. Казалось бы, простое дело, но всякий раз он сбивался со счета. Чаще он думал о том, куда его посадили и какое сейчас время суток. Минуту назад он был уверен, что на улице день в разгаре, а сейчас так же твердо -- что за стенами тюрьмы глухая

darkness. In this place, he knew instinctively, the lights would never be turned out. It was the place with no darkness: he saw now why O'Brien had seemed to recognize the allusion. In the Ministry of Love there were no windows. His cell might be at the heart of the building or against its outer wall; it might be ten floors below ground, or thirty above it. He moved himself mentally from place to place, and tried to determine by the feeling of his body whether he was perched high in the air or buried deep underground.

ночь. Инстинкт подсказывал, что в таком месте свет вообще не выключают. Место, где нет темноты; теперь ему стало ясно, почему О'Брайен как будто сразу понял эти слова. В министерстве любви не было окон. Камера его может быть и в середке здания, и у внешней стены, может быть под землей на десятом этаже, а может -- на тридцатом над землей. Он мысленно двигался с места на место -- не подскажет ли тело, где он, высоко над улицей или погребен в недрах.

There was a sound of marching boots outside. The steel door opened with a clang. A young officer, a trim black-uniformed figure who seemed to glitter all over with polished leather, and whose pale, straight-featured face was like a wax mask, stepped smartly through the doorway. He motioned to the guards outside to bring in the prisoner they were leading. The poet Ampleforth shambled into the cell. The door clanged shut again.

Снаружи послышался мерный топот. Стальная дверь с лязгом распахнулась. Браво вошел молодой офицер в ладном черном мундире, весь сияющий кожей, с бледным правильным лицом, похожим на восковую маску. Он знаком приказал надзирателям за дверью ввести арестованного. Спотыкаясь, вошел поэт Амплфорт. Дверь с лязгом захлопнулась.

Ampleforth made one or two uncertain movements from side to side, as though having some idea that there was another door to go out of, and then began to wander up and down the cell. He had not yet noticed Winston's presence. His troubled eyes were gazing at the wall about a metre above the level of Winston's head. He was shoeless; large, dirty toes were sticking out of the holes in his socks. He was also several days away from a shave. A scrubby beard covered his face to the cheekbones, giving him an air of ruffianism that went oddly with his large weak frame and nervous movements.

Поэт неуверенно ткнулся в одну сторону и в другую, словно думая, что где-то будет еще одна дверь, выход, а потом стал ходить взад и вперед по камере. Уинстона он еще не заметил. Встревоженный взгляд его скользил по стене на метр выше головы Уинстона. Амплфорт был разут; из дыр в носках выглядывали крупные грязные пальцы. Он несколько дней не брился. Лицо, до скул заросшее щетиной, приобрело разбойничий вид, не вязавшийся с его большой расхлябанной фигурой и нервностью движений.

Winston roused hirnself a little from his lethargy. He must speak to Ampleforth, and risk the yell from the telescreen. It was even conceivable that Ampleforth was the bearer of the razor blade.

Уинстон старался стряхнуть оцепенение. Он должен поговорить с Амплфортом -- даже если за этим последует окрик из телекрана. Не исключено, что с Амплфортом прислали бритву.

"Ampleforth," he said.

-- Амплфорт, -- сказал он.

There was no yell from the telescreen. Ampleforth paused, mildly startled. His eyes focused themselves slowly on Winston.

Телекран молчал. Амплфорт, слегка опешив, остановился. Взгляд его медленно сфокусировался на Уинстоне.

"Ah, Smith!" he said. "You too!"

-- А-а, Смит! -- сказал он. -- И вы тут!

"What are you in for?"

-- За что вас?

"To tell you the truth --." He sat down awkwardly on the bench opposite Winston. "There is only one offence, is there not?" he said.

-- По правде говоря... -- Он неуклюже опустился на скамью напротив Уинстона. -- Ведь есть только одно преступление?

"And have you committed it?"

-- И вы его совершили?

"Apparently I have."

-- Очевидно, да.

He put a hand to his forehead and pressed his temples for a moment, as though trying to remember something.

Он поднес руку ко лбу и сжал пальцами виски, словно что-то припоминая.

"These things happen," he began vaguely. "I have been able to recall one instance -- a possible instance. It was an indiscretion, undoubtedly. We were producing a definitive edition of the poems of Kipling. I allowed the word 'God' to remain at the end of a line. I could not help it!" he added almost indignantly, raising his face to look at Winston. "It was impossible to change the line. The rhyme was 'rod'. Do you realize that there are only twelve rhymes to 'rod' in the entire language? For days I had racked my brains. There was no other rhyme."

-- Такое случается, -- неуверенно начал он. -- Я могу припомнить одно обстоятельство... возможное обстоятельство. Неосторожность с моей стороны -- это несомненно. Мы готовили каноническое издание стихов Киплинга. Я оставил в конце строки слово «молитва». Ничего не мог сделать! -- добавил он почти с негодованием и поднял глаза на Уинстона. -- Невозможно было изменить строку. Рифмовалось с «битвой». Вам известно, что с «битвой» рифмуются всего три слова? Ломал голову несколько дней. Не было другой рифмы.

The expression on his face changed. The annoyance passed out of it and for a moment he looked almost pleased. A sort of intellectual warmth, the joy of the pedant who has found out some useless fact, shone through the dirt and scrubby hair.

Выражение его лица изменилось. Досада ушла, и сейчас вид у него был чуть ли не довольный. Сквозь грязь и щетину проглянул энтузиазм, радость педанта, откопавшего какой-то бесполезный фактик.

"Has it ever occurred to you," he said, "that the whole history of English poetry has been determined by the fact that the English language lacks rhymes?"

-- Вам когда-нибудь приходило в голову, что все развитие нашей поэзии определялось бедностью рифм в языке?

No, that particular thought had never occurred to Winston. Nor, in the circumstances, did it strike him as very important or interesting.

Нет, эта мысль Уинстону никогда не приходила в голову. И в нынешних обстоятельствах она тоже не показалась ему особенно интересной и важной.

"Do you know what time of day it is?" he said.

-- Вы не знаете, который час? -- спросил он.

Ampleforth looked startled again. "I had hardly thought about it. They arrested me -- it could be two days ago -- perhaps three." His eyes flitted round the walls, as though he half expected to find a window somewhere. "There is no difference between night and day in this place. I do not see how one can calculate the time."

Амплфорт опять опешил. -- Я об атом как-то не задумывался. Меня арестовали... дня два назад... или три. -- Он окинул взглядом стены, словно все-таки надеялся увидеть окно. -- Тут день от ночи не отличишь. Не понимаю, как тут можно определить время.

They talked desultorily for some minutes, then, without apparent reason, a yell from the telescreen bade them be silent. Winston sat quietly, his hands crossed. Ampleforth, too large to sit in comfort on the narrow bench, fidgeted from side to side, clasping his lank hands first round one knee, then round the other. The telescreen barked at him to keep still. Time passed. Twenty minutes, an hour -- it was difficult to judge. Once more there was a sound of boots

Они поговорили бессвязно еще несколько минут, а потом, без всякой видимой причины телекран рявкнул на них: замолчать. Уинстон затих, сложив руки на колене. Большому Амплфорту было неудобно на узкой скамье, он ерзал, сдвигался влево, вправо, обхватывал худыми руками то одно колено, то другое. Телекран снова рявкнул: сидеть тихо. Время шло. Двадцать минут, час -- понять было трудно. Снаружи опять

outside. Winston's entrails contracted. Soon, very soon, perhaps in five minutes, perhaps now, the tramp of boots would mean that his own turn had come.

затопали башмаки. У Уинстона схватило живот. Скоро, очень скоро, может быть, через пять минут затопают так же, и это будет значить, что настал его черед.

The door opened. The cold-faced young officer stepped into the cell. With a brief movement of the hand he indicated Ampleforth.

Открылась дверь. Офицер с безучастным лицом вошел в камеру. Легким движением руки он показал на Амплфорта.

"Room 101," he said.

-- В комнату сто один, -- произнес он.

Ampleforth marched clumsily out between the guards, his face vaguely perturbed, but uncomprehending.

Амплфорт в смутной тревоге и недоумении неуклюже вышел с двумя надзирателями.

What seemed like a long time passed. The pain in Winston's belly had revived. His mind sagged round and round on the same trick, like a ball falling again and again into the same series of slots. He had only six thoughts. The pain in his belly; a piece of bread; the blood and the screaming; O'Brien; Julia; the razor blade. There was another spasm in his entrails, the heavy boots were approaching. As the door opened, the wave of air that it created brought in a powerful smell of cold sweat. Parsons walked into the cell. He was wearing khaki shorts and a sports-shirt.

Прошло как будто много времени. Уинстона донимала боль в животе. Мысли снова и снова ползли по одним и тем же предметам, как шарик, все время застревающий в одних и тех же лунках. Мыслей у него было шесть. Болит живот; кусок хлеба; кровь и вопли; О'Брайен; Джулия; бритва. Живот опять схватило: тяжелый топот башмаков приближался. Дверь распахнулась, и Уинстона обдало запахом старого пота. В камеру вошел Парсонс. Он был в шортах защитного цвета и в майке.

This time Winston was startled into self-forgetfulness.

От изумления Уинстон забыл обо всем.

"*You* here!" he said.

-- Вы здесь! -- сказал он.

Parsons gave Winston a glance in which there was neither interest nor surprise, but only misery. He began walking jerkily up and down, evidently unable to keep still. Each time he straightened his pudgy knees it was apparent that they were trembling. His eyes had a wide-open, staring look, as though he could not prevent himself from gazing at something in the middle distance.

Парсонс бросил на Уинстона взгляд, в котором не было ни интереса, ни удивления, а только пришибленность. Он нервно заходил по камере -- по-видимому, не мог сидеть спокойно. Заметно было, как дрожат его пухлые колени. Широко раскрытые глаза неподвижно смотрели вперед, словно не могли оторваться от какого-то предмета вдалеке.

"What are you in for?" said Winston.

-- За что вас арестовали? -- спросил Уинстон.

"Thoughtcrime!" said Parsons, almost blubbering. The tone of his voice implied at once a complete admission of his guilt and a sort of incredulous horror that such a word could be applied to himself. He paused opposite Winston and began eagerly appealing to him: "You don't think they'll shoot me, do you, old chap? They don't shoot you if you haven't actually done anything -- only thoughts, which you can't help? I know they give you a fair hearing. Oh, I trust them for that! They'll know my record, won't they? *You* know what kind of chap I was. Not a bad chap in my way. Not

-- Мыслепреступление! -- сказал Парсонс, чуть не плача. В голосе его слышалось и глубокое раскаяние и смешанный с изумлением ужас: неужели это слово относится к нему? Он стал напротив Уинстона и страстно, умоляюще начал: -- Ведь меня не расстреляют, скажите, Смит? У нас же не расстреливают, если ты ничего не сделал... только за мысли, а мыслям ведь не прикажешь. Я знаю, там разберутся, выслушают. В это я твердо верю. Там же знают, как я старался. Вы-то знаете, что я за человек. Неплохой по-своему. Ума, конечно, небольшого, но

brainy, of course, but keen. I tried to do my best for the Party, didn't I? I'll get off with five years, don't you think? Or even ten years? A chap like me could make himself pretty useful in a labour-camp. They wouldn't shoot me for going off the rails just once?"

увлеченный. Сил для партии не жалел, правда ведь? Как думаете, пятью годами отделаюсь? Ну, пускай десятью. Такой, как я, может принести пользу в лагере. За то, что один раз споткнулся, ведь не расстреляют?

"Are you guilty?" said Winston.

-- Вы виноваты? -- спросил Уинстон.

"Of course I'm guilty!" cried Parsons with a servile glance at the telescreen. "You don't think the Party would arrest an innocent man, do you?" His frog-like face grew calmer, and even took on a slightly sanctimonious expression. "Thoughtcrime is a dreadful thing, old man," he said sententiously. "It's insidious. It can get hold of you without your even knowing it. Do you know how it got hold of me? In my sleep! Yes, that's a fact. There I was, working away, trying to do my bit -- never knew I had any bad stuff in my mind at all. And then I started talking in my sleep. Do you know what they heard me saying?"

-- Конечно, виноват! -- вскричал Парсонс, подобострастно взглянув на телекран. -- Неужели же партия арестует невиноватого, как, по-вашему? -- Его лягушачье лицо стало чуть спокойней, и на нем даже появилось ханжеское выражение. -- Мыслепреступление -- это жуткая штука, Смит, -- нравоучительно произнес он. -- Коварная. Нападает так, что не заметишь. Знаете, как на меня напало? Во сне. Верно вам говорю. Работал вовсю, вносил свою лепту -- и даже не знал, что в голове у меня есть какая-то дрянь. А потом стал во сне разговаривать. Знаете, что от меня услышали?

He sank his voice, like someone who is obliged for medical reasons to utter an obscenity.

Он понизил голос, как человек, вынужденный по медицинским соображениям произнести непристойность:

"'Down with Big Brother!' Yes, I said that! Said it over and over again, it seems. Between you and me, old man, I'm glad they got me before it went any further. Do you know what I'm going to say to them when I go up before the tribunal? 'Thank you,' I'm going to say, 'thank you for saving me before it was too late.'"

-- Долой Старшего Брата! Вот что я говорил. И кажется, много раз. Между нами, я рад, что меня забрали, пока это дальше не зашло. Знаете, что я скажу, когда меня поставят перед трибуналом? Я скажу: «Спасибо вам. Спасибо, что спасли меня вовремя».

"Who denounced you?" said Winston.

-- Кто о вас сообщил? -- спросил Уинстон.

"It was my little daughter," said Parsons with a sort of doleful pride. "She listened at the keyhole. Heard what I was saying, and nipped off to the patrols the very next day. Pretty smart for a nipper of seven, eh? I don't bear her any grudge for it. In fact I'm proud of her. It shows I brought her up in the right spirit, anyway."

-- Дочурка, -- со скорбной гордостью ответил Парсонс. -- Подслушивала в замочную скважину. Услышала, что я говорю, и на другой же день -- шасть к патрулям. Недурно для семилетней пигалицы, а? Я на нее не в обиде. Наоборот, горжусь. Это показывает, что я воспитал ее в правильном духе.

He made a few more jerky movements up and down, several times, casting a longing glance at the lavatory pan. Then he suddenly ripped down his shorts.

Он несколько раз судорожно присел, с тоской поглядывая на ведро для экскрементов. И вдруг сдернул шорты.

"Excuse me, old man," he said. "I can't help it. It's the waiting."

-- Прошу прощения, старина. Не могу больше. Это от волнения.

He plumped his large posterior into the lavatory pan. Winston covered his face with his hands.

Он плюхнулся пышными ягодицами на ведро. Уинстон закрыл лицо ладонями.

"Smith!" yelled the voice from the telescreen. "6079 Smith W! Uncover your face. No faces covered in the cells."

-- Смит! -- рявкнул телекран. -- Шестьдесят -- семьдесят девять, Смит У.! Откройте лицо. В камере лицо не закрывать!

Winston uncovered his face. Parsons used the lavatory, loudly and abundantly. It then turned out that the plug was defective and the cell stank abominably for hours afterwards.

Уинстон опустил руки. Парсонс обильно и шумно опростался в ведро. Потом выяснилось, что крышка подогнана плохо, и еще несколько часов в камере стояла ужасная вонь.

Parsons was removed. More prisoners came and went, mysteriously. One, a woman, was consigned to "Room 101", and, Winston noticed, seemed to shrivel and turn a different colour when she heard the words. A time came when, if it had been morning when he was brought here, it would be afternoon; or if it had been afternoon, then it would be midnight. There were six prisoners in the cell, men and women. All sat very still. Opposite Winston there sat a man with a chinless, toothy face exactly like that of some large, harmless rodent. His fat, mottled cheeks were so pouched at the bottom that it was difficult not to believe that he had little stores of food tucked away there. His pale-grey eyes flitted timorously from face to face and turned quickly away again when he caught anyone's eye.

Парсонса забрали. Таинственно появлялись и исчезали все новые арестанты. Уинстон заметил, как одна женщина, направленная в «комнату 101», съежилась и побледнела, услышав эти слова. Если его привели сюда утром, то сейчас уже была, наверно, вторая половина дня; а если привели днем -- то полночь. В камере осталось шесть арестованных, мужчин и женщин. Все сидели очень тихо. Напротив Уинстона находился человек с длинными зубами и почти без подбородка, похожий на какого-то большого безобидного грызуна. Его толстые крапчатые щеки оттопыривались снизу, и очень трудно было отделаться от ощущения, что у него там спрятана еда. Светло-серые глаза пугливо перебегали с одного лица на другое, а встретив чей-то взгляд, тут же устремлялись прочь.

The door opened, and another prisoner was brought in whose appearance sent a momentary chill through Winston. He was a commonplace, mean-looking man who might have been an engineer or technician of some kind. But what was startling was the emaciation of his face. It was like a skull. Because of its thinness the mouth and eyes looked disproportionately large, and the eyes seemed filled with a murderous, unappeasable hatred of somebody or something.

Открылась дверь, и ввели нового арестанта, при виде которого Уинстон похолодел. Это был обыкновенный неприятный человек, какой-нибудь инженер или техник. Поразительной была изможденность его лица. Оно напоминало череп. Из-за худобы рот и глаза казались непропорционально большими, а в глазах будто застыла смертельная, неукротимая ненависть к кому-то или чему-то.

The man sat down on the bench at a little distance from Winston. Winston did not look at him again, but the tormented, skull-like face was as vivid in his mind as though it had been straight in front of his eyes. Suddenly he realized what was the matter. The man was dying of starvation. The same thought seemed to occur almost simultaneously to everyone in the cell. There was a very faint stirring all the way round the bench. The eyes of the chinless man kept flitting towards the skull-faced man, then turning guiltily away, then being dragged back by an irresistible attraction.

Новый сел на скамью неподалеку от Уинстона. Уинстон больше не смотрел на него, но измученное лицо-череп так и стояло перед глазами. Он вдруг сообразил, в чем дело. Человек умирал от голода. Эта мысль, по-видимому, пришла в голову всем обитателям камеры почти одновременно. На всей скамье произошло легкое движение. Человек без подбородка то и дело поглядывал на лицо-череп, виновато отводил взгляд и снова смотрел, как будто это лицо притягивало его неудержимо. Он начал ерзать. Наконец встал, вперевалку

Presently he began to fidget on his seat. At last he stood up, waddled clumsily across the cell, dug down into the pocket of his overalls, and, with an abashed air, held out a grimy piece of bread to the skull-faced man.

подошел к скамье напротив, залез в карман комбинезона и смущенно протянул человеку-черепу грязный кусок хлеба.

There was a furious, deafening roar from the telescreen. The chinless man jumped in his tracks. The skull-faced man had quickly thrust his hands behind his back, as though demonstrating to all the world that he refused the gift.

Телекран загремел яростно, оглушительно. Человек без подбородка вздрогнул всем телом. Человек-череп отдернул руки и спрятал за спину, как бы показывая всему свету, что не принял дар.

“Bumstead!” roared the voice. “2713 Bumstead J! Let fall that piece of bread!”

-- Бамстед! -- прогремело из телекрана, -- Двадцать семь -- тридцать один, Бамстед Д.! Бросьте хлеб!

The chinless man dropped the piece of bread on the floor.

Человек без подбородка уронил хлеб на пол.

“Remain standing where you are,” said the voice. “Face the door. Make no movement.”

-- Стоять на месте! Лицом к двери. Не двигаться.

The chinless man obeyed. His large pouchy cheeks were quivering uncontrollably. The door clanged open. As the young officer entered and stepped aside, there emerged from behind him a short stumpy guard with enormous arms and shoulders. He took his stand opposite the chinless man, and then, at a signal from the officer, let free a frightful blow, with all the weight of his body behind it, full in the chinless man’s mouth. The force of it seemed almost to knock him clear of the floor. His body was flung across the cell and fetched up against the base of the lavatory seat. For a moment he lay as though stunned, with dark blood oozing from his mouth and nose. A very faint whimpering or squeaking, which seemed unconscious, came out of him. Then he rolled over and raised himself unsteadily on hands and knees. Amid a stream of blood and saliva, the two halves of a dental plate fell out of his mouth.

Человек без подбородка подчинился. Его одутловатые щеки заметно дрожали. С лязгом распахнулась дверь. Молодой офицер вошел и отступил в сторону, а из-за его спины появился коренастый надзиратель с могучими руками и плечами. Он стал против арестованного и по знаку офицера нанес ему сокрушительный удар в зубы, вложив в этот удар весь свой вес. Арестованного будто подбросило в воздух. Он отлетел к противоположной стене и свалился у ведра. Он лежал там, оглушенный, а изо рта и носа у него текла темная кровь. Потом он стал не то повизгивать, не то хныкать, как бы еще в беспамятстве. Потом перевернулся на живот и неуверенно встал на четвереньки. Изо рта со слюной и кровью вывалились две половинки зубного протеза.

The prisoners sat very still, their hands crossed on their knees. The chinless man climbed back into his place. Down one side of his face the flesh was darkening. His mouth had swollen into a shapeless cherry-coloured mass with a black hole in the middle of it.

Арестованные сидели очень тихо, сложив руки на коленях. Человек без подбородка забрался на свое место. Одна сторона лица у него уже темнела. Рот распух, превратившись в бесформенную, вишневого цвета массу с черной дырой посередине.

From time to time a little blood dripped on to the breast of his overalls. His grey eyes still flitted from face to face, more guiltily than ever, as though he were trying to discover how much the others despised him for his humiliation.

Время от времени на грудь его комбинезона падала капля крови. Его серые глаза опять перебегали с лица на лицо, только еще более виновато, словно он пытался понять, насколько презирают его остальные за это унижение.

The door opened. With a small gesture the

Дверь открылась. Легким движением

officer indicated the skull-faced man.

"Room 101," he said.

There was a gasp and a flurry at Winston's side. The man had actually flung himself on his knees on the floor, with his hand clasped together.

"Comrade! Officer!" he cried. "You don't have to take me to that place! Haven't I told you everything already? What else is it you want to know? There's nothing I wouldn't confess, nothing! Just tell me what it is and I'll confess straight off. Write it down and I'll sign it -- anything! Not room 101!"

"Room 101," said the officer.

The man's face, already very pale, turned a colour Winston would not have believed possible. It was definitely, unmistakably, a shade of green.

"Do anything to me!" he yelled. "You've been starving me for weeks. Finish it off and let me die. Shoot me. Hang me. Sentence me to twenty-five years. Is there somebody else you want me to give away? Just say who it is and I'll tell you anything you want. I don't care who it is or what you do to them. I've got a wife and three children. The biggest of them isn't six years old. You can take the whole lot of them and cut their throats in front of my eyes, and I'll stand by and watch it. But not Room 101!"

"Room 101," said the officer.

The man looked frantically round at the other prisoners, as though with some idea that he could put another victim in his own place. His eyes settled on the smashed face of the chinless man. He flung out a lean arm.

"That's the one you ought to be taking, not me!" he shouted. "You didn't hear what he was saying after they bashed his face. Give me a chance and I'll tell you every word of it. *He's* the one that's against the Party, not me." The guards stepped forward. The man's voice rose to a shriek. "You didn't hear him!" he repeated. "Something went wrong with the telescreen. *He's* the one you want. Take him, not me!"

The two sturdy guards had stooped to take him by the arms. But just at this moment he flung himself across the floor of the cell and grabbed one of the iron legs that

руки офицер показал на человека-черепа.

-- В комнату сто один, -- распорядился он.

Рядом с Уинстоном послышался шумный вздох и возня. Арестант упал на колени, умоляюще сложив ладони перед грудью.

-- Товарищ! Офицер! -- заголосил он. -- Не отправляйте меня туда! Разве я не все вам рассказал? Что еще вы хотите узнать? Я во всем признаюсь, что вам надо, во всем! Только скажите, в чем, и я сразу признаюсь. Напишите -- я подпишу... что угодно! Только не в комнату сто один!

-- В комнату сто один, -- сказал офицер.

Лицо арестанта, и без того бледное, окрасилось в такой цвет, который Уинстону до сих пор представлялся невозможным. Оно приобрело отчетливый зеленый оттенок.

-- Делайте со мной что угодно! -- вопил он. -- Вы неделями морили меня голодом. Доведите дело до конца, дайте умереть. Расстреляйте меня. Повесьте. Посадите на двадцать пять лет. Кого еще я должен выдать? Только назовите, я скажу все, что вам надо. Мне все равно, кто он и что вы с ним сделаете. У меня жена и трое детей. Старшему шести не исполнилось. Заберите их всех, перережьте им глотки у меня на глазах -- я буду стоять и смотреть. Только не в комнату сто один!

-- В комнату сто один, -- сказал офицер.

Безумным взглядом человек окинул остальных арестантов, словно задумав подсунуть вместо себя другую жертву. Глаза его остановились на разбитом лица без подбородка. Он вскинул исхудалую руку.

-- Вам не меня, а вот кого надо взять! -- крикнул он. -- Вы не слышали, что он говорил, когда ему разбили лицо. Я все вам перескажу слово в слово, разрешите. Это он против партии, а не я. -- К нему шагнули надзиратели. Его голос взвился до визга. -- Вы его не слышали! Телекран не сработал. Вот кто вам нужен. Его берите, не меня!

Два дюжих надзирателя нагнулись, чтобы взять его под руки. Но в эту секунду он бросился на пол и вцепился в железную ножку скамьи. Он завыл, как животное,

supported the bench. He had set up a wordless howling, like an animal. The guards took hold of him to wrench him loose, but he clung on with astonishing strength. For perhaps twenty seconds they were hauling at him. The prisoners sat quiet, their hands crossed on their knees, looking straight in front of them. The howling stopped; the man had no breath left for anything except hanging on. Then there was a different kind of cry. A kick from a guard's boot had broken the fingers of one of his hands. They dragged him to his feet.

"Room 101," said the officer.

The man was led out, walking unsteadily, with head sunken, nursing his crushed hand, all the fight had gone out of him.

A long time passed. If it had been midnight when the skull-faced man was taken away, it was morning: if morning, it was afternoon. Winston was alone, and had been alone for hours. The pain of sitting on the narrow bench was such that often he got up and walked about, unreproved by the telescreen. The piece of bread still lay where the chinless man had dropped it. At the beginning it needed a hard effort not to look at it, but presently hunger gave way to thirst. His mouth was sticky and evil-tasting. The humming sound and the unvarying white light induced a sort of faintness, an empty feeling inside his head. He would get up because the ache in his bones was no longer bearable, and then would sit down again almost at once because he was too dizzy to make sure of staying on his feet. Whenever his physical sensations were a little under control the terror returned. Sometimes with a fading hope he thought of O'Brien and the razor blade. It was thinkable that the razor blade might arrive concealed in his food, if he were ever fed. More dimly he thought of Julia. Somewhere or other she was suffering perhaps far worse than he. She might be screaming with pain at this moment. He thought: "If I could save Julia by doubling my own pain, would I do it? Yes, I would." But that was merely an intellectual decision, taken because he knew that he ought to take it. He did not feel it. In this place you could not feel anything, except pain and foreknowledge of pain. Besides, was it possible, when you were actually suffering it, to wish for any

без слов. Надзиратели схватили его, хотели оторвать от ножки, но он цеплялся за нее с поразительной силой. Они пытались оторвать его секунд двадцать. Арестованные сидели тихо, сложив руки на коленях, и глядели прямо перед собой. Вой смолк; сил у человека осталось только на то, чтобы цепляться. Потом раздался совсем другой крик. Ударом башмака надзиратель сломал ему пальцы. Потом вдвоем они подняли его на ноги.

-- В комнату сто один, -- сказал офицер.

Арестованного вывели: он больше не противился и шел еле-еле, повесив голову и поддерживая изувеченную руку.

Прошло много времени. Если человека с лицом-черепом увели ночью, то сейчас было утро; если увели утром -- значит, приближался вечер. Уинстон был один, уже несколько часов был один. От сидения на узкой скамье иногда начиналась такая боль, что он вставал и ходил по камере, и телекран не кричал на него. Кусок хлеба до сих пор лежал там, где его уронил человек без подбородка. Вначале было очень трудно не смотреть на хлеб, но в конце концов голод оттеснила жажда. Во рту было липко и противно. Из-за гудения и ровного белого света он чувствовал дурноту, какую-то пустоту в голове. Он вставал, когда боль в костях от неудобной лавки становилась невыносимой, и почти сразу снова садился, потому что кружилась голова и он боялся упасть. Стоило ему более или менее отвлечься от чисто физических неприятностей, как возвращался ужас. Иногда, со слабеющей надеждой, он думал о бритве и О'Брайене. Он допускал мысль, что бритву могут передать в еде, если ему вообще дадут есть. О Джулии он думал более смутно. Так или иначе, она страдает и, может быть, больше его. Может быть, в эту секунду она кричит от боли. Он подумал: «Если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственные мучения, согласился бы я на это? Да, согласился бы». Но решение это было чисто умственное и принято потому, что он считал нужным его принять. Он его *не чувствовал.* В таком месте чувств не остается, есть только боль и предчувствие боли. Да и возможно ли, испытывая боль,

reason that your own pain should increase? But that question was not answerable yet.

The boots were approaching again. The door opened. O'Brien came in.

Winston started to his feet. The shock of the sight had driven all caution out of him. For the first time in many years he forgot the presence of the telescreen.

"They've got you too!" he cried.

"They got me a long time ago," said O'Brien with a mild, almost regretful irony. He stepped aside. From behind him there emerged a broad-chested guard with a long black truncheon in his hand.

"You know this, Winston," said O'Brien. "Don't deceive yourself. You did know it -- you have always known it."

Yes, he saw now, he had always known it. But there was no time to think of that. All he had eyes for was the truncheon in the guard's hand. It might fall anywhere; on the crown, on the tip of the ear, on the upper arm, on the elbow--

The elbow! He had slumped to his knees, almost paralysed, clasping the stricken elbow with his other hand. Everything had exploded into yellow light. Inconceivable, inconceivable that one blow could cause such pain! The light cleared and he could see the other two looking down at him. The guard was laughing at his contortions. One question at any rate was answered. Never, for any reason on earth, could you wish for an increase of pain. Of pain you could wish only one thing: that it should stop. Nothing in the world was so bad as physical pain. In the face of pain there are no heroes, no heroes, he thought over and over as he writhed on the floor, clutching uselessly at his disabled left arm.

II

He was lying on something that felt like a camp bed, except that it was higher off the ground and that he was fixed down in some way so that he could not move. Light that seemed stronger than usual was falling on his face. O'Brien was standing at his side, looking down at him intently. At the other side of him stood a man in a white coat, holding a hypodermic syringe.

Even after his eyes were open he took in his surroundings only gradually. He had the impression of swimming up into this room

желать по какой бы то ни было причине, чтобы она усилилась? Но на этот вопрос он пока не мог ответить.

Снова послышались шаги. Дверь открылась. Вошел О'Брайен.

Уинстон вскочил на ноги. Он был настолько поражен, что забыл всякую осторожность. Впервые за много лет он не подумал о-том, что рядом телекран.

-- И вы у них! -- закричал он.

-- Я давно у них, -- ответил О'Брайен с мягкой иронией, почти с сожалением. Он отступил в сторону. Из-за его спины появился широкоплечий надзиратель с длинной черной дубинкой в руке.

-- Вы знали это, Уинстон, -- сказал О'Брайен. -- Не обманывайте себя. Вы знали это... всегда знали.

Да, теперь он понял: он всегда это знал. Но сейчас об этом некогда было думать. Сейчас он видел только одно: дубинку в руке надзирателя. Она может обрушиться куда угодно: на макушку, на ухо, на плечо, на локоть...

По локтю! Почти парализованный болью, Уинстон повалился на колени, схватившись за локоть. Все вспыхнуло желтым светом. Немыслимо, немыслимо, чтобы один удар мог причинить такую боль! Желтый свет ушел, и он увидел, что двое смотрят на него сверху. Охранник смеялся над его корчами. Одно по крайней мере стало ясно. Ни за что, ни за что на свете ты не захочешь, чтобы усилилась боль. От боли хочешь только одного: чтобы она кончилась. Нет ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет героев, нет героев, снова и снова повторял он про себя и корчился на полу, держась за отбитый левый локоть.

II

Он лежал на чем-то вроде парусиновой койки, только она была высокая и устроена как-то так, что он не мог пошевелиться. В лицо ему бил свет, более сильный, чем обычно. Рядом стоял О'Брайен и пристально смотрел на него сверху. По другую сторону стоял человек в белом и держал шприц.

Хотя глаза у него были открыты, он не сразу стал понимать, где находится. Еще сохранялось впечатление, что он вплыл в

from some quite different world, a sort of underwater world far beneath it. How long he had been down there he did not know. Since the moment when they arrested him he had not seen darkness or daylight. Besides, his memories were not continuous. There had been times when consciousness, even the sort of consciousness that one has in sleep, had stopped dead and started again after a blank interval. But whether the intervals were of days or weeks or only seconds, there was no way of knowing.

эту комнату из совсем другого мира, какого-то подводного мира, расположенного далеко внизу. Долго ли он там пробыл, он не знал. С тех пор как его арестовали, не существовало ни дневного света, ни тьмы. Кроме того, его воспоминания не были непрерывными. Иногда сознание -- даже такое, какое бывает во сне, -- выключалось полностью, а потом возникало снова после пустого перерыва. Но длились эти перерывы днями, неделями или только секундами, понять было невозможно.

With that first blow on the elbow the nightmare had started. Later he was to realize that all that then happened was merely a preliminary, a routine interrogation to which nearly all prisoners were subjected. There was a long range of crimes -- espionage, sabotage, and the like -- to which everyone had to confess as a matter of course. The confession was a formality, though the torture was real. How many times he had been beaten, how long the beatings had continued, he could not remember. Always there were five or six men in black uniforms at him simultaneously. Sometimes it was fists, sometimes it was truncheons, sometimes it was steel rods, sometimes it was boots. There were times when he rolled about the floor, as shameless as an animal, writhing his body this way and that in an endless, hopeless effort to dodge the kicks, and simply inviting more and yet more kicks, in his ribs, in his belly, on his elbows, on his shins, in his groin, in his testicles, on the bone at the base of his spine. There were times when it went on and on until the cruel, wicked, unforgivable thing seemed to him not that the guards continued to beat him but that he could not force hirnself into losing consciousness. There were times when his nerve so forsook him that he began shouting for mercy even before the beating began, when the mere sight of a fist drawn back for a blow was enough to make him pour forth a confession of real and imaginary crimes. There were other times when he started out with the resolve of confessing nothing, when every word had to be forced out of him between gasps of pain, and there were times when he feebly tried to compromise, when he said to himself: “I will confess, but not yet. I must hold out till the pain becomes unbearable. Three more

С того первого удара по локтю начался кошмар. Как он позже понял, все, что с ним происходило, было лишь подготовкой, обычным допросом, которому подвергаются почти все арестованные. Каждый должен был признаться в длинном списке преступлений -- в шпионаже, вредительстве и прочем. Признание было формальностью, но пытки -- настоящими. Сколько раз его били и подолгу ли, он не мог вспомнить. Каждый раз им занимались человек пять или шесть в черной форме. Били кулаками, били дубинками, били стальными прутьями, били ногами. Бывало так, что он катался по полу, бесстыдно, как животное, извивался ужом, тщетно пытаясь уклониться от пинков, и только вызывал этим все новые пинки -- в ребра, в живот, по локтям, по лодыжкам, в пах, в мошонку, в крестец. Бывало так, что это длилось и длилось без конца, и самым жестоким, страшным, непростительным казалось ему не то, что его продолжают бить, а то, что он не может потерять сознание. Бывало так, что мужество совсем покидало его, он начинал молить о пощаде еще до побоев и при одном только виде поднятого кулака каялся во всех грехах, подлинных и вымышленных. Бывало так, что начинал он с твердым решением ничего не признавать, и каждое слово вытягивали из него вместе со стонами боли; бывало и так, что он малодушно заключал с собой компромисс, говорил себе: «Я признаюсь, но не сразу. Буду держаться, пока боль не станет невыносимой. Еще три удара, еще два удара, и я скажу все, что им надо». Иногда после избиения он едва стоял на ногах; его бросали, как мешок картофеля,

kicks, two more kicks, and then I will tell them what they want." Sometimes he was beaten till he could hardly stand, then flung like a sack of potatoes on to the stone floor of a cell, left to recuperate for a few hours, and then taken out and beaten again. There were also longer periods of recovery. He remembered them dimly, because they were spent chiefly in sleep or stupor. He remembered a cell with a plank bed, a sort of shelf sticking out from the wall, and a tin wash-basin, and meals of hot soup and bread and sometimes coffee. He remembered a surly barber arriving to scrape his chin and crop his hair, and businesslike, unsympathetic men in white coats feeling his pulse, tapping his reflexes, turning up his eyelids, running harsh fingers over him in search for broken bones, and shooting needles into his arm to make him sleep.

на пол камеры и, дав несколько часов передышки, чтобы он опомнился, снова уводили бить. Случались и более долгие перерывы. Их он помнил смутно, потому что почти все время спал или пребывал в оцепенении. Он помнил камеру с дощатой лежанкой, прибитой к стене, и тонкой железной раковиной, помнил еду -- горячий суп с хлебом, иногда кофе. Помнил, как угрюмый парикмахер скоблил ему подбородок и стриг волосы, как деловитые, безразличные люди в белом считали у него пульс, проверяли рефлексы, отворачивали веки, щупали жесткими пальцами -- не сломана ли где кость, кололи в руку снотворное.

The beatings grew less frequent, and became mainly a threat, a horror to which he could be sent back at any moment when his answers were unsatisfactory. His questioners now were not ruffians in black uniforms but Party intellectuals, little rotund men with quick movements and flashing spectacles, who worked on him in relays over periods which lasted -- he thought, he could not be sure -- ten or twelve hours at a stretch. These other questioners saw to it that he was in constant slight pain, but it was not chiefly pain that they relied on. They slapped his face, wrung his ears. pulled his hair, made him stand on one leg, refused him leave to urinate, shone glaring lights in his face until his eyes ran with water; but the aim of this was simply to humiliate him and destroy his power of arguing and reasoning. Their real weapon was the merciless questioning that went on and on, hour after hour, tripping him up, laying traps for him, twisting everything that he said, convicting him at every step of lies and self-contradiction until he began weeping as much from shame as from nervous fatigue Sometimes he would weep half a dozen times in a single session. Most of the time they screamed abuse at him and threatened at every hesitation to deliver him over to the guards again; but sometimes they would suddenly change their tune, call him comrade, appeal to him in the name of Ingsoc and Big Brother, and

Бить стали реже, битьем больше угрожали: если будет плохо отвечать, этот ужас в любую минуту может возобновиться. Допрашивали его теперь не хулиганы в черных мундирах, а следователи-партийцы -- мелкие круглые мужчины с быстрыми движениями, в поблескивающих очках; они работали с ним, сменяя друг друга, иногда по десять -- двенадцать часов подряд -- так ему казалось, точно он не знал. Эти новые следователи старались, чтобы он все время испытывал небольшую боль, но не боль была их главным инструментом. Они били его по щекам, крутили уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не отпускали помочиться, держали под ярким светом, так что у него слезились глаза; однако делалось это лишь для того, чтобы унизить его и лишить способности спорить и рассуждать. Подлинным их оружием был безжалостный многочасовой допрос: они путали его, ставили ему ловушки, перевирали все, что он сказал, на каждом шагу доказывали, что он лжет и сам себе противоречит, покуда он не начинал плакать -- и от стыда, и от нервного истощения. Случалось, он плакал по пять шесть раз на протяжении одного допроса. Чаще всего они грубо кричали на него и при малейшей заминке угрожали снова отдать охранникам; но иногда вдруг меняли тон, называли его товарищем, заклинали именем ангсоца и

ask him sorrowfully whether even now he had not enough loyalty to the Party left to make him wish to undo the evil he had done. When his nerves were in rags after hours of questioning, even this appeal could reduce him to snivelling tears. In the end the nagging voices broke him down more completely than the boots and fists of the guards. He became simply a mouth that uttered, a hand that signed, whatever was demanded of him. His sole concern was to find out what they wanted him to confess, and then confess it quickly, before the bullying started anew. He confessed to the assassination of eminent Party members, the distribution of seditious pamphlets, embezzlement of public funds, sale of military secrets, sabotage of every kind. He confessed that he had been a spy in the pay of the Eastasian government as far back as 1968. He confessed that he was a religious believer, an admirer of capitalism, and a sexual pervert. He confessed that he had murdered his wife, although he knew, and his questioners must have known, that his wife was still alive. He confessed that for years he had been in personal touch with Goldstein and had been a member of an underground organization which had included almost every human being he had ever known. It was easier to confess everything and implicate everybody. Besides, in a sense it was all true. It was true that he had been the enemy of the Party, and in the eyes of the Party there was no distinction between the thought and the deed.

Старшего Брата и огорченно спрашивали, неужели и сейчас в нем не заговорила преданность партии и он не хочет исправить весь причиненный им вред? Нервы, истрепанные многочасовым допросом, не выдерживали, и он мог расплакаться даже от такого призыва. В конце концов сварливые голоса сломали его еще хуже, чем кулаки и ноги охранников. От него остались только рот и рука, говоривший и подписывавшая все, что требовалось. Лишь одно его занимало: уяснить, какого признания от него хотят, и скорее признаться, пока снова не начали изводить. Он признался в убийстве видных деятелей партии, в распространении подрывных брошюр, в присвоении общественных фондов, в продаже военных тайн и всякого рода вредительстве. Он признался, что стал платным шпионом Остазии еще в 1968 году. Признался в том, что он верующий, что он сторонник капитализма, что он извращенец. Признался, что убил жену -- хотя она была жива, и следователям это наверняка было известно. Признался, что много лет лично связан с Голдстейном и состоит в подпольной организации, включающей почти всех людей, с которыми он знаком. Легче было во всем признаться и всех припутать. Кроме того, в каком-то смысле это было правдой. Он, правда, был врагом партии, а в глазах партии нет разницы между деянием и мыслью.

There were also memories of another kind. They stood out in his mind disconnectedly, like pictures with blackness all round them.

Сохранились воспоминания и другого рода. Между собой не связанные -- картинки, окруженные чернотой.

He was in a cell which might have been either dark or light, because he could see nothing except a pair of eyes. Near at hand some kind of instrument was ticking slowly and regularly. The eyes grew larger and more luminous. Suddenly he floated out of his seat, dived into the eyes, and was swallowed up.

Он был в камере -- светлой или темной, неизвестно, потому что он не видел ничего, кроме пары глаз. Рядом медленно и мерно тикал какой-то прибор. Глаза росли и светились все сильнее. Вдруг он взлетел со своего места, нырнул в глаза, и они его поглотили.

He was strapped into a chair surrounded by dials, under dazzling lights. A man in a white coat was reading the dials. There was a tramp of heavy boots outside. The door clanged open. The waxed-faced officer marched in, followed by two guards.

Он был пристегнут к креслу под ослепительным светом и окружен шкалами приборов. Человек в белом следил за шкалами. Снаружи раздался топот тяжелых башмаков. Дверь распахнулась с лязгом. В сопровождении двух охранников вошел офицер с

"Room 101," said the officer.

The man in the white coat did not turn round. He did not look at Winston either; he was looking only at the dials.

He was rolling down a mighty corridor, a kilometre wide, full of glorious, golden light, roaring with laughter and shouting out confessions at the top of his voice. He was confessing everything, even the things he had succeeded in holding back under the torture. He was relating the entire history of his life to an audience who knew it already. With him were the guards, the other questioners, the men in white coats, O'Brien, Julia, Mr Charrington, all rolling down the corridor together and shouting with laughter. Some dreadful thing which had lain embedded in the future had somehow been skipped over and had not happened. Everything was all right, there was no more pain, the last detail of his life was laid bare, understood, forgiven.

He was starting up from the plank bed in the half-certainty that he had heard O'Brien's voice. All through his interrogation, although he had never seen him, he had had the feeling that O'Brien was at his elbow, just out of sight. It was O'Brien who was directing everything. It was he who set the guards on to Winston and who prevented them from killing him. It was he who decided when Winston should scream with pain, when he should have a respite, when he should be fed, when he should sleep, when the drugs should be pumped into his arm. It was he who asked the questions and suggested the answers. He was the tormentor, he was the protector, he was the inquisitor, he was the friend. And once -- Winston could not remember whether it was in drugged sleep, or in normal sleep, or even in a moment of wakefulness -- a voice murmured in his ear: "Don't worry, Winston; you are in my keeping. For seven years I have watched over you. Now the turning-point has come. I shall save you, I shall make you perfect." He was not sure whether it was O'Brien's voice; but it was the same voice that had said to him, "We shall meet in the place where there is no darkness," in that other dream, seven years ago.

He did not remember any ending to his interrogation. There was a period of blackness and then the cell, or room, in

восковым лицом.

-- В комнату сто один, -- сказал офицер.

Человек в белом не оглянулся. На Уинстона тоже не посмотрел; он смотрел только на шкалы.

Он катился по гигантскому, в километр шириной, коридору, залитому чудесным золотым светом, громко хохотал и во все горло выкрикивал признания. Он признавался во всем -- даже в том, что сумел скрыть под пытками. Он рассказывал всю свою жизнь -- публике, которая и так все знала. С ним были охранники, следователи, люди в белом, О'Брайен, Джулия, мистер Чаррингтон -- все валились по коридору толпой и громко хохотали. Что-то ужасное, поджидавшее его в будущем, ему удалось проскочить, и оно не сбылось. Все было хорошо, не стало боли, каждая подробность его жизни обнажилась, объяснилась, была прощена.

Вздрогнув, он привстал с дощатой лежанки в полной уверенности, что слышал голос О'Брайена. О'Брайен ни разу не появился на допросах, но все время было ощущение, что он тут, за спиной, просто его не видно. Это он всем руководит. Он напускает на Уинстона охранников, и он им не позволяет его убить. Он решает, когда Уинстон должен закричать от боли, когда ему дать передышку, когда его накормить, когда ему спать, когда вколоть ему в руку наркотик. Он задавал вопросы и предлагал ответы. Он был мучитель, он был защитник, он был инквизитор, он был друг. А однажды -- Уинстон не помнил, было это в наркотическом сне, или просто во сне, или даже наяву, -- голос прошептал ему на ухо: «Не волнуйтесь, Уинстон, вы на моем попечении. Семь лет я наблюдал за вами. Настал переломный час. Я спасу вас, я сделаю вас совершенным». Он не был уверен, что голос принадлежит О'Брайену, но именно этот голос сказал ему семь лет назад, в другом сне: «Мы встретимся там, где нет темноты».

Он не помнил, был ли конец допросу. Наступила чернота, а потом из нее постепенно материализовалась камера

which he now was had gradually materialized round him. He was almost flat on his back, and unable to move. His body was held down at every essential point. Even the back of his head was gripped in some manner. O'Brien was looking down at him gravely and rather sadly. His face, seen from below, looked coarse and worn, with pouches under the eyes and tired lines from nose to chin. He was older than Winston had thought him; he was perhaps forty-eight or fifty. Under his hand there was a dial with a lever on top and figures running round the face.

"I told you," said O'Brien, "that if we met again it would be here."

"Yes," said Winston.

Without any warning except a slight movement of O'Brien's hand, a wave of pain flooded his body. It was a frightening pain, because he could not see what was happening, and he had the feeling that some mortal injury was being done to him. He did not know whether the thing was really happening, or whether the effect was electrically produced; but his body was being wrenched out of shape, the joints were being slowly torn apart. Although the pain had brought the sweat out on his forehead, the worst of all was the fear that his backbone was about to snap. He set his teeth and breathed hard through his nose, trying to keep silent as long as possible.

"You are afraid," said O'Brien, watching his face, "that in another moment something is going to break. Your especial fear is that it will be your backbone. You have a vivid mental picture of the vertebrae snapping apart and the spinal fluid dripping out of them. That is what you are thinking, is it not, Winston?"

Winston did not answer. O'Brien drew back the lever on the dial. The wave of pain receded almost as quickly as it had come.

"That was forty," said O'Brien. "You can see that the numbers on this dial run up to a hundred. Will you please remember, throughout our conversation, that I have it in my power to inflict pain on you at any moment and to whatever degree I choose? If you tell me any lies, or attempt to prevaricate in any way, or even fall below your usual level of intelligence, you will cry out with pain, instantly. Do you

или комната, где он лежал. Лежал он навзничь и не мог пошевелиться. Тело его было закреплено в нескольких местах. Даже затылок как-то прихватили. О'Брайен стоял, глядя сверху серьезно и не без сожаления. Лицо О'Брайена с опухшими подглазьями и резкими носогубными складками казалось снизу грубым и утомленным. Он выглядел старше, чем Уинстону помнилось; ему было, наверно, лет сорок восемь или пятьдесят. Рука его лежала на рычаге с круговой шкалой, размеченной цифрами.

-- Я сказал вам, -- обратился он к Уинстону, -- что если мы встретимся, то -- здесь.

-- Да, -- ответил Уинстон.

Без всякого предупредительного сигнала, если не считать легкого движения руки О'Брайена, в тело его хлынула боль. Боль устрашающая: он не видел, что с ним творится, и у него было чувство, что ему причиняют смертельную травму. Он не понимал, на самом ли деле это происходит или ощущения вызваны электричеством; но тело его безобразно скручивалось и суставы медленно разрывались. От боли на лбу у него выступил пот, но хуже боли был страх, что хребет у него вот-вот переломится. Он стиснул зубы и тяжело дышал через нос, решив не кричать, пока можно.

-- Вы боитесь, -- сказал О'Брайен, наблюдая за его лицом, -- что сейчас у вас что-нибудь лопнет. И особенно боитесь, что лопнет хребет. Вы ясно видите картину, как отрываются один от другого позвонки и из них каплет спинномозговая жидкость. Вы ведь об этом думаете, Уинстон?

Уинстон не ответил. О'Брайен отвел рычаг назад. Боль схлынула почти так же быстро, как началась.

-- Это было сорок, -- сказал О'Брайен. -- Видите, шкала проградуирована до ста. В ходе нашей беседы помните, пожалуйста, что я имею возможность причинить вам боль когда мне угодно и какую угодно. Если будете лгать или уклоняться от ответа или просто окажетесь глупее, чем позволяют ваши умственные способности, вы закричите от боли, немедленно. Вы меня поняли?

understand that?"

"Yes," said Winston.

-- Да, -- сказал Уинстон.

O'Brien's manner became less severe. He resettled his spectacles thoughtfully, and took a pace or two up and down. When he spoke his voice was gentle and patient. He had the air of a doctor, a teacher, even a priest, anxious to explain and persuade rather than to punish.

O'Брайен несколько смягчился. Он задумчиво поправил очки и прошелся по комнате. Теперь его голос звучал мягко и терпеливо. Он стал похож на врача или даже священника, который стремится убеждать и объяснять, а не наказывать.

"I am taking trouble with you, Winston," he said, "because you are worth trouble. You know perfectly well what is the matter with you. You have known it for years, though you have fought against the knowledge. You are mentally deranged. You suffer from a defective memory. You are unable to remember real events and you persuade yourself that you remember other events which never happened. Fortunately it is curable. You have never cured yourself of it, because you did not choose to. There was a small effort of the will that you were not ready to make. Even now, I am well aware, you are clinging to your disease under the impression that it is a virtue. Now we will take an example. At this moment, which power is Oceania at war with?"

-- Я трачу на вас время, Уинстон, -- сказал он, -- потому что вы этого стоите. Вы отлично сознаете, в чем ваше несчастье. Вы давно о нем знаете, но сколько уже лет не желаете себе в этом признаться. Вы психически ненормальны. Вы страдаете расстройством памяти. Вы не в состоянии вспомнить подлинные события и убедили себя, что помните то, чего никогда не было. К счастью, это излечимо. Вы себя не пожелали излечить. Достаточно было небольшого усилия воли, но вы его не сделали. Даже теперь, я вижу, вы цепляетесь за свою болезнь, полагая, что это доблесть. Возьмем такой пример. С какой страной воюет сейчас Океания?

"When I was arrested, Oceania was at war with Eastasia."

-- Когда меня арестовали, Океания воевала с Остазией.

"With Eastasia. Good. And Oceania has always been at war with Eastasia, has it not?"

-- С Остазией. Хорошо. Океания всегда воевала с Остазией, верно?

Winston drew in his breath. He opened his mouth to speak and then did not speak. He could not take his eyes away from the dial.

Уинстон глубоко вздохнул. Он открыл рот, чтобы ответить, -- и не ответил. Он не мог отвести глаза от шкалы.

"The truth, please, Winston. *Your* truth. Tell me what you think you remember."

-- Будьте добры, правду, Уинстон. Вашу правду. Скажите, что вы, по вашему мнению, помните?

"I remember that until only a week before I was arrested, we were not at war with Eastasia at all. We were in alliance with them. The war was against Eurasia. That had lasted for four years. Before that--"

-- Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы вовсе не воевали с Остазией. Мы были с ней в союзе. Война шла с Евразией. Она длилась четыре года. До этого...

O'Brien stopped him with a movement of the hand.

O'Брайен остановил его жестом,

"Another example," he said. "Some years ago you had a very serious delusion indeed. You believed that three men, three one-time Party members named Jones, Aaronson, and Rutherford men who were executed for treachery and sabotage after making the fullest possible confession -- were not guilty of the crimes they were charged with. You

-- Другой пример, -- сказал он. -- Несколько лет назад вы впали в очень серьезное заблуждение. Вы решили, что три человека, три бывших члена партии -- Джонс, Аронсон и Резерфорд, -- казненные за вредительство и измену после того, как они полностью во всем сознались, неповинны в том, за что их

believed that you had seen unmistakable documentary evidence proving that their confessions were false. There was a certain photograph about which you had a hallucination. You believed that you had actually held it in your hands. It was a photograph something like this."

осудили. Вы решили, будто видели документ, безусловно доказывавший, что их признания были ложью. Вам привиделась некая фотография. Вы решили, что держали ее в руках. Фотография в таком роде.

An oblong slip of newspaper had appeared between O'Brien's fingers. For perhaps five seconds it was within the angle of Winston's vision. It was a photograph, and there was no question of its identity. It was THE photograph. It was another copy of the photograph of Jones, Aaronson, and Rutherford at the party function in New York, which he had chanced upon eleven years ago and promptly destroyed. For only an instant it was before his eyes, then it was out of sight again. But he had seen it, unquestionably he had seen it! He made a desperate, agonizing effort to wrench the top half of his body free. It was impossible to move so much as a centimetre in any direction. For the moment he had even forgotten the dial. All he wanted was to hold the photograph in his fingers again, or at least to see it.

В руке у О'Брайена появилась газетная вырезка. Секунд пять она находилась перед глазами Уинстона. Это была фотография -- и не приходилось сомневаться, какая именно. Та самая. Джонс, Аронсон и Резерфорд на партийных торжествах в Нью-Йорке -- тот снимок, который он случайно получил одиннадцать лет назад и сразу уничтожил. Одно мгновение он был перед глазами Уинстона, а потом его не стало. Но он видел снимок, несомненно, видел! Отчаянным, мучительным усилием Уинстон попытался оторвать спину от нойки. Но не мог сдвинуться ни на сантиметр, ни в какую сторону. На миг он даже забыл о шкале. Сейчас он хотел одного: снова подержать фотографию в руке, хотя бы разглядеть ее.

"It exists!" he cried.

-- Она существует! -- крикнул он.

"No," said O'Brien.

-- Нет, -- сказал О'Брайен.

He stepped across the room. There was a memory hole in the opposite wall. O'Brien lifted the grating. Unseen, the frail slip of paper was whirling away on the current of warm air; it was vanishing in a flash of flame. O'Brien turned away from the wall.

Он отошел. В стене напротив было гнездо памяти. О'Брайен поднял проволочное забрало. Невидимый легкий клочок бумаги уносился прочь с потоком теплого воздуха: он исчезал в ярком пламени. О'Брайен отвернулся от стены.

"Ashes," he said. "Not even identifiable ashes. Dust. It does not exist. It never existed."

-- Пепел, -- сказал он. -- Да и пепла не разглядишь. Прах. Фотография не существует. Никогда не существовала.

"But it did exist! It does exist! It exists in memory. I remember it. You remember it."

-- Но она существовала! Существует! Она существует в памяти. Я ее помню. Вы ее помните.

"I do not remember it," said O'Brien.

-- Я ее не помню, -- сказал О'Брайен.

Winston's heart sank. That was doublethink. He had a feeling of deadly helplessness. If he could have been certain that O'Brien was lying, it would not have seemed to matter. But it was perfectly possible that O'Brien had really forgotten the photograph. And if so, then already he would have forgotten his denial of remembering it, and forgotten the act of forgetting. How could one be sure that it was simple trickery? Perhaps that lunatic dislocation in the mind could really happen: that was the thought that defeated

Уинстон ощутил пустоту в груди. Это -- двоемыслие. Им овладело чувство смертельной беспомощности. Если бы он был уверен, что О'Брайен солгал, это не казалось бы таким важным. Но очень может быть, что О'Брайен в самом деле забыл фотографию. А если так, то он уже забыл и то, как отрицал, что ее помнит, и что это забыл -- тоже забыл. Можно ли быть уверенным, что это просто фокусы? А вдруг такой безумный вывих в мозгах на самом деле происходит? -- вот что приводило Уинстона в отчаяние.

him.

O'Brien was looking down at him speculatively. More than ever he had the air of a teacher taking pains with a wayward but promising child.

O'Брайен задумчиво смотрел на него. Больше, чем когда-либо, он напоминал сейчас учителя, бьющегося с непослушным, но способным учеником.

"There is a Party slogan dealing with the control of the past," he said. "Repeat it, if you please."

-- Есть партийный лозунг относительно управления прошлым, -- сказал он. -- Будьте любезны, повторите его.

"'Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past,'" repeated Winston obediently.

«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым», -- послушно произнес Уинстон.

"'Who controls the present controls the past,'" said O'Brien, nodding his head with slow approval. "Is it your opinion, Winston, that the past has real existence?"

-- «Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым», -- одобрительно кивнув, повторил O'Брайен. -- Так вы считаете, Уинстон, что прошлое существует в действительности?

Again the feeling of helplessness descended upon Winston. His eyes flitted towards the dial. He not only did not know whether "yes" or "no" was the answer that would save him from pain; he did not even know which answer he believed to be the true one.

Уинстон снова почувствовал себя беспомощным. Он скосил глаза на шкалу. Мало того, что он не знал, какой ответ, «нет» или «да» избавит его от боли; он не знал уже, какой ответ сам считает правильным.

O'Brien smiled faintly. "You are no metaphysician, Winston," he said. "Until this moment you had never considered what is meant by existence. I will put it more precisely. Does the past exist concretely, in space? Is there somewhere or other a place, a world of solid objects, where the past is still happening?"

O'Брайен слегка улыбнулся. -- Вы плохой метафизик, Уинстон. До сих пор вы ни разу не задумывались, что значит «существовать». Сформулирую яснее. Существует ли прошлое конкретно, в пространстве? Есть ли где-нибудь такое место, такой мир физических объектов, где прошлое все еще происходит?

"No."

-- Нет.

"Then where does the past exist, if at all?"

-- Тогда где оно существует, если оно существует?

"In records. It is written down."

-- В документах. Оно записано.

"In records. And--?"

-- В документах. И...?

"In the mind. In human memories."

-- В уме. В воспоминаниях человека.

"In memory. Very well, then. We, the Party, control all records, and we control all memories. Then we control the past, do we not?"

-- В памяти. Очень хорошо. Мы, партия, контролируем все документы и управляем воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым, верно?

"But how can you stop people remembering things?" cried Winston again momentarily forgetting the dial. "It is involuntary. It is outside oneself. How can you control memory? You have not controlled mine!"

-- Но как вы помешаете людям вспоминать? -- закричал Уинстон, опять забыв про шкалу. -- Это же происходит помимо воли. Это от тебя не зависит. Как вы можете управлять памятью? Моей же вы не управляете?

O'Brien's manner grew stern again. He laid his hand on the dial.

O'Брайен снова посуровел. Он опустил руку на рычаг.

"On the contrary," he said, "*you* have not controlled it. That is what has brought you here. You are here because you have failed

-- Напротив, -- сказал он. -- Это вы ею не управляете. Поэтому вы и здесь. Вы здесь потому, что не нашли в себе смирения и

in humility, in self-discipline. You would not make the act of submission which is the price of sanity. You preferred to be a lunatic, a minority of one. Only the disciplined mind can see reality, Winston. You believe that reality is something objective, external, existing in its own right. You also believe that the nature of reality is self-evident. When you delude yourself into thinking that you see something, you assume that everyone else sees the same thing as you. But I tell you, Winston, that reality is not external. Reality exists in the human mind, and nowhere else. Not in the individual mind, which can make mistakes, and in any case soon perishes: only in the mind of the Party, which is collective and immortal. Whatever the Party holds to be the truth, is truth. It is impossible to see reality except by looking through the eyes of the Party. That is the fact that you have got to relearn, Winston. It needs an act of self-destruction, an effort of the will. You must humble yourself before you can become sane."

He paused for a few moments, as though to allow what he had been saying to sink in.

"Do you remember," he went on, "writing in your diary, 'Freedom is the freedom to say that two plus two make four'?"

"Yes," said Winston.

O'Brien held up his left hand, its back towards Winston, with the thumb hidden and the four fingers extended.

"How many fingers am I holding up, Winston?"

"Four."

"And if the party says that it is not four but five -- then how many?"

"Four."

The word ended in a gasp of pain. The needle of the dial had shot up to fifty-five. The sweat had sprung out all over Winston's body. The air tore into his lungs and issued again in deep groans which even by clenching his teeth he could not stop. O'Brien watched him, the four fingers still extended. He drew back the lever. This

самодисциплины. Вы не захотели подчиниться -- а за это платят душевным здоровьем. Вы предпочли быть безумцем, остаться в меньшинстве, в единственном числе. Только дисциплинированное сознание видит действительность, Уинстон. Действительность вам представляется чем-то объективным, внешним, существующим независимо от вас. Характер действительности представляется вам самоочевидным. Когда, обманывая себя, вы думаете, будто что-то видите, вам кажется, что все остальные видят то же самое. Но говорю вам, Уинстон, действительность не есть нечто внешнее. Действительность существует в человеческом сознании и больше нигде. Не в индивидуальном сознании, которое может ошибаться и в любом случае преходяще, -- только в сознании партии, коллективном и бессмертном. То, что партия считает правдой, и есть правда. Невозможно видеть действительность иначе, как глядя на нее глазами партии. И этому вам вновь предстоит научиться, Уинстон. Для этого требуется акт самоуничтожения, усилие воли. Вы должны смирить себя, прежде чем станете психически здоровым.

Он умолк, как бы выжидая, когда Уинстон усвоит его слова.

-- Вы помните, -- снова заговорил он, -- как написали в дневнике: «Свобода -- это возможность сказать, что дважды два -- четыре»?

-- Да.

О'Брайен поднял левую руку, тыльной стороной к Уинстону, спрятав большой палец и растопырив четыре.

-- Сколько я показываю пальцев, Уинстон?

-- Четыре.

-- А если партия говорит, что их не четыре, а пять, -- тогда сколько?

-- Четыре.

На последнем слоге он охнул от боли. Стрелка на шкале подскочила к пятидесяти пяти. Все тело Уинстона покрылось потом. Воздух врывался в его легкие и выходил обратно с тяжелыми стонами -- Уинстон стиснул зубы и все равно не мог их сдержать. О'Брайен наблюдал за ним, показывая четыре пальца. Он отвел рычаг. На этот раз боль

time the pain was only slightly eased.

лишь слегка утихла.

“How many fingers, Winston?”

-- Сколько пальцев, Уинстон?

“Four.”

-- Четыре.

The needle went up to sixty.

Стрелка дошла до шестидесяти.

“How many fingers, Winston?”

-- Сколько пальцев, Уинстон?

“Four! Four! What else can I say? Four!”

-- Четыре! Четыре! Что еще я могу сказать? Четыре!

The needle must have risen again, but he did not look at it. The heavy, stern face and the four fingers filled his vision. The fingers stood up before his eyes like pillars, enormous, blurry, and seeming to vibrate, but unmistakably four.

Стрелка, наверно, опять поползла, но Уинстон не смотрел. Он видел только тяжелое, суровое лицо и четыре пальца. Пальцы стояли перед его глазами, как колонны: громадные, они расплывались и будто дрожали, но их было только четыре.

“How many fingers, Winston?”

-- Сколько пальцев, Уинстон?

“Four! Stop it, stop it! How can you go on? Four! Four!”

-- Четыре! Перестаньте, перестаньте! Как вы можете? Четыре! Четыре!

“How many fingers, Winston?”

-- Сколько пальцев, Уинстон?

“Five! Five! Five!”

-- Пять! Пять! Пять!

“No, Winston, that is no use. You are lying. You still think there are four. How many fingers, please?”

-- Нет, напрасно, Уинстон. Вы лжете. Вы все равно думаете, что их четыре. Так сколько пальцев?

“Four! five! Four! Anything you like. Only stop it, stop the pain!”

-- Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам нужно. Только перестаньте, перестаньте делать больно!

Abruptly he was sitting up with O’Brien’s arm round his shoulders. He had perhaps lost consciousness for a few seconds. The bonds that had held his body down were loosened. He felt very cold, he was shaking uncontrollably, his teeth were chattering, the tears were rolling down his cheeks. For a moment he clung to O’Brien like a baby, curiously comforted by the heavy arm round his shoulders. He had the feeling that O’Brien was his protector, that the pain was something that came from outside, from some other source, and that it was O’Brien who would save him from it.

Вдруг оказалось, что он сидит и О'Брайен обнимает его за плечи. По-видимому, он на несколько секунд потерял сознание. Захваты, державшие его тело, были отпущены. Ему было очень холодно, он трясся, зубы стучали, по щекам текли слезы. Он прильнул к О'Брайену, как младенец; тяжелая рука, обнимавшая плечи, почему-то утешала его. Сейчас ему казалось, что О'Брайен -- его защитник, что боль пришла откуда-то со стороны, что у нее другое происхождение и спасет от нее -- О'Брайен.

“You are a slow learner, Winston,” said O’Brien gently.

-- Вы -- непонятливый ученик, -- мягко сказал О'Брайен.

“How can I help it?” he blubbered. “How can I help seeing what is in front of my eyes? Two and two are four.”

-- Что я могу сделать? -- со слезами пролепетал Уинстон. -- Как я могу не видеть, что у меня перед глазами? Два и два -- четыре.

“Sometimes, Winston. Sometimes they are five. Sometimes they are three. Sometimes they are all of them at once. You must try harder. It is not easy to become sane.”

-- Иногда, Уинстон. Иногда -- пять. Иногда -- три. Иногда -- все, сколько есть. Вам надо постараться. Вернуть душевное здоровье нелегко.

He laid Winston down on the bed. The grip of his limbs tightened again, but the pain had ebbed away and the trembling had stopped, leaving him merely weak and cold. O’Brien motioned with his head to the man

Он уложил Уинстона. Захваты на руках и ногах снова сжались, но боль потихоньку отступила, дрожь прекратилась, осталась только слабость и озноб. О'Брайен кивнул человеку в белом, все это время

in the white coat, who had stood immobile throughout the proceedings. The man in the white coat bent down and looked closely into Winston's eyes, felt his pulse, laid an ear against his chest, tapped here and there, then he nodded to O'Brien.

стоявшему неподвижно. Человек в белом наклонился, заглянув Уинстону в глаза, проверил пульс, приложил ухо к груди, простукал там и сям; потом кивнул О'Брайену.

"Again," said O'Brien.

-- Еще раз, -- сказал О'Брайен.

The pain flowed into Winston's body. The needle must be at seventy, seventy-five. He had shut his eyes this time. He knew that the fingers were still there, and still four. All that mattered was somehow to stay alive until the spasm was over. He had ceased to notice whether he was crying out or not. The pain lessened again. He opened his eyes. O'Brien had drawn back the lever.

В тело Уинстона хлынула боль. Стрелка, наверно, стояла на семидесяти -- семидесяти пяти. На этот раз он зажмурился. Он знал, что пальцы перед ним, их по-прежнему четыре. Важно было одно: как-нибудь пережить эти судороги. Он уже не знал, кричит он или нет. Боль опять утихла. Он открыл глаза, О'Брайен отвел рычаг.

"How many fingers, Winston?"

-- Сколько пальцев, Уинстон?

"Four. I suppose there are four. I would see five if I could. I am trying to see five."

-- Четыре. Наверное, четыре. Я увидел бы пять, если б мог. Я стараюсь увидеть пять.

"Which do you wish: to persuade me that you see five, or really to see them?"

-- Чего вы хотите: убедить меня, что видите пять, или в самом деле увидеть?

"Really to see them."

-- В самом деле увидеть.

"Again," said O'Brien.

-- Еще раз, -- сказал О'Брайен.

Perhaps the needle was eighty -- ninety. Winston could not intermittently remember why the pain was happening. Behind his screwed-up eyelids a forest of fingers seemed to be moving in a sort of dance, weaving in and out, disappearing behind one another and reappearing again. He was trying to count them, he could not remember why. He knew only that it was impossible to count them, and that this was somehow due to the mysterious identity between five and four. The pain died down again. When he opened his eyes it was to find that he was still seeing the same thing. Innumerable fingers, like moving trees, were still streaming past in either direction, crossing and recrossing. He shut his eyes again.

Стрелка остановилась, наверное, на восьмидесяти -- девяноста. Уинстон лишь изредка понимал, почему ему больно. За сжатыми веками извивался в каком-то танце лес пальцев, они множились и редели, исчезали один позади другого и появлялись снова. Он пытался их сосчитать, а зачем -- сам не помнил. Он знал только, что сосчитать их невозможно по причине какого-то таинственного тождества между четырьмя и пятью. Боль снова затихла. Он открыл глаза, и оказалось, что видит то же самое. Бесчисленные пальцы, как ожившие деревья, строились во все стороны, скрещивались и расходились. Он опять зажмурил глаза.

"How many fingers am I holding up, Winston?"

-- Сколько пальцев я показываю, Уинстон?

"I don't know. I don't know. You will kill me if you do that again. Four, five, six -- in all honesty I don't know."

-- Не знаю. Вы убьете меня, если еще раз включите. Четыре, пять, шесть... честное слово, не знаю.

"Better," said O'Brien.

-- Лучше, -- сказал О'Брайен.

A needle slid into Winston's arm. Almost in the same instant a blissful, healing warmth spread all through his body. The pain was already half-forgotten. He opened his eyes and looked up gratefully at O'Brien. At sight of the heavy, lined face, so ugly and

В руку Уинстона вошла игла. И сейчас же по телу разлилось блаженное, целительное тепло. Боль уже почти забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О'Брайена. При виде тяжелого, в складках, лица, такого уродливого и

so intelligent, his heart seemed to turn over. If he could have moved he would have stretched out a hand and laid it on O’Brien arm. He had never loved him so deeply as at this moment, and not merely because he had stopped the pain. The old feeling, that at bottom it did not matter whether O’Brien was a friend or an enemy, had come back. O’Brien was a person who could be talked to. Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood. O’Brien had tortured him to the edge of lunacy, and in a little while, it was certain, he would send him to his death. It made no difference. In some sense that went deeper than friendship, they were intimates: somewhere or other, although the actual words might never be spoken, there was a place where they could meet and talk. O’Brien was looking down at him with an expression which suggested that the same thought might be in his own mind. When he spoke it was in an easy, conversational tone.

такого умного, у него оттаяло сердце. Если бы он мог пошевелиться, он протянул бы руку и тронул бы за руку О'Брайена. Никогда еще он не любил его так сильно, как сейчас, -- и не только за то, что О'Брайен прекратил боль. Вернулось прежнее чувство: неважно, друг О'Брайен или враг. О'Брайен -- тот, с кем можно разговаривать. Может быть, человек не так нуждается в любви, как в понимании. О'Брайен пытал его и почти свел с ума, а вскоре, несомненно, отправит его на смерть. Это не имело значения. В каком-то смысле их соединяло нечто большее, чем дружба. Они были близки; было где-то такое место, где они могли встретиться и поговорить -- пусть даже слова не будут произнесены вслух. О'Брайен смотрел на него сверху с таким выражением, как будто думал о том же самом. И голос его зазвучал мирно, непринужденно.

“Do you know where you are, Winston?” he said.

-- Вы знаете, где находитесь, Уинстон? -- спросил он.

“I don’t know. I can guess. In the Ministry of Love.”

-- Не знаю. Догадываюсь. В министерстве любви.

“Do you know how long you have been here?”

-- Знаете, сколько времени вы здесь?

“I don’t know. Days, weeks, months -- I think it is months.”

-- Не знаю. Дни, недели, месяцы... месяцы, я думаю.

“And why do you imagine that we bring people to this place?”

-- А как вы думаете, зачем мы держим здесь людей?

“To make them confess.”

-- Чтобы заставить их признаться.

“No, that is not the reason. Try again.”

-- Нет, не для этого. Подумайте еще.

“To punish them.”

-- Чтобы их наказать.

“No!” exclaimed O’Brien. His voice had changed extraordinarily, and his face had suddenly become both stern and animated. “No! Not merely to extract your confession, not to punish you. Shall I tell you why we have brought you here? To cure you! To make you sane! Will you understand, Winston, that no one whom we bring to this place ever leaves our hands uncured? We are not interested in those stupid crimes that you have committed. The Party is not interested in the overt act: the thought is all we care about. We do not merely destroy our enemies, we change them. Do you understand what I mean by that?”

-- Нет! -- воскликнул О'Брайен. Голос его изменился до неузнаваемости, а лицо вдруг стало и строгим и возбужденным. -- Нет! Не для того, чтобы наказать, и не только для того, чтобы добиться от вас признания. Хотите, я объясню, зачем вас здесь держат? Чтобы вас излечить! Сделать вас нормальным! Вы понимаете, Уинстон, что тот, кто здесь побывал, не уходит из наших рук неизлеченным? Нам неинтересны ваши глупые преступления. Партию не беспокоят явные действия; мысли -- вот о чем наша забота. Мы не просто уничтожаем наших врагов, мы их исправляем. Вы понимаете, о чем я говорю?

He was bending over Winston. His face looked enormous because of its nearness,

Он наклонился над Уинстоном. Лицо его, огромное вблизи, казалось отталкивающе

and hideously ugly because it was seen from below. Moreover it was filled with a sort of exaltation, a lunatic intensity. Again Winston's heart shrank. If it had been possible he would have cowered deeper into the bed. He felt certain that O'Brien was about to twist the dial out of sheer wantonness. At this moment, however, O'Brien turned away. He took a pace or two up and down. Then he continued less vehemently:

"The first thing for you to understand is that in this place there are no martyrdoms. You have read of the religious persecutions of the past. In the Middle Ages there was the Inquisitlon. It was a failure. It set out to eradicate heresy, and ended by perpetuating it. For every heretic it burned at the stake, thousands of others rose up. Why was that? Because the Inquisition killed its enemies in the open, and killed them while they were still unrepentant: in fact, it killed them because they were unrepentant. Men were dying because they would not abandon their true beliefs. Naturally all the glory belonged to the victim and all the shame to the Inquisitor who burned him. Later, in the twentieth century, there were the totalitarians, as they were called. There were the German Nazis and the Russian Communists. The Russians persecuted heresy more cruelly than the Inquisition had done. And they imagined that they had learned from the mistakes of the past; they knew, at any rate, that one must not make martyrs. Before they exposed their victims to public trial, they deliberately set themselves to destroy their dignity. They wore them down by torture and solitude until they were despicable, cringing wretches, confessing whatever was put into their mouths, covering themselves with abuse, accusing and sheltering behind one another, whimpering for mercy. And yet after only a few years the same thing had happened over again. The dead men had become martyrs and their degradation was forgotten. Once again, why was it? In the first place, because the confessions that they had made were obviously extorted and untrue. We do not make mistakes of that kind. All the confessions that are uttered here are true. We make them true. And above all we do not allow the dead to rise up against us. You must stop imagining

уродливым оттого, что Уинстон смотрел на него снизу. И на нем была написана одержимость, сумасшедший восторг. Сердце Уинстона снова сжалось. Если бы можно было, он зарылся бы в койку. Он был уверен, что сейчас О'Брайен дернет рычаг просто для развлечения. Однако О'Брайен отвернулся. Он сделал несколько шагов туда и обратно. Потом продолжал без прежнего исступления:

-- Раньше всего вам следует усвоить, что в этом месте не бывает мучеников. Вы читали о религиозных преследованиях прошлого? В средние века существовала инквизиция. Она оказалась несостоятельной. Она стремилась выкорчевать ереси, а в результате их увековечила. За каждым еретиком, сожженным на костре, вставали тысячи новых. Почему? Потому что инквизиция убивала врагов открыто, убивала нераскаявшихся; в сущности, потому и убивала, что они не раскаялись. Люди умирали за то, что не хотели отказаться от своих убеждений. Естественно, вся слава доставалась жертве, а позор -- инквизитору, палачу. Позже, в двадцатом веке, были так называемые тоталитарные режимы. Были германские нацисты и русские коммунисты. Русские преследовали ересь безжалостнее, чем инквизиция. И они думали, что извлекли урок из ошибок прошлого; во всяком случае, они поняли, что мучеников создавать не надо. Прежде чем вывести жертву на открытый процесс, они стремились лишить ее достоинства. Арестованных изматывали пытками и одиночеством и превращали в жалких, раболепных людишек, которые признавались во всем, что им вкладывали в уста, обливали себя грязью, сваливали вину друг на друга, хныкали и просили пощады. И, однако, всего через несколько лет произошло то же самое. Казненные стали мучениками, ничтожество их забылось. Опять-таки -- почему? Прежде всего потому, что их признания были явно вырваны силой и лживы. Мы таких ошибок не делаем. Все признания, которые здесь произносятся, -- правда. Правдой их делаем мы. А самое главное, мы не допускаем, чтобы мертвые восставали против нас. Не воображайте, Уинстон, что будущее за

that posterity will vindicate you, Winston. Posterity will never hear of you. You will be lifted clean out from the stream of history. We shall turn you into gas and pour you into the stratosphere. Nothing will remain of you, not a name in a register, not a memory in a living brain. You will be annihilated in the past as well as in the future. You will never have existed."

вас отомстит. Будущее о вас никогда не услышит. Вас выдернут из потока истории. Мы превратим вас в газ и выпустим в стратосферу. От вас ничего не останется: ни имени в списках, ни памяти в разуме живых людей. Вас сотрут и в прошлом и в будущем. Будет так, как если бы вы никогда не жили на свете.

Then why bother to torture me? thought Winston, with a momentary bitterness. O'Brien checked his step as though Winston had uttered the thought aloud. His large ugly face came nearer, with the eyes a little narrowed.

-- Зачем тогда трудиться, пытать меня? -- с горечью подумал Уинстон. О'Брайен прервал свою речь, словно Уинстон произнес это вслух. Он приблизил к Уинстону большое уродливое лицо, и глаза его сузились.

"You are thinking," he said, "that since we intend to destroy you utterly, so that nothing that you say or do can make the smallest difference -- in that case, why do we go to the trouble of interrogating you first? That is what you were thinking, was it not?"

-- Вы думаете, -- сказал он, -- что раз мы намерены уничтожить вас и ни слова ваши, ни дела ничего не будут значить, зачем тогда мы взяли на себя труд вас допрашивать? Вы ведь об этом думаете, верно?

"Yes," said Winston.

-- Да, -- ответил Уинстон.

O'Brien smiled slightly. "You are a flaw in the pattern, Winston. You are a stain that must be wiped out. Did I not tell you just now that we are different from the persecutors of the past? We are not content with negative obedience, nor even with the most abject submission. When finally you surrender to us, it must be of your own free will. We do not destroy the heretic because he resists us: so long as he resists us we never destroy him. We convert him, we capture his inner mind, we reshape him. We burn all evil and all illusion out of him; we bring him over to our side, not in appearance, but genuinely, heart and soul. We make him one of ourselves before we kill him. It is intolerable to us that an erroneous thought should exist anywhere in the world, however secret and powerless it may be. Even in the instant of death we cannot permit any deviation. In the old days the heretic walked to the stake still a heretic, proclaiming his heresy, exulting in it. Even the victim of the Russian purges could carry rebellion locked up in his skull as he walked down the passage waiting for the bullet. But we make the brain perfect before we blow it out. The command of the old despotisms was 'Thou shalt not'. The command of the totalitarians was 'Thou shalt'. Our command is '*Thou art*'. No one whom we bring to this place ever stands out against us. Everyone is washed clean.

O'Брайен слегка улыбнулся. -- Вы -- изъян в общем порядке, Уинстон. Вы -- пятно, которое надо стереть. Разве я не объяснил вам, чем мы отличаемся от прежних карателей? Мы не довольствуемся негативным послушанием и даже самой униженной покорностью. Когда вы окончательно нам сдадитесь, вы сдадитесь по собственной воле. Мы уничтожаем еретика не потому, что он нам сопротивляется; покуда он сопротивляется, мы его не уничтожим. Мы обратим его, мы захватим его душу до самого дна, мы его переделаем. Мы выжжем в нем все зло и все иллюзии; он примет нашу сторону -- не формально, а искренне, умом и сердцем. Он станет одним из нас, и только тогда мы его убьем. Мы не потерпим, чтобы где-то в мире существовало заблуждение, пусть тайное, пусть бессильное. Мы не допустим отклонения даже в миг смерти. В прежние дни еретик всходил на костер все еще еретиком, провозглашая свою ересь, восторгаясь ею. Даже жертва русских чисток, идя по коридору и ожидая пули, могла хранить под крышкой черепа бунтарскую мысль. Мы же, прежде чем вышибить мозги, делаем их безукоризненными. Заповедь старых деспотий начиналась словами: «Не смей». Заповедь тоталитарных: «Ты должен». Наша заповедь: «Ты есть». Ни один из тех,

Even those three miserable traitors in whose innocence you once believed -- Jones, Aaronson, and Rutherford -- in the end we broke them down. I took part in their interrogation myself. I saw them gradually worn down, whimpering, grovelling, weeping -- and in the end it was not with pain or fear, only with penitence. By the time we had finished with them they were only the shells of men. There was nothing left in them except sorrow for what they had done, and love of Big Brother. It was touching to see how they loved him. They begged to be shot quickly, so that they could die while their minds were still clean."

кого приводят сюда, не может устоять против нас. Всех промывают дочиста. Даже этих жалких предателей, которых вы считали невиновными -- Джонса, Аронсона и Резерфорда -- даже их мы в конце концов сломали. Я сам участвовал в допросах. Я видел, как их перетирали, как они скулили, пресмыкались, плакали -- и под конец не от боли, не от страха, а только от раскаяния. Когда мы закончили с ними, они были только оболочкой людей. В них ничего не осталось, кроме сожалений о том, что они сделали, и любви к Старшему Брату. Трогательно было видеть, как они его любили. Они умоляли, чтобы их скорее увели на расстрел, -- хотели умереть, пока их души еще чисты.

His voice had grown almost dreamy. The exaltation, the lunatic enthusiasm, was still in his face. He is not pretending, thought Winston, he is not a hypocrite, he believes every word he says. What most oppressed him was the consciousness of his own intellectual inferiority. He watched the heavy yet graceful form strolling to and fro, in and out of the range of his vision. O'Brien was a being in all ways larger than himself. There was no idea that he had ever had, or could have, that O'Brien had not long ago known, examined, and rejected. His mind *contained* Winston's mind. But in that case how could it be true that O'Brien was mad? It must be he, Winston, who was mad. O'Brien halted and looked down at him. His voice had grown stern again.

В голосе его слышались мечтательные интонации. Лицо по-прежнему горело восторгом, ретивостью сумасшедшего. Он не притворяется, подумал Уинстон; он не лицемер, он убежден в каждом своем слове. Больше всего Уинстона угнетало сознание своей умственной неполноценности. О'Брайен с тяжеловесным изяществом расхаживал по комнате, то появляясь в поле его зрения, то исчезая. О'Брайен был больше его во всех отношениях. Не родилось и не могло родиться в его головы такой идеи, которая не была бы давно известна О'Брайену, взвешена им и отвергнута. Ум О'Брайена *содержал* в себе его ум. Но в таком случае как О'Брайен может быть сумасшедшим? Сумасшедшим должен быть он, Уинстон. О'Брайен остановился, посмотрел на него. И опять заговорил суровым тоном:

"Do not imagine that you will save yourself, Winston, however completely you surrender to us. No one who has once gone astray is ever spared. And even if we chose to let you live out the natural term of your life, still you would never escape from us. What happens to you here is for ever. Understand that in advance. We shall crush you down to the point from which there is no coming back. Things will happen to you from which you could not recover, if you lived a thousand years. Never again will you be capable of ordinary human feeling. Everything will be dead inside you. Never again will you be capable of love, or friendship, or joy of living, or laughter, or curiosity, or courage, or integrity. You will

-- Не воображайте, что вы спасетесь, Уинстон, -- даже ценой полной капитуляции. Ни один из сбившихся с пути уцелеть не может. И если даже мы позволим вам дожить до естественной смерти, вы от нас не спасетесь. То, что делается с вами здесь, делается навечно. Знайте это наперед. Мы сомнем вас так, что вы уже никогда не поднимитесь. С вами произойдет такое, от чего нельзя оправиться, проживи вы еще хоть тысячу лет. Вы никогда не будете способны на обыкновенное человеческое чувство. Внутри у вас все отомрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любопытство, храбрость, честность -- всего этого у вас уже никогда не будет.

be hollow. We shall squeeze you empty, and then we shall fill you with ourselves."

Вы станете полым. Мы выдавим из вас все до капли -- а потом заполним собой.

He paused and signed to the man in the white coat. Winston was aware of some heavy piece of apparatus being pushed into place behind his head. O'Brien had sat down beside the bed, so that his face was almost on a level with Winston's.

Он умолк и сделал знак человеку в белом. Уинстон почувствовал, что сзади к его голове подвели какой-то тяжелый аппарат. О'Брайен сел у койки, и лицо его оказалось почти вровень с лицом Уинстона.

"Three thousand," he said, speaking over Winston's head to the man in the white coat.

-- Три тысячи, -- сказал он через голову Уинстона человеку в белом.

Two soft pads, which felt slightly moist, clamped themselves against Winston's temples. He quailed. There was pain coming, a new kind of pain. O'Brien laid a hand reassuringly, almost kindly, on his.

К вискам Уинстона прилегли две мягкие подушечки, как будто влажные. Он сжался. Снова будет боль, какая-то другая боль. О'Брайен успокоил его, почти ласково взяв за руку:

"This time it will not hurt," he said. "Keep your eyes fixed on mine."

-- На этот раз больно не будет. Смотрите мне в глаза.

At this moment there was a devastating explosion, or what seemed like an explosion, though it was not certain whether there was any noise. There was undoubtedly a blinding flash of light. Winston was not hurt, only prostrated. Although he had already been lying on his back when the thing happened, he had a curious feeling that he had been knocked into that position. A terrific painless blow had flattened him out. Also something had happened inside his head. As his eyes regained their focus he remembered who he was, and where he was, and recognized the face that was gazing into his own; but somewhere or other there was a large patch of emptiness, as though a piece had been taken out of his brain.

Произошел чудовищный взрыв -- или что-то показавшееся ему взрывом, хотя он не был уверен, что это сопровождалось звуком. Но ослепительная вспышка была несомненно. Уинстона не ушибло, а только опрокинуло. Хотя он уже лежал навзничь, когда это произошло, чувство было такое, будто его бросили на спину. Его распластал ужасный безболезненный удар. И что-то произошло в голове. Когда зрение прояснилось, Уинстон вспомнил, кто он и где находится, узнал того, кто пристально смотрел ему в лицо; но где-то, непонятно где, существовала область пустоты, словно кусок вынули из его мозга.

"It will not last," said O'Brien. "Look me in the eyes. What country is Oceania at war with?"

-- Это пройдет, -- сказал О'Брайен. -- Смотрите мне в глаза. С какой страной воюет Океания?

Winston thought. He knew what was meant by Oceania and that he himself was a citizen of Oceania. He also remembered Eurasia and Eastasia; but who was at war with whom he did not know. In fact he had not been aware that there was any war.

Уинстон думал. Он понимал, что означает «Океания» и что он -- гражданин Океании. Помнил он и Евразию с Остазией; но кто с кем воюет, он не знал. Он даже не знал, что была какая-то война.

"I don't remember."

-- Не помню.

"Oceania is at war with Eastasia. Do you remember that now?"

-- Океания воюет с Остазией. Теперь вы вспомнили?

"Yes."

-- Да.

"Oceania has always been at war with Eastasia. Since the beginning of your life, since the beginning of the Party, since the beginning of history, the war has continued without a break, always the same war. Do

-- Океания всегда воевала с Остазией. С первого дня вашей жизни, с первого дня партии, с первого дня истории война шла без перерыва -- все та же война. Это вы помните?

you remember that?”

“Yes.”

-- Да.

“Eleven years ago you created a legend about three men who had been condemned to death for treachery. You pretended that you had seen a piece of paper which proved them innocent. No such piece of paper ever existed. You invented it, and later you grew to believe in it. You remember now the very moment at which you first invented it. Do you remember that?”

-- Одиннадцать лет назад вы сочинили легенду о троих людях, приговоренных за измену к смертной казни. Выдумали, будто видели клочок бумаги, доказывавший их невиновность. Такой клочок бумаги никогда не существовал. Это был ваш вымысел, а потом вы в него поверили. Теперь вы вспомнили ту минуту, когда это было выдумано. Вспомнили?

“Yes.”

-- Да.

“Just now I held up the fingers of my hand to you. You saw five fingers. Do you remember that?”

-- Только что я показывал вам пальцы. Вы видели пять пальцев. Вы это помните?

“Yes.”

-- Да.

O’Brien held up the fingers of his left hand, with the thumb concealed.

О'Брайен показал ему левую руку, спрятав большой палец.

“There are five fingers there. Do you see five fingers?”

-- Пять пальцев. Вы видите пять пальцев?

“Yes.”

-- Да.

And he did see them, for a fleeting instant, before the scenery of his mind changed. He saw five fingers, and there was no deformity. Then everything was normal again, and the old fear, the hatred, and the bewilderment came crowding back again. But there had been a moment -- he did not know how long, thirty seconds, perhaps -- of luminous certainty, when each new suggestion of O’Brien’s had filled up a patch of emptiness and become absolute truth, and when two and two could have been three as easily as five, if that were what was needed. It had faded but before O’Brien had dropped his hand; but though he could not recapture it, he could remember it, as one remembers a vivid experience at some period of one’s life when one was in effect a different person.

И он их видел, одно мимолетное мгновение, до того, как в голове у него все стало на свои места. Он видел пять пальцев и никакого искажения не замечал. Потом рука приняла естественный вид, и разом нахлынули прежний страх, ненависть, замешательство. Но был такой период -- он не знал, долгий ли, может быть, полминуты, -- светлой определенности, когда каждое новое внушение О'Брайена заполняло пустоту в голове и становилось абсолютной истиной, когда два и два так же легко могли стать тремя, как и пятью, если требовалось. Это состояние прошло раньше, чем О'Брайен отпустил его руку; и, хотя вернуться в это состояние Уинстон не мог, он его помнил, как помнишь яркий случай из давней жизни, когда ты был, по существу, другим человеком.

“You see now,” said O’Brien, “that it is at any rate possible.”

-- Теперь вы по крайней мере понимаете, -- сказал О'Брайен, -- что это возможно.

“Yes,” said Winston.

-- Да, -- отозвался Уинстон.

O’Brien stood up with a satisfied air. Over to his left Winston saw the man in the white coat break an ampoule and draw back the plunger of a syringe. O’Brien turned to Winston with a smile. In almost the old manner he resettled his spectacles on his nose.

О'Брайен с удовлетворенным видом встал. Уинстон увидел, что слева человек в белом сломал ампулу и набирает из нее в шприц. О'Брайен с улыбкой обратился к Уинстону. Почти как раньше, он поправил на носу очки.

“Do you remember writing in your diary,”

-- Помните, как вы написали про меня в

he said, "that it did not matter whether I was a friend or an enemy, since I was at least a person who understood you and could be talked to? You were right. I enjoy talking to you. Your mind appeals to me. It resembles my own mind except that you happen to be insane. Before we bring the session to an end you can ask me a few questions, if you choose."

дневнике: неважно, друг он или враг -- этот человек может хотя бы понять меня, с ним можно разговаривать. Вы были правы. Мне нравится с вами разговаривать. Меня привлекает ваш склад ума. Мы с вами похоже мыслим, с той только разницей, что вы безумны. Прежде чем мы закончим беседу, вы можете задать мне несколько вопросов, если хотите.

"Any question I like?"

-- Любые вопросы?

"Anything." He saw that Winston's eyes were upon the dial. "It is switched off. What is your first question?"

-- Какие угодно. -- Он увидел, что Уинстон скосился на шкалу. -- Отключено. Ваш первый вопрос?

"What have you done with Julia?" said Winston.

-- Что вы сделали с Джулией? -- спросил Уинстон.

O'Brien smiled again. "She betrayed you, Winston. Immediately-unreservedly. I have seldom seen anyone come over to us so promptly. You would hardly recognize her if you saw her. All her rebelliousness, her deceit, her folly, her dirty-mindedness -- everything has been burned out of her. It was a perfect conversion, a textbook case."

О'Брайен снова улыбнулся. -- Она предала вас, Уинстон. Сразу, безоговорочно. Мне редко случалось видеть, чтобы кто-нибудь так живо шел нам навстречу. Вы бы ее вряд ли узнали. Все ее бунтарство, лживость, безрассудство, испорченность -- все это выжжено из нее. Это было идеальное обращение, прямо для учебников.

"You tortured her?"

-- Вы ее пытали?

O'Brien left this unanswered. "Next question," he said.

На это О'Брайен не ответил. -- Следующий вопрос, -- сказал он.

"Does Big Brother exist?"

-- Старший Брат существует?

"Of course he exists. The Party exists. Big Brother is the embodiment of the Party."

-- Конечно, существует. Партия существует. Старший Брат -- олицетворение партии.

"Does he exist in the same way as I exist?"

-- Существует он в том смысле, в каком существую я?

"You do not exist," said O'Brien.

-- Вы не существуете, -- сказал О'Брайен.

Once again the sense of helplessness assailed him. He knew, or he could imagine, the arguments which proved his own nonexistence; but they were nonsense, they were only a play on words. Did not the statement, "You do not exist", contain a logical absurdity? But what use was it to say so? His mind shrivelled as he thought of the unanswerable, mad arguments with which O'Brien would demolish him.

Снова на него навалилась беспомощность. Он знал, мог представить себе, какими аргументами будут доказывать, что он не существует, но все они -- бессмыслица, просто игра слов. Разве в утверждении: «Вы не существуете» -- не содержится логическая нелепость? Но что толку говорить об этом? Ум его съежился при мысли о неопровержимых, безумных аргументах, которыми его разгромит О'Брайен.

"I think I exist," he said wearily. "I am conscious of my own identity. I was born and I shall die. I have arms and legs. I occupy a particular point in space. No other solid object can occupy the same point simultaneously. In that sense, does Big Brother exist?"

-- По-моему, я существую, -- устало сказал он. -- Я сознаю себя. Я родился и я умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенный объем в пространстве. Никакое твердое тело не может занимать этот объем одновременно со мной. В этом смысле существует Старший Брат?

"It is of no importance. He exists."

-- Это не важно. Он существует.

"Will Big Brother ever die?"

-- Старший Брат когда-нибудь умрет?

"Of course not. How could he die? Next question."

-- Конечно, нет. Как он может умереть? Следующий вопрос.

"Does the Brotherhood exist?"

-- Братство существует?

"That, Winston, you will never know. If we choose to set you free when we have finished with you, and if you live to be ninety years old, still you will never learn whether the answer to that question is Yes or No. As long as you live it will be an unsolved riddle in your mind."

-- А этого, Уинстон, вы никогда не узнаете. Если мы решим выпустить вас, когда кончим, и вы доживете до девяноста лет, вы все равно не узнаете, как ответить на этот вопрос: нет или да. Сколько вы живете, столько и будете биться над этой загадкой.

Winston lay silent. His breast rose and fell a little faster. He still had not asked the question that had come into his mind the first. He had got to ask it, and yet it was as though his tongue would not utter it. There was a trace of amusement in O'Brien's face. Even his spectacles seemed to wear an ironical gleam. He knows, thought Winston suddenly, he knows what I am going to ask! At the thought the words burst out of him:

Уинстон лежал молча. Теперь его грудь поднималась и опускалась чуть чаще. Он так и не задал вопроса, который первым пришел ему в голову. Он должен его задать, но язык отказывался служить ему. На лице О'Брайена как будто промелькнула насмешка. Даже очки у него блеснули иронически. Он знает, вдруг подумал Уинстон, знает, что я хочу спросить! И тут же у него вырвалось:

"What is in Room 101?"

-- Что делают в комнате сто один?

The expression on O'Brien's face did not change. He answered drily:

Лицо О'Брайена не изменило выражения. Он сухо ответил:

"You know what is in Room 101, Winston. Everyone knows what is in Room 101."

-- Уинстон, вы знаете, что делается в комнате сто один. Все знают, что делается в комнате сто один.

He raised a finger to the man in the white coat. Evidently the session was at an end. A needle jerked into Winston's arm. He sank almost instantly into deep sleep.

Он сделал пальцем знак человеку в белом. Беседа, очевидно, подошла к концу. В руку Уинстону воткнулась игла. И почти сразу он уснул глубоким сном.

III

III

"There are three stages in your reintegration," said O'Brien. "There is learning, there is understanding, and there is acceptance. It is time for you to enter upon the second stage."

-- В вашем восстановлении три этапа, -- сказал О'Брайен, -- Учеба, понимание и приятие. Пора перейти ко второму этапу.

As always, Winston was lying flat on his back. But of late his bonds were looser. They still held him to the bed, but he could move his knees a little and could turn his head from side to side and raise his arms from the elbow. The dial, also, had grown to be less of a terror. He could evade its pangs if he was quick-witted enough: it was chiefly when he showed stupidity that O'Brien pulled the lever. Sometimes they got through a whole session without use of the dial. He could not remember how many sessions there had been. The whole process seemed to stretch out over a long, indefinite time -- weeks, possibly -- and the intervals between the sessions might sometimes

Как всегда, Уинстон лежал на спине. Но захваты держали его не так туго. Они по-прежнему притягивали его к койке, однако он мог слегка сгибать ноги в коленях, поворачивать голову влево и вправо и поднимать руки от локтя. И шкала с рычагом не внушала прежнего ужаса. Если он соображал быстро, то мог, избежать разрядов; теперь О'Брайен брался за рычаг чаще всего тогда, когда был недоволен его глупостью. Порою все собеседование проходило без единого удара. Сколько их было, он уже не мог запомнить. Весь этот процесс тянулся долго -- наверно, уже не одну неделю, -- а перерывы между беседами бывали

have been days, sometimes only an hour or two.

"As you lie there," said O'Brien, "you have often wondered -- you have even asked me -- why the Ministry of Love should expend so much time and trouble on you. And when you were free you were puzzled by what was essentially the same question. You could grasp the mechanics of the Society you lived in, but not its underlying motives. Do you remember writing in your diary, 'I understand *how*: I do not understand *why*'? It was when you thought about 'why' that you doubted your own sanity. You have read *the book*, Goldstein's book, or parts of it, at least. Did it tell you anything that you did not know already?"

"You have read it?" said Winston.

"I wrote it. That is to say, I collaborated in writing it. No book is produced individually, as you know."

"Is it true, what it says?"

"A description, yes. The programme it sets forth is nonsense. The secret accumulation of knowledge -- a gradual spread of enlightenment -- ultimately a proletarian rebellion -- the overthrow of the Party. You foresaw yourself that that was what it would say. It is all nonsense. The proletarians will never revolt, not in a thousand years or a million. They cannot. I do not have to tell you the reason: you know it already. If you have ever cherished any dreams of violent insurrection, you must abandon them. There is no way in which the Party can be overthrown. The rule of the Party is for ever. Make that the starting-point of your thoughts."

He came closer to the bed. "For ever!" he repeated. "And now let us get back to the question of 'how' and 'why'. You understand well enough *how* the Party maintains itself in power. Now tell me *why* we cling to power. What is our motive? Why should we want power? Go on, speak," he added as Winston remained silent.

Nevertheless Winston did not speak for another moment or two. A feeling of weariness had overwhelmed him. The faint, mad gleam of enthusiasm had come back into O'Brien's face. He knew in advance what O'Brien would say. That the Party did not seek power for its own ends, but only

иногда в несколько дней, а иногда час-другой.

-- Пока вы здесь лежали, -- сказал О'Брайен, -- вы часто задавались вопросом -- и меня спрашивали, -- зачем министерство любви тратит на вас столько трудов и времени. Когда оставались одни, вас занимал, в сущности, тот же самый вопрос. Вы понимаете механику нашего общества, но не понимали побудительных мотивов. Помните, как вы записали в дневнике: «Я понимаю *как*; не понимаю *зачем*»? Когда вы думали об этом «зачем», вот тогда вы и сомневались в своей нормальности. Вы прочли *книгу*, книгу Голдстейна, -- по крайней мере какие-то главы. Прочли вы в ней что-нибудь такое, чего не знали раньше?

-- Вы ее читали? -- сказал Уинстон.

-- Я ее писал. Вернее, участвовал в написании. Как вам известно, книги не пишутся в одиночку.

-- То, что там сказано, -- правда?

-- В описательной части -- да. Предложенная программа -- вздор. Тайно накапливать знания... просвещать массы... затем пролетарское восстание... свержение партии. Вы сами догадывались, что там сказано дальше. Пролетарии никогда не восстанут -- ни через тысячу лет, ни через миллион. Они не могут восстать. Причину вам объяснять не надо; вы сами знаете. И если вы тешились мечтами о вооруженном восстании -- оставьте их. Никакой возможности свергнуть партию нет. Власть партии -- навеки. Возьмите это за отправную точку в ваших размышлениях.

О'Брайен подошел ближе к койке. -- Навеки! -- повторил он. -- А теперь вернемся к вопросам «как?» и «зачем?». Вы более или менее поняли, как партия сохраняет свою власть. Теперь скажите мне, для чего мы держимся за власть. Каков побудительный мотив? Говорите же, -- приказал он молчавшему Уинстону.

Тем не менее Уинстон медлил. Его переполняла усталость. А в глазах О'Брайена опять зажегся тусклый безумный огонек энтузиазма. Он заранее знал, что скажет О'Брайен: что партия ищет власти не ради нее самой, а ради блага большинства. Ищет власти, потому

for the good of the majority. That it sought power because men in the mass were frail cowardly creatures who could not endure liberty or face the truth, and must be ruled over and systematically deceived by others who were stronger than themselves. That the choice for mankind lay between freedom and happiness, and that, for the great bulk of mankind, happiness was better. That the party was the eternal guardian of the weak, a dedicated sect doing evil that good might come, sacrificing its own happiness to that of others. The terrible thing, thought Winston, the terrible thing was that when O'Brien said this he would believe it. You could see it in his face. O'Brien knew everything. A thousand times better than Winston he knew what the world was really like, in what degradation the mass of human beings lived and by what lies and barbarities the Party kept them there. He had understood it all, weighed it all, and it made no difference: all was justified by the ultimate purpose. What can you do, thought Winston, against the lunatic who is more intelligent than yourself, who gives your arguments a fair hearing and then simply persists in his lunacy?

что люди в массе своей -- слабые, трусливые создания, они не могут выносить свободу, не могут смотреть в лицо правде, поэтому ими должны править и систематически их обманывать те, кто сильнее их. Что человечество стоит перед выбором: свобода или счастье, и для подавляющего большинства счастье -- лучше. Что партия -- вечный опекун слабых, преданный идее орден, который творит зло во имя добра, жертвует собственным счастьем ради счастья других. Самое ужасное, думал Уинстон, самое ужасное -- что, когда О'Брайен скажет это, он сам себе поверит. Это видно по его лицу. О'Брайен знает все. Знает в тысячу раз лучше Уинстона, в каком убожестве живут люди, какой ложью и жестокостью партия удерживает их в этом состоянии. Он понял все, все оценил и не поколебался в своих убеждениях: все оправдано конечной целью. Что ты можешь сделать, думал Уинстон, против безумца, который умнее тебя, который беспристрастно выслушивает твои аргументы и продолжает упорствовать в своем безумии?

"You are ruling over us for our own good," he said feebly. "You believe that human beings are not fit to govern themselves, and therefore--"

-- Вы правите нами для нашего блага, -- слабым голосом сказал он. -- Вы считаете, что люди не способны править собой, и поэтому…

He started and almost cried out. A pang of pain had shot through his body. O'Brien had pushed the lever of the dial up to thirty-five.

Он вздрогнул и чуть не закричал. Боль пронзила его тело. О'Брайен поставил рычаг на тридцать пять.

"That was stupid, Winston, stupid!" he said. "You should know better than to say a thing like that."

-- Глупо, Уинстон, глупо! -- сказал он. -- Я ожидал от вас лучшего ответа.

He pulled the lever back and continued:

Он отвел рычаг обратно и продолжал:

"Now I will tell you the answer to my question. It is this. The Party seeks power entirely for its own sake. We are not interested in the good of others; we are interested solely in power. Not wealth or luxury or long life or happiness: only power, pure power. What pure power means you will understand presently. We are different from all the oligarchies of the past, in that we know what we are doing. All the others, even those who resembled ourselves, were cowards and hypocrites. The German Nazis and the Russian Communists came very close to us in their methods, but they never had the courage to

-- Теперь я сам отвечу на этот вопрос. Вот как. Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье -- только власть, чистая власть. Что означает чистая власть, вы скоро поймете. Мы знаем, что делаем, и в этом наше отличие от всех олигархий прошлого. Все остальные, даже те, кто напоминал нас, были трусы и лицемеры. Германские нацисты и русские коммунисты были уже очень близки к нам по методам, но у них не хватило мужества разобраться в

recognize their own motives. They pretended, perhaps they even believed, that they had seized power unwillingly and for a limited time, and that just round the corner there lay a paradise where human beings would be free and equal. We are not like that. We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it. Power is not a means, it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship. The object of persecution is persecution. The object of torture is torture. The object of power is power. Now do you begin to understand me?"

собственных мотивах. Они делали вид и, вероятно, даже верили, что захватили власть вынужденно, на ограниченное время, а впереди, рукой подать, уже виден рай, где люди будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что власть никогда не захватывают для того, чтобы от нее отказаться. Власть -- не средство; она -- цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий -- репрессии. Цель пытки -- пытка. Цель власти -- власть. Теперь вы меня немного понимаете?

Winston was struck, as he had been struck before, by the tiredness of O'Brien's face. It was strong and fleshy and brutal, it was full of intelligence and a sort of controlled passion before which he felt himself helpless; but it was tired. There were pouches under the eyes, the skin sagged from the cheekbones. O'Brien leaned over him, deliberately bringing the worn face nearer.

Уинстон был поражен, и уже не в первый раз, усталостью на лице О'Брайена. Оно было сильным, мясистым и грубым, в нем виден был ум и сдерживаемая страсть, перед которой он чувствовал себя бессильным; но это было усталое лицо. Под глазами набухли мешки, и кожа под скулами обвисла. О'Брайен наклонился к нему -- нарочно приблизил утомленное лицо.

"You are thinking," he said, "that my face is old and tired. You are thinking that I talk of power, and yet I am not even able to prevent the decay of my own body. Can you not understand, Winston, that the individual is only a cell? The weariness of the cell is the vigour of the organism. Do you die when you cut your fingernails?"

-- Вы думаете, -- сказал он, -- что лицо у меня старое и усталое. Вы думаете, что я рассуждаю о власти, а сам не в силах предотвратить даже распад собственного тела. Неужели вы не понимаете, Уинстон, что индивид -- всего лишь клетка? Усталость клетки -- энергия организма. Вы умираете, когда стрижете ногти?

He turned away from the bed and began strolling up and down again, one hand in his pocket.

Он отвернулся от Уинстона и начал расхаживать по камере, засунув одну руку в карман.

"We are the priests of power," he said. "God is power. But at present power is only a word so far as you are concerned. It is time for you to gather some idea of what power means. The first thing you must realize is that power is collective. The individual only has power in so far as he ceases to be an individual. You know the Party slogan: 'Freedom is Slavery'. Has it ever occurred to you that it is reversible? Slavery is freedom. Alone -- free -- the human being is always defeated. It must be so, because every human being is doomed to die, which is the greatest of all failures. But if he can make complete, utter submission, if he can escape from his identity, if he can merge himself in the Party so that he is the Party, then he is all-powerful and immortal. The second thing for you to realize is that power

-- Мы -- жрецы власти, -- сказал он. -- Бог -- это власть. Но что касается вас, власть -- покуда только слово. Пора объяснить вам, что значит «власть». Прежде всего вы должны понять, что власть коллективная. Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Вы знаете партийный лозунг: «Свобода -- это рабство». Вам не приходило в голову, что его можно перевернуть? Рабство -- это свобода. Один -- свободный -- человек всегда терпит поражение. Так и должно быть, ибо каждый человек обречен умереть, и это его самый большой изъян. Но если он может полностью, без остатка подчиниться, если он может отказаться от себя, если он может раствориться в партии так, что он *станет* партией,

is power over human beings. Over the body but, above all, over the mind. Power over matter -- external reality, as you would call it -- is not important. Already our control over matter is absolute."

тогда он всемогущ и бессмертен. Во-вторых, вам следует понять, что власть -- это власть над людьми, над телом, но самое главное -- над разумом. Власть над материей -- над внешней реальностью, как вы бы ее назвали, -- не имеет значения. Материю мы уже покорили полностью.

For a moment Winston ignored the dial. He made a violent effort to raise himself into a sitting position, and merely succeeded in wrenching his body painfully.

На миг Уинстон забыл о шкале. Напрягая все силы, он попытался сесть, но только сделал себе больно.

"But how can you control matter?" he burst out. "You don't even control the climate or the law of gravity. And there are disease, pain, death--"

-- Да как вы можете покорить материю? -- вырвалось у него. -- Вы даже климат, закон тяготения не покорили. А есть еще болезни, боль, смерть...

O'Brien silenced him by a movement of his hand. "We control matter because we control the mind. Reality is inside the skull. You will learn by degrees, Winston. There is nothing that we could not do. Invisibility, levitation -- anything. I could float off this floor like a soap bubble if I wish to. I do not wish to, because the Party does not wish it. You must get rid of those nineteenth-century ideas about the laws of Nature. We make the laws of Nature."

О'Брайен остановил его движением руки. -- Мы покорили материю, потому что мы покорили сознание. Действительность -- внутри черепа. Вы это постепенно уясните, Уинстон. Для нас нет ничего невозможного. Невидимость, левитация -- что угодно. Если бы я пожелал, я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь. Я этого не желаю, потому что этого не желает партия. Вы должны избавиться от представлений девятнадцатого века относительно законов природы. *Мы* создаем законы природы.

"But you do not! You are not even masters of this planet. What about Eurasia and Eastasia? You have not conquered them yet."

-- Как же вы создаете? Вы даже на планете не хозяева. А Евразия, Остазия? Вы их пока не завоевали.

"Unimportant. We shall conquer them when it suits us. And if we did not, what difference would it make? We can shut them out of existence. Oceania is the world."

-- Не важно. Завоюем, когда нам будет надо. А если не завоюем -- какая разница? Мы можем исключить их из нашей жизни. Океания -- это весь мир.

"But the world itself is only a speck of dust. And man is tiny helpless! How long has he been in existence? For millions of years the earth was uninhabited."

-- Но мир сам -- всего лишь пылинка. А человек мал... беспомощен! Давно ли он существует? Миллионы лет Земля была необитаема.

"Nonsense. The earth is as old as we are, no older. How could it be older? Nothing exists except through human consciousness."

-- Чепуха. Земле столько же лет, сколько нам, она не старше. Как она может быть старше? Вне человеческого сознания ничего не существует.

"But the rocks are full of the bones of extinct animals -- mammoths and mastodons and enormous reptiles which lived here long before man was ever heard of."

-- Но в земных породах -- кости вымерших животных... мамонтов, мастодонтов, огромных рептилий, они жили задолго до того, как стало известно о человеке.

"Have you ever seen those bones, Winston? Of course not. Nineteenth-century biologists invented them. Before man there

-- Вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон? Нет, конечно. Их выдумали биологи девятнадцатого века. До

was nothing. After man, if he could come to an end, there would be nothing. Outside man there is nothing."

человека не было ничего. После человека, если он кончится, не будет ничего. Нет ничего, кроме человека.

"But the whole universe is outside us. Look at the stars! Some of them are a million light-years away. They are out of our reach for ever."

-- Кроме нас есть целая вселенная. Посмотрите на звезды! Некоторые -- в миллионах световых лет от нас. Они всегда будут недоступны.

"What are the stars?" said O'Brien indifferently. "They are bits of fire a few kilometres away. We could reach them if we wanted to. Or we could blot them out. The earth is the centre of the universe. The sun and the stars go round it."

-- Что такое звезды? -- равнодушно возразил О'Брайен. -- Огненные крупинки в скольких-то километрах отсюда. Если бы мы захотели, мы бы их достигли или сумели бы их погасить. Земля -- центр вселенной. Солнце и звезды обращаются вокруг нас.

Winston made another convulsive movement. This time he did not say anything. O'Brien continued as though answering a spoken objection:

Уинстон снова попытался сесть. Но на этот раз ничего не сказал. О'Брайен продолжал, как бы отвечая на его возражение:

"For certain purposes, of course, that is not true. When we navigate the ocean, or when we predict an eclipse, we often find it convenient to assume that the earth goes round the sun and that the stars are millions upon millions of kilometres away. But what of it? Do you suppose it is beyond us to produce a dual system of astronomy? The stars can be near or distant, according as we need them. Do you suppose our mathematicians are unequal to that? Have you forgotten doublethink?"

-- Конечно, для определенных задач это не годится. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, нам удобнее предположить, что Земля вращается вокруг Солнца и что звезды удалены на миллионы и миллионы километров. Но что из этого? Думаете, нам не по силам разработать двойную астрономию? Звезды могут быть далекими или близкими в зависимости от того, что нам нужно. Думаете, наши математики с этим не справятся? Вы забыли о двоемыслии?

Winston shrank back upon the bed. Whatever he said, the swift answer crushed him like a bludgeon. And yet he knew, he knew, that he was in the right. The belief that nothing exists outside your own mind -- surely there must be some way of demonstrating that it was false? Had it not been exposed long ago as a fallacy? There was even a name for it, which he had forgotten. A faint smile twitched the corners of O'Brien's mouth as he looked down at him.

Уинстон вытянулся на койке. Что бы он ни сказал, мгновенный ответ сокрушал его, как дубинка. И все же он знал, он знал, что прав. Идея, что вне твоего сознания ничего не существует... ведь наверняка есть какой-то способ опровергнуть ее. Разве не доказали давным-давно, что это -- заблуждение? Оно даже как-то называлось, только он забыл как. О'Брайен смотрел сверху, слабая улыбка кривила ему рот.

"I told you, Winston," he said, "that metaphysics is not your strong point. The word you are trying to think of is solipsism. But you are mistaken. This is not solipsism. Collective solipsism, if you like. But that is a different thing: in fact, the opposite thing. All this is a digression," he added in a different tone. "The real power, the power we have to fight for night and day, is not power over things, but over men." He paused, and for a moment assumed again his air of a schoolmaster

-- Я вам говорю, Уинстон, метафизика -- не ваша сильная сторона. Слово, которое вы пытаетесь вспомнить, -- солипсизм. Но вы ошибаетесь. Это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если угодно. И все-таки -- это нечто другое; в сущности -- противоположное. Мы уклонились от темы, -- заметил он уже другим тоном. -- Подлинная власть, власть, за которую мы должны сражаться день и ночь, -- это власть не над предметами, а над людьми. -- Он смолк, а потом спросил, как учитель

questioning a promising pupil: “How does one man assert his power over another, Winston?”

Winston thought. “By making him suffer,” he said.

“Exactly. By making him suffer. Obedience is not enough. Unless he is suffering, how can you be sure that he is obeying your will and not his own? Power is in inflicting pain and humiliation. Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your own choosing. Do you begin to see, then, what kind of world we are creating? It is the exact opposite of the stupid hedonistic Utopias that the old reformers imagined. A world of fear and treachery is torment, a world of trampling and being trampled upon, a world which will grow not less but MORE merciless as it refines itself. Progress in our world will be progress towards more pain. The old civilizations claimed that they were founded on love or justice. Ours is founded upon hatred. In our world there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. Everything else we shall destroy -- everything. Already we are breaking down the habits of thought which have survived from before the Revolution. We have cut the links between child and parent, and between man and man, and between man and woman. No one dares trust a wife or a child or a friend any longer. But in the future there will be no wives and no friends. Children will be taken from their mothers at birth, as one takes eggs from a hen. The sex instinct will be eradicated. Procreation will be an annual formality like the renewal of a ration card. We shall abolish the orgasm. Our neurologists are at work upon it now. There will be no loyalty, except loyalty towards the Party. There will be no love, except the love of Big Brother. There will be no laughter, except the laugh of triumph over a defeated enemy. There will be no art, no literature, no science. When we are omnipotent we shall have no more need of science. There will be no distinction between beauty and ugliness. There will be no curiosity, no enjoyment of the process of life. All competing pleasures will be destroyed. But always -- do not forget this, Winston -- always there will be the intoxication of power, constantly increasing and constantly growing subtler. Always, at

способного ученика: -- Уинстон, как человек утверждает свою власть над другими?

Уинстон подумал. -- Заставляя его страдать, -- сказал он.

-- Совершенно верно. Заставляя его страдать. Послушания недостаточно. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он исполняет вашу волю, а не свою собственную? Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить снова в таком виде, в каком вам угодно. Теперь вам понятно, какой мир мы создаем? Он будет полной противоположностью[5] тем глупым гедонистическим утопиям, которыми тешились прежние реформаторы. Мир страха, предательства и мучений, мир топчущих и растоптанных, мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а более безжалостным; прогресс в нашем мире будет направлен к росту страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения. Все остальные мы истребим. Все. Мы искореняем прежние способы мышления -- пережитки дореволюционных времен. Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто уже не доверяет ни жене, ни ребенку, ни другу. А скоро и жен и друзей не будет. Новорожденных мы заберем у матери, как забираем яйца из-под несушки. Половое влечение вытравим. Размножение станет ежегодной формальностью, как возобновление продовольственной карточки. Оргазм мы сведем на нет. Наши неврологи уже ищут средства. Не будет иной верности, кроме партийной верности. Не будет иной любви, кроме любви к Старшему Брату. Не будет иного смеха, кроме победного смеха над поверженным врагом. Не будет искусства, литературы, науки. Когда мы станем всесильными, мы обойдемся без науки. Не будет различия между уродливым и прекрасным. Исчезнет любознательность, жизнь не будет искать себе применения. С разнообразием

every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face -- for ever."

удовольствий мы покончим. Но всегда -- запомните, Уинстон, -- всегда будет опьянение властью, и чем дальше, тем сильнее, тем острее. Всегда, каждый миг, будет пронзительная радость победы, наслаждение оттого, что наступил на беспомощного врага. Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека -- вечно.

He paused as though he expected Winston to speak. Winston had tried to shrink back into the surface of the bed again. He could not say anything. His heart seemed to be frozen. O'Brien went on:

Он умолк, словно ожидая, что ответит Уинстон. Уинстону опять захотелось зарыться в койку. Он ничего не мог сказать. Сердце у него стыло. О'Брайен продолжал:

"And remember that it is for ever. The face will always be there to be stamped upon. The heretic, the enemy of society, will always be there, so that he can be defeated and humiliated over again. Everything that you have undergone since you have been in our hands -- all that will continue, and worse. The espionage, the betrayals, the arrests, the tortures, the executions, the disappearances will never cease. It will be a world of terror as much as a world of triumph. The more the Party is powerful, the less it will be tolerant: the weaker the opposition, the tighter the despotism. Goldstein and his heresies will live for ever. Every day, at every moment, they will be defeated, discredited, ridiculed, spat upon and yet they will always survive. This drama that I have played out with you during seven years will be played out over and over again generation after generation, always in subtler forms. Always we shall have the heretic here at our mercy, screaming with pain, broken up, contemptible -- and in the end utterly penitent, saved from himself, crawling to our feet of his own accord. That is the world that we are preparing, Winston. A world of victory after victory, triumph after triumph after triumph: an endless pressing, pressing, pressing upon the nerve of power. You are beginning, I can see, to realize what that world will be like. But in the end you will do more than understand it. You will accept it, welcome it, become part of it."

-- И помните, что это -- навечно. Лицо для растаптывания всегда найдется. Всегда найдется еретик, враг общества, для того чтобы его снова и снова побеждали и унижали. Все, что вы перенесли с тех пор, как попали к нам в руки, -- все это будет продолжаться, только хуже. Никогда не прекратятся шпионство, предательства, аресты, пытки, казни, исчезновения. Это будет мир террора -- в такой же степени, как мир торжества. Чем могущественнее будет партия, тем она будет нетерпимее; чем слабее сопротивление, тем суровее деспотизм. Голдстейн и его ереси будут жить вечно. Каждый день, каждую минуту их будут громить, позорить, высмеивать, оплевывать -- а они сохранятся. Эта драма, которую я с вами разыгрывал семь лет, будет разыгрываться снова и снова, и с каждым поколением -- все изощреннее. У нас всегда найдется еретик -- и будет здесь кричать от боли, сломленный и жалкий, а в конце, спасшись от себя, раскаявшись до глубины души, сам прижмется к нашим ногам. Вот какой мир мы построим, Уинстон. От победы к победе, за триумфом триумф и новый триумф: щекотать, щекотать, щекотать нерв власти. Вижу, вам становится понятно, какой это будет мир. Но в конце концов вы не просто поймете. Вы примете его, будете его приветствовать, станете его частью.

Winston had recovered himself sufficiently to speak. "You can't!" he said weakly.

Уинстон немного опомнился и без убежденности возразил: -- Вам не удастся.

"What do you mean by that remark, Winston?"

-- Что вы хотите сказать?

"You could not create such a world as you have just described. It is a dream. It is

-- Вы не сможете создать такой мир, какой описали. Это мечтание. Это

impossible.”

невозможно.

“Why?”

-- Почему?

“It is impossible to found a civilization on fear and hatred and cruelty. It would never endure.”

-- Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она не устоит.

“Why not?”

-- Почему?

“It would have no vitality. It would disintegrate. It would commit suicide.”

-- Она нежизнеспособна. Она рассыплется. Она кончит самоубийством.

“Nonsense. You are under the impression that hatred is more exhausting than love. Why should it be? And if it were, what difference would that make? Suppose that we choose to wear ourselves out faster. Suppose that we quicken the tempo of human life till men are senile at thirty. Still what difference would it make? Can you not understand that the death of the individual is not death? The party is immortal.”

-- Чепуха. Вы внушили себе, что ненависть изнурительнее любви. Да почему же? А если и так -- какая разница? Положим, мы решили, что будем быстрее изнашиваться. Положим, увеличили темп человеческой жизни так, что к тридцати годам наступает маразм. И что же от этого изменится? Неужели вам непонятно, что смерть индивида -- это не смерть? Партия бессмертна.

As usual, the voice had battered Winston into helplessness. Moreover he was in dread that if he persisted in his disagreement O’Brien would twist the dial again. And yet he could not keep silent. Feebly, without arguments, with nothing to support him except his inarticulate horror of what O’Brien had said, he returned to the attack.

Как всегда, его голос поверг Уинстона в состояние беспомощности. Кроме того, Уинстон боялся, что, если продолжать спор, О'Брайен снова возьмется за рычаг. Но смолчать он не мог. Бессильно, не находя доводов -- единственным подкреплением был немой ужас, который вызывали у него речи О'Брайена, -- он возобновил атаку:

“I don’t know -- I don’t care. Somehow you will fail. Something will defeat you. Life will defeat you.”

-- Не знаю... все равно. Вас ждет крах. Что-то вас победит. Жизнь победит.

“We control life, Winston, at all its levels. You are imagining that there is something called human nature which will be outraged by what we do and will turn against us. But we create human nature. Men are infinitely malleable. Or perhaps you have returned to your old idea that the proletarians or the slaves will arise and overthrow us. Put it out of your mind. They are helpless, like the animals. Humanity is the Party. The others are outside -- irrelevant.”

-- Жизнью мы управляем, Уинстон, на всех уровнях. Вы воображаете, будто существует нечто, называющееся человеческой натурой, и она возмутится тем, что мы творим, -- восстанет. Но человеческую натуру создаем мы. Люди бесконечно податливы. А может быть, вы вернулись к своей прежней идее, что восстанут и свергнут нас пролетарии или рабы? Выбросьте это из головы. Они беспомощны, как скот. Человечество -- это партия. Остальные -- вне -- ничего не значат.

“I don’t care. In the end they will beat you. Sooner or later they will see you for what you are, and then they will tear you to pieces.”

-- Все равно. В конце концов они вас победят. Рано или поздно поймут, кто вы есть, и разорвут вас в клочья.

“Do you see any evidence that that is happening? Or any reason why it should?”

-- Вы уже видите какие-нибудь признаки? Или какое-нибудь основание для такого прогноза?

“No. I believe it. I *know* that you will fail. There is something in the universe -- I don’t know, some spirit, some principle -- that

-- Нет. Я просто верю. Я знаю, что вас ждет крах. Есть что-то во вселенной, не знаю... какой-то дух, какой-то принцип,

you will never overcome.”	и вам его не одолеть,
“Do you believe in God, Winston?”	-- Уинстон, вы верите в бога?
“No.”	-- Нет.
“Then what is it, this principle that will defeat us?”	-- Так что за принцип нас победит?
“I don’t know. The spirit of Man.”	-- Не знаю. Человеческий дух.
“And do you consider yourself a man?.”	-- И себя вы считаете человеком?
“Yes.”	-- Да.
“If you are a man, Winston, you are the last man. Your kind is extinct; we are the inheritors. Do you understand that you are *alone*? You are outside history, you are non-existent.” His manner changed and he said more harshly: “And you consider yourself morally superior to us, with our lies and our cruelty?”	-- Если вы человек, Уинстон, вы -- последний человек. Ваш вид вымер; мы наследуем Землю. Вы понимаете, что вы *один*? Вы вне истории, вы не существуете. -- Он вдруг посуровел и резко произнес: -- Вы полагаете, что вы морально выше нас, лживых и жестоких?
“Yes, I consider myself superior.”	-- Да, считаю, что я выше вас.
O’Brien did not speak. Two other voices were speaking. After a moment Winston recognized one of them as his own. It was a sound-track of the conversation he had had with O’Brien, on the night when he had enrolled himself in the Brotherhood. He heard himself promising to lie, to steal, to forge, to murder, to encourage drug-taking and prostitution, to disseminate venereal diseases, to throw vitriol in a child’s face. O’Brien made a small impatient gesture, as though to say that the demonstration was hardly worth making. Then he turned a switch and the voices stopped.	O'Брайен ничего не ответил. Уинстон услышал два других голоса. Скоро он узнал в одном из них свой. Это была запись их разговора с O'Брайеном в тот вечер, когда он вступил в Братство. Уинстон услышал, как он обещает обманывать, красть, совершать подлоги, убивать, способствовать наркомании и проституции, разносить венерические болезни, плеснуть в лицо ребенку серной кислотой. O'Брайен нетерпеливо махнул рукой, как бы говоря, что слушать дальше нет смысла. Потом повернул выключатель, и голоса смолкли.
“Get up from that bed,” he said.	-- Встаньте с кровати, -- сказал он.
The bonds had loosened themselves. Winston lowered himself to the floor and stood up unsteadily.	Захваты сами собой открылись. Уинстон опустил ноги на пол и неуверенно встал.
“You are the last man,” said O’Brien. “You are the guardian of the human spirit. You shall see yourself as you are. Take off your clothes.”	-- Вы последний человек, -- сказал O'Брайен. -- Вы хранитель человеческого духа. Вы должны увидеть себя в натуральную величину. Разденьтесь.
Winston undid the bit of string that held his overalls together. The zip fastener had long since been wrenched out of them. He could not remember whether at any time since his arrest he had taken off all his clothes at one time. Beneath the overalls his body was looped with filthy yellowish rags, just recognizable as the remnants of underclothes. As he slid them to the ground he saw that there was a three-sided mirror at the far end of the room. He approached it, then stopped short. An involuntary cry had broken out of him.	Уинстон развязал бечевку, державшую комбинезон. Молнию из него давно вырвали. Он не мог вспомнить, раздевался ли хоть раз догола с тех пор, как его арестовали. Под комбинезоном его тело обвивали грязные желтоватые тряпки, в которых с трудом можно было узнать остатки белья. Спустив их на пол, он увидел в дальнем углу комнаты трельяж. Он подошел к зеркалам и замер. У него вырвался крик.
“Go on,” said O’Brien. “Stand between the wings of the mirror. You shall see the side	-- Ну-ну, -- сказал O'Брайен. -- Станьте между створками зеркала. Полюбуйтесь

view as well."

на себя и сбоку.

He had stopped because he was frightened. A bowed, grey-coloured, skeleton-like thing was coming towards him. Its actual appearance was frightening, and not merely the fact that he knew it to be himself. He moved closer to the glass. The creature's face seemed to be protruded, because of its bent carriage. A forlorn, jailbird's face with a nobby forehead running back into a bald scalp, a crooked nose, and battered-looking cheekbones above which his eyes were fierce and watchful. The cheeks were seamed, the mouth had a drawn-in look. Certainly it was his own face, but it seemed to him that it had changed more than he had changed inside. The emotions it registered would be different from the ones he felt. He had gone partially bald. For the first moment he had thought that he had gone grey as well, but it was only the scalp that was grey. Except for his hands and a circle of his face, his body was grey all over with ancient, ingrained dirt. Here and there under the dirt there were the red scars of wounds, and near the ankle the varicose ulcer was an inflamed mass with flakes of skin peeling off it. But the truly frightening thing was the emaciation of his body. The barrel of the ribs was as narrow as that of a skeleton: the legs had shrunk so that the knees were thicker than the thighs. He saw now what O'Brien had meant about seeing the side view. The curvature of the spine was astonishing. The thin shoulders were hunched forward so as to make a cavity of the chest, the scraggy neck seemed to be bending double under the weight of the skull. At a guess he would have said that it was the body of a man of sixty, suffering from some malignant disease.

Уинстон замер от испуга. Из зеркала к нему шло что-то согнутое, серого цвета, скелетообразное. Существо это пугало даже не тем, что Уинстон признал в нем себя, а одним своим видом. Он подошел ближе к зеркалу. Казалось, что он выставил лицо вперед, -- так он был согнут. Измученное лицо арестанта с шишковатым лбом, лысый череп, загнутый нос и словно разбитые скулы, дикий, настороженный взгляд. Щеки изрезаны морщинами, рот запал. Да, это было его лицо, но ему казалось, что оно изменилось больше, чем он изменился внутри. Чувства, изображавшиеся на лице, не могли соответствовать тому, что он чувствовал на самом деле. Он сильно облысел. Сперва ему показалось, что и поседел вдобавок, но это просто череп стал серым. Серым от старой, въевшейся грязи стало у него все -- кроме лица и рук. Там и сям из-под грязи проглядывали красные шрамы от побоев, а варикозная язва превратилась в воспаленное месиво, покрытое шелушащейся кожей. Но больше всего его испугала худоба. Ребра, обтянутые кожей, грудная клетка скелета; ноги усохли так, что колени стали толще бедер. Теперь он понял, почему О'Брайен велел ему посмотреть на себя сбоку. Еще немного и тощие плечи сойдуться, грудь превратилась в яму; тощая шея сгибалась под тяжестью головы. Если бы его спросили, он сказал бы, что это -- тело шестидесятилетнего старика, страдающего неизлечимой болезнью.

"You have thought sometimes," said O'Brien, "that my face -- the face of a member of the Inner Party -- looks old and worn. What do you think of your own face?"

-- Вы иногда думали, -- сказал О'Брайен, -- что мое лицо -- лицо члена внутренней партии -- выглядит старым и потрепанным. А как вам ваше лицо?

He seized Winston's shoulder and spun him round so that he was facing him.

Он схватил Уинстона за плечо и повернул к себе.

"Look at the condition you are in!" he said. "Look at this filthy grime all over your body. Look at the dirt between your toes. Look at that disgusting running sore on your leg. Do you know that you stink like a goat? Probably you have ceased to notice it. Look at your emaciation. Do you see? I can make my thumb and forefinger meet round your bicep. I could snap your neck like a carrot.

-- Посмотрите, в каком вы состоянии! -- сказал он. -- Посмотрите, какой отвратительной грязью покрыто ваше тело. Посмотрите, сколько грязи между пальцами на ногах. Посмотрите на эту мокрую язву на голени. Вы знаете, что от вас воняет козлом? Вы уже, наверно, принюхались. Посмотрите, до чего вы худы. Видите? Я могу обхватить ваш

Do you know that you have lost twenty-five kilograms since you have been in our hands? Even your hair is coming out in handfuls. Look!” He plucked at Winston’s head and brought away a tuft of hair. “Open your mouth. Nine, ten, eleven teeth left. How many had you when you came to us? And the few you have left are dropping out of your head. Look here!”

бицепс двумя пальцами. Я могу переломить вам шею, как морковку. Знаете, что с тех пор, как вы попали к нам в руки, вы потеряли двадцать пять килограммов? У вас даже волосы вылезают клоками. Смотрите! -- Он схватил Уинстона за волосы и вырвал клок. -- Откройте рот. Девять... десять, одиннадцать зубов осталось. Сколько было, когда вы попали к нам? Да и оставшиеся во рту не держатся. Смотрите!

He seized one of Winston’s remaining front teeth between his powerful thumb and forefinger. A twinge of pain shot through Winston’s jaw. O’Brien had wrenched the loose tooth out by the roots. He tossed it across the cell.

Двумя пальцами он залез Уинстону в рот. Десну пронзила боль. О'Брайен вырвал передний зуб с корнем. Он кинул его в угол камеры.

“You are rotting away,” he said; “you are falling to pieces. What are you? A bag of filth. Now turn around and look into that mirror again. Do you see that thing facing you? That is the last man. If you are human, that is humanity. Now put your clothes on again.”

-- Вы гниете заживо, -- сказал он, -- разлагаетесь. Что вы такое? Мешок слякоти. Ну-ка, повернитесь к зеркалу еще раз. Видите, кто на вас смотрит? Это -- последний человек. Если вы человек -- таково человечество. А теперь одевайтесь.

Winston began to dress himself with slow stiff movements. Until now he had not seemed to notice how thin and weak he was. Only one thought stirred in his mind: that he must have been in this place longer than he had imagined. Then suddenly as he fixed the miserable rags round himself a feeling of pity for his ruined body overcame him. Before he knew what he was doing he had collapsed on to a small stool that stood beside the bed and burst into tears. He was aware of his ugliness, his gracelessness, a bundle of bones in filthy underclothes sitting weeping in the harsh white light: but he could not stop himself. O’Brien laid a hand on his shoulder, almost kindly.

Медленно, непослушными руками, Уинстон стал натягивать одежду. До сих пор он будто и не замечал, худобы и слабости. Одно вертелось в голове: он не представлял себе, что находится здесь так давно. И вдруг, когда он наматывал на себя тряпье, ему стало жалко погубленного тела. Не соображая, что делает, он упал на маленькую табуретку возле кровати и расплакался. Он сознавал свое уродство, сознавал постыдность этой картины: живой скелет в грязном белье сидит и плачет под ярким белым светом; но он не мог остановиться. О'Брайен положил ему руку на плечо, почти ласково.

“It will not last for ever,” he said. “You can escape from it whenever you choose. Everything depends on yourself.”

-- Это не будет длиться бесконечно, -- сказал он. -- Вы можете прекратить это когда угодно. Все зависит от вас.

“You did it!” sobbed Winston. “You reduced me to this state.’

-- Это вы! -- всхлипнул Уинстон. -- Вы довели меня до такого состояния,

“No, Winston, you reduced yourself to it. This is what you accepted when you set yourself up against the Party. It was all contained in that first act. Nothing has happened that you did not foresee.”

-- Нет, Уинстон, вы сами себя довели. Вы пошли на это, когда противопоставили себя партии. Все это уже содержалось в вашем первом поступке. И вы предвидели все, что с вами произойдет.

He paused, and then went on:

Помолчав немного, он продолжал:

“We have beaten you, Winston. We have broken you up. You have seen what your body is like. Your mind is in the same state.

-- Мы били вас, Уинстон. Мы сломали вас. Вы видели, во что превратилось ваше тело. Ваш ум в таком же состоянии. Не

I do not think there can be much pride left in you. You have been kicked and flogged and insulted, you have screamed with pain, you have rolled on the floor in your own blood and vomit. You have whimpered for mercy, you have betrayed everybody and everything. Can you think of a single degradation that has not happened to you?"

думаю, что в вас осталось много гордости. Вас пинали, пороли, оскорбляли, вы визжали от боли, вы катались по полу в собственной крови и рвоте. Вы скулили о пощаде, вы предали все и вся. Как по-вашему, может ли человек дойти до большего падения, чем вы?

Winston had stopped weeping, though the tears were still oozing out of his eyes. He looked up at O'Brien.

Уинстон перестал плакать, но слезы еще сами собой текли из глаз. Он поднял лицо к О'Брайену.

"I have not betrayed Julia," he said.

-- Я не предал Джулию, -- сказал он.

O'Brien looked down at him thoughtfully. "No," he said; "no; that is perfectly true. You have not betrayed Julia."

О'Брайен посмотрел на него задумчиво. -- Да, -- сказал он, -- да. Совершенно верно. Вы не предали Джулию.

The peculiar reverence for O'Brien, which nothing seemed able to destroy, flooded Winston's heart again. How intelligent, he thought, how intelligent! Never did O'Brien fail to understand what was said to him. Anyone else on earth would have answered promptly that he *had* betrayed Julia. For what was there that they had not screwed out of him under the torture? He had told them everything he knew about her, her habits, her character, her past life; he had confessed in the most trivial detail everything that had happened at their meetings, all that he had said to her and she to him, their black-market meals, their adulteries, their vague plottings against the Party -- everything. And yet, in the sense in which he intended the word, he had not betrayed her. He had not stopped loving her; his feelings towards her had remained the same. O'Brien had seen what he meant without the need for explanation.

Сердце Уинстона снова наполнилось глубоким уважением к О'Брайену -- уважения этого разрушить не могло ничто. Сколько ума, подумал он, сколько ума! Не было еще такого случая, чтобы О'Брайен его не понял. Любой другой сразу возразил бы, что Джулию он предал. Ведь чего только не вытянули из него под пыткой! Он рассказал им все, что о ней знал, -- о ее привычках, о ее характере, о ее прошлом; в мельчайших деталях описал все их встречи, все, что он ей говорил и что она ему говорила, их ужины с провизией, купленной на черном рынке, их любовную жизнь, их невнятный заговор против партии -- все. Однако в том смысле, в каком он сейчас понимал это слово, он Джулию не предал. Он не перестал ее любить; его чувства к ней остались прежними. О'Брайен понял это без всяких объяснений.

"Tell me," he said, "how soon will they shoot me?"

-- Скажите, -- попросил Уинстон, -- скоро меня расстреляют?

"It might be a long time," said O'Brien. "You are a difficult case. But don't give up hope. Everyone is cured sooner or later. In the end we shall shoot you."

-- Может статься, и не скоро, -- ответил О'Брайен. -- Вы -- трудный случай. Но не теряйте надежду. Все рано или поздно излечиваются. А тогда мы вас расстреляем.

IV

IV

He was much better. He was growing fatter and stronger every day, if it was proper to speak of days.

Ему стало много лучше. Он полнел и чувствовал себя крепче с каждым днем -- если имело смысл говорить о днях.

The white light and the humming sound were the same as ever, but the cell was a little more comfortable than the others he had been in. There was a pillow and a mattress on the plank bed, and a stool to sit on. They had given him a bath, and they allowed him to wash himself fairly

Как и раньше, в камере горел белый свет и слышалось гудение, но сама камера была чуть удобнее прежних. Тут можно было сидеть на табурете, а дощатая лежанка была с матрасом и подушкой. Его сводили в баню, а потом довольно часто позволяли мыться в шайке.

frequently in a tin basin. They even gave him warm water to wash with. They had given him new underclothes and a clean suit of overalls. They had dressed his varicose ulcer with soothing ointment. They had pulled out the remnants of his teeth and given him a new set of dentures.

Приносили даже теплую воду. Выдали новое белье и чистый комбинезон. Варикозную язву забинтовали с какой-то успокаивающей мазью. Оставшиеся зубы ему вырвали и сделали протезы.

Weeks or months must have passed. It would have been possible now to keep count of the passage of time, if he had felt any interest in doing so, since he was being fed at what appeared to be regular intervals. He was getting, he judged, three meals in the twenty-four hours; sometimes he wondered dimly whether he was getting them by night or by day. The food was surprisingly good, with meat at every third meal. Once there was even a packet of cigarettes. He had no matches, but the never-speaking guard who brought his food would give him a light. The first time he tried to smoke it made him sick, but he persevered, and spun the packet out for a long time, smoking half a cigarette after each meal.

Прошло, наверно, несколько недель или месяцев. При желании он мог бы вести счет времени, потому что кормили его теперь как будто бы регулярно. Он пришел к выводу, что кормят его три раза в сутки; иногда спрашивал себя без интереса, днем ему дают есть или ночью. Еда была на удивление хорошая, каждый третий раз -- мясо. Один раз дали даже пачку сигарет. Спичек у него не было, но безмолвный надзиратель, приносивший ему пищу, давал огоньку. В первый раз его затошнило, но он перетерпел и растянул пачку надолго, выкуривая по полсигареты после каждой еды.

They had given him a white slate with a stump of pencil tied to the corner. At first he made no use of it. Even when he was awake he was completely torpid. Often he would lie from one meal to the next almost without stirring, sometimes asleep, sometimes waking into vague reveries in which it was too much trouble to open his eyes. He had long grown used to sleeping with a strong light on his face. It seemed to make no difference, except that one's dreams were more coherent. He dreamed a great deal all through this time, and they were always happy dreams. He was in the Golden Country, or he was sitting among enormous glorious, sunlit ruins, with his mother, with Julia, with O'Brien -- not doing anything, merely sitting in the sun, talking of peaceful things. Such thoughts as he had when he was awake were mostly about his dreams. He seemed to have lost the power of intellectual effort, now that the stimulus of pain had been removed. He was not bored, he had no desire for conversation or distraction. Merely to be alone, not to be beaten or questioned, to have enough to eat, and to be clean all over, was completely satisfying.

Ему выдали белую грифельную доску с привязанным к углу огрызком карандаша. Сперва он ею не пользовался. Он пребывал в полном оцепенении даже бодрствуя. Он мог пролежать от одной еды до другой, почти не шевелясь, и промежутки сна сменялись мутным забытьем, когда даже глаза открыть стоило больших трудов. Он давно привык спать под ярким светом, бьющим в лицо. Разницы никакой, разве что сны были более связные. Сны все это время снились часто -- и всегда счастливые сны. Он был в Золотой стране или сидел среди громадных, великолепных, залитых солнцем руин с матерью, с Джулией, с О'Брайеном -- ничего не делал, просто сидел на солнце и разговаривал о чем-то мирном. А наяву если у него и бывали какие мысли, то по большей части о снах. Теперь, когда болевой стимул исчез, он как будто потерял способность совершить умственное усилие. Он не скучал; ему не хотелось ни разговаривать, ни чем-нибудь отвлечься. Он был вполне доволен тем, что он один и его не бьют и не допрашивают, что он не грязен и ест досыта.

By degrees he came to spend less time in sleep, but he still felt no impulse to get off the bed. All he cared for was to lie quiet

Со временем спать он стал меньше, но по-прежнему не испытывал потребности встать с кровати. Хотелось одного:

and feel the strength gathering in his body. He would finger himself here and there, trying to make sure that it was not an illusion that his muscles were growing rounder and his skin tauter. Finally it was established beyond a doubt that he was growing fatter; his thighs were now definitely thicker than his knees. After that, reluctantly at first, he began exercising himself regularly. In a little while he could walk three kilometres, measured by pacing the cell, and his bowed shoulders were growing straighter. He attempted more elaborate exercises, and was astonished and humiliated to find what things he could not do. He could not move out of a walk, he could not hold his stool out at arm's length, he could not stand on one leg without falling over. He squatted down on his heels, and found that with agonizing pains in thigh and calf he could just lift himself to a standing position. He lay flat on his belly and tried to lift his weight by his hands. It was hopeless, he could not raise himself a centimetre. But after a few more days -- a few more mealtimes -- even that feat was accomplished. A time came when he could do it six times running. He began to grow actually proud of his body, and to cherish an intermittent belief that his face also was growing back to normal. Only when he chanced to put his hand on his bald scalp did he remember the seamed, ruined face that had looked back at him out of the mirror.

His mind grew more active. He sat down on the plank bed, his back against the wall and the slate on his knees, and set to work deliberately at the task of re-educating himself.

He had capitulated, that was agreed. In reality, as he saw now, he had been ready to capitulate long before he had taken the decision. From the moment when he was inside the Ministry of Love -- and yes, even during those minutes when he and Julia had stood helpless while the iron voice from the telescreen told them what to do -- he had grasped the frivolity, the shallowness of his attempt to set himself up against the power of the Party. He knew now that for seven years the Thought police had watched him like a beetle under a magnifying glass. There was no physical act, no word spoken aloud, that they had not noticed, no train of thought that they

лежать спокойно и ощущать, что телу возвращаются силы. Он трогал себя пальцем, чтобы проверить, не иллюзия ли это, в самом ли деле у него округляются мускулы и расправляется кожа. Наконец он вполне убедился, что полнеет: бедра у него теперь были определенно толще колен. После этого, с неохотой поначалу, он стал регулярно упражняться. Вскоре он мог пройти уже три километра -- отмеряя их шагами по камере, и согнутая спина его понемногу распрямлялась. Он попробовал более трудные упражнения и, к изумлению и унижению своему, выяснил, что почти ничего не может. Передвигаться мог только шагом, табуретку на вытянутой руке держать не мог, на одной ноге стоять не мог -- падал. Он присел на корточки и едва сумел встать, испытывая мучительную боль в икрах и бедрах. Он лег на живот и попробовал отжаться на руках. Безнадежно: не мог даже грудь оторвать от пола. Но еще через несколько дней -- через несколько обедов и завтраков -- он совершил и этот подвиг. И еще через какое-то время стал отжиматься по шесть раз подряд. Он даже начал гордиться своим телом, а иногда ему верилось, что и лицо принимает нормальный вид. Только тронув случайно свою лысую голову, вспоминал он морщинистое, разрушенное лицо, которое смотрело на него из зеркала.

Ум его отчасти ожил. Он садился на лежанку спиной к стене, положив на колени грифельную доску и занимался самообразованием.

Он капитулировал; это было решено. На самом деле, как он теперь понимал, капитулировать он был готов задолго до того, как принял это решение. Он осознал легкомысленность и вздорность своего бунта против партии и в то мгновение, когда очутился в министерстве любви, -- нет, еще в те минуты, когда они с Джулией беспомощно стояли в комнате, а железный голос из телекрана отдавал им команды. Теперь он знал, что семь лет полиция мыслей наблюдала его, как жука в лупу. Ни одно его действие, ни одно слово, произнесенное вслух, не укрылось от нее, ни одна мысль не осталась неразгаданной. Даже белесую крупинку

had not been able to infer. Even the speck of whitish dust on the cover of his diary they had carefully replaced. They had played sound-tracks to him, shown him photographs. Some of them were photographs of Julia and himself. Yes, even... He could not fight against the Party any longer. Besides, the Party was in the right. It must be so; how could the immortal, collective brain be mistaken? By what external standard could you check its judgements? Sanity was statistical. It was merely a question of learning to think as they thought. Only--!

The pencil felt thick and awkward in his fingers. He began to write down the thoughts that came into his head. He wrote first in large clumsy capitals:

FREEDOM IS SLAVERY

Then almost without a pause he wrote beneath it:

TWO AND TWO MAKE FIVE

But then there came a sort of check. His mind, as though shying away from something, seemed unable to concentrate. He knew that he knew what came next, but for the moment he could not recall it. When he did recall it, it was only by consciously reasoning out what it must be: it did not come of its own accord. He wrote:

GOD IS POWER

He accepted everything. The past was alterable. The past never had been altered. Oceania was at war with Eastasia. Oceania had always been at war with Eastasia. Jones, Aaronson, and Rutherford were guilty of the crimes they were charged with. He had never seen the photograph that disproved their guilt. It had never existed, he had invented it. He remembered remembering contrary things, but those were false memories, products of self-deception. How easy it all was! Only surrender, and everything else followed. It was like swimming against a current that swept you backwards however hard you struggled, and then suddenly deciding to turn round and go with the current instead of opposing it. Nothing had changed except your own attitude: the predestined thing happened in any case. He hardly knew why he had ever rebelled. Everything was easy, except--!

Anything could be true. The so-called laws of Nature were nonsense. The law of gravity

на переплете его дневника они аккуратно клали на место. Они проигрывали ему записи, показывали фотографии. В том числе -- фотографии его с Джулией. Да, даже... Он больше не мог бороться с партией. Кроме того, партия права. Наверное, права: как может ошибаться бессмертный коллективный мозг? По каким внешним критериям оценить его суждения? Здравый рассудок -- понятие статистическое. Чтобы думать, как они, надо просто учиться. Только...

Карандаш в пальцах казался толстым и неуклюжим. Он начал записывать то, что ему приходило в голову. Сперва большими корявыми буквами написал:

СВОБОДА -- ЭТО РАБСТВО

А под этим почти сразу же:

2 х 2 = 5

Но тут наступила какая-то заминка. Ум его, словно пятясь от чего-то, не желал сосредоточиться. Он знал, что следующая мысль уже готова, но не мог ее вспомнить. А когда вспомнил, случилось это не само собой -- он пришел к ней путем рассуждений. Он записал:

БОГ -- ЭТО ВЛАСТЬ

Он принял ее. Прошлое изменяемо. Прошлое никогда не изменялось. Океания воюет с Остазией. Океания всегда воевала с Остазией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виновны в тех преступлениях, за которые их судили. Он никогда не видел фотографию, опровергавшую их виновность. Она никогда не существовала; он ее выдумал. Он помнил, что помнил факты, говорившие обратное, но это -- аберрация памяти, самообман. Как все просто! Только сдайся -- все остальное отсюда следует. Это все равно что плыть против течения -- сколько ни старайся, оно относит тебя назад, -- и вдруг ты решаешь повернуть и плыть по течению, а не бороться с ним. Ничего не изменилось, только твое отношение к этому: чему быть, того не миновать. Он сам не понимал, почему стал бунтовщиком. Все было просто. Кроме...

Все, что угодно, может быть истиной. Так называемые законы природы -- вздор.

was nonsense. “If I wished,” O’Brien had said, “I could float off this floor like a soap bubble.” Winston worked it out. “If he *think*s he floats off the floor, and if I simultaneously *think* I see him do it, then the thing happens.” Suddenly, like a lump of submerged wreckage breaking the surface of water, the thought burst into his mind: “It doesn’t really happen. We imagine it. It is hallucination.” He pushed the thought under instantly. The fallacy was obvious. It presupposed that somewhere or other, outside oneself, there was a “real” world where “real” things happened. But how could there be such a world? What knowledge have we of anything, save through our own minds? All happenings are in the mind. Whatever happens in all minds, truly happens.

Закон тяготения -- вздор. «Если бы я пожелал, -- сказал О'Брайен, -- я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь». Уинстон обосновал эту мысль: «Если он думает, что взлетает с пола, и я одновременно думаю, что вижу это, значит, так оно и есть». Вдруг, как обломок кораблекрушения поднимается на поверхность воды, в голове у него всплыло: «На самом деле этого нет. Мы это воображаем. Это галлюцинация». Он немедленно отказался от своей мысли. Очевидная логическая ошибка. Предполагается, что где-то, вне тебя, есть «действительный» мир, где происходят «действительные» события. Но откуда может взяться этот мир? О вещах мы знаем только то, что содержится в нашем сознании. Все происходящее происходит в сознании. То, что происходит в сознании у всех, происходит в действительности.

He had no difficulty in disposing of the fallacy, and he was in no danger of succumbing to it. He realized, nevertheless, that it ought never to have occurred to him. The mind should develop a blind spot whenever a dangerous thought presented itself. The process should be automatic, instinctive. *Crimestop,* they called it in Newspeak.

Он легко обнаружил ошибку, и опасности впасть в ошибку не было. Однако он понял, что ему и в голову не должна была прийти такая мысль. Как только появляется опасная мысль, в мозгу должно возникать слепое пятно. Этот процесс должен быть автоматическим, инстинктивным. *Самостоп* называют его на новоязе.

He set to work to exercise himself in crimestop. He presented himself with propositions -- “the Party says the earth is flat”, “the party says that ice is heavier than water” -- and trained himself in not seeing or not understanding the arguments that contradicted them. It was not easy. It needed great powers of reasoning and improvisation. The arithmetical problems raised, for instance, by such a statement as “two and two make five” were beyond his intellectual grasp. It needed also a sort of athleticism of mind, an ability at one moment to make the most delicate use of logic and at the next to be unconscious of the crudest logical errors. Stupidity was as necessary as intelligence, and as difficult to attain.

Он стал упражняться в самостопе. Он предлагал себе утверждения: «партия говорит, что земля плоская», «партия говорит, что лед тяжелее воды» -- и учился не видеть и не понимать опровергающих доводов. Это было нелегко. Требовалась способность рассуждать и импровизация. Арифметические же проблемы, связанные, например, с таким утверждением, как «дважды два -- пять», оказались ему не по силам. Тут нужен был еще некий умственный атлетизм, способность тончайшим образом применять логику, а в следующий миг не замечать грубейшей логической ошибки. Глупость была так же необходима, как ум, и так же трудно давалась.

All the while, with one part of his mind, he wondered how soon they would shoot him. “Everything depends on yourself,” O’Brien had said; but he knew that there was no conscious act by which he could bring it nearer. It might be ten minutes hence, or ten years. They might keep him for years in

И все время его занимал вопрос, когда же его расстреляют. «Все зависит от вас», -- сказал О'Брайен; но Уинстон понимал, что никаким сознательным актом приблизить это не может. Это может произойти и через десять минут, и через десять лет. Они могут годами держать его

solitary confinement, they might send him to a labour-camp, they might release him for a while, as they sometimes did. It was perfectly possible that before he was shot the whole drama of his arrest and interrogation would be enacted all over again. The one certain thing was that death never came at an expected moment. The tradition -- the unspoken tradition: somehow you knew it, though you never heard it said -- was that they shot you from behind; always in the back of the head, without warning, as you walked down a corridor from cell to cell.

в одиночной камере; могут отправить в лагерь; могут ненадолго выпустить -- и так случалось. Вполне возможно, что вся драма ареста и допросов будет разыграна сызнова. Достоверно одно: смерть не приходит тогда, когда ее ждешь. Традиция, негласная традиция -- ты откуда-то знаешь о ней, хотя не слышал, чтобы о ней говорили, -- такова, что стреляют сзади, только в затылок, без предупреждения, когда идешь по коридору из одной камеры в другую.

One day -- but “one day” was not the right expression; just as probably it was in the middle of the night: once -- he fell into a strange, blissful reverie. He was walking down the corridor, waiting for the bullet. He knew that it was coming in another moment. Everything was settled, smoothed out, reconciled. There were no more doubts, no more arguments, no more pain, no more fear. His body was healthy and strong. He walked easily, with a joy of movement and with a feeling of walking in sunlight. He was not any longer in the narrow white corridors in the Ministry of Love, he was in the enormous sunlit passage, a kilometre wide, down which he had seemed to walk in the delirium induced by drugs. He was in the Golden Country, following the foot-track across the old rabbit-cropped pasture. He could feel the short springy turf under his feet and the gentle sunshine on his face. At the edge of the field were the elm trees, faintly stirring, and somewhere beyond that was the stream where the dace lay in the green pools under the willows.

В один прекрасный день -- впрочем, «день» -- неправильное слово; это вполне могло быть и ночью, -- однажды он погрузился в странное, глубокое забытье. Он шел по коридору, ожидая пули. Он знал, что это случится сию минуту. Все было заглажено, улажено, урегулировано. Тело его было здоровым и крепким. Он ступал легко, радуясь движению, и, кажется, шел под солнцем. Это было уже не в длинном белом коридоре министерства любви; он находился в огромном солнечном проходе, в километр шириной, и двигался по нему как будто в наркотическом бреду. Он был в Золотой стране, шел тропинкой через старый выщипанный кроликами луг. Под ногами пружинил дерн, а лицо ему грело солнце. На краю луга чуть шевелили ветвями вязы, а где-то дальше был ручей, и там в зеленых заводях под ветлами стояла плотва.

Suddenly he started up with a shock of horror. The sweat broke out on his backbone. He had heard himself cry aloud:

Он вздрогнул и очнулся в ужасе. Между лопатками пролился пот. Он услышал свой крик:

“Julia! Julia! Julia, my love! Julia!”

-- Джулия! Джулия! Джулия, моя любимая! Джулия!

For a moment he had had an overwhelming hallucination of her presence. She had seemed to be not merely with him, but inside him. It was as though she had got into the texture of his skin. In that moment he had loved her far more than he had ever done when they were together and free. Also he knew that somewhere or other she was still alive and needed his help.

У него было полное впечатление, что она здесь, И не просто с ним, а как будто внутри его. Словно стала составной частью его тела. В этот миг он любил ее гораздо сильнее, чем на воле, когда они были вместе. И он знал, что она где-то есть, живая, и нуждается в его помощи.

He lay back on the bed and tried to compose himself. What had he done? How many years had he added to his servitude

Он снова лег и попробовал собраться с мыслями. Что он сделал? На сколько лет удлинил свое рабство этой минутной

by that moment of weakness?

In another moment he would hear the tramp of boots outside. They could not let such an outburst go unpunished. They would know now, if they had not known before, that he was breaking the agreement he had made with them. He obeyed the Party, but he still hated the Party. In the old days he had hidden a heretical mind beneath an appearance of conformity. Now he had retreated a step further: in the mind he had surrendered, but he had hoped to keep the inner heart inviolate. He knew that he was in the wrong, but he preferred to be in the wrong. They would understand that -- O'Brien would understand it. It was all confessed in that single foolish cry.

He would have to start all over again. It might take years. He ran a hand over his face, trying to familiarize himself with the new shape. There were deep furrows in the cheeks, the cheekbones felt sharp, the nose flattened. Besides, since last seeing himself in the glass he had been given a complete new set of teeth. It was not easy to preserve inscrutability when you did not know what your face looked like. In any case, mere control of the features was not enough. For the first time he perceived that if you want to keep a secret you must also hide it from yourself. You must know all the while that it is there, but until it is needed you must never let it emerge into your consciousness in any shape that could be given a name. From now onwards he must not only think right; he must feel right, dream right. And all the while he must keep his hatred locked up inside him like a ball of matter which was part of himself and yet unconnected with the rest of him, a kind of cyst.

One day they would decide to shoot him. You could not tell when it would happen, but a few seconds beforehand it should be possible to guess. It was always from behind, walking down a corridor. Ten seconds would be enough. In that time the world inside him could turn over. And then suddenly, without a word uttered, without a check in his step, without the changing of a line in his face -- suddenly the camouflage would be down and bang! would go the batteries of his hatred. Hatred would fill him like an enormous roaring flame. And almost in the same instant

слабостью?

Сейчас он услышит топот башмаков за дверью. Такую выходку они не оставят безнаказанной. Теперь они поймут -- если раньше не поняли, -- что он нарушил соглашение. Он подчинился партии, но по-прежнему ее ненавидит. В прежние дни он скрывал еретические мысли под показным конформизмом. Теперь он отступил еще на шаг; разумом сдался, но душу рассчитывал сохранить в неприкосновенности. Он знал, что не прав, и держался за свою неправоту. Они это поймут -- О'Брайен поймет. И выдало его одно глупое восклицание.

Придется начать все сначала. На это могут уйти годы. Он провел ладонью по лицу, чтобы яснее представить себе, как оно теперь выглядит. В щеках залегли глубокие борозды, скулы заострились, нос показался приплюснутым. Вдобавок он в последний раз видел себя в зеркале до того, как ему сделали зубы. Трудно сохранить непроницаемость, если не знаешь, как выглядит твое лицо. Во всяком случае, одного лишь владения мимикой недостаточно. Впервые он осознал, что, если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя. Ты должен знать, конечно, что он есть, но, покуда он не понадобился, нельзя допускать его до сознания в таком виде, когда его можно назвать. Отныне он должен не только думать правильно; он должен правильно чувствовать, видеть правильные сны. А ненависть должен запереть в себе как некое физическое образование, которое является его частью и, однако, с ним не связано, -- вроде кисты.

Когда-нибудь они решат его расстрелять. Неизвестно, когда это случится, но за несколько секунд, наверное, угадать можно. Стреляют сзади, когда идешь по коридору. Десяти секунд хватит. За это время внутренний мир может перевернуться. И тогда, внезапно, не сказав ни слова, не сбившись с шага, не изменившись в лице, внезапно он сбросит маскировку -- и грянут батареи его ненависти! Ненависть наполнит его словно исполинское ревущее пламя. И почти в тот же миг -- выстрел! -- слишком поздно или слишком рано. Они

bang! would go the bullet, too late, or too early. They would have blown his brain to pieces before they could reclaim it. The heretical thought would be unpunished, unrepented, out of their reach for ever. They would have blown a hole in their own perfection. To die hating them, that was freedom.

разнесут ему мозг раньше, чем выправят. Еретическая мысль, ненаказанная, нераскаянная, станет недосягаемой для них навеки. Они прострелят дыру в своем идеале. Умереть, ненавидя их, -- это и есть свобода.

He shut his eyes. It was more difficult than accepting an intellectual discipline. It was a question of degrading himself, mutilating himself. He had got to plunge into the filthiest of filth. What was the most horrible, sickening thing of all? He thought of Big Brother. The enormous face (because of constantly seeing it on posters he always thought of it as being a metre wide), with its heavy black moustache and the eyes that followed you to and fro, seemed to float into his mind of its own accord. What were his true feelings towards Big Brother?

Он закрыл глаза. Это труднее, чем принять дисциплину ума. Тут надо уронить себя, изувечить. Погрузиться в грязнейшую грязь. Что самое жуткое, самое тошнотворное? Он подумал о Старшем Брате. Огромное лицо (он постоянно видел его на плакатах, и поэтому казалось, что оно должно быть шириной в метр), черноусое, никогда не спускавшее с тебя глаз, возникло перед ним словно помимо его воли. Как он на самом деле относится к Старшему Брату?

There was a heavy tramp of boots in the passage. The steel door swung open with a clang. O'Brien walked into the cell. Behind him were the waxen-faced officer and the black-uniformed guards.

В коридоре послышался тяжелый топот. Стальная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О'Брайен. За ним -- офицер с восковым лицом и надзиратели в черном.

"Get up," said O'Brien. "Come here."

-- Встаньте, -- сказал О'Брайен. -- Подойдите сюда.

Winston stood opposite him. O'Brien took Winston's shoulders between his strong hands and looked at him closely.

Уинстон встал против него. О'Брайен сильными руками взял Уинстона за плечи и пристально посмотрел в лицо.

"You have had thoughts of deceiving me," he said. "That was stupid. Stand up straighter. Look me in the face."

-- Вы думали меня обмануть, -- сказал он. -- Это было глупо. Стойте прямо. Смотрите мне в глаза.

He paused, and went on in a gentler tone:

Он помолчал и продолжал чуть мягче:

"You are improving. Intellectually there is very little wrong with you. It is only emotionally that you have failed to make progress. Tell me, Winston -- and remember, no lies: you know that I am always able to detect a lie -- tell me, what are your true feelings towards Big Brother?"

-- Вы исправляетесь. В интеллектуальном плане у вас почти все в порядке. В эмоциональном же никакого улучшения у вас не произошло. Скажите мне, Уинстон, -- только помните: не лгать, ложь от меня не укроется, это вам известно, -- скажите, как вы на самом деле относитесь к Старшему Брату?

"I hate him."

-- Я его ненавижу.

"You hate him. Good. Then the time has come for you to take the last step. You must love Big Brother. It is not enough to obey him: you must love him."

-- Вы его ненавидите. Хорошо. Тогда для вас настало время сделать последний шаг. Вы должны любить Старшего Брата. Повиноваться ему мало; вы должны его любить.

He released Winston with a little push towards the guards.

Он отпустил плечи Уинстона, слегка толкнув его к надзирателям.

"Room 101," he said.

-- В комнату сто один, -- сказал он.

V

V

At each stage of his imprisonment he had

На каждом этапе заключения Уинстон

known, or seemed to know, whereabouts he was in the windowless building. Possibly there were slight differences in the air pressure. The cells where the guards had beaten him were below ground level. The room where he had been interrogated by O'Brien was high up near the roof. This place was many metres underground, as deep down as it was possible to go.

знал -- или представлял себе, -- несмотря на отсутствие окон, в какой части здания он находится. Возможно, ощущал разницу в атмосферном давлении. Камеры, где его избивали надзиратели, находились ниже уровня земли. Комната, где его допрашивал О'Брайен, располагалась наверху, близко к крыше. А нынешнее место было глубоко под землей, может быть, в самом низу.

It was bigger than most of the cells he had been in. But he hardly noticed his surroundings. All he noticed was that there were two small tables straight in front of him, each covered with green baize. One was only a metre or two from him, the other was further away, near the door. He was strapped upright in a chair, so tightly that he could move nothing, not even his head. A sort of pad gripped his head from behind, forcing him to look straight in front of him. For a moment he was alone, then the door opened and O'Brien came in.

Комната была просторнее почти всех его прежних камер. Но он не замечал подробностей обстановки. Заметил только два столика прямо перед собой, оба с зеленым сукном. Один стоял метрах в двух; другой подальше, у двери. Уинстон был привязан к креслу так туго, что не мог пошевелить даже головой. Голову держало сзади что-то вроде мягкого подголовника, и смотреть он мог только вперед. Он был один, потом дверь открылась и вошел О'Брайен.

"You asked me once," said O'Brien, "what was in Room 101. I told you that you knew the answer already. Everyone knows it. The thing that is in Room 101 is the worst thing in the world."

-- Вы однажды спросили, -- сказал О'Брайен, -- что делают в комнате сто один. Я ответил, что вы сами знаете. Это все знают. В комнате сто один -- то, что хуже всего на свете.

The door opened again. A guard came in, carrying something made of wire, a box or basket of some kind. He set it down on the further table. Because of the position in which O'Brien was standing. Winston could not see what the thing was.

Дверь снова открылась. Надзиратель внес что-то проволочное, то ли корзинку, то ли клетку. Он поставил эту вещь на дальний столик. О'Брайен мешал разглядеть, что это за вещь.

"The worst thing in the world," said O'Brien, "varies from individual to individual. It may be burial alive, or death by fire, or by drowning, or by impalement, or fifty other deaths. There are cases where it is some quite trivial thing, not even fatal."

-- То, что хуже всего на свете, -- сказал О'Брайен, -- разное для разных людей. Это может быть погребение заживо, смерть на костре, или в воде, или на колу -- да сто каких угодно смертей. А иногда это какая-то вполне ничтожная вещь, даже не смертельная.

He had moved a little to one side, so that Winston had a better view of the thing on the table. It was an oblong wire cage with a handle on top for carrying it by. Fixed to the front of it was something that looked like a fencing mask, with the concave side outwards. Although it was three or four metres away from him, he could see that the cage was divided lengthways into two compartments, and that there was some kind of creature in each. They were rats.

Он отошел в сторону, и Уинстон разглядел, что стоит на столике. Это была продолговатая клетка с ручкой наверху для переноски. К торцу было приделано что-то вроде фехтовальной маски, вогнутой стороной наружу. Хотя до клетки было метра три или четыре, Уинстон увидел, что она разделена продольной перегородкой и в обоих отделениях -- какие-то животные. Это были крысы.

"In your case," said O'Brien, "the worst thing in the world happens to be rats."

-- Для вас, -- сказал О'Брайен, -- хуже всего на свете -- крысы.

A sort of premonitory tremor, a fear of he

Дрожь предчувствия, страх перед

was not certain what, had passed through Winston as soon as he caught his first glimpse of the cage. But at this moment the meaning of the mask-like attachment in front of it suddenly sank into him. His bowels seemed to turn to water.

неведомым Уинстон ощутил еще в ту секунду, когда разглядел клетку. А сейчас он понял, что означает маска в торце. У него схватило живот.

“You can’t do that!” he cried out in a high cracked voice. “You couldn’t, you couldn’t! It’s impossible.”

-- Вы этого не сделаете! -- крикнул он высоким надтреснутым голосом. -- Вы не будете, не будете! Как можно?

“Do you remember,” said O’Brien, “the moment of panic that used to occur in your dreams? There was a wall of blackness in front of you, and a roaring sound in your ears. There was something terrible on the other side of the wall. You knew that you knew what it was, but you dared not drag it into the open. It was the rats that were on the other side of the wall.”

-- Помните, -- сказал О'Брайен, -- тот миг паники, который бывал в ваших снах? Перед вами стена мрака, и рев в ушах. Там, за стеной, -- что-то ужасное. В глубине души вы знали, что скрыто за стеной, но не решались себе признаться. Крысы были за стеной.

“O’Brien!” said Winston, making an effort to control his voice. “You know this is not necessary. What is it that you want me to do?”

-- О'Брайен! -- сказал Уинстон, пытаясь совладать с голосом. -- Вы знаете, что в этом нет необходимости. Чего вы от меня хотите?

O’Brien made no direct answer. When he spoke it was in the schoolmasterish manner that he sometimes affected. He looked thoughtfully into the distance, as though he were addressing an audience somewhere behind Winston’s back.

О'Брайен не дал прямого ответа. Напустив на себя менторский вид, как иногда с ним бывало, он задумчиво смотрел вдаль, словно обращался к слушателям за спиной Уинстона.

“By itself,” he said, “pain is not always enough. There are occasions when a human being will stand out against pain, even to the point of death. But for everyone there is something unendurable -- something that cannot be contemplated. Courage and cowardice are not involved. If you are falling from a height it is not cowardly to clutch at a rope. If you have come up from deep water it is not cowardly to fill your lungs with air. It is merely an instinct which cannot be destroyed. It is the same with the rats. For you, they are unendurable. They are a form of pressure that you cannot withstand. even if you wished to. You will do what is required of you.

-- Боли самой по себе, -- начал он, -- иногда недостаточно. Бывают случаи, когда индивид сопротивляется боли до смертного мига. Но для каждого человека есть что-то непереносимое, немыслимое. Смелость и трусость здесь ни при чем. Если падаешь с высоты, схватиться за веревку -- не трусость. Если вынырнул из глубины, вдохнуть воздух -- не трусость. Это просто инстинкт, и его нельзя ослушаться. То же самое -- с крысами. Для вас они непереносимы. Это та форма давления, которой вы не можете противостоять, даже если бы захотели. Вы сделайте то, что от вас требуют.

“But what is it, what is it? How can I do it if I don’t know what it is?”

-- Но что, что требуют? Как я могу сделать, если не знаю, что от меня надо?

O’Brien picked up the cage and brought it across to the nearer table. He set it down carefully on the baize cloth. Winston could hear the blood singing in his ears. He had the feeling of sitting in utter loneliness. He was in the middle of a great empty plain, a flat desert drenched with sunlight, across which all sounds came to him out of

О'Брайен взял клетку и перенес к ближнему столику. Аккуратно поставил ее на сукно. Уинстон слышал гул крови в ушах. Ему казалось сейчас, что он сидит в полном одиночестве. Он посреди громадной безлюдной равнины, в пустыне, залитой солнечным светом, и все звуки доноситься из бесконечного

immense distances. Yet the cage with the rats was not two metres away from him. They were enormous rats. They were at the age when a rat's muzzle grows blunt and fierce and his fur brown instead of grey.

далека. Между тем клетка с крысами стояла от него в каких-нибудь двух метрах. Крысы были огромные. Они достигли того возраста, когда морда животного становится тупой и свирепой, а шкура из серой превращается в коричневую.

"The rat," said O'Brien, still addressing his invisible audience, "although a rodent, is carnivorous. You are aware of that. You will have heard of the things that happen in the poor quarters of this town. In some streets a woman dare not leave her baby alone in the house, even for five minutes. The rats are certain to attack it. Within quite a small time they will strip it to the bones. They also attack sick or dying people. They show astonishing intelligence in knowing when a human being is helpless."

-- Крыса, -- сказал О'Брайен, по-прежнему обращаясь к невидимой аудитории, -- грызун, но при этом -- плотоядное. Вам это известно. Вы, несомненно, слышали о том, что творится в бедных районах нашего города. На некоторых улицах мать боится оставить грудного ребенка без присмотра в доме даже на пять минут. Крысы непременно на него нападут. И очень быстро обгложут его до костей. Они нападают также на больных и умирающих. Крысы удивительно угадывают беспомощность человека.

There was an outburst of squeals from the cage. It seemed to reach Winston from far away. The rats were fighting; they were trying to get at each other through the partition. He heard also a deep groan of despair. That, too, seemed to come from outside himself.

В клетке поднялся визг. Уинстону казалось, что он доносится издалека. Крысы дрались; они пытались добраться друг до дружки через перегородку. Еще Уинстон услышал глубокий стон отчаяния. Он тоже шел как будто извне.

O'Brien picked up the cage, and, as he did so, pressed something in it. There was a sharp click. Winston made a frantic effort to tear himself loose from the chair. It was hopeless; every part of him, even his head, was held immovably. O'Brien moved the cage nearer. It was less than a metre from Winston's face.

О'Брайен поднял клетку и что-то в ней нажал. Раздался резкий щелчок. В исступлении Уинстон попробовал вырваться из кресла. Напрасно: все части тела и даже голова были намертво закреплены. О'Брайен поднес клетку ближе. Теперь она была в метре от лица.

"I have pressed the first lever," said O'Brien. "You understand the construction of this cage. The mask will fit over your head, leaving no exit. When I press this other lever, the door of the cage will slide up. These starving brutes will shoot out of it like bullets. Have you ever seen a rat leap through the air? They will leap on to your face and bore straight into it. Sometimes they attack the eyes first. Sometimes they burrow through the cheeks and devour the tongue."

-- Я нажал первую ручку, -- сказал О'Брайен. -- Конструкция клетки вам понятна. Маска охватит вам лицо, не оставив выхода. Когда я нажму другую ручку, дверца в клетке поднимется. Голодные звери вылетят оттуда пулями. Вы видели, как прыгают крысы? Они прыгнут вам на лицо и начнут вгрызаться. Иногда они первым делом набрасываются на глаза. Иногда прогрызают щеки и пожирают язык.

The cage was nearer; it was closing in. Winston heard a succession of shrill cries which appeared to be occurring in the air above his head. But he fought furiously against his panic. To think, to think, even with a split second left -- to think was the only hope. Suddenly the foul musty odour of the brutes struck his nostrils. There was

Клетка приблизилась; скоро надвинется вплотную. Уинстон услышал частые пронзительные вопли, раздававшиеся как будто в воздухе над головой. Но он яростно боролся с паникой. Думать, думать, даже если осталась секунда... Думать -- только на это надежда. Гнусный затхлый запах зверей ударил в

a violent convulsion of nausea inside him, and he almost lost consciousness. Everything had gone black. For an instant he was insane, a screaming animal. Yet he came out of the blackness clutching an idea. There was one and only one way to save himself. He must interpose another human being, the *body* of another human being, between himself and the rats.

The circle of the mask was large enough now to shut out the vision of anything else. The wire door was a couple of hand-spans from his face. The rats knew what was coming now. One of them was leaping up and down, the other, an old scaly grandfather of the sewers, stood up, with his pink hands against the bars, and fiercely sniffed the air. Winston could see the whiskers and the yellow teeth. Again the black panic took hold of him. He was blind, helpless, mindless.

"It was a common punishment in Imperial China," said O'Brien as didactically as ever.

The mask was closing on his face. The wire brushed his cheek. And then -- no, it was not relief, only hope, a tiny fragment of hope. Too late, perhaps too late. But he had suddenly understood that in the whole world there was just *one* person to whom he could transfer his punishment -- *one* body that he could thrust between himself and the rats. And he was shouting frantically, over and over.

"Do it to Julia! Do it to Julia! Not me! Julia! I don't care what you do to her. Tear her face off, strip her to the bones. Not me! Julia! Not me!"

He was falling backwards, into enormous depths, away from the rats. He was still strapped in the chair, but he had fallen through the floor, through the walls of the building, through the earth, through the oceans, through the atmosphere, into outer space, into the gulfs between the stars -- always away, away, away from the rats. He was light years distant, but O'Brien was still standing at his side. There was still the cold touch of wire against his cheek. But through the darkness that enveloped him he heard another metallic click, and knew that the cage door had clicked shut and not open.

VI

нос. Рвотная спазма подступила к горлу, и он почти потерял сознание. Все исчезло в черноте. На миг он превратился в обезумевшее вопящее животное. Однако он вырвался из черноты, зацепившись за мысль. Есть один-единственный путь к спасению. Надо поставить другого человека, *тело* другого человека, между собой и крысами.

Овал маски приблизился уже настолько, что заслонил все остальное. Сетчатая дверца была в двух пядях от лица. Крысы поняли, что готовится. Одна нетерпеливо прыгала на месте; другая -- коржавый ветеран сточных канав -- встала, упершись розовыми лапами в решетку и сильно втягивая носом воздух. Уинстон видел усы и желтые зубы. Черная паника снова накатила на него. Он был слеп, беспомощен, ничего не соображал.

-- Это наказание было принято в Китайской империи, -- сказал О'Брайен по-прежнему нравоучительно.

Маска придвигалась к лицу. Проволока коснулась щеки. И тут... нет, это было не спасение, а только надежда, искра надежды. Поздно, может быть, поздно. Но он вдруг понял, что на свете есть только один человек, на которого он может переналить свое наказание, -- только одним телом он может заслонить себя от крыс. И он исступленно кричал, раз за разом:

-- Отдайте им Джулию! Отдайте им Джулию! Не меня! Джулию! Мне все равно, что вы с ней сделаете. Разорвите ей лицо, обгрызите до костей. Не меня! Джулию! Не меня!

Он падал спиной в бездонную глубь, прочь от крыс. Он все еще был пристегнут к креслу, но проваливался сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в космос, в межзвездные бездны -- все дальше, прочь, прочь, прочь от крыс. Его отделяли от них уже световые годы, хотя О'Брайен по-прежнему стоял рядом. И холодная проволока все еще прикасалась к щеке. Но сквозь тьму, объявшую его, он услышал еще один металлический щелчок и понял, что дверца клетки захлопнулась, а не открылась.

VI

The Chestnut Tree was almost empty. A ray of sunlight slanting through a window fell on dusty table-tops. It was the lonely hour of fifteen. A tinny music trickled from the telescreens.

«Под каштаном» было безлюдно. Косые желтые лучи солнца падали через окно на пыльные крышки столов. Было пятнадцать часов -- время затишья. Из телекранов точилась бодрая музыка.

Winston sat in his usual corner, gazing into an empty glass. Now and again he glanced up at a vast face which eyed him from the opposite wall. BIG BROTHER IS WATCHING YOU the caption said. Unbidden, a waiter came and filled his glass up with Victory Gin, shaking into it a few drops from another bottle with a quill through the cork. It was saccharine flavoured with cloves, the speciality of the café.

Уинстон сидел в своем углу, уставясь в пустой стакан. Время от времени он поднимал взгляд на громадное лицо, наблюдавшее за ним со стены напротив. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, гласила подпись. Без зова подошел официант, наполнил его стакан джином «Победа» и добавил несколько капель из другой бутылки с трубочкой в пробке. Это был раствор сахарина, настоянный на гвоздике, -- фирменный напиток заведения.

Winston was listening to the telescreen. At present only music was coming out of it, but there was a possibility that at any moment there might be a special bulletin from the Ministry of Peace. The news from the African front was disquieting in the extreme. On and off he had been worrying about it all day. A Eurasian army (Oceania was at war with Eurasia: Oceania had always been at war with Eurasia) was moving southward at terrifying speed. The mid-day bulletin had not mentioned any definite area, but it was probable that already the mouth of the Congo was a battlefield. Brazzaville and Leopoldville were in danger. One did not have to look at the map to see what it meant. It was not merely a question of losing Central Africa: for the first time in the whole war, the territory of Oceania itself was menaced.

Уинстон прислушался к телекрану. Сейчас передавали только музыку, но с минуты на минуту можно было ждать специальной сводки из министерства мира. Сообщения с африканского фронта поступали крайне тревожные. С самого утра он то и дело с беспокойством думал об этом. Евразийские войска (Океания воевала с Евразией: Океания всегда воевала с Евразией) с устрашающей быстротой продвигались на юг. В полуденной сводке не назвали конкретных мест, но вполне возможно, что бои идут уже возле устья Конго. Над Браззавилем и Леопольдвилем нависла опасность. Понять, что это означает, нетрудно и без карты. Это грозит не просто потерей Центральной Африки; впервые за всю войну возникла угроза самой Океании.

A violent emotion, not fear exactly but a sort of undifferentiated excitement, flared up in him, then faded again. He stopped thinking about the war. In these days he could never fix his mind on any one subject for more than a few moments at a time. He picked up his glass and drained it at a gulp. As always, the gin made him shudder and even retch slightly. The stuff was horrible. The cloves and saccharine, themselves disgusting enough in their sickly way, could not disguise the flat oily smell; and what was worst of all was that the smell of gin, which dwelt with him night and day, was inextricably mixed up in his mind with the smell of those--

Бурное чувство -- не совсем страх, а скорее какое-то беспредметное волнение -- вспыхнуло в нем, а потом потухло. Он перестал думать о войне. Теперь он мог задержать мысли на каком-то одном предмете не больше чем на несколько секунд. Он взял стакан и залпом выпил. Как обычно, передернулся и тихонько рыгнул. Пойло было отвратительное. Гвоздика с сахарином, сама по себе противная, не могла перебить унылый маслянистый запах джина, но, что хуже всего, запах джина, сопровождавший его день и ночь, был неразрывно связан с запахом тех...

He never named them, even in his thoughts, and so far as it was possible he never visualized them. They were

Он никогда не называл их, даже про себя, и очень старался, не увидеть их мысленно. Они были чем-то не вполне

something that he was half-aware of, hovering close to his face, a smell that clung to his nostrils. As the gin rose in him he belched through purple lips. He had grown fatter since they released him, and had regained his old colour -- indeed, more than regained it. His features had thickened, the skin on nose and cheekbones was coarsely red, even the bald scalp was too deep a pink. A waiter, again unbidden, brought the chessboard and the current issue of the *Times*, with the page turned down at the chess problem. Then, seeing that Winston's glass was empty, he brought the gin bottle and filled it. There was no need to give orders. They knew his habits. The chessboard was always waiting for him, his corner table was always reserved; even when the place was full he had it to himself, since nobody cared to be seen sitting too close to him. He never even bothered to count his drinks. At irregular intervals they presented him with a dirty slip of paper which they said was the bill, but he had the impression that they always undercharged him. It would have made no difference if it had been the other way about. He had always plenty of money nowadays. He even had a job, a sinecure, more highly-paid than his old job had been.

The music from the telescreen stopped and a voice took over. Winston raised his head to listen. No bulletins from the front, however. It was merely a brief announcement from the Ministry of Plenty. In the preceding quarter, it appeared, the Tenth Three-Year Plan's quota for bootlaces had been overfulfilled by 98 per cent.

He examined the chess problem and set out the pieces. It was a tricky ending, involving a couple of knights. "White to play and mate in two moves." Winston looked up at the portrait of Big Brother. White always mates, he thought with a sort of cloudy mysticism. Always, without exception, it is so arranged. In no chess problem since the beginning of the world has black ever won. Did it not symbolize the eternal, unvarying triumph of Good over Evil? The huge face gazed back at him, full of calm power. White always mates.

The voice from the telescreen paused and added in a different and much graver tone: "You are warned to stand by for an important announcement at fifteen-thirty.

осознанным, скорее угадывались где-то перед лицом и только все время пахли. Джин всколыхнулся в желудке, и он рыгнул, выпятив красные губы. С тех пор как его выпустили, он располнел, и к нему вернулся прежний румянец, даже стал ярче. Черты лица у него огрубели, нос и скулы сделались шершавыми и красными, даже лысая голова приобрела яркий розовый оттенок. Официант, опять без зова, принес шахматы и свежий выпуск «Тайме», раскрытый на шахматной задаче. Затем, увидев, что стакан пуст, вернулся с бутылкой джина и налил. Заказы можно было не делать. Обслуга знала его привычки. Шахматы неизменно ждали его и свободный столик в углу; даже когда кафе наполнялось народом, он занимал его один -- никому не хотелось быть замеченным в его обществе. Ему даже не приходилось подсчитывать, сколько он выпил. Время от времени ему подавали грязную бумажку и говорили, что это счет, но у него сложилось впечатление, что берут меньше, чем следует. Если бы они поступали наоборот, его бы это тоже не взволновало. Он всегда был при деньгах. Ему дали должность -- синекуру -- и платили больше, чем на прежнем месте.

Музыка в телекране смолкла, вступил голос. Уинстон поднял голову и прислушался. Но передали не сводку с фронта. Сообщало министерство изобилия. Оказывается, в прошлом квартале план десятой трехлетки по шнуркам перевыполнен на девяносто восемь процентов.

Он глянул на шахматную задачу и расставил фигуры. Это было хитрое окончание с двумя конями. «Белые начинают и дают мат в два хода». Он поднял глаза на портрет Старшего Брата. Белые всегда ставят мат, подумал он с неясным мистическим чувством. Всегда, исключений не бывает, так устроено. Испокон веку ни в одной шахматной задаче черные не выигрывали. Не символ ли это вечной, неизменной победы Добра над Злом? Громадное, полное спокойной силы лицо ответило ему взглядом. Белые всегда ставят мат.

Телекран смолк, а потом другим, гораздо более торжественным тоном сказал: «Внимание: в пятнадцать часов тридцать минут будет передано важное сообщение!

Fifteen-thirty! This is news of the highest importance. Take care not to miss it. Fifteen-thirty!" The tinking music struck up again.

Известия чрезвычайной важности. Слушайте нашу передачу. В пятнадцать тридцать!» Снова пустили бодрую музыку.

Winston's heart stirred. That was the bulletin from the front; instinct told him that it was bad news that was coming. All day, with little spurts of excitement, the thought of a smashing defeat in Africa had been in and out of his mind. He seemed actually to see the Eurasian army swarming across the never-broken frontier and pouring down into the tip of Africa like a column of ants. Why had it not been possible to outflank them in some way? The outline of the West African coast stood out vividly in his mind. He picked up the white knight and moved it across the board. *There* was the proper spot. Even while he saw the black horde racing southward he saw another force, mysteriously assembled, suddenly planted in their rear, cutting their comunications by land and sea. He felt that by willing it he was bringing that other force into existence. But it was necessary to act quickly. If they could get control of the whole of Africa, if they had airfields and submarine bases at the Cape, it would cut Oceania in two. It might mean anything: defeat, breakdown, the redivision of the world, the destruction of the Party! He drew a deep breath. An extraordinary medley of feeling -- but it was not a medley, exactly; rather it was successive layers of feeling, in which one could not say which layer was undermost -- struggled inside him.

Сердце у него сжалось. Это -- сообщение с фронта; инстинкт подсказывал ему, что новости будут плохие. Весь день с короткими приступами волнения он то и дело мысленно возвращался к сокрушительному поражению в Африке. Он зрительно представлял себе, как евразийские полчища валят через нерушимую прежде границу и растекаются по оконечности континента, подобно колоннам муравьев. Почему нельзя было выйти им во фланг? Перед глазами у него возник контур Западного побережья. Он взял белого коня и переставил в другой угол доски. Вот где правильное место. Он видел, как черные орды катятся на юг, и в то же время видел, как собирается таинственно другая сила, вдруг оживает у них в тылу, режет их коммуникации на море и на суше. Он чувствовал, что желанием своим вызывает эту силу к жизни. Но действовать надо без промедления. Если они овладеют всей Африкой, захватят аэродромы и базы подводных лодок на мысе Доброй Надежды, Океания будет рассечена пополам. А это может повлечь за собой что угодно: разгром, передел мира, крушение партии! Он глубоко вздохнул. В груди его клубком сплелись противоречивые чувства -- вернее, не сплелись, а расположились слоями, и невозможно было понять, какой глубже всего.

The spasm passed. He put the white knight back in its place, but for the moment he could not settle down to serious study of the chess problem. His thoughts wandered again. Almost unconsciously he traced with his finger in the dust on the table:

Спазма кончилась. Он вернул белого коня на место, но никак не мог сосредоточиться на задаче. Мысли опять ушли в сторону. Почти бессознательно он вывел пальцем на пыльной крышке стола:

2 + 2 = 5

2 x 2 = 5

"They can't get inside you," she had said. But they could get inside you. "What happens to you here is *for ever*," O'Brien had said. That was a true word. There were things, your own acts, from which you could never recover. Something was killed in your breast: burnt out, cauterized out.

«Они не могут в тебя влезть», -- сказала Джулия. Но они смогли влезть. «То, что делается с вами здесь, делается навечно», -- сказал О'Брайен. Правильное слово. Есть такое -- твои собственные поступки, -- от чего ты никогда не оправишься. В твоей груди что-то убито -- вытравлено, выжжено.

He had seen her; he had even spoken to her. There was no danger in it. He knew as though instinctively that they now took

Он ее видел; даже разговаривал с ней. Это ничем не грозило. Инстинкт ему подсказывал, что теперь его делами

almost no interest in his doings. He could have arranged to meet her a second time if either of them had wanted to. Actually it was by chance that they had met. It was in the Park, on a vile, biting day in March, when the earth was like iron and all the grass seemed dead and there was not a bud anywhere except a few crocuses which had pushed themselves up to be dismembered by the wind. He was hurrying along with frozen hands and watering eyes when he saw her not ten metres away from him. It struck him at once that she had changed in some ill-defined way. They almost passed one another without a sign, then he turned and followed her, not very eagerly. He knew that there was no danger, nobody would take any interest in him. She did not speak. She walked obliquely away across the grass as though trying to get rid of him, then seemed to resign herself to having him at her side. Presently they were in among a clump of ragged leafless shrubs, useless either for concealment or as protection from the wind. They halted. It was vilely cold. The wind whistled through the twigs and fretted the occasional, dirty-looking crocuses. He put his arm round her waist.

There was no telescreen, but there must be hidden microphones: besides, they could be seen. It did not matter, nothing mattered. They could have lain down on the ground and done *that* if they had wanted to. His flesh froze with horror at the thought of it. She made no response whatever to the clasp of his arm; she did not even try to disengage herself. He knew now what had changed in her. Her face was sallower, and there was a long scar, partly hidden by the hair, across her forehead and temple; but that was not the change. It was that her waist had grown thicker, and, in a surprising way, had stiffened. He remembered how once, after the explosion of a rocket bomb, he had helped to drag a corpse out of some ruins, and had been astonished not only by the incredible weight of the thing, but by its rigidity and awkwardness to handle, which made it seem more like stone than flesh. Her body felt like that. It occurred to him that the texture of her skin would be quite different from what it had once been.

He did not attempt to kiss her, nor did they speak. As they walked back across the grass, she looked directly at him for the

почти не интересуются. Если бы кто-то из них двоих захотел, они могли бы условиться о новом свидании. А встретились они нечаянно. Произошло это в парке, в пронизывающий, мерзкий мартовский денек, когда земля была как железо, и вся трава казалась мертвой, и не было нигде ни почки, только несколько крокусов вылезли из грязи, чтобы их расчленил ветер. Уинстон шел торопливо, с озябшими руками, плача от ветра, и вдруг метрах в десяти увидел ее. Она разительно переменилась, но непонятно было, в чем эта перемена заключается. Они разошлись как незнакомые; потом он повернул и нагнал ее, хотя и без особой охоты. Он знал, что это ничем не грозит, никому они не интересны. Она не заговорила. Она свернула на газон, словно желая избавиться от него, но через несколько шагов как бы примирилась с тем, что он идет рядом. Вскоре они очутились среди корявых голых кустов, не защищавших ни от ветра, ни от посторонних глаз. Остановились. Холод был лютый. Ветер свистел в ветках и трепал редкие грязные крокусы. Он обнял ее за талию.

Телекрана рядом не было, были, наверно, скрытые микрофоны: кроме того, их могли увидеть. Но это не имело значения -- ничто не имело значения. Они спокойно могли бы лечь на землю и заняться чем угодно. При одной мысли об этом у него мурашки поползли по спине. Она никак не отозвалась на объятье, даже не попыталась освободиться. Теперь он понял, что в ней изменилось. Лицо приобрело землистый оттенок, через весь лоб к виску тянулся шрам, отчасти прикрытый волосами. Но дело было не в этом. А в том, что талия у нее стала толще и, как ни странно, отвердела. Он вспомнил, как однажды, после взрыва ракеты, помогал вытаскивать из развалин труп, и поражен был не только невероятной тяжестью тела, но его жесткостью, тем, что его так неудобно держать -- словно оно было каменное, а не человеческое. Таким же на ощупь оказалось ее тело. Он подумал, что и кожа у нее, наверно, стала совсем другой.

Он даже не попытался поцеловать ее, и оба продолжали молчать. Когда они уже выходили из ворот, она впервые

first time. It was only a momentary glance, full of contempt and dislike. He wondered whether it was a dislike that came purely out of the past or whether it was inspired also by his bloated face and the water that the wind kept squeezing from his eyes. They sat down on two iron chairs, side by side but not too close together. He saw that she was about to speak. She moved her clumsy shoe a few centimetres and deliberately crushed a twig. Her feet seemed to have grown broader, he noticed.

посмотрела на него в упор. Это был короткий взгляд, полный презрения и неприязни. Он не понял, вызвана эта неприязнь только их прошлым или вдобавок его расплывшимся лицом и слезящимися от ветра глазами. Они сели на железные стулья, рядом, но не вплотную друг к другу. Он понял, что сейчас она заговорит. Она передвинула на несколько сантиметров грубую туфлю и нарочно смяла былинку. Он заметил, что ступни у нее раздались.

“I betrayed you,” she said baldly.

-- Я предала тебя, -- сказала она без обиняков.

“I betrayed you,” he said.

-- Я предал тебя, -- сказал он.

She gave him another quick look of dislike.

Она снова взглянула на него с неприязнью.

“Sometimes,” she said, “they threaten you with something something you can’t stand up to, can’t even think about. And then you say, ‘Don’t do it to me, do it to somebody else, do it to So-and-so.’ And perhaps you might pretend, afterwards, that it was only a trick and that you just said it to make them stop and didn’t really mean it. But that isn’t true. At the time when it happens you do mean it. You think there’s no other way of saving yourself, and you’re quite ready to save yourself that way. You *want* it to happen to the other person. You don’t give a damn what they suffer. All you care about is yourself.”

-- Иногда, -- сказала она, -- тебе угрожают чем-то таким... таким, чего ты не можешь перенести, о чем не можешь даже подумать. И тогда ты говоришь: «Не делайте этого со мной, сделайте с кем-нибудь другим, сделайте с таким-то». А потом ты можешь притворяться перед собой, что это была только уловка, что ты сказала это просто так, лишь бы перестали, а на самом деле ты этого не хотела. Неправда. Когда это происходит, желание у тебя именно такое. Ты думаешь, что другого способа спастись нет, ты согласна спастись таким способом. Ты *хочешь*, чтобы это сделали с другим человеком. И тебе плевать на его мучения. Ты думаешь только о себе.

“All you care about is yourself,” he echoed.

-- Думаешь только о себе, -- эхом отозвался он.

“And after that, you don’t feel the same towards the other person any longer.”

-- А после ты уже по-другому относишься к тому человеку.

“No,” he said, “you don’t feel the same.”

-- Да, -- сказал он, -- относишься по-другому.

There did not seem to be anything more to say. The wind plastered their thin overalls against their bodies. Almost at once it became embarrassing to sit there in silence: besides, it was too cold to keep still. She said something about catching her Tube and stood up to go.

Говорить было больше не о чем. Ветер лепил тонкие комбинезоны к их телам. Молчание почти сразу стало тягостным, да и холод не позволял сидеть на месте. Она пробормотала, что опоздает на поезд в метро, и поднялась.

“We must meet again,” he said.

-- Нам надо встретиться еще, -- сказал он.

“Yes,” she said, “we must meet again.”

-- Да, -- сказала она, -- надо встретиться еще.

He followed irresolutely for a little distance, half a pace behind her. They did not speak again. She did not actually try to shake him

Он нерешительно пошел за ней, приотстав на полшага. Больше они не разговаривали. Она не то чтобы

off, but walked at just such a speed as to prevent his keeping abreast of her. He had made up his mind that he would accompany her as far as the Tube station, but suddenly this process of trailing along in the cold seemed pointless and unbearable. He was overwhelmed by a desire not so much to get away from Julia as to get back to the Chestnut Tree Café, which had never seemed so attractive as at this moment. He had a nostalgic vision of his corner table, with the newspaper and the chessboard and the ever-flowing gin. Above all, it would be warm in there. The next moment, not altogether by accident, he allowed himself to become separated from her by a small knot of people. He made a halfhearted attempt to catch up, then slowed down, turned, and made off in the opposite direction. When he had gone fifty metres he looked back. The street was not crowded, but already he could not distinguish her. Any one of a dozen hurrying figures might have been hers. Perhaps her thickened, stiffened body was no longer recognizable from behind.

старалась от него отделаться, но шла быстрым шагом, не давая себя догнать. Он решил, что проводит ее до станции метро, но вскоре почувствовал, что тащиться за ней по холоду бессмысленно и невыносимо. Хотелось не столько даже уйти от Джулии, сколько очутиться в кафе «Под каштаном» -- его никогда еще не тянуло туда так, как сейчас. Он затосковал по своему угловому столику с газетой и шахматами, по неиссякаемому стакану джина. Самое главное, в кафе будет тепло. Тут их разделила небольшая кучка людей, чему он не особенно препятствовал. Он попытался -- правда, без большого рвения -- догнать ее, потом сбавил шаг, повернул и отправился в другую сторону. Метров через пятьдесят он оглянулся. Народу было мало, но узнать ее он уже не мог. Всего несколько человек торопливо двигались по улице, и любой из них сошел бы за Джулию. Ее раздавшееся, огрубевшее тело, наверное, нельзя было узнать сзади.

"At the time when it happens," she had said, "you do mean it." He had meant it. He had not merely said it, he had wished it. He had wished that she and not he should be delivered over to the--

«Когда это происходит, -- сказала она, -- желание у тебя именно такое». И у него оно было. Он не просто сказал так, он этого хотел. Он хотел, чтобы ее, а не его отдали…

Something changed in the music that trickled from the telescreen. A cracked and jeering note, a yellow note, came into it. And then -- perhaps it was not happening, perhaps it was only a memory taking on the semblance of sound -- a voice was singing:

В музыке, лившейся из телекрана, что-то изменилось. Появился надтреснутый, глумливый тон, желтый тон. А затем -- может быть, этого и не было на самом деле, может быть, просто память оттолкнулась от тонального сходства -- голос запел:

"Under the spreading chestnut tree

I sold you and you sold me--"

Под развесистым каштаном

Продали средь бела дня --Я тебя, а ты меня...

The tears welled up in his eyes. A passing waiter noticed that his glass was empty and came back with the gin bottle.

У него навернулись слезы. Официант, проходя мимо, заметил, что стакан его пуст, и вернулся с бутылкой джина.

He took up his glass and sniffed at it. The stuff grew not less but more horrible with every mouthful he drank. But it had become the element he swam in. It was his life, his death, and his resurrection. It was gin that sank him into stupor every night, and gin that revived him every morning. When he woke, seldom before eleven hundred, with gummed-up eyelids and fiery mouth and a back that seemed to be broken, it would have been impossible even

Он поднял стакан и понюхал. С каждым глотком пойло становилось не менее, а только более отвратительным. Но оно стало его стихией. Это была его жизнь, его смерть и его воскресение. Джин гасил в нем каждый вечер последние проблески мысли и джин каждое утро возвращал его к жизни. Проснувшись -- как правило, не раньше одиннадцати ноль-ноль -- со слипшимися веками, пересохшим ртом и такой болью в спине,

to rise from the horizontal if it had not been for the bottle and teacup placed beside the bed overnight. Through the midday hours he sat with glazed face, the bottle handy, listening to the telescreen. From fifteen to closing-time he was a fixture in the Chestnut Tree. No one cared what he did any longer, no whistle woke him, no telescreen admonished him. Occasionally, perhaps twice a week, he went to a dusty, forgotten-looking office in the Ministry of Truth and did a little work, or what was called work. He had been appointed to a sub-committee of a sub-committee which had sprouted from one of the innumerable committees dealing with minor difficulties that arose in the compilation of the Eleventh Edition of the Newspeak Dictionary. They were engaged in producing something called an Interim Report, but what it was that they were reporting on he had never definitely found out. It was something to do with the question of whether commas should be placed inside brackets, or outside. There were four others on the committee, all of them persons similar to himself. There were days when they assembled and then promptly dispersed again, frankly admitting to one another that there was not really anything to be done. But there were other days when they settled down to their work almost eagerly, making a tremendous show of entering up their minutes and drafting long memoranda which were never finished -- when the argument as to what they were supposedly arguing about grew extraordinarily involved and abstruse, with subtle haggling over definitions, enormous digressions, quarrels -- threats, even, to appeal to higher authority. And then suddenly the life would go out of them and they would sit round the table looking at one another with extinct eyes, like ghosts fading at cock-crow.

какая бывает, наверно, при переломе, он не мог бы даже принять вертикальное положение, если бы рядом с кроватью не стояла наготове бутылка и чайная чашка. Первую половину дня он с мутными глазами просиживал перед бутылкой, слушая телекран. С пятнадцати часов до закрытия пребывал в кафе «Под каштаном». Никому не было дела до него, свисток его не будил, телекран не наставлял. Изредка, раза два в неделю, он посещал пыльную, заброшенную контору в министерстве правды и немного работал -- если это можно назвать работой. Его определили в подкомитет подкомитета, отпочковавшегося от одного из бесчисленных комитетов, которые занимались второстепенными проблемами, связанными с одиннадцатым изданием словаря новояза. Сейчас готовили так называемый Предварительный доклад, но что им предстояло доложить, он в точности так и не выяснил. Какие-то заключения касательно того, где ставить запятую -- до скобки или после. В подкомитете работали еще четверо, люди вроде него. Бывали дни, когда они собирались и почти сразу расходились, честно признавшись друг другу, что делать им нечего. Но случались и другие дни: они брались за работу рьяно, с помпой вели протокол, составляли длинные меморандумы -- ни разу, правда, не доведя их до конца -- и в спорах по поводу того, о чем они спорят, забирались в совершенные дебри, с изощренными препирательствами из-за дефиниций, с пространными отступлениями -- даже с угрозами обратиться к начальству. И вдруг жизнь уходила из них, и они сидели вокруг стола, глядя друг на друга погасшими глазами, -- словно привидения, которые рассеиваются при первом крике петуха.

The telescreen was silent for a moment. Winston raised his head again. The bulletin! But no, they were merely changing the music. He had the map of Africa behind his eyelids. The movement of the armies was a diagram: a black arrow tearing vertically southward, and a white arrow horizontally eastward, across the tail of the first. As though for reassurance he looked up at the imperturbable face in the portrait.

Телекран замолчал. Уинстон снова поднял голову. Сводка? Нет, просто сменили музыку. Перед глазами у него стояла карта Африки. Движение армий он видел графически: черная стрела грозно устремилась вниз, на юг, белая двинулась горизонтально, к востоку, отсекая хвост черной. Словно ища подтверждения, он поднял взгляд к невозмутимому лицу на портрете. Мыслимо ли, что вторая стрела

Was it conceivable that the second arrow did not even exist?

вообще не существует?

His interest flagged again. He drank another mouthful of gin, picked up the white knight and made a tentative move. Check. But it was evidently not the right move, because--

Интерес его опять потух. Он глотнул джину и для пробы пошел белым конем. Шах. Но ход был явно неправильный, потому что...

Uncalled, a memory floated into his mind. He saw a candle-lit room with a vast white-counterpaned bed, and himself, a boy of nine or ten, sitting on the floor, shaking a dice-box, and laughing excitedly. His mother was sitting opposite him and also laughing.

Незваное, явилось воспоминание. Комната, освещенная свечой, громадная кровать под белым покрывалом, и сам он, мальчик девяти или десяти лет, сидит на полу, встряхивает стаканчик с игральными костями и возбужденно смеется. Мать сидит напротив него и тоже смеется.

It must have been about a month before she disappeared. It was a moment of reconciliation, when the nagging hunger in his belly was forgotten and his earlier affection for her had temporarily revived. He remembered the day well, a pelting, drenching day when the water streamed down the window-pane and the light indoors was too dull to read by. The boredom of the two children in the dark, cramped bedroom became unbearable. Winston whined and grizzled, made futile demands for food, fretted about the room pulling everything out of place and kicking the wainscoting until the neighbours banged on the wall, while the younger child wailed intermittently. In the end his mother said, “Now be good, and I’ll buy you a toy. A lovely toy -- you’ll love it”; and then she had gone out in the rain, to a little general shop which was still sporadically open nearby, and came back with a cardboard box containing an outfit of Snakes and Ladders. He could still remember the smell of the damp cardboard. It was a miserable outfit. The board was cracked and the tiny wooden dice were so ill-cut that they would hardly lie on their sides. Winston looked at the thing sulkily and without interest. But then his mother lit a piece of candle and they sat down on the floor to play. Soon he was wildly excited and shouting with laughter as the tiddly-winks climbed hopefully up the ladders and then came slithering down the snakes again, almost to the starting-point. They played eight games, winning four each. His tiny sister, too young to understand what the game was about, had sat propped up against a bolster, laughing because the others were laughing. For a whole afternoon they had

Это было, наверно, за месяц до ее исчезновения. Ненадолго восстановился мир в семье -- забыт был сосущий голод, и прежняя любовь к матери ожила на время. Он хорошо помнил тот день: ненастье, проливной дождь, вода струится по оконным стеклам и в комнате сумрак, даже нельзя читать. Двум детям в темной тесной спальне было невыносимо скучно. Уинстон ныл, капризничал, напрасно требовал еды, слонялся по комнате, стаскивал все вещи с места, пинал обшитые деревом стены, так, что с той стороны стучали соседи, а младшая сестренка то и дело принималась вопить. Наконец мать не выдержала: «Веди себя хорошо, куплю тебе игрушку. Хорошую игрушку... тебе понравится» -- и в дождь пошла на улицу, в маленький универмаг неподалеку, который еще время от времени открывался, а вернулась с картонной коробкой -- игрой «змейки -- лесенки». Он до сих пор помнил запах мокрого картона. Набор был изготовлен скверно. Доска в трещинах, кости вырезаны так неровно, что чуть не переворачивались сами собой. Уинстон смотрел на игру надувшись и без всякого интереса. Но потом мать зажгла огарок свечи, и сели играть на пол. Очень скоро его разобрал азарт, и он уже заливался смехом, и блошки карабкались к победе по лесенкам и скатывались по змейкам обратно, чуть ли не к старту. Они сыграли восемь конов, каждый выиграл по четыре. Маленькая сестренка не понимала игры, она сидела в изголовье и смеялась, потому что они смеялись. До самого вечера они были счастливы втроем, как в первые годы его детства.

all been happy together, as in his earlier childhood.

Он отогнал эту картину. Ложное воспоминание. Ложные воспоминания время от времени беспокоили его. Это не страшно, когда знаешь им цену. Что-то происходило на самом деле, что-то не происходило. Он вернулся к шахматам, снова взял белого коня. И сразу же со стуком уронил на доску. Он вздрогнул, словно его укололи булавкой,

He pushed the picture out of his mind. It was a false memory. He was troubled by false memories occasionally. They did not matter so long as one knew them for what they were. Some things had happened, others had not happened. He turned back to the chessboard and picked up the white knight again. Almost in the same instant it dropped on to the board with a clatter. He had started as though a pin had run into him.

A shrill trumpet-call had pierced the air. It was the bulletin! Victory! It always meant victory when a trumpet-call preceded the news. A sort of electric drill ran through the café. Even the waiters had started and pricked up their ears.

Тишину прорезали фанфары. Сводка! Победа! Если перед известиями играют фанфары, это значит -- победа. По всему кафе прошел электрический разряд. Даже официанты встрепенулись и навострили уши.

The trumpet-call had let loose an enormous volume of noise. Already an excited voice was gabbling from the telescreen, but even as it started it was almost drowned by a roar of cheering from outside. The news had run round the streets like magic. He could hear just enough of what was issuing from the telescreen to realize that it had all happened, as he had foreseen; a vast seaborne armada had secretly assembled a sudden blow in the enemy's rear, the white arrow tearing across the tail of the black. Fragments of triumphant phrases pushed themselves through the din: "Vast strategic manoeuvre -- perfect co-ordination -- utter rout -- half a million prisoners -- complete demoralization -- control of the whole of Africa -- bring the war within measurable distance of its end victory -- greatest victory in human history -- victory, victory, victory!"

Вслед за фанфарами обрушился неслыханной силы шум. Телекран лопотал взволнованно и невнятно -- его сразу заглушили ликующие крики на улице. Новость обежала город с чудесной быстротой. Уинстон расслышал немногое, но и этого было достаточно -- все произошло так, как он предвидел: скрытно сосредоточившаяся морская армада, внезапный удар в тыл противнику, белая стрела перерезает хвост черной. Сквозь гам прорывались обрывки фраз: «Колоссальный стратегический маневр… безупречное взаимодействие… беспорядочное бегство… полмиллиона пленных… полностью деморализован… полностью овладели Африкой… завершение войны стало делом обозримого будущего… победа… величайшая победа в человеческой истории… победа, победа, победа!»

Under the table Winston's feet made convulsive movements. He had not stirred from his seat, but in his mind he was running, swiftly running, he was with the crowds outside, cheering himself deaf. He looked up again at the portrait of Big Brother. The colossus that bestrode the world! The rock against which the hordes of Asia dashed themselves in vain! He thought how ten minutes ago -- yes, only ten minutes -- there had still been equivocation in his heart as he wondered whether the news from the front would be of victory or defeat. Ah, it was more than a Eurasian army that had perished! Much had changed

Ноги Уинстона судорожно двигались под столом. Он не встал с места, но мысленно уже бежал, бежал быстро, он был с толпой на улице и глох от собственного крика. Он опять посмотрел на портрет Старшего Брата. Колосс, вставший над земным шаром! Скала, о которую разбиваются азийские орды! Он подумал, что десять минут назад, всего десять минут назад в душе его еще жило сомнение и он не знал, какие будут известия: победа или крах. Нет, не только евразийская армия канула в небытие! Многое изменилось в нем с того первого дня в министерстве любви, но

in him since that first day in the Ministry of Love, but the final, indispensable, healing change had never happened, until this moment.

окончательное, необходимое исцеление совершилось лишь сейчас.

The voice from the telescreen was still pouring forth its tale of prisoners and booty and slaughter, but the shouting outside had died down a little. The waiters were turning back to their work. One of them approached with the gin bottle. Winston, sitting in a blissful dream, paid no attention as his glass was filled up. He was not running or cheering any longer. He was back in the Ministry of Love, with everything forgiven, his soul white as snow. He was in the public dock, confessing everything, implicating everybody. He was walking down the white-tiled corridor, with the feeling of walking in sunlight, and an armed guard at his back. The longhoped-for bullet was entering his brain.

Голос из телекрана все еще сыпал подробностями -- о побоище, о пленных, о трофеях, -- но крики на улицах немного утихли. Официанты принялись за работу. Один из них подошел с бутылкой джина. Уинстон, в блаженном забытьи, даже не заметил, как ему наполнили стакан. Он уже не бежал и не кричал с толпой. Он снова был в министерстве любви, и все было прощено, и душа его была чиста, как родниковая вода. Он сидел на скамье подсудимых, во всем признавался, на всех давал показания. Он шагал по вымощенному кафелем коридору с ощущением, как будто на него светит солнце, а сзади следовал вооруженный охранник. Долгожданная пуля входила в его мозг.

He gazed up at the enormous face. Forty years it had taken him to learn what kind of smile was hidden beneath the dark moustache. O cruel, needless misunderstanding! O stubborn, self-willed exile from the loving breast! Two gin-scented tears trickled down the sides of his nose. But it was all right, everything was all right, the struggle was finished. He had won the victory over himself. He loved Big Brother.

Он остановил взгляд на громадном лице. Сорок лет ушло у него на то, чтобы понять, какая улыбка прячется в черных усах. О жестокая, ненужная размолвка! О упрямый, своенравный беглец, оторвавшийся от любящей груди! Две сдобренные джином слезы прокатились по крыльям носа. Но все хорошо, теперь все хорошо, борьба закончилась. Он одержал над собой победу. Он любил Старшего Брата.

1949

THE END

1949

К О Н Е Ц

Перевод: **Голышев Виктор Петрович**

Appendix

THE PRINCIPLES OF NEWSPEAK

Newspeak was the official language of Oceania and had been devised to meet the ideological needs of Ingsoc, or English Socialism. In the year 1984 there was not as yet anyone who used Newspeak as his sole means of communication, either in speech or writing. The leading articles in the *Times* were written in it, but this was a *tour de force* which could only be carried out by a specialist. It was expected that Newspeak would have finally superseded Oldspeak (or Standard English, as we should call it) by about the year 2050. Meanwhile it gained ground steadily, all Party members tending to use Newspeak words and grammatical constructions more and more in their everyday speech. The

Приложение

О НОВОЯЗЕ

Новояз, официальный язык Океании, был разработан для того, чтобы обслуживать идеологию ангсоца, или английского социализма. В 1984 году им еще никто не пользовался как единственным средством общения -- ни устно, ни письменно. Передовые статьи в «Таймс» писались на новоязе, но это дело требовало исключительного мастерства, и его поручали специалистам. Предполагали, что старояз (т.е. современный литературный язык) будет окончательно вытеснен новоязом к 2050 году. А пока что он неуклонно завоевывал позиции: члены партии стремились употреблять в повседневной речи все больше новоязовских слов и

version in use in 1984, and embodied in the Ninth and Tenth Editions of the Newspeak Dictionary, was a provisional one, and contained many superfluous words and archaic formations which were due to be suppressed later. It is with the final, perfected version, as embodied in the Eleventh Edition of the Dictionary, that we are concerned here.

грамматических форм. Вариант, существовавший в 1984 году и зафиксированный в девятом и десятом изданиях Словаря новояза, считался промежуточным и включал в себя много лишних слов и архаических форм, которые надлежало со временем упразднить. Здесь пойдет речь об окончательном, усовершенствованном варианте, закрепленном в одиннадцатом издании Словаря.

The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for the world-view and mental habits proper to the devotees of Ingsoc, but to make all other modes of thought impossible. It was intended that when Newspeak had been adopted once and for all and Oldspeak forgotten, a heretical thought -- that is, a thought diverging from the principles of Ingsoc -- should be literally unthinkable, at least so far as thought is dependent on words. Its vocabulary was so constructed as to give exact and often very subtle expression to every meaning that a Party member could properly wish to express, while excluding all other meanings and also the possibility of arriving at them by indirect methods. This was done partly by the invention of new words, but chiefly by eliminating undesirable words and by stripping such words as remained of unorthodox meanings, and so far as possible of all secondary meanings whatever. To give a single example. The word *free* still existed in Newspeak, but it could only be used in such statements as “This dog is free from lice” or “This field is free from weeds”. It could not be used in its old sense of “politically free” or “intellectually free” since political and intellectual freedom no longer existed even as concepts, and were therefore of necessity nameless. Quite apart from the suppression of definitely heretical words, reduction of vocabulary was regarded as an end in itself, and no word that could be dispensed with was allowed to survive. Newspeak was designed not to extend but to *diminish* the range of thought, and this purpose was indirectly assisted by cutting the choice of words down to a minimum.

Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли. Предполагалось, что, когда новояз утвердится навеки, а старояз будет забыт, неортодоксальная, то есть чуждая ангсоцу, мысль, постольку поскольку она выражается в словах, станет буквально немыслимой. Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко выразить любое дозволенное значение, нужное члену партии, а кроме того, отсечь все остальные значения, равно как и возможности прийти к ним окольными путями. Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений -- по возможности от всех побочных значений. Приведем только один пример. Слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначений. Помимо отмены неортодоксальных смыслов, сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму.

Newspeak was founded on the English language as we now know it, though many Newspeak sentences, even when not containing newly-created words, would be

Новояз был основан на сегодняшнем литературном языке, но многие новоязовские предложения, даже без новоизобретенных слов, показались бы

barely intelligible to an English-speaker of our own day. Newspeak words were divided into three distinct classes, known as the A vocabulary, the B vocabulary (also called compound words), and the C vocabulary. It will be simpler to discuss each class separately, but the grammatical peculiarities of the language can be dealt with in the section devoted to the A vocabulary, since the same rules held good for all three categories.

нашему современнику непонятными. Лексика подразделялась на три класса: словарь А, словарь В (составные слова) и словарь С. Проще всего рассмотреть каждый из них отдельно; грамматические же особенности языка можно проследить в разделе, посвященном словарю А, поскольку правила для всех трех категорий -- одни и те же.

The A vocabulary. The A vocabulary consisted of the words needed for the business of everyday life -- for such things as eating, drinking, working, putting on one’s clothes, going up and down stairs, riding in vehicles, gardening, cooking, and the like. It was composed almost entirely of words that we already possess words like *hit*, *run*, *dog*, *tree*, *sugar*, *house*, *field* -- but in comparison with the present-day English vocabulary their number was extremely small, while their meanings were far more rigidly defined. All ambiguities and shades of meaning had been purged out of them. So far as it could be achieved, a Newspeak word of this class was simply a staccato sound expressing *one* clearly understood concept. It would have been quite impossible to use the A vocabulary for literary purposes or for political or philosophical discussion. It was intended only to express simple, purposive thoughts, usually involving concrete objects or physical actions.

Словарь А заключал в себе слова, необходимые в повседневной жизни -- связанные с едой, питьем[6], работой, одеванием, хождением по лестнице, ездой, садоводством, кухней и т. п. Он почти целиком состоял из слов, которыми мы пользуемся сегодня, таких, как «бить», «дать», «дом», «хвост», «лес», «сахар», но по сравнению с сегодняшним языком число их было крайне мало, а значения определены гораздо строже. Все неясности, оттенки смысла были вычищены. Насколько возможно, слово этой категории представляло собой отрывистый звук или звуки и выражало лишь *одно* четкое понятие. Словарь А был совершенно непригоден для литературных целей и философских рассуждений. Он предназначался для того, чтобы выражать только простейшие целенаправленные мысли, касавшиеся в основном конкретных объектов и физических действий.

The grammar of Newspeak had two outstanding peculiarities. The first of these was an almost complete interchangeability between different parts of speech. Any word in the language (in principle this applied even to very abstract words such as *if* or *when*) could be used either as verb, noun, adjective, or adverb. Between the verb and the noun form, when they were of the same root, there was never any variation, this rule of itself involving the destruction of many archaic forms. The word *thought*, for example, did not exist in Newspeak. Its place was taken by *think*, which did duty for both noun and verb. No etymological principle was followed here: in some cases it was the original noun that was chosen for retention, in other cases the verb. Even where a noun and verb of kindred meaning were not etymologically connected, one or other of them was frequently suppressed.

Грамматика новояза отличалась двумя особенностями. Первая -- чисто гнездовое строение словаря. Любое слово в языке могло породить гнездо, и в принципе это относилось даже к самым отвлеченным, как, например, «если»: «еслить», «есленно» и т. д. Никакой этимологический принцип тут не соблюдался; словом-производителем могли стать и глагол, и существительное, и даже союз; суффиксами пользовались гораздо[7] свободнее, что позволяло расширить гнездо до немыслимых прежде размеров. Таким образом были образованы, например, слова «едка», «яйцевать»[8], «рычевка», «хвостистски» (наречие)[9], «настроенческий», «убежденец». Если существительное и родственный по смыслу глагол были этимологически не связаны, один из двух корней аннулировался: так, слово «писатель»

There was, for example, no such word as *cut*, its meaning being sufficiently covered by the noun-verb *knife*. Adjectives were formed by adding the suffix -*ful* to the noun-verb, and adverbs by adding -*wise*. Thus for example, *speedful* meant "rapid" and *speedwise* meant "quickly". Certain of our present-day adjectives, such as *good*, *strong*, *big*, *black*, *soft*, were retained, but their total number was very small. There was little need for them, since almost any adjectival meaning could be arrived at by adding -*ful* to a noun-verb. None of the now-existing adverbs was retained, except for a very few already ending in -*wise*: the -*wise* termination was invariable. The word *well*, for example, was replaced by *goodwise*.

означало «карандаш», поскольку с изобретением версификатора писание стало означать чисто физический процесс. Понятно, что при этом соответствующие эпитеты сохранялись, и писатель мог быть химическим, простым и т. д. Прилагательное можно было произвести от любого существительного, как, например: «пальтовый», «жабный», от них -- соответствующие наречия и т. д.

In addition, any word -- this again applied in principle to every word in the language -- could be negatived by adding the affix *un*-, or could be strengthened by the affix *plus*-, or, for still greater emphasis, *doubleplus*-. Thus, for example, *uncold* meant "warm", while *pluscold* and *doublepluscold* meant, respectively, "very cold" and "superlatively cold". It was also possible, as in present-day English, to modify the meaning of almost any word by prepositional affixes such as *ante*-, *post*-, *up*-, *down*-, etc. By such methods it was found possible to bring about an enormous diminution of vocabulary. Given, for instance, the word *good*, there was no need for such a word as *bad*, since the required meaning was equally well -- indeed, better -- expressed by *ungood*. All that was necessary, in any case where two words formed a natural pair of opposites, was to decide which of them to suppress. *Dark*, for example, could be replaced by *unlight*, or *light* by *undark*, according to preference.

Кроме того, для любого слова -- в принципе это опять-таки относилось к каждому слову -- могло быть построено отрицание при помощи «не». Так, например, образованы слова «нелицо» и «недонос». Система единообразного усиления слов приставками «плюс-» и «плюсплюс-», однако, не привилась ввиду неблагозвучия многих новообразований (см. ниже). Сохранились прежние способы усиления, несколько обновленные. Так, у прилагательных появились две сравнительных степени: «лучше» и «более лучше». Косвенно аналогичный процесс применялся и к существительным (чаще отглагольным) путем сцепления близких слов в родительном падеже: «наращивание ускорения темпов развития». Как и в современном языке, можно было изменить значение слова приставками, но принцип этот проводился гораздо последовательнее и допускал гораздо большее разнообразие форм, таких, например, как «подустать», «надвзять», «отоварить», «беспреступность» (коэффициент), «зарыбление», «обескоровить», «довыполнить» и «недододать». Расширение гнезд позволило радикально уменьшить их общее число, то есть свести разнообразие живых корней в языке к минимуму.

The second distinguishing mark of Newspeak grammar was its regularity. Subject to a few exceptions which are mentioned below all inflexions followed the same rules. Thus, in all verbs the preterite and the past participle were the same and

Второй отличительной чертой грамматики новояза была ее регулярность. Всякого рода особенности в образовании множественного числа существительных, в их склонении, в спряжении глаголов были по

ended in *-ed*. The preterite of *steal* was *stealed*, the preterite of *think* was *thinked*, and so on throughout the language, all such forms as *swam*, *gave*, *brought*, *spoke*, *taken*, etc., being abolished. All plurals were made by adding *-s* or *-es* as the case might be. The plurals of *man*, *ox*, *life*, were *mans*, *oxes*, *lifes*. Comparison of adjectives was invariably made by adding *-er*, *-est* (*good*, *gooder*, *goodest*), irregular forms and the *more*, *most* formation being suppressed.

возможности устранены. Например, глагол «пахать» имел деепричастие «пахая», «махать» спрягался единственным образом -- «махаю» и т. д. Слова «цыпленок», «крысенок» во множественном числе имели форму «цыпленки», «крысенки» и соответственно склонялись, «молоко» имело множественное число -- «молоки», «побои» употреблялось в единственном числе, а у некоторых существительных единственное число было произведено от множественного: «займ». Степенями сравнения обладали все без исключения прилагательные, как, например, «бесконечный», «невозможный», «равный», «тракторный» и «двухвесельный». В соответствии с принципом покорения действительности все глаголы считались переходными: завозразить (проект), задействовать (человека), растаять (льды), умалчивать (правду), взмыть (пилот взмыл свой вертолет над вражескими позициями).

The only classes of words that were still allowed to inflect irregularly were the pronouns, the relatives, the demonstrative adjectives, and the auxiliary verbs. All of these followed their ancient usage, except that *whom* had been scrapped as unnecessary, and the *shall*, *should* tenses had been dropped, all their uses being covered by *will* and *would*. There were also certain irregularities in word-formation arising out of the need for rapid and easy speech. A word which was difficult to utter, or was liable to be incorrectly heard, was held to be *ipso facto* a bad word: occasionally therefore, for the sake of euphony, extra letters were inserted into a word or an archaic formation was retained. But this need made itself felt chiefly in connexion with the B vocabulary. *Why* so great an importance was attached to ease of pronunciation will be made clear later in this essay.

Местоимения с их особой нерегулярностью сохранились, за исключением «кто» и «чей». Последние были упразднены, и во всех случаях их заменило местоимение «который» («которого»). Отдельные неправильности словообразования пришлось сохранить ради быстроты и плавности речи. Труднопроизносимое слово или такое, которое может быть неверно услышано, считалось ipso facto[10] плохим словом, поэтому в целях благозвучия вставлялись лишние буквы или возрождались архаические формы. Но по преимуществу это касалось словаря B. Почему придавалось такое значение удобопроизносимости, будет объяснено в этом очерке несколько позже.

The B vocabulary. The B vocabulary consisted of words which had been deliberately constructed for political purposes: words, that is to say, which not only had in every case a political implication, but were intended to impose a desirable mental attitude upon the person using them. Without a full understanding of the principles of Ingsoc it was difficult to use these words correctly. In some cases

Словарь B состоял из слов, специально сконструированных для политических нужд, иначе говоря, слов, которые не только обладали политическим смыслом, но и навязывали человеку, их употребляющему, определенную позицию. Не усвоив полностью основ ангсоца, правильно употреблять эти слова было нельзя. В некоторых случаях их смысл можно было передать

they could be translated into Oldspeak, or even into words taken from the A vocabulary, but this usually demanded a long paraphrase and always involved the loss of certain overtones. The B words were a sort of verbal shorthand, often packing whole ranges of ideas into a few syllables, and at the same time more accurate and forcible than ordinary language.

старояэовским словом или даже словами из словаря А, но это требовало длинного описательного перевода и всегда было сопряжено с потерей подразумеваемых смыслов. Слова В представляли собой своего рода стенограмму: в несколько слогов они вмещали целый круг идей, в то же время выражая их точнее и убедительнее, чем в обыкновенном языке.

The B words were in all cases compound words[2]. They consisted of two or more words, or portions of words, welded together in an easily pronounceable form. The resulting amalgam was always a noun-verb, and inflected according to the ordinary rules. To take a single example: the word *goodthink*, meaning, very roughly, “orthodoxy”, or, if one chose to regard it as a verb, “to think in an orthodox manner”. This inflected as follows: noun-verb, *goodthink*; past tense and past participle, *goodthinked*; present participle, *goodthinking*; adjective, *goodthinkful*; adverb, *goodthinkwise*; verbal noun, *goodthinker*.

Все слова В были составными[11]. Они состояли из двух или более слов или частей слов, соединенных так, чтобы их удобно было произносить. От каждого из них по обычным образцам производилось гнездо. Для примера: от «благомыслия», означавшего приблизительно «ортодоксию», «правоверность», происходил глагол «благомыслить», причастие «благомыслящий», прилагательное «благомысленный», наречие «благомысленно» и т. д.

The B words were not constructed on any etymological plan. The words of which they were made up could be any parts of speech, and could be placed in any order and mutilated in any way which made them easy to pronounce while indicating their derivation. In the word *crimethink* (thoughtcrime), for instance, the *think* came second, whereas in *thinkpol* (Thought Police) it came first, and in the latter word *police* had lost its second syllable. Because of the great difficulty in securing euphony, irregular formations were commoner in the B vocabulary than in the A vocabulary. For example, the adjective forms of *Minitrue*, *Minipax*, and *Miniluv* were, respectively, *Minitruthful*, *Minipeaceful*, and *Minilovely*, simply because -*trueful*, -*paxful*, and -*loveful* were sliightly awkward to pronounce. In principle, however, all B words could inflect, and all inflected in exactly the same way.

Слова В создавались без какого-либо этимологического плана. Они могли состоять из любых частей речи, соединенных в любом порядке и как угодно препарированных -- лишь бы их было удобно произносить и оставалось понятным их происхождение. В слове «мыслепреступление», например, мысль стояла первой, а в слове «благомыслие» -- второй. Поскольку в словаре В удобопроизносимость достигалась с большим трудом, слова здесь образовывались не по такой жесткой схеме, как в словаре А. Например, прилагательные от «минилюба» и «миниправа» были соответственно «минилюбный» и «миниправный» просто потому, что «-любовный» и «-праведный» было не совсем удобно произносить. В принципе же их склоняли и спрягали, как обычно.

Some of the B words had highly subtilized meanings, barely intelligible to anyone who had not mastered the language as a whole. Consider, for example, such a typical sentence from a *Times* leading article as *Oldthinkers unbellyfeel Ingsoc*. The shortest rendering that one could make of this in Oldspeak would be: “Those whose ideas

Некоторые слова В обладали такими оттенками значения, которых почти не улавливал человек, не овладевший языком в целом. Возьмем, например, типичное предложение из передовой статьи в «Таймс»: «Старомыслы не нутрят ангсоц». Кратчайшим образом на староязе это можно изложить так: «Те,

were formed before the Revolution cannot have a full emotional understanding of the principles of English Socialism." But this is not an adequate translation. To begin with, in order to grasp the full meaning of the Newspeak sentence quoted above, one would have to have a clear idea of what is meant by *Ingsoc*. And in addition, only a person thoroughly grounded in Ingsoc could appreciate the full force of the word *bellyfeel*, which implied a blind, enthusiastic acceptance difficult to imagine today; or of the word *oldthink*, which was inextricably mixed up with the idea of wickedness and decadence. But the special function of certain Newspeak words, of which *oldthink* was one, was not so much to express meanings as to destroy them. These words, necessarily few in number, had had their meanings extended until they contained within themselves whole batteries of words which, as they were sufficiently covered by a single comprehensive term, could now be scrapped and forgotten. The greatest difficulty facing the compilers of the Newspeak Dictionary was not to invent new words, but, having invented them, to make sure what they meant: to make sure, that is to say, what ranges of words they cancelled by their existence.

чьи идеи сложились до Революции, не воспринимают всей душой принципов английского социализма». Но это неадекватный перевод. Во-первых, чтобы как следует понять смысл приведенной фразы, надо иметь четкое представление о том, что означает слово «ангсоц». Кроме того, лишь человек, воспитанный в ангсоце, почувствует всю силу слова «нутрить», подразумевающего слепое восторженное приятие, которое в наши дни трудно вообразить, или слова «старомысл», неразрывно связанного с понятиями порока и вырождения. Но особая функция некоторых новоязовских слов наподобие «старомысла» состояла не столько в том, чтобы выражать значения, сколько в том, чтобы их уничтожать. Значение этих слов, разумеется немногочисленных, расширялось настолько, что обнимало целую совокупность понятий; упаковав эти понятия в одно слово, их уже легко было отбросить и забыть. Сложнее всего для составителей Словаря новояза было не изобрести новое слово, но, изобретя его, определить, что оно значит, то есть определить, какую совокупность слов оно аннулирует.

As we have already seen in the case of the word *free*, words which had once borne a heretical meaning were sometimes retained for the sake of convenience, but only with the undesirable meanings purged out of them. Countless other words such as *honour*, *justice*, *morality*, *internationalism*, *democracy*, *science*, and *religion* had simply ceased to exist. A few blanket words covered them, and, in covering them, abolished them. All words grouping themselves round the concepts of liberty and equality, for instance, were contained in the single word *crimethink*, while all words grouping themselves round the concepts of objectivity and rationalism were contained in the single word *oldthink*. Greater precision would have been dangerous. What was required in a Party member was an outlook similar to that of the ancient Hebrew who knew, without knowing much else, that all nations other than his own worshipped "false gods". He did not need to know that these gods were called Baal, Osiris, Moloch, Ashtaroth, and

Как мы уже видели на примере слова «свободный», некоторые слова, прежде имевшие вредный смысл, иногда сохранялись ради удобства -- но очищенными от нежелательных значений. Бесчисленное множество слов, таких, как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «религия», «наука», просто перестали существовать. Их покрывали и тем самым отменяли несколько обобщающих слов. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, содержались в одном слове «мыслепреступление», а слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности, -- в слове «старомыслие». Большая точность была бы опасна. По своим воззрениям член партии должен был напоминать древнего еврея, который знал, не вникая в подробности, что все остальные народы поклоняются «ложным богам». Ему не надо было знать, что имена этих богов -- Ваал, Осирис, Молох, Астарта и т. д.; чем

the like: probably the less he knew about them the better for his orthodoxy. He knew Jehovah and the commandments of Jehovah: he knew, therefore, that all gods with other names or other attributes were false gods. In somewhat the same way, the party member knew what constituted right conduct, and in exceedingly vague, generalized terms he knew what kinds of departure from it were possible. His sexual life, for example, was entirely regulated by the two Newspeak words *sexcrime* (sexual immorality) and *goodsex* (chastity). *Sexcrime* covered all sexual misdeeds whatever. It covered fornication, adultery, homosexuality, and other perversions, and, in addition, normal intercourse practised for its own sake. There was no need to enumerate them separately, since they were all equally culpable, and, in principle, all punishable by death. In the C vocabulary, which consisted of scientific and technical words, it might be necessary to give specialized names to certain sexual aberrations, but the ordinary citizen had no need of them. He knew what was meant by *goodsex* -- that is to say, normal intercourse between man and wife, for the sole purpose of begetting children, and without physical pleasure on the part of the woman: all else was *sexcrime*. In Newspeak it was seldom possible to follow a heretical thought further than the perception that it *was* heretical: beyond that point the necessary words were nonexistent.

No word in the B vocabulary was ideologically neutral. A great many were euphemisms. Such words, for instance, as *joycamp* (forced-labour camp) or *Minipax* (Ministry of Peace, i.e. Ministry of War) meant almost the exact opposite of what they appeared to mean. Some words, on the other hand, displayed a frank and contemptuous understanding of the real nature of Oceanic society. An example was *prolefeed*, meaning the rubbishy entertainment and spurious news which the Party handed out to the masses. Other words, again, were ambivalent, having the connotation “good” when applied to the Party and “bad” when applied to its enemies. But in addition there were great numbers of words which at first sight appeared to be mere abbreviations and which derived their ideological colour not from their meaning, but from their

меньше он о них знает, тем полезнее для его правоверности. Он знал Иегову и заветы Иеговы, а поэтому знал, что все боги с другими именами и другими атрибутами -- ложные боги. Подобным образом член партии знал, что такое правильное поведение, и до крайности смутно, лишь в общих чертах представлял себе, какие отклонения от него возможны. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя новоязовскими словами: «злосекс» (половая аморальность) и «добросекс» (целомудрие). «Злосекс» покрывал все нарушения в этой области. Им обозначались блуд, прелюбодеяние, гомосексуализм и другие извращения, а кроме того, нормальное совокупление, рассматриваемое как самоцель. Не было нужды называть их по отдельности, все были преступлениями и в принципе карались смертью. В словаре С, состоявшем из научных и технических слов, для некоторых сексуальных нарушений могли понадобиться отдельные термины, но рядовой гражданин в них не нуждался. Он знал, что такое «добросекс», то есть нормальное сожительство мужчины и женщины с целью зачатия и без физического удовольствия для женщины. Все остальное -- «злосекс». Новояз почти не давал возможности проследить за вредной мыслью дальше того пункта, что она вредна; дальше не было нужных слов.

В словаре В не было ни одного идеологически нейтрального слова. Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлаг» (лагерь радости, т. е. каторжный лагерь) или «минимир» (министерство мира, то есть министерство войны), обозначали нечто противоположное тому, что они говорили. Другие слова, напротив, демонстрировали откровенное и презрительное понимание подлинной природы строя, например, «нарпит», означавший низкосортные развлечения и лживые новости, которые партия скармливала массам. Были и двусмысленные слова -- с «хорошим» оттенком, когда их применяли к партии, и с «плохим», когда их применяли к врагам. Кроме того, существовало множество слов, которые на первый взгляд казались просто сокращениями, --

structure.

So far as it could be contrived, everything that had or might have political significance of any kind was fitted into the B vocabulary. The name of every organization, or body of people, or doctrine, or country, or institution, or public building, was invariably cut down into the familiar shape; that is, a single easily pronounced word with the smallest number of syllables that would preserve the original derivation. In the Ministry of Truth, for example, the Records Department, in which Winston Smith worked, was called *Recdep*, the Fiction Department was called *Ficdep*, the Teleprogrammes Department was called *Teledep*, and so on. This was not done solely with the object of saving time. Even in the early decades of the twentieth century, telescoped words and phrases had been one of the characteristic features of political language; and it had been noticed that the tendency to use abbreviations of this kind was most marked in totalitarian countries and totalitarian organizations. Examples were such words as *Nazi*, *Gestapo*, *Comintern*, *Inprecorr*, *Agitprop*. In the beginning the practice had been adopted as it were instinctively, but in Newspeak it was used with a conscious purpose. It was perceived that in thus abbreviating a name one narrowed and subtly altered its meaning, by cutting out most of the associations that would otherwise cling to it. The words *Communist International*, for instance, call up a composite picture of universal human brotherhood, red flags, barricades, Karl Marx, and the Paris Commune. The word *Comintern*, on the other hand, suggests merely a tightly-knit organization and a well-defined body of doctrine. It refers to something almost as easily recognized, and as limited in purpose, as a chair or a table. *Comintern* is a word that can be uttered almost without taking thought, whereas *Communist International* is a phrase over which one is obliged to linger at least momentarily. In the same way, the associations called up by a word like *Minitrue* are fewer and more controllable than those called up by *Ministry of Truth*. This accounted not only for the habit of abbreviating whenever possible, but also for the almost exaggerated care that was taken

идеологическую окраску им придавало не значение, а их структура.

Настолько, насколько позволяла человеческая изобретательность, все, что имело или могло иметь политический смысл, было сведено в словарь B. Названия всех организаций, групп, доктрин, стран, институтов, общественных зданий кроились по привычной схеме: одно удобопроизносимое слово с наименьшим числом слогов, позволяющих понять его происхождение. В министерстве правды отдел документации, где работал Уинстон Смит, назывался доко, отдел литературы -- лито, отдел телепрограмм -- телео и т. д. Делалось это не только для экономии времени. Слова-цепни[12] стали одной из характерных особенностей политического языка еще в первой четверти XX века; особенная тяга к таким сокращениям, была отмечена в тоталитарных странах и тоталитарных организациях. Примерами могут служить такие слова, как «наци», «гестапо», «коминтерн», «агитпроп». Сначала к этому методу прибегали, так сказать, инстинктивно, в новоязе же он практиковался с осознанной целью. Стало ясно, что, сократив таким образом имя, ты сузил и незаметно изменил его смысл, ибо отрезал большинство вызываемых им ассоциаций. Слова «Коммунистический Интернационал» приводят на ум сложную картину: всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская коммуна. Слово же «Коминтерн» напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин. Оно относится к предмету столь же легко узнаваемому и[13] столь же ограниченному в своем назначении, как стол или стул. «Коминтерн» -- это слово, которое можно произнести, почти не размышляя, в то время как «Коммунистический Интернационал» заставляет пусть на миг, но задуматься. Подобным же образом «миниправ» вызывает гораздо меньше ассоциаций (и их легче предусмотреть), чем «министерство правды». Этим объяснялось не только стремление сокращать все, что можно, но и на первый взгляд преувеличенная забота о том, чтобы слово легко было выговорить.

to make every word easily pronounceable.

In Newspeak, euphony outweighed every consideration other than exactitude of meaning. Regularity of grammar was always sacrificed to it when it seemed necessary. And rightly so, since what was required, above all for political purposes, was short clipped words of unmistakable meaning which could be uttered rapidly and which roused the minimum of echoes in the speaker's mind. The words of the B vocabulary even gained in force from the fact that nearly all of them were very much alike. Almost invariably these words -- *goodthink*, *Minipax*, *prolefeed*, *sexcrime*, *joycamp*, *Ingsoc*, *bellyfeel*, *thinkpol*, and countless others -- were words of two or three syllables, with the stress distributed equally between the first syllable and the last. The use of them encouraged a gabbling style of speech, at once staccato and monotonous. And this was exactly what was aimed at. The intention was to make speech, and especially speech on any subject not ideologically neutral, as nearly as possible independent of consciousness. For the purposes of everyday life it was no doubt necessary, or sometimes necessary, to reflect before speaking, but a Party member called upon to make a political or ethical judgement should be able to spray forth the correct opinions as automatically as a machine gun spraying forth bullets. His training fitted him to do this, the language gave him an almost foolproof instrument, and the texture of the words, with their harsh sound and a certain wilful ugliness which was in accord with the spirit of Ingsoc, assisted the process still further.

Благозвучие перевешивало все остальные соображения, кроме ясности смысла. Когда надо было, регулярность грамматики неизменно приносилась ему в жертву. И справедливо -- ибо для политических целей прежде всего требовались четкие стриженые слова, которые имели ясный смысл, произносились быстро и рождали минимальное количество отзвуков в сознании слушателя. А от того, что все они были скроены на один лад, слова В только прибавляли в весе. Многие из них -- ангсоц, злосекс, радлаг, нарпит, старомысл, мыслепол (полиция мыслей) -- были двух- и трехсложными, причем ударения падали и на первый и на последний слог. Они побуждали человека тараторить, речь его становилась отрывистой и монотонной. Это как раз и требовалось. Задача состояла в том, чтобы сделать речь -- в особенности такую, которая касалась идеологических тем, -- по возможности независимой от сознания. В повседневной жизни, разумеется, необходимо -- по крайней мере иногда необходимо -- подумать, перед тем как заговоришь; партиец же, которому предстояло высказаться по политическому или этическому вопросу, должен был выпускать правильные суждения автоматически, как выпускает очередь пулемет. Обучением он подготовлен к этому, новояз -- его орудие -- предохранит его от ошибок, фактура слов с их жестким звучанием и преднамеренным уродством, отвечающим духу ангсоца, еще больше облегчит ему дело.

So did the fact of having very few words to choose from. Relative to our own, the Newspeak vocabulary was tiny, and new ways of reducing it were constantly being devised. Newspeak, indeed, differed from most all other languages in that its vocabulary grew smaller instead of larger every year. Each reduction was a gain, since the smaller the area of choice, the smaller the temptation to take thought. Ultimately it was hoped to make articulate speech issue from the larynx without involving the higher brain centres at all. This aim was frankly admitted in the Newspeak word *duckspeak*, meaning "to quack like a duck". Like various other

Облегчалось оно еще и тем, что выбор слов был крайне скудный. По сравнению с нашим языком лексикон новояза был ничтожен, и все время изобретались новые способы его сокращения. От других языков новояз отличался тем, что словарь его с каждым годом не увеличивался, а уменьшался. Каждое сокращение было успехом, ибо чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься. Предполагалось, что в конце концов членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортани, без участия высших нервных центров. На эту цель прямо указывало новоязовское слово «речекряк», то есть

words in the B vocabulary, *duckspeak* was ambivalent in meaning. Provided that the opinions which were quacked out were orthodox ones, it implied nothing but praise, and when the *Times* referred to one of the orators of the Party as a *doubleplusgood duckspeaker* it was paying a warm and valued compliment.

«крякающий по-утиному». Как и некоторые другие слова В, «речекряк» имел двойственное значение. Если крякали в ортодоксальном смысле, это слово было не чем иным, как похвалой, и, когда «Таймс» писала об одном из партийных ораторов: «идейно крепкий речекряк», -- это был весьма теплый и лестный отзыв.

The C vocabulary. The C vocabulary was supplementary to the others and consisted entirely of scientific and technical terms. These resembled the scientific terms in use today, and were constructed from the same roots, but the usual care was taken to define them rigidly and strip them of undesirable meanings. They followed the same grammatical rules as the words in the other two vocabularies. Very few of the C words had any currency either in everyday speech or in political speech. Any scientific worker or technician could find all the words he needed in the list devoted to his own speciality, but he seldom had more than a smattering of the words occurring in the other lists. Only a very few words were common to all lists, and there was no vocabulary expressing the function of Science as a habit of mind, or a method of thought, irrespective of its particular branches. There was, indeed, no word for “Science”, any meaning that it could possibly bear being already sufficiently covered by the word *Ingsoc*.

Словарь С был вспомогательным и состоял исключительно из научных и технических терминов. Они напоминали сегодняшние термины, строились на тех же корнях, но, как и в остальных случаях, были определены строже и очищены от нежелательных значений. Они подчинялись тем же грамматическим правилам, что и остальные слова. Лишь немногие из них имели хождение в бытовой речи и в политической речи. Любое нужное слово научный или инженерный работник мог найти в особом списке, куда были включены слова, встречающиеся в других списках. Слов, общих для всех списков, было очень мало, а таких, которые обозначали бы науку как область сознания и метод мышления независимо от конкретного ее раздела, не существовало вовсе. Не было и самого слова «наука»: все допустимые его значения вполне покрывало слово «ангсоц».

From the foregoing account it will be seen that in Newspeak the expression of unorthodox opinions, above a very low level, was well-nigh impossible. It was of course possible to utter heresies of a very crude kind, a species of blasphemy. It would have been possible, for example, to say *Big Brother is ungood.* But this statement, which to an orthodox ear merely conveyed a self-evident absurdity, could not have been sustained by reasoned argument, because the necessary words were not available. Ideas inimical to Ingsoc could only be entertained in a vague wordless form, and could only be named in very broad terms which lumped together and condemned whole groups of heresies without defining them in doing so. One could, in fact, only use Newspeak for unorthodox purposes by illegitimately translating some of the words back into Oldspeak. For example, *All mans are equal*

Из вышесказанного явствует, что выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка новояз практически не позволял. Еретическое высказывание, разумеется, было возможно -- но лишь самое примитивное, в таком, примерно, роде, как богохульство. Можно было, например, сказать: «Старший Брат плохой». Но это высказывание, очевидно нелепое для ортодокса, нельзя было подтвердить никакими доводами, ибо отсутствовали нужные слова. Идеи, враждебные ангсоцу, могли посетить сознание лишь в смутном, бессловесном виде, и обозначить их можно было не по отдельности, а только общим термином, разные ереси свалив в одну кучу и заклеймив совокупно. В сущности, использовать новояз для неортодоксальных целей можно было не иначе, как с помощью преступного

was a possible Newspeak sentence, but only in the same sense in which *All men are redhaired* is a possible Oldspeak sentence. It did not contain a grammatical error, but it expressed a palpable untruth -- i.e. that all men are of equal size, weight, or strength. The concept of political equality no longer existed, and this secondary meaning had accordingly been purged out of the word *equal*. In 1984, when Oldspeak was still the normal means of communication, the danger theoretically existed that in using Newspeak words one might remember their original meanings. In practice it was not difficult for any person well grounded in *doublethink* to avoid doing this, but within a couple of generations even the possibility of such a lapse would have vaished. A person growing up with Newspeak as his sole language would no more know that *equal* had once had the secondary meaning of "politically equal", or that *free* had once meant "intellectually free", than for instance, a person who had never heard of chess would be aware of the secondary meanings attaching to *queen* and *rook*. There would be many crimes and errors which it would be beyond his power to commit, simply because they were nameless and therefore unimaginable. And it was to be foreseen that with the passage of time the distinguishing characteristics of Newspeak would become more and more pronounced -- its words growing fewer and fewer, their meanings more and more rigid, and the chance of putting them to improper uses always diminishing.

перевода некоторых слов обратно на старояз. Например, новояз позволял сказать: «Все люди равны», -- но лишь в том смысле, в каком старояз позволял сказать: «Все люди рыжие». Фраза не содержала грамматических ошибок, но утверждала явную неправду, а именно что все люди равны по росту, весу и силе. Понятие гражданского равенства больше не существовало, и это второе значение слова «равный», разумеется, отмерло. В 1984 году, когда старояз еще был обычным средством общения, теоретически существовала опасность того, что, употребляя новоязовские слова, человек может вспомнить их первоначальные значения. На практике любому воспитанному в двоемыслии избежать этого было нетрудно, а через поколение-другое должна была исчезнуть даже возможность такой ошибки. Человеку, с рождения не знавшему другого языка, кроме новояза, в голову не могло прийти, -- что «равенство» когда-то имело второй смысл -- «гражданское равенство», а свобода когда-то означала «свободу мысли», точно так же как человек, в жизни своей не слыхавший о шахматах, не подозревал бы о другом значении слов «слон» и «конь». Он был бы не в силах совершить многие преступления и ошибки -- просто потому, что они безымянны, а следовательно, немыслимы. Ожидалось, что со временем отличительные особенности новояза будут проявляться все отчетливей и отчетливей -- все меньше и меньше будет оставаться слов, все уже и уже становиться их значение, все меньше и меньше будет возможностей употребить их не должным образом.

When Oldspeak had been once and for all superseded, the last link with the past would have been severed. History had already been rewritten, but fragments of the literature of the past survived here and there, imperfectly censored, and so long as one retained one's knowledge of Oldspeak it was possible to read them. In the future such fragments, even if they chanced to survive, would be unintelligible and untranslatable. It was impossible to translate any passage of Oldspeak into Newspeak unless it either referred to some technical process or some very simple everyday action, or was already orthodox

Когда старояз окончательно отомрет, порвется последняя связь с прошлым. История уже была переписана, но фрагменты старой литературы, не вполне подчищенные, там и сям сохранились, и, покуда люди помнили старояз, их можно было прочесть. В будущем такие фрагменты, если бы даже они сохранились, стали бы непонятны и непереводимы. Перевести текст со старояза на новояз было невозможно, если только он не описывал какой-либо технический процесс или простейшее бытовое действие или не был в оригинале идейно выдержанным (выражаясь на

(*goodthinkful* would be the Newspeak expression) in tendency. In practice this meant that no book written before approximately 1960 could be translated as a whole. Pre-revolutionary literature could only be subjected to ideological translation -- that is, alteration in sense as well as language. Take for example the well-known passage from the Declaration of Independence:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among men, deriving their powers from the consent of the governed. That whenever any form of Government becomes destructive of those ends, it is the right of the People to alter or abolish it, and to institute new Government…

It would have been quite impossible to render this into Newspeak while keeping to the sense of the original. The nearest one could come to doing so would be to swallow the whole passage up in the single word *crimethink*. A full translation could only be an ideological translation, whereby Jefferson's words would be changed into a panegyric on absolute government.

A good deal of the literature of the past was, indeed, already being transformed in this way. Considerations of prestige made it desirable to preserve the memory of certain historical figures, while at the same time bringing their achievements into line with the philosophy of Ingsoc. Various writers, such as Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens, and some others were therefore in process of translation: when the task had been completed, their original writings, with all else that survived of the literature of the past, would be destroyed. These translations were a slow and difficult business, and it was not expected that they would be finished before the first or second decade of the twenty-first century. There were also large quantities of merely utilitarian literature -- indispensable technical manuals, and the like -- that had to be treated in the same way. It was chiefly in order to allow time for the preliminary work of translation that the final adoption

новоязе -- благомысленным). Практически это означало, что ни одна книга, написанная до 1960 года, не может быть переведена целиком. Дореволюционную литературу можно было подвергнуть только идеологическому переводу, то есть с заменой не только языка, но и смысла. Возьмем, например, хорошо известный отрывок из Декларации независимости:

«Мы полагаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными, всех их создатель наделил определенными неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди людей правительства, берущие на себя справедливую власть с согласия подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма правления становится губительной для этих целей, народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство...»

Перевести это на новояз с сохранением смысла нет никакой возможности. Самое большее, что тут можно сделать, -- это вогнать весь отрывок в одно слово: мыслепреступление. Полным переводом мог стать бы только идеологический перевод, в котором слова Джефферсона превратились бы в панегирик абсолютной власти.

Именно таким образом и переделывалась, кстати, значительная часть литературы прошлого. Из престижных соображений было желательно сохранить память о некоторых исторических лицах, в то же время приведя их труды в согласие с учением ангсоца. Уже шла работа над переводом таких писателей, как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс, и некоторых других; по завершении этих работ первоначальные тексты, а также все остальное, что сохранилось от литературы прошлого, предстояло уничтожить. Эти переводы были делом трудным и кропотливым; ожидалось, что завершатся они не раньше первого или второго десятилетия XXI века. Существовало, кроме того, множество чисто утилитарных текстов -- технических руководств и т. п., -- их надо было подвергнуть такой же переработке. Окончательный переход на новояз был отложен до 2050 года именно

of Newspeak had been fixed for so late a date as 2050.

1949

____

[1] Newspeak was the official language of Oceania. For an account of its structure and etymology see Appendix.

[2] Compound words such as *speakwrite*, were of course to be found in the A vocabulary, but these were merely convenient abbreviations and had no special ideologcal colour.

____

GEORGE ORWELL: 'NINETEEN EIGHTY-FOUR', A NOVEL

First published by Secker & Warburg, London in 1949

____

ERIC ARTHUR BLAIR (aka GEORGE ORWELL)

Born: June 25, 1903, Motihari in Bengal, India

Died: January 21, 1950, London, GB

____

OCR: Chernyshev Mihail Vladimirovich

Machine-readable version and checking: O. Dag

E-mail: dag@orwell.ru

URL: http://orwell.ru/library/novels/1984/

Last modified on April, 2002

____

Перевод 1984: (c) Голышев Виктор Петрович

(c) Издательство "Прогресс", 1989

ISBN 5-01-002094-7; Тираж 200 000 экз.

с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу.

1949

____

1984 - Примечания

[1] *Новояз* -- официальный язык Океании. О структуре его см. Приложение.

[2] Здесь и далее стихи в переводе Елены Кассировой.

[3] Книга[14]: *...в шелковистой бумаге...* -- здесь: *...в непривычно шелковистой бумаге...* --

анг. ориг.: They were very good cigarettes, very thick and well-packed, with an unfamiliar silkiness in the paper.

[4] Книга: *...одобрения...* -- здесь: *...ободрения...* --

анг. ориг.: You will get no comradeship and no *encouragement*.

[5] Книга: *...Он будет противоположностью...* -- здесь: *...Он будет полной противоположностью...* --

анг. ориг.: ...the *exact opposite* of the stupid hedonistic Utopias that the old reformers imagined.

[6] Книга: *...едой, работой...* -- здесь: *...едой, питьем, работой...* --

анг. ориг.: ...for such things as *eating, drinking, working...*

[7] Книга: *...пользовались свободнее...* -- здесь: *...пользовались гораздо свободнее...*

[8] Книга: *...«едка», «рычевка»...* -- здесь: *...«едка», «яйцевать», «рычевка»...*

[9] Книга: *...«рычевка», «хвостист», «настроенческий»...* -- здесь: *...«рычевка», «хвостистски» (наречие), «настроенческий»...*

[10] *ipso facto* -- В силу одного этого *(лат.)*.

[11] Составные слова, такие, как «речепис», «рабдень», встречались, конечно, и в словаре А, но они были просто удобными сокращениями и особого идеологического оттенка не имели. -- *Прим. автора*

[12] Книга: *...Слова-цепи* стали одной из характерных особенностей... -- здесь: *...Слова-цепни* стали одной из характерных особенностей... --

анг. ориг.: Even in the early decades of the twentieth century, *telescoped words and phrases* had been one of the characteristic features of political language;

«То ли в Прогрессе тогда не знали что существует такое слово, то ли нечто другое... но они тут мой перевод изменили и я прекрасно помню как меня это расстроило.» -- *Цит. Голышев*

[13] Книга: ...Оно относится к предмету столь же ограниченному в своем назначении... -- здесь: ...Оно относится к предмету *столь же легко узнаваемому* и столь же ограниченному в своем назначении... --

анг. ориг.: It refers to something almost as easily recognized, and as limited in purpose, as a chair or a table.

[14] Под «книга» в примечаниях имеется ввиду книга «Прогресса»; курсив в примечаниях не относится к формату произведения.

Примечания: В. П. Голышев
